

ЖЕ О В Ъ И Т Ы
М И Р

ЖЕ О В Ъ И Т Ы
М И Р

4

1961

1961

Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVII

№ 4

Апрель, 1961 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ — В очереди за газетами, стихи	3
В. ЛИПАТОВ — Стрежень, повесть	7
В. КОРЖИКОВ — Ленинская улица, стихотворение	68
Ю. КУРАНОВ — Перевалы Усинского тракта	70
К. ВАНШЕНКИН — Из лирики	84
ДЖОН ЧИВЕР — Управляющий, рассказ. Перевела с английского Т. Литвинова	87
ИЗ СТИХОВ СОВРЕМЕННЫХ ТУРЕЦКИХ ПОЭТОВ. Суад Ташер. Как тысячу лет назад... Детские зубы.— Орхан Вели. Для вас. Если я застрелюсь...— Октай Рифат. Ответственность.— Мелих Джевет Андай. Человек думает... Я не могу привыкнуть... Перевел с турецкого А. Янов.	97
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
М. БЕЛКИНА — Кня-Шалтырь	102
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
Е. РАТМАНОВА-КОЛЬЦОВА — Путешествие в прожитые годы	121
С. БОНДАРИН — Эдуард Багрицкий	130
ПУБЛИЦИСТИКА	
ОЛЕГ ПИСАРЖЕВСКИЙ — Как живой, с живыми говоря	144
А. М. КИРЮХИН — Хлеб и машины	157
И. ЗЫКОВ — Зеленый пояс (Из книги о лесах)	174
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
М. СТЕБЛИН-КАМЕНСКИЙ — На «Коне Золотая Грива» — в страну сар	207
ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ	
<i>По страницам иностранных литературных журналов</i>	
Р. ФИШ — Абстракции и реальность.	219
(См. на обороте)	

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ — О литературе и искусстве (Глеб Успенский. Из переписки). Публикация, примечания и переводы М. Кораллова	223
А. ТУРКОВ — Заметки о критике	238
М. ТУРОВСКАЯ — «Баллада о солдате»	246
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
В. Кардин. «Далеко вперед видел он...» — Лев Озеров. Он возвышаться не любил.— А. Берзер. Победа и поражение Ильеса.— В. Шитова. В «окончательной форме гротеска»...— Б. Брайнина. Живое дыхание книги.	252
<i>Политика и наука</i>	
В. Спасский. Ленинские страницы.— Профессор М. Баскин. Работа по истории русской общественной мысли.— И. Забелин, кандидат географических наук. Явление науки — достояние культуры.— М. Сидоров, кандидат философских наук. Оптимистическая книга.— Л. Ельницкий. Роман о науке и научная романтика.	268
МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ	
Е. Прохоров — Статья «Современника» об Алжире сто лет назад	281
КОРОТКО О КНИГАХ	283
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ

★

В ОЧЕРЕДИ ЗА ГАЗЕТАМИ

Под фонарем, на перекрестке...

Под фонарем, на перекрестке,
юнцу влюбленному под стать,
я у вечернего киоска
люблю газеты ожидать.

Они сегодня запоздали.
Но расходиться — не расчет,
и очередь, как и вначале,
не убывает, а растет.

Здесь нет азарта, нету давки
и жадных зайчиков в глазах,
как вдоль мосторговских прилавков
и в рыночных очередях.

На зимней площади столицы
иль на окраине страны
газетной очереди лица
всегда достоинства полны.

Стоят в значительном покое,
от суетности в стороне,
старуха грузная с клюкою,
мужчина в шляпе и пенсне.

Пацан в лиловых брюках лыжных,
и в ботах с пряжками старик.
Мне хорошо стоять средь ближних,
я к ним, как свойственник, привык.

Тут, словно бы в каком-то классе,
отчетливая тишина,
одно молчащее согласие,
сосредоточенность одна.

Нам дорог строй газетной лиры,
ее торжественность и прыть.
Перед лицом всеобщим мира
негоже мелочными быть.

Пропаганда

К нам несут провода
дальний гул Революций.
Мы не лезем туда,
там без нас обойдутся.

Но, однако, не прочь —
русской полною мерой —
пропагандой помочь,
поделиться примером.

Всей земле трудовой,
от пустынь до Европы,
посылаем мы свой
исторический опыт.

Страны южной жары,
знают Куба и Чили,
на кого топоры
наши деды точили.

Средь светящейся тьмы
вдоль Руси деревянной
сотрясались холмы,
словно ваши вулканы.

Не у волжских высот,
не в родимой сторонке —
Стенька Разин плывет
по реке Амазонке.

И, покинув свой край
для далекого мира,
скачет в бурке Чапай
по дорогам Алжира...

Вернулся товарищ

Вернулся в свой город советский
товарищ из той стороны,
куда наши души по-детски
направлены, обращены.

Из той возвратился он дали,
сошел из того далека,
куда так нечасто летали
посланцы России пока.

Он стал как бы выше и шире
и даже красивше, чем был:
не зря в удивительном мире
наш давний товарищ гостил.

Как будто за эту неделю —
среди митингов, пашен и скал —
он все обаянье Фиделя,
всю ту атмосферу впитал.

Наверное, так за границей
рабочие люди глядят,
когда из советской столицы
воротится их делегат.

Он прежний и вроде не прежний,
и брата посланца того,
как мы, изумленно и нежно
все вместе глядят на него.

Первый плуг

По главной площади Гвинеи
под рев толпы и бубен стук,
от наслаждения немея,
несли два черных парня плуг.

Был в плуге этом смысл немалый:
его, до болтика, сполна,
сама, ликуя, отковала
в народной кузнице страна.

Он первым был. И плыл впервые
среди восклицаний и знамен —
мальчишка мирной Индустрии,
предтеча будущих времен.

Вся площадь пела и теснилась,
ей всей казалось неспроста,
что в небе вслед за ним струилась
семян и света борозда.

...Нисколько я не умаляю
других событий и заслуг,
но душу просто умиляет
освобожденья первый плуг.

Мне представляется все чаще,
все больше ум волнует мой
тот плуг, на крылышках летящий
над африканскую землей.

Рязанские мараты

Когда-нибудь, пускай предвзятю,
обязан будет вспомнить свет
всех вас, рязанские Мараты
далеких дней, двадцатых лет.

Вы жили истинно и смело
под стук литавр и треск пальбы,
когда стихала и кипела
эпоха классовой борьбы.

Узнав о гибели селькора
иль об убийстве избача,
хватали вы в ночную пору
тулуп и кружку первача

и — с ходу — уезжали сами
туда, с наганами в руках.
Ох, эти розвальни и сани
без колокольчика, впотьмах!

Не потаенно, не келейно —
на клубной сцене, прямо тут,
при свете лампы трехлинейной
вершились следствие и суд.

Не раз, не раз за эти годы —
на свете нет тяжельше дел! —
людей, от имени народа,
вы посылали на расстрел.

Вы с беспощадностью предельной
ломали жизнь на новый лад
в краю ячеек и молелен,
среди бескорыстья и растрат.

Не колебались вы и мало.
За ваши подвиги страна
вам — равной мерой — выдавала
выговора и ордена.

И гибли вы не в серной ванне,
не от надушенной руки.
Крещенской ночью в черной бане
вас убивали кулаки.

Вы ныне спите величаво,
уйдя от санкций и забот,
и гул забвения и славы
над вашим кладбищем плывет.



В. ЛИПАТОВ

★

СТРЕЖЕНЬ

Повесть

Глава первая

1

Степка Верховланцев лежит на теплом песке. Глядит в небо, раскинув руки. Изредка налетает неслышный порыв ветра, колышет волосы, гладит разгоряченное лицо. На небе — звезды. Крупные, желтые, словно нарисованные на темном полотне; вспыхнув, прочертив небо стрелами, звезды падают в реку. От Оби пахнет рыбой, йодом, свежестью; на плесе горят яркие огни бакенов — красный и зеленый; отблеск их ложится на воду. Тихо. Обская волна мелодично позванивает, словно кто-то пальцами задевает струну. Когда Степка смотрит на реку, ему кажется — берег медленно плывет.

Он осторожно переворачивается на бок, сложив ладони, подкладывает руки под щеку, счастливо улыбается. Спать он не может — от молодости, от воспоминаний, от радости, что лежит на теплом песке, а над ним падают звезды, возле него плещет волной Обь. «Дела как сажа бела...» — шепчет Степка, так как не может молчать, и эти слова ему нравятся. Степке двадцать лет, и он влюблен. Ее зовут Виктория Перельгина. У нее высокие изогнутые брови, широкий лоб, ясные глаза; она гордая, решительная, у нее фигура спортсменки, ходит она стремительно. Виктория — единственная. На всей земле нет такой девушки.

— Виктория! — вслух произносит Степка. Просто невероятно, что в одном слове может содержаться так много; он повторяет его по слогам несколько раз подряд.

Сегодня, проводив Викторию с танцев, Степка увидел ее тень на сиреновой занавеске и счастливо вздохнул. Потом он переехал на левый берег Оби, поняв, что не уснет дома...

Звезды гаснут одна за одной; восток светлеет — над стеной тальника ширится голубоватая полоска, ширится, словно на край неба брызнули капельку синей туши и она расплывается. «Я люблю Викторию!» — шепчет Степка и смущается, словно его подслушали.

Степка Верховланцев — высокого роста, широкоплечий, черноволосый, у него круглое, большеротое лицо с выпяченной нижней губой. Улыбка у него появляется исподволь, осторожно: сперва зажигает глаза, затем трогает полные губы, подбородок с круглой ямкой и уж затем заливает все лицо. Улыбнувшись, Степка долго не может погасить улыбку, словно ему жалко расставаться с ней. Она светится и светится и уходит с лица так же медленно, как и появляется. Когда Степка улыбается, он похож на мальчишку, которому показали чудесный фокус.

Степка ворочается, ежится от радости, ему хочется думать о Виктории, поэтому он гонит все другие мысли и мечты. Но это ему не всегда удается. Он хорошо понимает, что мечты у него ребячьи, глупые, но ничего не может поделать с ними.

Он видит самого себя в белом костюме спускающимся по длинному трапу космической ракеты. Люди в белых костюмах, похожих на развевающиеся тунки, бегут к нему навстречу, восторженно кричат, а он спускается все ниже и ниже, протягивает к ним руки, и они протягивают тоже. Он останавливается и видит, что рядом с ним стоит Виктория, тоже в белой развевающейся одежде.

— Ох, дурной! — очнувшись, ругает себя Степка и укладываетс головой на локоть, чтобы было потверже: может быть, не полезет в голову разная чепуха.

Восток совсем посветлел — видна Обь, покрытая тонкой пеленой тумана, бакены, зеленоватая вода; кажется, что река вздымается вверх, к правому берегу. Там готовится к пробуждению рыбацкий поселок Карташево — уже поднимается из труб тонкий дымок, скрипят калитки, идут в стадо коровы, останавливаясь и поглядывая на реку; женщины спускаются с ведрами к Оби; уходит домой сторож магазина сельпо, мягко ступая валенками по росистой траве. Берег дымится.

Степке кажется, что он все это видит. Он засыпает, сладко причмокивает и улыбается во сне.

А за Карташевом встает солнце. Лучи его поднимаются над кромкой тальников, лижут небо, просветляя его, как пламя горна просветляет кусок черного металла. Небо становится разноцветным: белесое, розовое, красное, малиновое.

В седьмом часу утра остекленевшая Обь издает дробный, цокочущий звук, словно в воде работает гигантская трещотка, которую вертит отчаянный, веселый человек. Это от правого берега, от Карташева, описав навстречу пологую дугу, идет катер рыбаков стрежевого песка — так называют здесь место, где рыбачит бригада. Катер называется «Чудесный». У него на коротком флагштоке вьется голубой вымпел, из трубы выпархивают колечки дыма. Похоже, что «Чудесный» курит папиросу. Он не режет обскую воду, а скользит по ней, как по стеклу.

На бортах катера — рыбаки. В брезентовых спецовках, в зюйдвестках, в глубоких резиновых сапогах, голенища которых привязаны к поясам сыромятными ремнями, они стоят, прислонившись к палубной надстройке, курят и покачиваются вместе с катером.

«Чудесный» приближается к берегу. Насколько охватывает глаз, рыбаки видят пологий песок; за ним — тальники, дальше — небольшая горушка, на ней — высокий осокорь с поломанной верхотинкой, поодаль от него — шест с флагом, а вдоль песка, растянувшись почти на километр, висит на кольях стрежевой невод.

Катер разворачивается и, взбурлив воду обратным ходом винта, резко останавливается. Подтянув голенища сапог, рыбаки прыгают в воду.

2

Первым на Карташевский стрежевой песок спрыгивает бригадир Николай Михайлович Стрельников — полный, солидный человек. Отряхнувшись и басовито прокашлявшись, он озирает берег начальственным взглядом.

— Где Верхоланцев, вот вопрос? — строго спрашивает он невысокого старика; тот стоит позади него, но бригадир не поворачивается к нему. — Нарушение трудовой дисциплины — вот ответ!

— Степка!.. Не должен бы... нарушить. Не должен бы! — говорит старик и часто моргает, словно в оба его глаза попали соринки.

Это самый пожилой рыбак в бригаде, которого все здешние зовут дядя Истигней, по-нарымски произнося его имя Евстигней. У него густые вьющиеся волосы, большой, свисающий с лица нос. Моргает дядя Истигней вследствие полученной на фронте контузии.

— Нарушить не должен бы...— задумчиво говорит он, почесывая переносицу.

Дядя Истигней шагает медленно, осторожно — *кажется*, что он боится причинить себе боль резким движением или поворотом.

— Сам знаю... не должен бы нарушить,— внушительно басит бригадир Николай Михайлович Стрельников.— Вопрос не в том, вопрос — где Верхоланцев?

Дядя Истигней не отвечает. За ним стоит молодой рыбак Виталий Анисимов — тонкий парень с оттопыренными ушами. Он так же внимательно, как и Истигней, осматривался, перед тем как выпрыгнуть из лодки, точно так же вытирал паклей мокрые сапоги, так же — враскачку, медленно — прошелся по берегу и принял точно такую же позу, как и старик.

— Степан не должен бы нарушить...— голосом Истигней говорит Виталий.

— Ну ладно! — вдруг спокойно, как ни в чем не бывало говорит бригадир.— Покеда Степки нет, начнем замет. Ладно, что ли?— спрашивает он старика.

— Добро! — соглашается дядя Истигней.

Рыбаки разделяются на две части — одни идут к неводу, другие готовят выборочную машину.

Все неторопливы, солидны в движениях, все молчат; шагают грузно, косолапо, переваливаясь с боку на бок, словно песок покачивается под ними. Выше всех и всех грузнее Григорий Пцхлава; у него нет зюйд-вестки, вместо нее копна жестких волос, глаза черные-пречерные. Он отлично выбрит, и все же видно, что и на подбородке волосы у него растут черные. Шагая, он прищелкивает языком, чуть приплясывает.

Рыбаки идут цепочкой, друг за другом. Песок хрустит под ногами, ноги вязнут в песке. Освещенные поднимающимся солнцем, тальники становятся ярко-черными, берег, наоборот, светлеет. Обь поголубела, но над ней еще плавают, всасываясь в воду, клочья тумана. Обь шуршит, точно кто-то легонько проводит ладонью по сухому бумажному листу. Рыбаки останавливаются, шагающий впереди дядя Истигней наклоняется к спящему на песке Степке и громко говорит:

— Вот он!

— Вот он! — эхом откликается Виталий Анисимов.

— Барином устроился! — вслух размышляет дядя Истигней с таким выражением на лице, точно он ни капельки не сомневался, что увидит Степку тут, на песке, за крылом невода, а увидев, обрадовался своей прозорливости. Старик улыбается, помигивает, садится на корточки.

Степка лежит на спине, раскинув руки, синий шевитовый пиджак измят, шляпа валяется на песке, губы шевелятся, а распахнутый пиджак обнажает сильную мускулистую грудь; шея у него по-юношески нежная, но крепкая, загорелая. Старик осторожно берет шляпу, стряхивает песок, внимательно рассматривает ее.

— Хорошая шляпа! Кажется, в рыбооповском магазине были такие, — наконец говорит он, ощупывая шляпу своими короткими пальцами, кожа на которых тверда, как подметка.— Из какого материала она, а? — задумчиво спрашивает дядя Истигней.

— Велюровая! — подает голос высокий парень в промасленной рубахе. Его зовут Семен Кружилин, он работает механиком. Лицо у Семена молодое, чистое, а вот поглядишь на его морщинистый лоб — и не верится, что парню немногим больше двадцати. Выражение лица у него такое, словно он решает сложную, огромной важности задачу.

Дядя Истигней продолжает рассматривать шляпу, примеряет ее на себе.

— Хорошая шляпа! — решает он наконец и кладет ее на песок возле Степки.

Перевернувшись на бок, Степка улыбается, подтягивает ноги к груди, втискивает меж колен руки. Хорошо спится парню на теплом песке под утренним солнцем.

— Пусть спит! — говорит дядя Истигней. — Перед заметом разбудим! И рыбаки неторопливо идут дальше — готовить невод к замету.

Стрежовой невод — громадина длиной около семисот метров, однако рыбу им ловят точно так, как ловят обычным неводом: одно крыло заводят в реку, округлив кошелем, ставят поперек ее навстречу стрежи, а береговое крыло вытягивают. Разница только в том, что речное крыло стрежевого невода заводят не лодкой, а катером и выбирают не лошадьми, а выборочной машиной. Второй конец невода привязывается к колу, и на кол этот, медленно ползущий по песку, опирается человек, которого зовут «коловщик». Коловщиком в бригаде работает Ульян Тихий.

3

Коловщик Ульян Тихий подъезжает на обласке — маленькой долбленной лодке — в тот момент, когда все готово к замету невода и рыбаки толпятся возле кромки воды; они молчат, наблюдая, как лодчонка мягко притыкается к песку. Нагнув голову, Ульян сидит на дне обласка, тяжело вздыхает, не зная, выходить ему на берег или нет. Он страдает оттого, что рыбаки молчат. Беда в том, что Ульян не только опоздал на работу — он с великого похмелья. Голова раскалывается на части, тело ноет, в глазах мельтешат зеленые, розовые круги.

— Здравствуйте — смущенно произносит он, не поднимая головы.

— Здорово, парниша! — за всех отвечает дядя Истигней.

Поздоровавшись, Ульян снова не знает, что делать дальше. Зато хорошо знает, как быть и что сказать, бригадир Николай Михайлович Стрельников — он выходит вперед, делает рукой округлый жест.

— Опоздали? На пятнадцать минут? — начальственно спрашивает он. На берегу тишина.

— Опоздали, спрашивают?

— Сам же видишь, что опоздал! — доносится злой и насмешливый голос высокой черноглазой девушки.

Николай Михайлович быстро оборачивается к ней и грозно сводит пышные черные брови.

— Наталья Колотовкина, не заостряй вопрос! Умалчивай! — строго говорит он, потом опять обращается к Ульяну. — Значит, опоздали. Промежду прочим, с вас некоторые пример берут. Верхоланцев сегодня где? Не знаете? А я знаю — нарушает! А почему нарушает? Потому, что берет пример. А с кого берет пример? С вас... Отвечайте, опоздали? На пятнадцать минут? Ну, отвечайте!

— Опоздал! — отвечает Ульян. Он поднимает на бригадира глаза и взгляд его говорит: «Да, опоздал! Ругайте меня, что хотите делайте! Вы правы! Я плохой человек, я опоздал на работу, у меня болит голова, и вообще я спился... Вот какие дела!»

— Ага, признаешься!— вдруг радостно вскрикивает бригадир.— Считаешь критику правильной! Говори, считаешь?

— Считаю,— тихо отвечает Ульян.

— Молодец! Правильно! Критику надо признавать... Говори еще раз — опоздал?

— Опоздал.

— На пятнадцать минут?

— На пятнадцать...

— Правильно! — радостно подводит итог бригадир и победно смотрит на рыбаков, словно просит быть свидетелями этого выдающегося события — вот, дескать, глядите, граждане, опоздал человек, а признается, не запирается, готов исправить свои ошибки перед лицом коллектива.— Правильно! Всегда так делай! — продолжает Николай Михайлович.— Между прочим, Наталья Колотовкина должна учесть этот вопрос. Зачем вступать в серьезный разговор?

— Чихала я! — насмешливо говорит Наталья.

Бригадир отворачивается от нее, снова становится хмурым, важным.

— Становись на место! Ворочай! — приказывает он Ульяну и зычно кричит на весь стрежевой песок:— На замет!

Добродушно посмеиваясь, рыбаки лезут в лодку-завозню, а дядя Истигней, проходя мимо бригадира, на секунду задерживается, как бы мимоходом говорит:

— Ты, Николай, зря на Степку. Здесь он.

— То есть как?! — не понимает Николай Михайлович.

— Спит на песке... Я разрешил не будить. Пусть полентяйничает! — Дядя Истигней улыбается, запахивая брезентовую куртку.

— Вот это вопрос! — ошеломленно вскрикивает бригадир.— Как так спит, когда трудовой день... Немедля разбудить!

Расерянность бригадира, его взлетевшие на лоб кустистые брови вызывают дружный хохот и в лодке-завозне и у выборочной машины. Подергивается от смеха дядя Истигней, грохочет басом Григорий Пцхлава, сверкая зубами, заливаясь Наталья Колотовкина, трясется всем своим большим, грузным телом повариха тетка Анисья. И только Виктория Перельгина — красивая, стройная девушка, работающая учетчицей,— не смеется: строго сдвигает тонкие брови, хмурится, точно хочет сказать, что ничего нет смешного в том, что Степан Верхоланцев спит в рабочее время. Но она ничего не говорит, а решительно поднимается, крупными шагами идет к спящему Степке.

— На замет! — кричит бригадир Николай Михайлович.— Кончай хиханьки да хаханьки! Наташка, кому говорят, кончай,— добавляет он обычным, будничным тоном, каким, наверное, говорит дома.— Наташка, кончай! — Суровое, начальственное лицо бригадира сразу становится добродушным.— Зачинай, парни! — напевно, чисто по-нарымски, кричит он, забираясь в рубку катера.

На мачте, установленной посередине стрежевого песка, поднимается голубой флаг — внимание, началось притонение! Флаг полощется на ветру до тех пор, пока не закончатся замет и выборка невода, и в это время лодки и катера проходят мимо стрежевого песка осторожно, с оглядкой, боясь задеть невод. Капитаны пароходов, если случается им в это время идти мимо Карташева, командуют в переговорную трубку: «Тихай!» А вахтенные подходят к леерам, взглядевшись в берег, вздыхают: «Осетринка!» Пассажиры толпятся на бортах, гадают, спорят приглушенными голосами, идет ли в эту пору нельма или жирный осетр.

«Внимание! Началось!» — полощется на слабом ветерке голубой флаг.

Катер «Чудесный» идет к месту замета невода. В лодке-завозне четверо: дядя Истигней, Виталий Анисимов, Григорий Пцхлава, Наталья Колотовкина. Катер только отчалил от берега, а дядя Истигней уже прицелился в небо подмигивающими глазами, посмотрел, прикинул что-то и после этого вольно развалился в завозне. Проследив за взглядом дяди Истигней, Виталий Анисимов тоже внимательно смотрит в небо, тоже прикидывает что-то, тоже разваливается на неводе. Помолчав, подумав, говорит:

— Скажу тебе, что облак ненадежный. Вон тот! — Он показывает пальцем на легкое облако, повисшее над старым, ободранным осокорем. — Не задул бы волногон! — Слова у него сливаются, текут одно за одним без остановки; там, где полагалось бы поставить точку, он только едва уловимо передыхает. — Дядя Истигней, а дядя Истигней! — невесть почему кричит вдруг Виталий, хотя старик сидит рядом. — Дядя Истигней, а дядя Истигней!

— Ты бы не орал, парниша, — спокойно отзывается старик.

— И то правда, — говорит Виталий. — Чего реветь, коли вы тут... Скажите, дядя Истигней, задует волногон или не задует?

— Это, парень, надо подумать. — Дядя Истигней вновь оглядывает небо, прозрачное облако, которое снизу подмалинено солнцем, а сбоку зеленое.

Потом дядя Истигней хлопает себя по карману, склоняет голову, точно хочет по звуку определить, здесь ли похлопал, и опускает в карман руку, чтобы достать кисет, такой длинный, что, вынимая его, дядя Истигней сначала тянет руку вверх, потом, когда не хватает руки, — в сторону, далеко от себя. Вытащив кисет, он по плечо запускает в него руку, достаёт пригоршню самосада, второй рукой из нагрудного кармана вынимает свернутую газету, тремя пальцами все той же левой руки отрывает кусочек и завертывает самокрутку. Виталий Анисимов внимательно следит за дядей Истигнеем, старается не пропустить ни одного его движения. Рот у парня полуоткрыт, глаза от любопытства блестят, как бусинки.

— Это, парниша, надо подумать, — прикурив, говорит дядя Истигней. — Тут с бухты-барахты не скажешь. Тут сплеча рубить нельзя. На прошлой неделе такая же страма над осокорем висела, а что... Ты говорил задует, а что...

— Не задул! — огорчается Виталий.

— То-то! С кондачка, парень, нельзя, — все так же медленно продолжает дядя Истигней, но после этого еще раз глядит на облако, потом на тальники, затем вздыхает, чтобы набрать в легкие побольше воздуха, и, выдохнув, решительно говорит: — Три дня не будет ветра. С понедельника, думаю, задует!

Сделавшись серьезным, сосредоточенным, дядя Истигней поднимается, проходит по завозне к рубке катера, который держит лодку «под руку», как выражаются речники. Он наклоняется, зовет: «Николай!» Стрельников высовывается из окошечка, слушает дядю Истигней, согласно кивает головой. Затем старик возвращается на место, выбросив за борт недокуренную папиросу, зорко осматривает невод, завозню, рыбаков, Обь. Люди следят за дядей Истигнеем, тоже становятся серьезными, и даже с лица Наталья Колотовкиной сходит насмешливое выражение — она подбирается, ту же натягивает зюйдвестку, а Григорий Пцхлава шепчет что-то про себя.

— Глядите! — Дядя Истигней показывает на высокий ободранный осокорь. — Луч коснулся вершинки?

— Коснулся, — почтительно отвечает Виталий.

— Значит, можно начинать! Есть у меня такая примета... Правда, солнце каждый день меняет положение, но вы примечайте. Смекаете?

— Смекаю! — говорит Виталий. — Смекаю!

Солнце уже поднялось над горизонтом — тальниками, все залито желтым светом; песок и река точно слились. Пересекающая реку лодка кажется погрузившейся в расплавленный металл.

— Начнем, товарищи! — говорит дядя Истигней, сдвигая на затылок зюйдвестку.

Принайтовленная к катеру завозня скрипит, валко покачивается, коричневым потоком из нее льется тяжелый невод, постукивая о борта гулкими поплавками и тяжелыми грузилами. Как только невод начинает струиться в реку, неторопливые движения рыбаков становятся стремительными.

Сейчас нельзя зевать — минута промедления, малейшая ошибка могут привести к аварии; если кто-нибудь замешкается, не выдаст вовремя кусок дели, невод запутается, туго натянутый катером, порвется. Бывали случаи, когда невод вырывало из завозни, а вместе с ним человека; бывало и так, что рыбаки возвращались на берег с двумя половинками невода; случалось, что невод тонул, оторвавшись от завозни. И, чтобы не было несчастья, рыбаки работают быстро, не оглядываясь, не переговариваясь, забыв обо всем на свете, кроме рвущегося из рук полотна невода.

Гудит мотор катера, плещет волна, постукивают поплавки и грузила. Трудно рыбакам. Дядя Истигней вдруг охает и закусывает губу: удавило поплавок. На большом пальце ярко выступает кровь, но вода сразу же смывает ее. У Натальи Колотовкиной сцепились поплавки, невод остановился, завозню дернуло. Наталья, выругавшись, припрыгнула на месте, повиснув над водой, отцепила; дядя Истигней только повел глазами, но ничего не сказал. А секунду назад он был готов броситься к Наталье на помощь.

В рубке катера впился руками в штурвал бригадир Стрельников. Только от него зависит, хорошо ли будет поставлен невод на реке: он может завалить его полой дугой, может смять кошель, может так вытянуть, что рыбаки ничего не поймают. Это великое искусство — ставить невод на Оби, которая несется навстречу катеру, бурлит под его острым и вздернутым носом, всей силой стрежня хватается за днище и борта. Никаких примет, никаких ориентиров нет у бригадира — только чувство пространства, невода, силы течения.

«Чудесный» идет по дуге, за ним остается ровная крутая линия, состоящая из поплавков; она, точно пунктир на реке, обозначает место стоянки невода. Стрельников смотрит на поплавки — невод поставлен стлично. По лицу бригадира видно, что он доволен собой и полон радущия. Но вот катер поворачивает к берегу, и, хотя самое трудное осталось уже позади, лицо бригадира опять становится строгим, начальственным.

— Стоп! — басом командует он, да зря: механик Семен Кружилин уже сбавил обороты мотора, приостановил обратным ходом винта бег катера к берегу и, высунувшись из иллюминатора машинного отделения, придирчиво озирает работу бригадира. Тот командирски покрикивает: — На машине! Не зевать! — И опять зря. Семен Кружилин, каким-то образом уже оказавшийся на стрежневом песке, пальцем прикасается к белой выпуклой кнопке, подкручивает винты, гремит рычагами, и выборочная машина, гулко хлопнув дымным колечком, оживает.

Вслед за Кружилиным из завозни выбирается дядя Истигней, на ходу заматывающий окровавленный палец большим носовым платком. Горопсь к выборочной машине, дядя Истигней догоняет Виталия Анисимова, обнимает за плечи.

— Виталий! — говорит старик. — Завтра солнце должно сесть на один сучок ниже... Гляди на осокорь!

Удивленно Виталий смотрит на осокорь.

4

Степка видит во сне, что он сходит на землю с белого космического корабля. Рядом с ним идет Виктория, наклоняется к его плечу, говорит: «Вставай, Степан! Вставай!» Он не может понять, что она хочет сказать этим, улыбается, берет Викторию за руки... и просыпается. Над ним стоит Виктория, слышен гул мотора, плеск обской волны.

— Как не стыдно! — сердито говорит Виктория. — Позор!

Солнце позади Виктории, поэтому ее волосы кажутся золотыми — вокруг головы точно ореол; не совсем проснувшегося Степке она кажется сказочно красивой, воздушной, парящей над ним; ему трудно понять, продолжается ли сон или это уже явь, и он счастливо шепчет: «Виктория! Какая ты! Виктория!»

— Позор! — говорит она. — Валяешься на песке, когда все работают!

До сознания Степки с трудом доходит, что он лежит на берегу. Он снова закрывает глаза, крепко-крепко зажмуривается и только после этого приходит в себя — колючая мысль бьет в висок: «Проспал!»

— Виктория... — смущенно говорит Степка, вскакивая на ноги.

— Позор! — повторяет Виктория, резко поворачивается и уходит, оставляя на песке ровные, четкие следы. На ней чистая, аккуратная спецовка, шелковая косынка. Степка же в измятом, запыленном пиджаке, брюки гармошкой, шляпа валяется на песке.

Парень понимает, как смешон и жалок он в глазах Виктории, и лицо его заливается краской, багровеет даже шея. «Охо-хо!» — восклицает Степка, глянув на часы. Половина восьмого — это он продрых бог знает сколько! Ба! Катер «Чудесный» уже стоит у берега, дядя Истигней мерит песок крепкими ногами, под навесом собрались женщины, сидит возле выборочной машины Семен Кружилин и, как всегда, читает книгу, вынутую из-под ремня. Батюшки! Солнце уже висит над средними ветками старого осокоря, а на мачте полощется голубой флаг Карташевского стрежевого песка, и на плесе, далеко-далеко, тихонько пробирается берегом белый пароход «Рабочий».

Проспал!

— Виктория! — зовет Степка.

Девушка не оборачивается. Такая уж она — строгая. Он провожает ее взглядом и улыбается. На душе у него еще немного тоскливо, но ему уже хочется опять счастья.

«Пустяки, что проспал!» — думает Степка. Он выкидывает руки в стороны, приседает, поворачивается лицом к реке, глядит на нее, улыбается. Хороший будет денек! Одно-единственное облако плывет над старым осокорем. Вокруг него синее небо, усыпанное малиновыми и бордовыми точечками.

— Ого-го! — кричит Степка, срываясь с места. Бросается в землянку, хватая чьи-то старые брюки, натягивает их, смятый выходной костюм сваливает кучей, шляпу забрасывает; ошалев от радости, выскакивает наружу. Уже на бегу Степка соображает, что лучше было бы миновать сидящих под навесом женщин, обежать сторонкой, но мысль об этом приходит слишком поздно — стряпуха тетка Анисья, заметив Степку, машет ему, кричит:

— Сюда, Степушка, сюда! Иди, голубчик!

Перейдя на шаг, Степка опасливо косится на тетку Анисью, рядом с которой сидит Наталья Колотовкина, заранее насмешливо улыбаясь.

Здесь же пристроилась Виктория — перебирает бумаги, гремит костяшками счетов. На Степку она не смотрит, однако он понимает, что Виктория ждет, что он, Степка, будет делать.

— Некогда! — отмахивается он от стряпухи, собираясь промчаться мимо, но толстая, в два обхвата, тетка Анисья преграждает ему дорогу.

— Здравствуй, Степушка! Здравствуй, голубок! Ить разбудили миленького, не дали поспать... Иди сюда, Степушка, иди! Накормлю я тебя, голубчика! Шанежки есть, пирожки, молочка дам. Иди, милый, поешь, молочка попей! — Она замолкает и вдруг, будто по секрету, сообщает: — Надьсь к твоей матери заходила, так она спрашивает, как, дескать, Степушка, хорошо ли ест... — И снова поет жалостливо: — Накормлю я тебя, сиротинушку!

Виктория низко сгибается над бумагами, ожесточенно гремит костяшками счетов. Степка понимает, что девушка сердится, наверное, стыдится за него, потому и не смотрит, отворачивается. Он краснеет, рвется уйти, но тетка Анисья не отвязывается от него. Степка рвется влево — она тоже, Степка вправо — она туда же.

— Попей молочка, Степушка! Шанежек отведай, миленочек!

— Попей молочка, теленочек! — дразнится Наталья Колотовкина. Голос у нее грубый, хриплый. — Засоня! — говорит она, лениво поднимаясь с табуретки. Отстранив плечом стряпуху от Степки, Наталья с силой толкает парня рукой. — Вали, куда пошел! Вали! А ты, тетка Анисья, тоже проваливай — нашла время! — На Степку Наталья не смотрит, усмехается: — Иди работай, не помрешь до обеда!

Отбежав от тетки Анисьи, Степка оборачивается и видит, что Виктория смотрит на него сердитыми блестящими глазами: «Позор! Стал объектом насмешек!» От этого взгляда Степка пятится.

Тетка Анисья сокрушенно вздыхает, садится на самодельный табурет и, широко расставив могучие ноги в тяжелых сапогах, принимается чистить картошку. Ловко снимая картофельную шелуху, она, будто про себя, говорит:

— Эта холера, то есть Наталья, побей ее гром, не дала ить покорить Степушку! А он что — он в пище нуждается! Сегодня не поел, завтра не поел, послезавтра... Что получится? Ослабнет! А парень он молодой, в костях еще слабый, в грудях несокрепший. Работа, конечно, тяжелая, потягай-ка эту заразу, этот проклятуший невод! Потом возьми другое — парень он молодой, по ночам, конечно, с девками шарится по улицам, не спит...

После этого тетке Анисье надо немного передохнуть, она косится на Викторию, на Наталью и снова продолжает:

— Ему хорошая питания нужна... Девки до Степки прилипчивые. Глаз у него светлый, волос курчавый, сам сильный, здоровущий. Одним словом, парень завидный. Намедни, это, иду из бани, гляжу — Степка, а рядом барышнешка попискивает. Мать родная, думаю, с кем это он? Глядь, а он вот с ней, вот с ней самой! — радостно говорит тетка Анисья, бесцеремонно тыча пальцем в сторону Виктории. — С ней он, милай! Ну ладно, поглядела я, постояла, дальше пошла, потому надо было перец у Мефодьевны взять... Мой ведь, подлец, холера, ни за что осетрину не станет без перца жрать. Ни за что! Ну, конечно, взяла перец, иду это, а они обратно стоят у городьбы и вроде обнимаются...

— Прекрати! — поднимаясь, грозно вскрикивает Наталья. — Прекрати, кому говорят...

— Ты мне рот, конечно, не затыкай. Вот, значит, смотрю, а они вроде обнимаются...

Наталья крепко хватает стряпуху за плечи.

— Прекрати, тетка Анисья, добром прошу!

Не выдерживает и Виктория Перелыгина: оторвавшись от бумаг, передергивает узкими плечами.

— Какое вам дело, товарищ Старикова, до наших отношений? — сердито говорит она. — Зачем вы сплетничаете?

— Мне, милая, до всего есть дело! — не пугается стряпуха. — Я, милая, в Карташеве родилась и помру, а ты здесь без году неделя... Ну вот, смотри, они, значит, вроде обнимаются...

Усмехнувшись, Наталья Колотовкина прикрывает рот стряпухи жесткой ладонью.

— Вот как! — удовлетворенно говорит она.

Наталья высокая, крепкая; у нее прямые плечи, сильные руки, крутые бедра, а лицо мужское, нос с высокой горбинкой.

— Молчи, молчи! — усмехается она, отнимая ладонь от губ стряпухи, которая почему-то не сердится на нее, а, получив возможность говорить, немедленно обращается к Виктории:

— Я, девка, тебя видела и всем скажу, что видела. Я такая — правду в глаза режу! Степка, конечно, человек для тебя завидный. Он для тебя...

Она не успевает закончить фразу, как раздается голос бригадира:

— Женщины! К берегу!

Они бросаются к реке. Близок самый волнующий момент — выборка из воды огромной мотни стрежевого невода.

5

Тарахтя, поскрипывая, работает выборочная машина; кроме ее гудения — ни звука. Выстроившись вдоль невода, рыбаки помогают машине: аккуратно укладывают поплавки, грузила, выравнивают дель, тетиву. Они снова сосредоточены, молчаливы, солидны, и даже Степка Верхоланцев притих: закусив губу, приглядывается к выходящему из глубины неводу. Болтать языком во время выборки невода запрещено рыбацкой традицией; грех тому, беда, кто забудется, проболбонит что-нибудь громко! Медленно-медленно повернется к нему дядя Истигней, смерит с ног до головы взглядом. «Захлебнись!» — непременно скажет он, да так, что у человека действительно перехватит в горле.

Бывалые обские рыбаки, особенно пожилые, — люди суеверные. До сих пор некоторые из них верят, что выпущенная из мотни рыба разносит по реке весть о появлении человека и по этой причине осетры и нельмы обходят песок; не только пожилой рыбак, но и мальчишка — от горшка два вершка — зло обругает прохожего, коли тот поинтересуется, сколько поймали рыбы; многие верят и в счастливую нитку невода, и в счастливые поплавки, и во все прочее.

Вот почему на берегу стоит благоговейная тишина.

Выборочная машина все туже затягивает кошель верхней тетивы, круг поплавков сжимается, в неводе, там, где мотня, раздается бульканье, иногда вода точно закипает.

Можно всю жизнь проработать на промысле, и все равно не будешь равнодушным, когда кишашая рыбой мотня показывается из реки; трудно в этот момент не выказать радости, не засуетиться, поэтому рыбаки заранее стараются сделать вид, что ничего особенного не происходит, что все обычно, буднично. Дядя Истигней, для того чтобы придать себе скучающий вид, сует в рот самокрутку.

— Приготовились! — негромко предупреждает он.

Рыбаки хватаются за невод, отклонившись назад, упираются ногами в песок, чтобы по команде старика единым порывом выдернуть невод на пологий берег.

— Приготовились,— шепотом повторяет дядя Истигней, так как над мотней невода радугой светятся брызги и обская чайка-баклан уже выплывает над водой косую дугу, кидается к мотне.

Степке Верховланцеву спокойствие не удается — он приплясывает в воде, то краснеет, то бледнеет, дышит неровно, руки его дрожат от нетерпения.

— Пошел! — кричит дядя Истигней.

И весь берег мигом оживает: рыбаки улюлюкают, свистят; Григорий Пцхлава колотит веслом о воду; Степка бьет воду ногой, кричит «ура». Они стараются оглушить рыбу, испугать, чтобы она не выскочила из мотни.

— Уай! — орет берег.

Подхваченный сильными руками, невод с мотней вылезает на песок; в брызгах пока трудно разглядеть, много ли рыбы в клубящейся, обросшей тиной мотне. Уже не один баклан, а десятки со злыми криками носятся над берегом, над головами рыбаков, прицеливаются клювами на мотню, а рыбаки все орут, колотят по воде веслами, ногами. Но вдруг все стихает. Далеко забросив недокурную самокрутку, дядя Истигней проходит к мотне, наклоняется и равнодушно сплевывает.

— Мелочишка! — говорит он. — На варево не будет! — Повернувшись, он выходит из круга рыбаков, садится на песок, снимает сапоги и начинает разматывать портянки.

К мотне кидается Степка; заглянув в нее, всплескивает руками, оглашенно кричит:

— Осетры!

— Осаживай, осаживай! — ворчит дядя Истигней, но мотня уже на берегу, и теперь рыбацкая традиция не запрещает радоваться.

Рыбаки расцветают улыбками — улов отличный! Среди желтобрюхих стерлядей, жирных налимов и брюхатых подъязков темнеют четыре осетра. Вытащенные из воды, они ведут себя так, словно и не их вытащили на желтый горячий песок, а бревна.

— Мелкие осетры! — говорит дядя Истигней, рассматривая на свет портянку и качая головой. — Ишь, прохудилась! — Потом разглядывает портянку с другой стороны, опять сожалеюще вздыхает: быстро изнашиваются в резиновых сапогах. Наконец начинает накручивать. — Мелкие осетры! — упрямо повторяет он, хотя в каждой рыбине килограммов двадцать.

И именно к осетрам, не обращая внимания на другую рыбу, прибирается приемщица Виктория Перелыгина. Рыбаки уважительно пропускают ее, так как она сейчас тут высшая власть, представительница Обского рыбозавода. Виктория взвешивает и принимает рыбу, определяет сортность, ведет записи в толстом журнале, который носит всегда при себе и показывает только Николаю Михайловичу Стрельникову для сверки. Глазами Виктории Перелыгиной на рыбу смотрит государство, и от имени государства она властно приказывает:

— Налимов — в воду! Выбрасывайте!

Лов налимов на Оби в этом году запрещен.

Еще никогда не было такого строгого приемщика рыбы, как Виктория Перелыгина. Она не позволит взять недомерка, выбросит из мотни небольшую стерлядку, а о налимах и говорить не приходится — в воду! Рыбаки не спорят. Они уважают Викторию за твердость, деловитость,

решительность. Дядя Истигней с первых дней работы Виктории одобрил ее действия.

Сейчас, завертывая вторую портянку, он говорит:

— Правильно, строгий контролер! Выбрасывай налимов!

Здоровенные, жирные налимы летят в реку; плюхнувшись, замирают на месте и так стоят несколько секунд, не веря в избавление; потом — крутой заворот хвоста, стремительный изгиб спины, и на поверхности остается только небольшая завивающаяся воронка. Рыбаки радостно смеются:

— Обрадовался, леший!

— Теперь, холера, до Томска махнет!

Степка подбегает к дяде Истигнею, говорит просительно:

— Проспал я, дядя Истигней! Больше не буду! — Он прижимает руки к груди. — Вот честное слово, больше не будет этого, дядя Истигней.

— Дело молодое! — говорит дядя Истигней. — Ты не волнуйся, пустяки. Мало ли что бывает! Парень ты молодой... — Он протягивает Степке руку. Тот поднимает старика с песка, и дядя Истигней говорит: — Пойдешь на замет... За меня.

— Пойду! — радостно кричит Степка.

Дядя Истигней усмехается:

— Шемела! Ну иди, иди! — И он легонько похлопывает Степку ладонью по выпуклой груди.

Выпущенным на луг жеребенком Степка летит по песку. Велика ли беда, что проспал полчаса, что без него начали замет, — пойдет сейчас в завозне, будет работать хорошо; второй замет даст столько же рыбы, и он станет опять тянуть невод, опять кричать вместе со всеми, когда выйдет на берег мотня, опять испытает счастье оттого, что отлично идет работа, а день солнечный, яркий, теплый и над песком полощется голубой флаг.

— Виктория! — кричит Степка, подбегая к девушке. — Иду на замет! Вместо дяди Истигнея.

Она, низко склонившись над тетрадь, записывает улов.

— Иду на замет! — тормозит ее Степка.

— Пожалуйста! — недовольно передергивает плечами Виктория. — Если тебе доверяют... Я бы не сделала этого!

— Доверяют, доверяют! — восторженно орет он. — Дядя Истигней сам сказал.

Наконец она поворачивается к нему, сдвинув брови, разглядывает его рваные брюки, испачканную выходную рубаху, галстук, который Степка забыл снять.

— Сними галстук, — строго говорит Виктория, и он послушно срывает его. — И не стыдно! — укоряет Виктория. — Грязный и растерзанный, как этот... — Она как бы с трудом вспоминает. — Как Ульянов Тихий!

Степке достаточно того, что она заговорила с ним, он бежит к завозне.

— Начинаем! — командует бригадир Стрельников.

— Начинаем! — восторженно откликается Степка.

Солнце уже ушло далеко от горизонта, стало белесым, а небо темнеет, воздух неподвижен, и только марево струится над песком. Обь сейчас просматривается отлично. Глазу открывается широкое течение реки, Пойма, луга, черные тальники, небольшая зеленая горюшка; за далечной Оби снова синее Обь, сделавшая такую крутую петлю, что берега едва не сомкнулись. На повороте река как море. Взгляд не может соеди-

нить разом оба берега, на каждый надо смотреть врозь — вот как широка Обь.

Коловщик Ульян Тихий, придерживая руками березовый кол, бредет вдоль берега. Шагает он вяло, расслабленно, поматывая головой, как уставшая лошадь. Тяжело у него на душе, и голова все еще трещит.

Вчера вечером Ульян Тихий напился до одурения, до беспамятства, свалился на траву возле поселковой чайной, проспал до утра, а проснувшись, долго не мог понять, где находится, и от тоски, от великой немочи во всем теле тихо стонал. Теперь он не помнит, с кем пил, на какие деньги, что говорил, что делал. Тоскливо и жалобно глядит он на швартующийся в это время «Рабочий».

«Опохмелиться бы!» — безнадежно думает Ульян. Денег у него нет уже давно, все пропито: спецовка, новые бродни, новый брезентовый плащ. Утром он ничего не ел и есть не хочет, а коли не опохмелится, то не станет есть и за обедом — ковырнет вилкой жирную осетрину и отвернется.

Понура бредет Ульян.

Одежда на нем грязная, рваная, рубахи под пиджаком нет, вместо бродней — старые, разбитые сапоги.

Пароход «Рабочий», подходя к Карташеву, поворачивается, становится вдоль реки. Теперь он кажется таким большим, ослепительно белым и красивым — просто волшебство какое-то! Проходит еще минута, и пароход заливается музыкой: речники включают радио.

«Ой-ой!» — стонет Ульян Тихий, закрывая глаза, чтобы не видеть белый пароход. Он не может больше смотреть на него.

Когда-то Ульян Тихий плавал на «Рабочем», ходил по его верхней палубе, стоял за его штурвалом, носил фуражку с золотым «крабом» и черные, широкие внизу. брюки. Говорят, что он был хорошим штурвальным — капитаны и помощники признавали это, а капитан-наставник Федор Федорович говорил, что со временем из Ульяна выйдет лучший штурвальный на Оби. Да, так говорил он. А что получилось?..

«Извините, люди!» — с этим застывшим на лице выражением Ульян Тихий волочит по песку кол. В груди его ощущение безнадежности и непоправимости случившегося. После того, что произошло с ним на пароходе, он сам не заметил, как пристрастился к водке, привык глотать ее стаканами. Чувствует Ульян — спутала, связала его по рукам и ногам водка, не вырваться, не убежать от нее, как не убежать от самого себя.

Пароход «Рабочий» пристает к дебаркадеру.

Тяжело навалившись телом на большой березовый кол, к которому привязан многопудовый невод, Ульян Тихий страстно желает одного — опохмелиться. Стакан бы водки ему! Нальется силой тело, облегчится дыхание, пройдет головная боль; мир покажется светлее, добрее, просторнее, захочется двигаться, думать и жить. Но нет водки. Придется Ульяну мучиться весь длинный, как год, день. «Плохи дела!» — тоскливо думает он.

— Эй ты, пьянчужка, алкоголик несчастный! — раздается позади Ульяна насмешливый, злой голос.

Он поворачивается, видит Наталью Колотовкину.

— Здравствуй! — растерянно произносит Ульян.

Наталья, презрительно окинув его взглядом с головы до ног, сердито взмахивает рукой и уходит под навес, где все еще чистит картошку тетка Анисья. Там она что-то прячет в карман, затем нагоняет Ульяна, грубо хватая его за плечо.

— Пьянчужка! Ты ведь кол выронишь!

— Не должно быть, — шепчет Ульян, улыбаясь жалкой улыбкой: «Ругайся, правильно! С похмелья я, болею! Прости!»

Сунув руки в карманы спецовки, Наталья идет рядом, кривит пухлые, яркие губы, передразнивает и ругает Ульяна:

— Не должно быть! Трясешься весь, алкоголик! Вот выронишь кол, что будет? Опять начинай замет, да?

«Ругайся, правильно, верно! — говорят и поза, и руки, и склоненные плечи Ульяна.— Права ты — пропащий я человек! Так и надо меня, пьянчужку».

— Навязали на нашу голову пьяницу! — зло продолжает Наталья.— Нальет с вечера зенки, а потом беспокойся, что он дело провалит! Ты не думай, что я о тебе переживаю — по мне ты хоть запейся! Я за бригаду болею.

— Знаю.— Ульян вздыхает. Он согласен, что не стоит переживать за него.— Конечно, не за меня!

— Еще не хватало! — усмехается Наталья.— На черта мне сдался такой алкоголик! Холера, пьянчужка! — Она еще раз машет пальцем перед носом Ульяна.— Запомни, это последняя! И не из-за тебя, из-за бригады.

И, отвернувшись, сует ему в руку чекушку водки.

— Залей зенки, пьяница! У, ненавижу!

Разгневанная, она убегает от Ульяна, а он глядит на водку. Зрачки его расширяются, в них загорается огонек, губы шевелятся, словно он уже пьет, а ноздри большого носа раздуваются. Как-то странно — хрипло, задумчиво — засопев, придерживая одной рукой кол, Ульян вынимает картонную пробку...

Через несколько минут, повеселевший, выпрямившийся, он легко идет по песку, резво переставляя ноги в разбитых, грязных сапогах. Наталья Колотовкина настороженно следит за ним.

7

По вековой традиции обских рыбаков, первого пойманного осетра валят в общий котел.

Котел на Карташевском стрежевом песке объемист, он установлен на самодельной печурке, под которой жарко пылает костер. Осетра полагается варить с перцем и лавровым листом, целеньким, а коли он икрайной, то икру готовить отдельно, в специальной посудине.

Ровно в час дня тетка Анисья бьет деревянной колотушкой в доньшко алюминиевой миски, кричит на весь берег:

— Снедать пожалуйста! Снедать!

Закончившие очередное притонение рыбаки веселеют от этого зычного зова. Семен Кружилин выключает выборочную машину, Стрельников машет рукой. Живо сбросив зюйдвестки и брезентовые куртки, рыбаки склоняются над Обью, чтобы умыться. После этого идут под навес, где установлен обеденный стол с длинными деревянными лавками. И стол и лавки тетка Анисья за полчаса до обеда окатила горячей водой, потом выскоблила острым широким ножом. От этого они ярко блестят.

Николай Михайлович Стрельников садится первым на свое почетное, бригадирское место, по сторонам — рыбаки, разместившись по возрасту и авторитету. Дядя Истигней, например, устраивается рядом с бригадиром, Степка Верхоланцев — много дальше, а Ульян Тихий — на кончике стола. Сидят тихо: обед на промысле такое же важное и ответственное дело, как и выборка невода. Во время обеда тоже не полагается болтать лишнее. Перед рыбаками большие алюминиевые миски, а в руках деревянные ложки, расписанные хохломскими завитушками.

Бригадир за столом не командует, не важничает. Он изображает собой доброго отца большой дружной семьи.

— Ну, Анисья, на стол мечи, что есть в печи! — милостиво говорит он и довольно улыбается. Николай Михайлович любит всякие присказки. После обеда он обязательно скажет: «После сытного обеда, по закону Архимеда...»; если кто-нибудь чихнет, непременно вставит: «Спичку в нос!»; коли кто курит дорогую папиросу, выскажется так: «Метр курим, два — бросаем!»

Тетка Анисья, раскрасневшаяся и отчаянно деловитая, наваливает в миски нежные сиреневые куски осетрины, отдельно ставит вареную картошку — сначала бригадиру, потом дяде Истигнею, потом прочим. Николай Михайлович внимательно следит за нею, наблюдает, чтобы все было чин чинном. Иногда он одобрительно кивает. Но странно, рыбаки на бригадира обращают мало внимания: они следят не за ним, а за дядей Истигнеем. Он первым погружает ложку в миску, зацепив большой кусок осетрины, обдувает его, затем, попробовав, прикрывает глаза, как бы говоря: «Ничего! Ешьте, ребята!» И они неторопливо приступают к обеду.

Если разобраться, то дядя Истигней настоящий бригадир, хотя он никогда ничего не приказывает. Если нужно сделать что-то, он идет и делает, и за ним то же самое делают остальные. Дядя Истигней давно бы мог стать бригадиром, ему не раз предлагали занять эту должность, но он уклоняется, посмеиваясь, говорит: «На счетах не умею! Это вы — прокуроры!» В слово «прокурор» дядя Истигней вкладывает свой, очень широкий смысл.

Николай Михайлович Стрельников на счетах работает бойко.

— Кушайте, миленькие, снадайте, робятушки! — поет тетка Анисья. — Ешьте на здоровье! Не робейте!

Рыбаки, конечно, не робеют. Аппетит у них отличный, злой, и никто не боится переест. Через полчаса после обеда хоть снова садись за стол, хоть снова вали в котел осетра... По Оби идут пароходы, река живет, солнце старается вовсю, рейсовый самолет пронесется над Карташевом, а рыбакам нет до них дела. Они обедают. Не много их, этих рыбаков, но все они — в общем-то, конечно, разные — чем-то похожи друг на друга. Чем — сказать трудно. Манерами, обветренными лицами, крепкими фигурами, конечно!

Но главное не в этом, а в том, что они равны по положению, по труду, по заработку, по всему укладу жизни. Только Григорий Пцхлава, Ульянов Тихий и Виктория Перелыгина родились не в Карташеве, остальные родились и выросли здесь. Иные — до Советской власти, иные — в годы революции, иные — до Отечественной войны, иные — в годы ее. Дядя Истигней хорошо помнит томского купца Кухтерина, что скупал на Оби рыбу; Степка Верхоланцев о Кухтерине ничего не знает; дядя Истигней воевал под Москвой, Степка тогда был мальчишкой. А вот сейчас они до удивления похожи. Если не глядеть на лица, то можно подумать, что братья склонились над мисками — похожи спинами, шеями, затылками с вьющимися черными волосами.

— Спасибо, Анисья, наптался! — говорит дядя Истигней, осторожно положив на стол ложку. Потом разглаживает пальцами густой вихор на затылке. Волосы у старика неподатливые, завитые мелкими колечками.

Сразу же после дяди Истигнея кладут ложки остальные рыбаки, так как считается неприличным есть после того, как кто-нибудь кончил. Нарымские хозяева, приглашая в гости, учитывают это — сам хозяин ест до тех пор, пока не уверится, что гость сыт, только тогда хозяин положит ложку.

— Спасибо! — благодарят рыбаки.

После обеда полагается полчаса отдохнуть. Семен Кружилин с размаху валится на голый песок; дядя Истигней, выматривая удобное местечко, чтобы прилечь, загадывает телогрейку; Степка Верховланцев об отдыхе не думает — глядит на Викторию, а та смотрит куда-то мимо него. Лицо у нее какое-то напряженное. И вдруг она встает, высоко вскидывает голову, звонко произносит:

— Товарищи! Минуточку!

Девушка она высокая, а навес над столом низкий, и она почти упирается головой в крышу. Это ее, видимо, стесняет, и она выходит из-под навеса, оборачивается к рыбакам.

— Товарищи, поговорим! — продолжает она так же звонко. Теперь она может свободно вытянуться во весь свой рост, свободно жестикулировать. Видно, что она умеет держаться перед людьми — не смущается, не робеет, стоит прямо, спокойно и, высоко поднимая правую руку, делает ею широкий ораторский жест.

Рыбаки готовы слушать ее. После сытного обеда они настроены благодушно; они довольны отдыхом, едой, друг другом, ярким солнцем, прошедшей половиной рабочего дня и тем, что хорошая погода обещает стоять долго и что дядя Истигней сегодня предсказал отличный лов на ближайшие дни. Рыбаки вообще люди чуточку самодовольные — они уважают себя за то, что работают на стрежевом песке, который дает много рыбы, они гордятся своей работой, любят ее. «Говори!» — глазами просят они Викторию. Она девушка грамотная, знающая, умеющая говорить. Видимо, по этой причине дядя Истигней отказывается от намерения придремнуть десяток минут. Он кладет телогрейку рядом с собой, садится на прежнее место. «Начинай!» — просит он Викторию и глядит на нее с любопытством.

Виктория Перельгина работает всего третий месяц. Не много, но она быстро освоила дело, стала хорошей приемщицей рыбы. Рыбаки, конечно, знают, что на стрежевой песок Виктория пошла оттого, что в Карташеве работать больше негде, а ей нужно до института получить рабочий стаж, но это не причина для того, чтобы как-то по-иному относиться к девушке, тем более что она работает хорошо, старательно. Собственно, и Семен Кружилин, и Степка Верховланцев, и Наталья Колотовкина тоже учатся в вечерней школе и, кто знает, не пойдут ли после окончания в институт.

«Говори, Виктория!» — Степка Верховланцев влюбленно смотрит на девушку, не сомневаясь в том, что она скажет что-нибудь интересное, хорошее, нужное.

«Начинай!» — ждут рыбаки.

— Предоставляю слово! — радостно объявляет бригадир Николай Михайлович, поспешно придвигаясь к Виктории.

— Я хочу поговорить о производственных делах, — говорит девушка. — Все ли у нас обстоит благополучно? Все ли производственные возможности мы исчерпали?

Рыбаки переглядываются — вот что! Все ли у них благополучно? Виталий Анисимов смотрит на дядю Истигнея, точно спрашивает у него: «А все ли благополучно?» — на что дядя Истигней не отвечает — он весь внимание и даже перестает моргать. Молчат и другие, а Николай Михайлович выдвигается вперед, становится рядом с Викторией, принимает важный вид.

— Продолжайте, товарищ Перельгина! — чужим, официальным тоном говорит он. — Какой, конкретно выражаясь, вопрос вы хотите поставить перед коллективом?

Бригадир Стрельников доволен, потому что он несколько раз пытался провести производственное совещание, но ему как-то не удавалось это. Правда, рыбаки охотно собирались, садились в кружок, сохраняли тишину и порядок, но не было той чинности, торжественности, которые были на собраниях рыбаков в поселке. Николай Михайлович выступал, нацеливал рыбаков на выполнение и перевыполнение плана, словом, делал все, что полагалось делать в таком случае, но вот самое главное — прения — не получалось. Внимательно выслушав бригадира, рыбаки говорили: «Понятно! Разъяснил!» — и точка. Прений не было. Правда, перед тем как Стрельников однажды закруглял собрание, дядя Истигней вдруг вспомнил, что на рыбозаводский склад поступили грузила новой конструкции. И как-то само собой получилось, что рыбаки приняли решение командировать бригадира за грузилами. Потом Семен Кружилин потребовал бензин с высоким октановым числом, чем собрание и кончилось.

Сегодня иное. Товарищ Перелыгина сама попросила слова, сама поднялась с места, и рыбаки насторожились. Все это очень и очень похоже на всамделишные прения. Потому Николай Михайлович напрасно пытается скрыть радость. Он важно заявляет:

— Продолжайте, товарищ Перелыгина.

— Товарищи, отнесем к себе критически, — громко продолжает Виктория. — Посмотрим как бы издалека на нашу работу. Мне думается, что мы работаем недостаточно высокими темпами.

Рыбаки громко передыхают и разом поворачиваются к дяде Истигнею, который сидит по-прежнему спокойно, курит длинную самокрутку. Рыбаки не знают, что сказать, что подумать, — такого, пожалуй, еще никогда не было здесь: никто не говорил таких слов, никто не упрекал их в том, что они медленно работают. Все это бывало, но не здесь, а на собрании в поселке, когда приезжало рыбозаводское начальство. Но там рыбаков Карташевского стрежевого песка всегда называли в числе передовых. Бывало, верно, что осрамятся, не выполнят плана, но принажмут, приналягут — и, смотришь, выполнили. А вот чтобы здесь, на песке, были произнесены такие слова, никто не помнит.

— Конкретно! — просит бригадир Стрельников. — Говорите, не зная на лица, конкретно! Ставьте вопрос!

Виктория сдержанно улыбается. Она не для того взяла слово, чтобы говорить неконкретно, она решительный, принципиальный, откровенный человек. Виктория опять улыбается, на этот раз весело, открыто.

— Я, конечно, скажу конкретно. Вы знаете, что в деле я разбираюсь еще слабо, не освоила, но кое-что мне видно со стороны. Я об этом и скажу. — Виктория не возвышает голоса, не торопится, не сердится, говорит спокойно, уверенно. — Мы подолгу раскачиваемся, товарищи, тянем время. Пусть простит меня опытный рыбак товарищ Мурзин, но он повинен в том, что допускается раскачка.

Виктория повертывается к дяде Истигнею, который ее слушает внимательно, старается ничего не пропустить; когда она называет его фамилию, он ничуть не удивляется, кажется, что он этого ждал.

— Это ведь правда, товарищ Мурзин? — спрашивает Виктория.

Дядя Истигней думает, потом, вынув изо рта самокрутку, говорит сердечно:

— Это есть! Разговоры разговариваем. Да и тянем во время первого притонения!

Степан радуется, он горд за Викторию, думая, что он-то никогда бы не решился сказать рыбакам такие, как она, прямые, беспощадные слова.

— Мы плохо боремся с нарушениями трудовой дисциплины,— продолжает Виктория.— Мы, конечно, не поощряем, но миримся с систематическим пьянством Ульяна Тихого. Вместо того чтобы принять действенные меры, мы занимаемся уговариванием.

Рыбаки стесняются смотреть на смущенного, жалко улыбающегося Ульяна. Григорий Пцхлава бьет себя ладонями по бокам, а Семен Кружилин, повернувшись на бок, чертит пальцем на песке линии и завитки. По-иному ведет себя Наталья Колотовкина. Она криво, насмешливо улыбается, подбоченившись, вызывающе спрашивает Викторию:

— А ты какие меры принимаешь? — Наталья сплевывает на песок.— Ты что делаешь?

— Я, товарищ Колотовкина, говорю не о себе, а о реакции коллектива на пьянку Тихого,— сухо отвечает Виктория.— Впрочем, вам не дали слова. Не перебивайте!

— Наплевать! — зло отвечает Наталья, действительно еще раз сплевывая.— Наплевать! Никаких речей я говорить не буду...

— Колотовкина, не перебивать! Товарищ Перельгина, продолжай! — вмешивается бригадир, постукивая ложкой о миску.— Продолжаем вопрос!

— Нужно сказать и о Верхованцеве! — строго говорит Виктория.— Спать во время рабочего дня — позор! Не так ли, товарищ Верхованцев?

— Так,— густо покраснев, отвечает Степка. Любуясь Викторией, он как-то забыл, что его тоже можно критиковать.

— У меня все, товарищи! — говорит Виктория, садясь на свое место.

Бригадир Стрельников довольно потирает руки.

— Кто желает выступить? — громко спрашивает он.

Рыбаки молчат. Потом дядя Истигней раздумчиво замечает:

— Нечего, пожалуй, говорить. Правильные слова! Надо подтянуться...

— Вопросы! — восклицает Николай Михайлович.

Вопросов нет — рыбаки спокойны, настроены благодушно, переглядываются с таким видом, будто со всем сказанным девушкой согласны, добавить нечего. Семен Кружилин по-прежнему лежит на песке, рассматривает небо, дядя Истигней снова готовится разостлать телогрейку в тени навеса, то же самое делает Виталий Анисимов.

— Вопросы, товарищи! — повторяет бригадир, но рыбаки по-прежнему молчат.

Виктория, видимо, не ожидала этого, думала, что придется доказывать, бороться, заранее готовила себя к этому, и вот вместо борьбы, споров — полное согласие: дядя Истигней сказал, что надо подтянуться, Ульян Тихий признает ее правоту, Степан наверняка больше и не приляжет. Одним словом, ее задача выполнена, но она, как и бригадир, чувствует неудовлетворенность тем, что люди не высказали своего мнения. У нее такое ощущение, точно слова повисли в пустоте, несмотря на то, что все согласны с ней. Пока Виктория тревожно думает об этом, дядя Истигней успевает постелить телогрейку, лечь на нее и даже закрыть глаза. Семен Кружилин, кажется, уже спит, Наталья Колотовкина тоже, а Ульян Тихий уронил на стол голову, и трудно понять — дремлет ли, думает ли. Обмывая горячей водой котел, что-то бурчит себе под нос тетка Анисья.

Проходит еще несколько молчаливых минут, и все погружается в дрему. Идут мимо белые пароходы, жалобно попискивая, несутся над водой бакланы, катеришко, чихая, пробирается через Обь, тонко кри-

чит вздорным голосом. Медленно накатывается, пузырится обская волна. Тихо на берегу. Бакланы безбоязненно садятся рядом с рыбаками — ждут, верно, когда те проснутся, так как им, бакланам, приволье, когда работает стрежевой невод.

Бригада отдыхает.

Глава вторая

1

Утром в воскресенье Степка останавливает мотоцикл возле большого пятистенного дома Перелыгиных.

Добротный, красивый дом крыт железом, наличники выкрашены голубой краской, новые бревна блестят. Дом, в котором живут Перелыгины, принадлежит средней школе, он считается одним из лучших в поселке, да и стоит на хорошем месте: внизу Обь, пойма, у дома небольшой садик с черемухой и высокими тополями. Дом смотрит окнами в село, гостеприимно.

Во многих нарымских деревнях до сих пор дома не замыкают, если хозяева ушли; на дверь закинута щеколда, а в нее просунута палочка. Если хозяева дома, из дырочки, просверленной в двери, высовывается кончик веревочки; потяни за нее, дверь откроется и — здравствуйте, хозяева! Кадка с водой стоит недалеко от входа, можно напиться, а если случится такое, что хозяин появится именно в тот момент, когда вы зачерпываете железным ковшом воду, полагается вежливо поздороваться и сказать: «Шел вот, пить захотелось! Спасибо!» Хозяин вскрикнет: «Батюшки-светы! А ить в погребе молоко утреннее. Холодное, сладкое!» И принесет кринку молока.

Вокруг карташевских домов большие огороды, на них морковь, репа, брюква, мак, редис, укроп, тыква, огурцы. Можно сорвать что угодно при условии, что вы не испортите ботву, — осторожно раздвигайте огуречные листья, не дергая ботвы, тихонько отделяйте огурец от корешка. Он прохладный, белобокий. Хороша также морковь, свежий редис, неплохо вытрясти на ладонь коробочку мака и бросить в рот сладкие, душистые маковки, похожие на точки.

Степка Верховланцев, поднявшись на высокое крыльцо перелыгинского дома, дергает за веревочку. Из сеней несет запахом муки, овчины. Половицы мелодично скрипят, когда он идет сенями.

— О, Степан, здравствуйте! — радуется Степкиному приходу отец Викторни, преподаватель языка и литературы Карташевской средней школы, Григорий Иванович. — Виктория в своей комнате.

Григорий Иванович — маленький, круглый и добродушный человек в очках; носит вышитые украинские рубахи, а поверх куртку из парусины. Он выписывает много газет и журналов. Его жена, Полина Васильевна, подсчитала, что если каждые три года Григорий Иванович будет увеличивать очки на полдиоптрии, как он делает сейчас, то к старости он совсем ничего не будет видеть. Потому она ограничивает чтение мужа. Григорий Иванович, подняв на лоб очки, ласково глядит на гостя.

— Молодой человек! — серьезно говорит Григорий Иванович. — Не делайте вид, что вы пришли именно ко мне!

— Я ничего, Григорий Иванович, — басом говорит смущенный Степка. — Я... в общем, зашел...

Григорий Иванович хорошо относится к Степке. Несколько дней назад заслуженная учительница РСФСР Садовская — юркая пожилая женщина в сером платье — затащила Григория Ивановича в свою квартиру, усадила на диван, сказала многозначительно: «Деревня не знает

тайн, не правда ли, Григорий Иванович?» Он согласился. Тогда тоном классной дамы она продолжала: «Ваша дочь была замечена со Степаном Верховланцевым. Они разгуливали рука об руку. Таким образом, их отношения стали предметом обсуждения в деревне!» Григорий Иванович уклончиво ответил, что все это вполне возможно. И Садовская сделала вывод: «Таким образом, вас, Григорий Иванович, не может не интересовать Степан Верховланцев. Полагаю, как отец, вы хотели бы знать, что представляет собой мой бывший ученик. Не правда ли?» Он опять согласился, а она величественно прошла к маленькому старинному сундучку, долго копалась в нем и наконец извлекла из тайника старую ученическую тетрадь. «Это тетрадь ученика третьего класса Степана Верховланцева. Убедительно прошу не сгибать бумагу!» — сказала она. Он увидел неровные, презабавно пляшущие буквы, которыми было написано следующее: «Наша страна самая большая и хорошая во всем мире, и я очень, очень люблю ее. Кто не верит, то пускай выходит на перемене драться к уборной. Только за березы, чтобы не увидела Серафима Иосифовна...» «Отличный молодой человек! Отличный! — сказала Серафима Иосифовна. — Вы, конечно, понимаете, что Степану драться не пришлось. Не правда ли?»

Григорий Иванович радушно встречает Степку. Почесывая веки, Григорий Иванович говорит шуточно, понимающе:

— Разрешите пробить боевую тревогу? — И, не дождавшись разрешения смущенного Степки, кричит: — Виктория! Покинь келью!

Виктория аккуратно причесана, свежая, сияющая, на бровях еще поблескивают капельки воды; на ней замшевые домашние туфли, коричневое шерстяное платье; она улыбается Степке, отцу. Пригласив Степку в свою комнату, Виктория придвигает стул, садится рядом. У нее небольшая уютная комната, тщательно убранная; много книг, которые не помещаются на стеллаже, лежат на подоконнике, столе, даже на свободном стуле. На столе — раскрытый учебник, по которому Виктория готовится к экзаменам.

— Эх! — вздыхает Степка, показывая на книги. — Мне бы столько накопить.

— Папино богатство! — говорит Виктория и добавляет, посмеиваясь: — Он книгу из-под земли достанет!

Дома Виктория держится значительно проще, чем на работе, она приветлива, кажется ниже ростом — наверное, оттого, что на ней мягкие домашние туфли. И движения ее дома мягче, более плавные. Степка чувствует себя непринужденно. Он спрашивает:

— Ты не сердись на меня за вчерашнее? Ну, что уснул!

Она сердито сводит на лбу тонкие крутые брови, но отвечает миролюбиво:

— Трудно на тебя сердиться — ты как ребенок!

— Несерьезный, да? — огорчается Степка. — Ты думаешь, несерьезный?

— Серьезным тебя не назовешь, — отвечает она, незаметно для Степки снимая под столом домашние туфли и вталкивая ноги в выходные, модельные. Нога не попадает, и она поэтому заминается, говорит приглушенно: — Ты сам, наверное, не считаешь себя серьезным.

— Не считаю, — сознается Степка.

Виктория сама не знает, что творится с ней, — собиралась встретить Степку сухо, небрежно, говорить с ним нехотя, показывая, что не забыла позорного случая, но вместо этого, увидев Степку, обрадовалась, с трудом скрыла это, заговорила с ним радушно. Он сидит перед ней в коричневом, хорошо сшитом костюме, ловко облегающем его крутые плечи, шея у него по-юношески нежная, но загорелая, крепкая. Степкина

рука лежит на столе рядом с рукой Виктории. Он замечает это и осторожно убирает руку, сам не зная почему, может быть потому, что ее рука маленькая, нежная, тонкая, а его большая, грубая, с мозолями.

— Поехали кататься на мотоцикле, — предлагает Степка.

— Поехали, — тихо отвечает она.

Ей восемнадцать лет, она здоровая, сильная девушка, хорошо ест, хорошо спит, дышит свежим обским воздухом. Степка первый парень, который входит в маленькую девичью комнатку Виктории.

— Так поехали? — Он отводит взгляд, смущается.

Они выходят в гостиную. Григорий Иванович читает «Известия», но, услышав скрип двери, бросает газету на стол, шутливо говорит:

— Дщерь, куда направляешь стопы? Ответствуй, Степан!

— На мотоцикле кататься! — чужим басом отвечает Степка. Он вообще, разговаривая с Григорием Ивановичем, всегда басит, не нарочно, а сам того не замечая, от смущения.

— Неплохое мероприятие! — одобряет Григорий Иванович, соединяя их взглядом, который словно говорит: «Что же, очень хорошо, что Степка Верхованцев стоит рядом с ней!» — Благословляю! — шутит Григорий Иванович. — Пусть будет короткой ваша дорога и достанет бензина.

— Полный бак! — басит Степка.

В это время из дверей третьей комнаты выходит мать Виктории — высокая, прямая женщина, со строгими, внимательными глазами. Зовут ее Полина Васильевна, она работает директором Карташевской средней школы. У нее быстрые, решительные движения, громкий голос.

— А, Верхованцев, здравствуйте! — говорит Полина Васильевна, вплотную подходя к Степке и прямо взглядывая на него. — Кажется, собираетесь куда-то?

— Мы, мама, кататься на мотоцикле! — ласково отвечает Виктория.

Полина Васильевна берет Степку за руку, легонько подтягивает к себе.

— Присядьте, Степан! Вот так, хорошо! Расскажите-ка мне, что у вас там случилось!

— Да ничего не случилось! — весело откликается Степка. — Виктория выступила, раскритиковала, ну и все. Пустяки!

— Пустяки ли? — Полина Васильевна строго качает головой. — Пьяница какой-то там у вас завелся, кто-то спит во время работы.

— Это... я... сплю! — покраснев до пунцовости, говорит Степка. — Пришел на песок, улегся и... нечаянно уснул.

— И долго проспал? — смешливо надувает щеки Григорий Иванович. — Ты ответь — долго?

— Полчаса! — басом говорит Степка.

— Замечательно! — хохочет Григорий Иванович. — Чем же это кончилось?

— Григорий! — недовольно перебивает его Полина Васильевна. — Дело серьезное. Скажите, Степан, а кто этот пьяница, дебошир?

— Какой он дебошир? — удивляется Степка. — Ульян, когда пьяный, спокойный. Вот только любит выпить.

— Но он опаздывает на работу, выходит пьяным!

— Это бывает! — печально отвечает Степка. — А вообще он хороший.

Полина Васильевна шумно ходит по комнате, сложив руки крестом на груди, резко поворачивается в углах.

— То, что вы проспали, это, конечно, пустяк, Степан, но, в общем, Виктория-то права?

— Конечно! Я спал, Ульян был с похмелья, а дядя Истигней ждал своей приметы...

— Какой приметы? — поражается Виктория.

— Да на большом осокоре... Колдует!

Виктория хочет еще что-то спросить у Степки, но мать останавливается между ними, улыбаясь, полубнимает Степку за плечи.

— Счастливо, Степан! Катайтесь на мотоцикле. Только, пожалуйста, осторожней... Я видела, как вы носитесь. Ужас! Ради бога, осторожней!

Когда они выходят в сени, Степка говорит:

— Ох, и хорошие у тебя родители, Виктория! Не зря их ученики так уважают.

— Ничего! Неплохие люди! — снисходительным тоном отвечает Виктория. — Ну, пошли!

2

На четвертой скорости Степка до отказа поворачивает рукоятку газа. Мотоцикл летит по проселочной дороге. Гулко проносятся мимо яркой березовой рощи; как пустая бочка, гудит под колесами деревянный мостик; взревев мотором, наклонившись, мотоцикл минует изгиб реки. Обь тусклой стальной полосой струится назад.

От радости, от счастья, оттого, что встречный поток воздуха бьет в лицо, у Степки мгновениями останавливается сердце. Обь изгибается круто, на повороте широкая, как море, берег еле виден в синей дымке. Потом дорога выскакивает на крутояр, повисает над ним, еще раз подпрыгнув, выбегает на круглую полянку, отороченную кустами смородины и черемухи. Мотоцикл останавливается. Наступает тишина.

С пятнадцатиметровой вышины обрыва слышно, как течет Обь — волна тихонько позванивает, поплескивает. Когда ветер уносит душное облако бензина, веет запахом смородины.

— Чувствуешь, как пахнет смородина? — спрашивает счастливый Степка.

Ни один запах не вызывает у Степки столько воспоминаний, как запах смородиновых листьев, — стоит уловить его, как перед глазами встает детство. Коротенькие штанишки с падающей ляжкой, пыльная чащоба лучей в садике, где мать посадила смородину, горячий песок, щекочущий босые пятки; потом вспоминается, как он, совсем еще маленький, покачиваясь, сидит на широкой лошадиной спине, пахнет сладким лошадиным потом, сеном; ему скучно качаться, он дремлет, но вот блеснет вода, покажется знакомая искривленная ветла у озера, березовый околог, и тут тоже пахнет смородиновыми листьями. Потом Степка с приятелями возит сено, купает лошадей в теплой протоке, ездит в ночное, и где бы он ни был — везде душно и волнуяще пахнет смородиной... Вспоминается и такое: в доме пусто, непривычно тихо, мать, одинокая, печальная, ходит по скрипучим половицам и никак не может остановиться. Степка с братьями и сестрой пьют чай, настоенный на смородиновых листьях, так как настоящего чая нет, да и хлеба тоже. Так и запомнилась ему война — смородиновым запахом.

Когда Степка впервые написал на бумаге большими буквами слово «Родина», ему показалось, что в классе чем-то остро и волнуяще запахло. Он замер, повел носом — пахло смородиной. И даже в самом этом слове Степка однажды с удивлением обнаружил многозначительное: смо-Родина...

— Посидим, Виктория! — просит Степка.

Обь спокойна, величава, какой всегда бывает в начале августа. Катится к северу, точит правый берег — вкрадчивая, на вид тихая, послушная, а на самом деле не такая. Незаметно, исподволь, продлагает

она себе кратчайший путь на север, из года в год сминая и пологие и крутые берега. Потому так много на ней стариц, иные из которых шире самой Оби.

Обские жители многим похожи на нее: на вид неторопливы, степенны, не крикливы; так же, как она, не бурлят, не торопятся, а кажется, что тихохонько живут они. Но вот приглядишься, войдешь поплотнее в их жизнь и скажешь: «Ой, нет! Не то! Какая там плавность, да постепенность, да тишина!» Поймешь, что похожи обские жители на свою реку, которая незаметно, настойчиво и неотвратно пробивает себе путь на север...

— Холера! — восхищенно произносит Степка, обращаясь к Оби.— Ну и холера! — продолжает он нарымским говором: напевно, протяжно.— Она ведь в прошлом году была до тех берез, а нынче где они, березы? Обсохли!

Они лежат на траве, рядом. Виктория уперлась подбородком в скрещенные руки, Степке виден ее профиль — крутая линия лба, резко вырезанные ноздри, маленькое ухо, обрамленное завитками волос, губы плотно сжаты.

— Как хорошо! — говорит она, вдыхая прохладный воздух реки.

— Хорошо! — тихо отвечает Степка, наблюдая за сине-фиолетовым жуком.

Добравшись до кончика травинки, жук чешет ногу о ногу — они у него мохнатые, суставчатые,— затем неторопливо раздвигает жесткие створки крыльев, выпускает из-под них другие крылья — желтые и прозрачные,— начинает быстро вращать ими; слышен низкий, все усиливающийся гул, и жук круто взмывает в небо.

— Мощный! — уважительно произносит Степка.— Говорят, у них усики похожи на радиостанцию. Настроены на одну волну и — пожалуйста!

Виктория не отвечает. Природа настраивает ее на особый лад. Она ощущает себя как бы в центре всего, что есть вокруг,— деревьев, озер, реки, зарослей смородины. У нее появляется чувство гордости, воодушевления; она с сожалением думает о людях, которые лишены этого торжественного и ликующего чувства. Ей кажется, что общение с природой делает ее сильнее, увереннее в себе. На ум приходят мысли о большом, важном, непреходящем, а мелочи жизни, пустяки незаметно уходят в сторону. Виктории хочется говорить о жизни, о будущем.

— Ты чего? — спрашивает Степка, так как Виктория решительно приподнимается.

Охватив руками колени, она задумчиво говорит:

— Я думаю о жизни, Степан! Ты, конечно, помнишь слова Николая Островского о том, что жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...

— Знаю,— говорит Степка, охваченный ее воодушевлением.— От этих слов мороз пробирает!

— Прекрасные слова! — восхищается Виктория.— Я была совсем маленькой, когда мама прочитала мне их. И я сразу запомнила. Ты знаешь, что они вызывают у меня? Желание идти по жизни гордо, решительно, добиться многого, стать большим человеком. Мы в молодости о смерти, естественно, думать не в состоянии. Но придет время, когда каждый из нас должен будет дать отчет за сделанное. У меня замирает сердце при мысли о том, что мне привелось бы прожить жизнь так, как она идет сейчас.— Она отгоняет от себя эту мысль и говорит: — Все пути открыты перед нами! Дело чести каждого идти по жизни прямо!

— Я знаю слова Островского,— медленно говорит Степка. Он улыбается, покусывает палец.— Я однажды получил двойку по лите-

ратуре, учительница разволновалась и сказала: почитай Островского. Я прочитал как раз эти слова и убежал в лес. Стыдно стало! А потом исправил двойку, хотя и по скучному писателю. Мы тогда Гончарова проходили...

Виктория не слушает его. Она продолжает свое.

— Человек живет только в стремлении к большому! — торжественно произносит она.

— Я однажды прочитал слова Островского дяде Истигней, — говорит Степка. — Он послушал, помигал. Дня четыре прошло, я думал, дядя Истигней давно уже забыл о них, а он и сказал: «Я, Степан, обдумал те слова. Подходящие! Мои, если хочешь знать, слова!» Вот чудак! — смеется Степка и спохватывается, спрашивает: — Что ты сказала, Виктория?

— Человек живет только в стремлении к большому! — повторяет она. — Иначе жизнь стала бы пустой. Послушай, что я скажу, Степан. Ты живешь без цели в жизни, без мечты. Подожди, не перебивай! — просит она, так как Степка делает нетерпеливое движение. — Ну хорошо, ты кончил девять классов, собираешься учиться дальше. Для чего? Мне кажется, что ты делаешь это по инерции — все учатся, буду и я учиться! Не так ли, Степан?

То, что хотел сказать Степка, вероятно, не стоит уже говорить — Виктория опередила его, напомнив о вечерней школе. Степка задумывается. Да, он записался в десятый класс вместе с Семеном Кружилиным, но она, вероятно, совершенно права, когда говорит, что он сделал это по инерции. Именно: все учатся, и он собирается учиться.

— Человек без цели подобен путнику без компаса! — говорит Виктория.

Да, она права — у него, пожалуй, нет цели в жизни, вернее, такой цели, которая имела бы определенное название, облеклась бы в плоть: институт, военное училище, курсы дизелистов, двухгодичная школа штурманов. Когда Степка думает о жизни, он не видит такой цели, он видит что-то туманное, еще не оформившееся.

Нет, он определенно человек без цели в жизни, и чем Степка больше думает об этом, тем это становится очевиднее. Он размышляет о своей жизни и с огорчением признает, что ему нравится жить так, как он живет, — ловить рыбу, спать в прохладных сенях, ездить в лес с Викторией, дружить с Семеном Кружилиным. Нет, видимо, он не требователен к себе, если его не гнетет такая жизнь. Он всегда мог бы работать на промысле. «Пустой человек! — думает о себе Степка. — Ничего большего ты, конечно, не сделаешь!» От этой мысли на душе становится тяжело...

— Ты права, Виктория! — упавшим голосом произносит он.

Никогда еще Степка так ясно не сознавал своей нетребовательности к жизни. Порой ему приходила в голову мысль, что нужно принять какое-то решение, что-то обдумать раз и навсегда, но мысль эта быстро улетучивалась. Вообще, если признаться, он совсем мало думает о себе.

— Ты права! — печально повторяет Степка.

Горько узнавать о себе такие вещи! Особенно если тебе двадцать лет и ты рядом с красивой и умной девушкой, которую любишь так, что перехватывает дыхание. И эта девушка не такая... Степка тоскливо думает о том, что Виктория не чета ему — имеет цель в жизни, рада ей, счастлива, идет по жизни твердо и решительно. Уж она-то добьется своего, станет врачом, может быть знаменитым врачом. А он останется рыбаком и будет жить несбыточными фантазиями о белом космическом корабле. Ох, Степка, Степка!

— Дела как сажа бела! — огорченно улыбается он.

— Ты не расстраивайся! — сочувствует Виктория, тронутая переживаниями Степки, который не умеет скрывать своих чувств. — Ведь ничего не потеряно! Впереди — жизнь. Кончишь десятилетку, пойдешь в институт. Только нужно проявить волю, настойчивость! Нужно взять себя в руки!

Она воодушевляется, гордо поднимает голову:

— Знаешь, Степан, я помогу тебе! Буду контролировать тебя, если нужно, помогу... — Ей кажется, что она сможет сделать это. Она заставит его поступить в институт. Это решение, появившееся внезапно, переходит в настойчивую, твердую уверенность, что именно так и нужно поступить. Ей вспоминаются какие-то женщины из книг, которые своей настойчивостью, волей, решительностью помогали героям подниматься вверх, становиться большими людьми с твердым характером. Разве она не может поступить так же? Конечно, может!

— Мы так и сделаем! — радостно говорит Виктория. — Начнем с завтрашнего дня!

Сейчас Степка очень нравится Виктории — сн сильный, симпатичный; ей иногда хочется припасть к его выпуклой груди и замереть, слушая, как бьется Степкино сердце. Викторию тянет погладить Степку по мягким волосам, но она сдерживает себя, ей кажется, что в этом желании есть что-то обидное. Ведь Виктории надо, чтобы Степка был мужественным, гордым человеком, а не мальчишкой, которого хочется погладить по голове.

Да, у нее, конечно, хватит воли, чтобы сделать его человеком. И она говорит Степке, что они пойдут по жизни рука об руку, чтобы пройти свой путь, ощущая локоть друга, что она его наставник и учитель.

— Согласен, Степан? — воодушевленно спрашивает Виктория.

— Конечно! — кричит Степка. — Конечно! Станем заниматься, я поступлю тоже в институт...

Он останавливается, счастливо пораженный перспективой, которая открывается перед ним. Степка хочет сказать еще что-то радостное, благодарное, но в кустах раздается треск, грохот, над смородиной поднимается клуб пыли, потом слышен недовольный, чертыхающийся голос: «Понаставят мотоциклов, не проехать!» — и на поляне появляется Семен Кружилин. Он в той же замасленной рубашке, в какой бывает на промысле, на лоб сдвинуты большие очки — окуляры. Семен ведет за руль черный странный мотоцикл, похожий на железную сигару с двумя колесами, — так Семен модернизировал известный «ИЖ-56»: впереди для обтекаемости напаян металлический лист, позади — красно-голубой хвост; глушителя, конечно, нет, чтобы не терялась мощность, а заводится мотоцикл кнопкой.

— Раззявы! — лениво говорит Семен. — Выставили мотоцикл на солнце. Почему? Ведь облезет краска! Чего молчишь, Степка? — Семен сплевывает, садится в седло, но перед тем как нажать кнопку, равнодушно произносит: — Целуетесь, а Ульянов Тихий валяется возле чайной... До того набрался...

Прикоснувшись пальцем к кнопке, Семен вызывает гремящий вой мотора, склонив ухо, прислушивается к нему, сбавляет газ, кричит:

— Я бы увез его домой, да теория не позволяет. С пьяницами надо бороться не так... Не так, дорогие товарищи! Ну, целуйтесь на здоровье!

Семен с оглушительным треском уезжает, оставив на поляне растерянного, покрасневшего до невозможности Степку Верхованцева — упоминание о поцелуях словно обухом ударило его. Он смущается, отводит от девушки глаза. Холера, Семен! Не знает он, что не только поцеловать Викторию, но и подумать об этом не решается Степка — такая она гордая, решительная, волевая.

— Уехал! — растерянно говорит Степка, а Виктория придвигается к нему, кладет руку на покрасневшую Степкину шею; он невольно поворачивается к ней, и она смело, быстро наклоняется и крепко целует его в губы.

3

Забор рядом с поселковой чайной; хороший забор — высокий, плотный, дающий отличную тень; и трава под ним мягкая и словно специально посаженная для того, чтобы Ульянов Тихий положил на нее голову. Спит Ульянов. Даже храпит на виду у всех прохожих. Лохматый, грязный, оборванный.

Возле Ульяна стоят четверо мальчишек, женщина и двое подвыпивших мужчин, которые, слегка покачиваясь, изучают Ульяна. Один одет в гимнастерку и галифе, заправленные в белые шерстяные чулки, другой — в просторном костюме с диковинно широкими брюками. Женщина с такой горечью смотрит на Ульяна, словно он ей родной человек.

Полдненное солнце голыхает в небе, тени прохладны, коротки; небо ясное, голубое, высокое. Серый баклан с острыми крыльями парит, повертывается, кидается к воде, поднимается к солнцу. Карташево отдыхает, работает по домашности, слит в душистых палисадниках. Выходной день!

Ульян скрипит зубами, стонет.

— Не меньше литра употребил! — говорит тот, что в галифе. — Может, и поболе. Бочка, а не человек. Я пол-литры стравил в себя, и — будет! Человек всегда должен должен норму знать!

— Не бреш! — усмехается мужик в широких штанах, тощий и длинный. — Стакан вверх пол-литры выглотал!

— Это, кажись, было! Стакан, это правильно! Значит, семьсот, а ничего, не пьяный!

— Пьяный! — убежденно говорит тощий. — Ты, парень, здорово пьяный!

— Все может быть! Со стороны виднее, дядя Герман! — охотно соглашается тот, что в галифе. — Он теперь, братцы, здесь до утра. Вот от этого пьяницы и образуются. Коли ты пьешь, а ночуешь дома, это ничего, это можно, дядя Герман. А вот ежели под забором... — Он повышает голос, покачивается. — Вот ежели под забором — значит пьяница.

— Ты тоже раз под забором... ночевал! — упрямо замечает тощий.

— Раз не считается. Оплотка вышла! Вот я и говорю, дома лучше ночевать. Опять же кровать, утром с жинки соленого огурца вытребуешь...

— Она тебе даст огурца! — усмехается тощий.

— Пушай не даст... сам возьму!

— Он, дяденьки, без дома! — печально говорит русоволосый парнишка. — Он один! — И, подумав, со страхом добавляет: — В тюрьме сидел...

— В тюрьме не пример! — упрямится тощий мужичонка. — Ты, парнишка, от тюрьмы и от сумы не закаивайся. Вот! Тюрьма, она может вдруг прийти... Это ты разумеи!

— Может, его домой отнесть? — задумывается тот, что в галифе. — Пили вмести, разговоры разговаривали...

— Тяжелый, не утащишь.

— Это конечно!..

Женщина все стоит, пригорюнившись. И светит солнце, и Карташево идет мимо пьяного Ульяна: проходят нарядные женщины — отворачиваются; проходит продавец сельпо Иван Иванович — отворачивается;

шествует мимо степенный мужчина — отворачивается. Только ребяташки, женщина да двое собутыльников стоят над Ульяном. Рыбаков нет в поселке: кто на ягодах, кто рубит новый дом, кто тихонько, помаленьку полавливает рыбу в протоках — не для государства, для себя. В чайной тоже пусто, гулко с тех пор, как оттуда выбрался Ульян с приятелями.

К забору чайной подъезжают на мотоцикле Виктория и Степка. Он соскакивает, растолкав ребяташек, пробивается к Ульяну, наклоняется. В нос бьет водочным перегаром, селедкой, махоркой. Ульян лежит неподвижно, раскинув руки, дышит неслышно, и можно подумать, что он мертв. Пробравшаяся за Степкой Виктория отшатывается, на лице ее появляется ужас — так отвратителен, страшен Ульян.

— Какое безобразие! — шепчет Виктория. Пьяных людей она, конечно, видела, но никогда пьяный человек не был ей знаком так хорошо, как знаком Ульян. Сейчас перед ней лежал тот, с кем она работала, сидела за обеденным столом. И он, этот человек, лежит на виду у всего поселка, и она стоит рядом с ним и даже наклоняется к нему, и тощий мужичонка, увидев это, говорит:

— Робят вместе... Это его друзьяки!

Как ошпаренная, Виктория отбегает от Ульяна; Виктории кажется, что эти осудительные слова относятся не к Ульяну, а к ней. Она хочет пресечь, осадить мужика, чтобы он не смел думать о ней плохо; она проталкивается к нему, но ей больно наступают на ногу, она резко оборачивается и видит Наталью Колотовкину, за которой неохотно пробирается Семен Кружилин.

— Тут такое делается! — горячо говорит Виктория Наталье.

Наталья, не слушая ее, зло и насмешливо толкает Ульяна ногой, резко приказывает:

— Степка, помоги! Семен, не стой!

Пожав плечами и что-то пробормотав, Семен пробирается к Ульяну, берет его за плечи, приподнимает, Степка тоже, и они несут его к мотоциклу. Наталья орет на мужиков и мальчишек: «Пошли прочь! Кому говорят!» Ульяна кое-как прилаживают на заднее сиденье Семенова мотоцикла, Степка садится позади него, чтобы придерживать руками, а Наталья разгоняет мальчишек, мужику же в галифе подносит под нос здоровенный кулак.

— Вали домой, Анисим, вали, а то хуже будет! — кричит она.

Когда Ульяна увозят, Виктория остается с Натальей. Обе сначала молчат, потом Наталья усмехается:

— Пьянчужка несчастный!

— Не вижу ничего смешного! — строго говорит Виктория. — Он снова не выйдет на работу!

И тогда Наталья переполняется гневом, кричит, машет кулаками.

— Только пусть не выйдет! Жива не буду, побью! — И, стуча туфлями по тротуару, уходит.

4

Наталья Колотовкина страдает оттого, что ей захотелось быть красивой и она надела новое модное платье, купленное недавно в центральном универмаге Томска. У этого платья большой вырез на груди, короткие рукава, внизу платье сжимается, плотно захватывает ноги. На крутых бедрах Натальи, на высокой груди платье так натягивается, что ей хочется прикрыться ладонями.

В руках Натальи черная замшевая сумочка, которой она, подражая томским модницам, пыгается независимо и небрежно помахать, но это получается у нее плохо — сумочка то и дело задевает кого-нибудь.

От ощущения обнаженности, неловкости, скованности Наталья краснеет, смущается, не идет, а топчется в толпе, открытая всем взорам. Ей кажется, что люди смотрят только на нее, на большой вырез платья, на длинные ноги.

Чем больше она смущается, краснеет, тем все насмешливее и злее улыбается. Стараясь скрыть свою растерянность, Наталья кривит полные губы, высоко поднимает голову с тяжелой черной косой, идет напролом. Ей хочется дерзить, ругаться. У кассы Наталья грубо отталкивает молоденького парня, зло приказывает кассирше дать билет в двенадцатом ряду, не берет, а вырывает его из руки и вызывающе, набиваясь на скандал, оглядывается по сторонам. Пробираясь в зрительный зал, опять расталкивает людей. Зал ярко освещен. Карташевские зрители чинно сидят в ожидании начала кино, взгляды всех обращены на окаменевшую в дверях Наталью. Оказавшись вдруг на пороге ярко освещенного зала, она не может сделать ни шагу.

Горят страстным любопытством глаза поселковых кумушек, повязанных до носов ситцевыми платочками. Удивляются молодые парни; солидные рыбаки не показывают своего удивления, но они тоже заинтересованы шикарным нарядом знакомой рыбацки; девушки глядят на Наталью не то насмешливо, не то завистливо — ни у одной из них нет такого платья и такой дорогой сумочки, которые купила себе хорошо зарабатывающая Наталья.

Наталья еще не может прийти в себя, руки и ноги непослушны, а потому она еще насмешливее, еще злее улыбается. «Смотрите, ешьте, терзайте!» — точно кричит она. Чужой, подергивающейся походкой, закусив нижнюю губу, Наталья идет вдоль рядов. Откуда взялась эта походка, что заставляет ее дергаться, подпрыгивать? Слишком узко ее новое модное платье, слишком тонки каблочки ее новых туфель. Наталья садится, а кумушки в ситцевых платочках — они не стесняются, эти ситцевые кумушки, и Наталья слышит шепот: «Срамота, бабоньки! Невиданно! Куды это, милые, Еремеевна, мать Наталья, смотрит?» Это точно уздой вздергивает Наталью — она наклоняется к кумушкам, шипит: «Заткнитесь! Кому говорить!» Бабы, испуганно шархнувшись, замирают, глядят на нее со страхом.

Зал понемногу наполняется, кое-где слышны щелчки — грызут орехи, хотя в клубе это строго-настрого запрещено. Важно проходит и садится в маленькую двухместную лужу председатель Карташевского сельсовета, кладет руки на барьерчик, кивает последним рядам, где сидят учителя и другие видные представители местной интеллигенции. Сейчас же после председателя сельсовета в зале появляется участковый уполномоченный Рахимбаев с лейтенантскими погонами. Он держится проще председателя: с иными карташевцами здоровается за руку, не жалеет широких, ослепительных на черном лице улыбок. Ремень Рахимбаева оттягивает тяжелая кобура с пистолетом, который за десять лет работы в Карташеве он ни разу не вынимал.

Минуты на две позже Рахимбаева в зал входит Виктория Перелыгина, за ней видна вихрастая голова Степки. Наталья напрягается, вытягивает шею — на Виктории сегодня точно такое же платье, как на ней. Собственно, Наталья и купила это платье потому, что такое же на Виктории казалось ей красивым, нарядным. Забыв о своей голой спине, Наталья привстает, чтобы лучше разглядеть Викторию. У платья Виктории точно такой же глубокий вырез, точно такая же длина, точно такой же узкий, обтягивающий ноги подол, но никто не смотрит на Викторию так, как на Наталью. Чем объяснить это? Может быть, у Виктории не такие крутые и широкие бедра, не такая выпирающая грудь, не такие полные и длинные ноги, как у Натальи, а скорее всего

потому, что она не смущается, не чувствует себя раздетой, а носит платье так, словно только в нем и может ходить.

Непринужденно, свободно, помахивая сумочкой, слегка наклонив голову на приветствия участкового Рахимбаева, Виктория проходит между рядами, находит свое место, улыбается соседям, как бы показывая этой улыбкой, что счастлива будет сидеть рядом с ними; садится сама и приглашает присесть Степку, который немного теряется от множества людей, от шепота кумушек: «Взрачная какая! А Степка, Степка — чистый кавалер!» Виктория держит себя так, будто она одна в зале и люди собрались в нем только для того, чтобы она смогла посмотреть новый кинофильм. Ни кумушки, ни их шепот не смущают Викторию; выдернув из сумочки кружевной платочек, она обмахивается им, громко спрашивает Степку:

— Не жарко?

Он что-то неслышно отвечает, наклонясь к ней, Виктория наклоняется тоже, и они обмениваются несколькими словами, которых никто не слышит.

Начинается фильм. Еще бегут по экрану титры, а Наталья уже думает о том, что после картины придется выходить из клуба, подпрыгивать на высоких каблуках, краснеть от смущения и стыда за открытое платье. Несмотря на то, что платье из легкого материала, рукава и грудь по-летнему открыты, и открыты не так уж сильно, как кажется это Наталье, ей жарко, душно, тяжело. Рассеянно глядя на экран, она думает о себе и Виктории.

Наталья откровенно завидует ей. Завидует легкости и простоте, с которыми Виктория вошла в зал, села на место, вынула кружевной платочек; завидует ее манере держаться, непринужденности, тому, что Виктория ведет себя так, точно она одна в большом зале. Наталье представляется, что они люди разных миров, разных жизней; ей теперь уж кажется странным, что там, на стрежевом песке, она может покрикивать на Викторию, посмеиваться над ее неумением делать простые вещи. К такой Виктории, что сейчас прошла перед ней, страшно прикоснуться или встать с ней рядом — такая она далекая, недоступная.

Кадры мелькают, на экране кто-то плачет, кто-то радуется, а Наталья все думает, и печальные ее думы вьются, как веревочка за кормой заводни. Где ей сравниться с Викторией — кончила всего семь классов, рано стала помогать матери, забывая о танцах и платьях. Если вспомнить, то сейчас на ней первое дорогое платье, а раньше ходила в чем попало, чаще всего в брюках, не обращала на себя внимания, считала все это пустяками.

С четырнадцати лет пошла Наталья на стрежевой песок, работала сначала поварихой, потом учетчицей, как сейчас Виктория, позднее стала рыбачкой — настоящей, умелой. Приходилось трудно, но она не показывала этого людям. Хорошо помнила последние слова отца: «Самая маленькая ты! Не подведи!» И чтобы люди не увидели, как тяжело ей, прикрывалась насмешливой улыбкой. Потом стало легче: руки налились силой, раздалась в плечах, научилась ходить мужской, размашистой походкой, чтобы ничем не отличаться от рыбаков. А усмешка превратилась в привычку.

Сегодня перед кино вынула из сундука новое платье, решила: «Надену!» Бережно выгладила, расправила, надела, вновь поглядела в зеркало и понравилась сама себе — красивая! В комодке нашла тубик губной помады и впервые в жизни намазала губы. От этого стала незнакомой. Насмешливо улыгнувшись, взяла сестренкин черный карандаш, чтобы подвести брови, но ничего не вышло — были и без того черны. Стояла у зеркала — высокая, сильная, загорелая. Ка-

залась себе красивой, изящной, радовалась. Не знала, что в клубе будет так страдать.

Впереди нее сидят Виктория и Степка — веселые, довольные. Степка, сняв пиджак, светится в темноте белой рубашкой, иногда наклоняется к Виктории, шепчет на ухо, прикасается щекой к ее волосам. На экране по-прежнему страдает девушка с удлинненными глазами, герой страдает тоже, но Наталье нет дела до их страданий — у нее свое.

Когда фильм кончается, вспыхивает свет в люстре и зрители шуряются с непривычки, Наталья, пользуясь заминкой, спешит пробиться к дверям, чтобы быстрее выйти на улицу. Но сразу распахиваются три выходные двери, толпа валит на улицу, и Наталья оказывается впереди всех и у всех на виду. Торопливо оглянувшись, она видит Степку и Викторю; они идут следом в десяти метрах от нее.

Зло улыбаясь, Наталья идет по тротуару, чувствуя на себе Степкин взгляд, который словно давит на ее спину, обнаженную низким вырезом.

Страдания Натальи не кончаются, когда она сворачивает в переулок и бежит по нему. Ей хочется ударить себя по глупой голове, разорвать в клочки платье, стереть с губ помаду. Несчастная, съездившаяся, она влетает в оградку своего дома. Здесь растут тополя, желтеют посыпанные песком дорожки, цветут георгины. Услышав скрип калитки, выбегают на крыльцо шестнадцатилетние сестры-близнецы, выходит парень лет восемнадцати, Натальин брат. Близнецы шуряются на сестру, как на солнце, одинаковыми движениями — восторженно, благоговейно — прижимают руки к груди, изумляются:

— Ой, какая ты красивая!

Стараясь сохранить солидность, мужское достоинство, брат не спешит со своей оценкой, но и он доволен, рад за Наталью, восхищается ею.

— Ты как городская! — наконец говорит он, а сестренки бросаются к Наталье, виснут на плечах, обнимают ее, тормозят. Они рады, что пришла Наталья: в доме станет весело, празднично — дома Наталья не улыбается насмешливой, злой улыбкой, не размахивает по-мужски руками, не кричит грубым, простуженным голосом.

Сестренки похожи на Наталью. Такие же высокие, крутобедрые, высокогрудые, но они совсем еще молоды. Руки у них не такие шершавые, как у Натальи, лица розовые, тонкокожие, свежие; братишка тоже тонкий, стройный, бледнолицый. Он, здоровый парень, кажется нежнее своей старшей сестры.

Близнецы оглушительно кричат:

— Наташенька, ужин готов!

— Грибы нажарили! Вкусные!

— Дайте пройти человеку! — строго останавливает их брат.

Наталья вбегает в дом, стараясь не попасться на глаза матери, тайком пробирается в свою комнату. Там она ожесточенно срывает с себя модное городское платье.

Закусив губу, смотрит на себя в зеркало. Ей хочется плакать.

5

Августовский утренний туман плавает над Обью.

Степка выходит на крыльцо, сладко, по-детски, кулаками протирает глаза. Он еще не совсем проснулся. А на дворе туман, крыши домов дымятся; мир серый, зябкий, трава поседела. По двору расхаживает мокрый петух, трясет сердито гребнем, поочередно поднимает ноги и стоит на каждой несколько мгновений, точно проверяет, не разучился ли стоять на одной ноге. Потом, раздув гребень, хрипло, сердито поет. От

надсадного крика петуха Степка окончательно просыпается. Двор, петух, клочки тумана на огуречной грядке становятся четкими, яркими. Он улыбаεται, в ушах само собой звучит: «Виктория!» Это слово, сочетание букв волнующе необыкновенно, и Степка на мгновение замирает, потом вздох набирает полную грудь воздуха.

Наскоро умывшись, съев огурец с куском хлеба, Степка выскакивает на улицу — туманно, серо, зябко; кто-то прошел по траве, она хранит дымящийся след; небо низкое, темное, клубящееся. Но Степке хорошо, весело, так как он относится к тем людям, которые считают, что в Нарыме чаще всего бывает отличная, ясная погода. Степке кажется, что всегда светит солнце, тепло; он как-то умеет не замечать дождей, туманов, метелей, морозов. Он не замечает и комаров, вьющихся над головой. Комары привычны, и он не отмахивается от них, а только машинально сгоняет с лица особенно настойчивых, точно они не кусают его, а просто надоели.

Припрыгивая, Степка бежит к берегу, что-то напевает. Вчерашнее представляется ему счастливым сном, необычайно — поцелуй с Викторией, прощание до дома, опять поцелуй... Нет на свете человека, счастливее Степки! Поэтому он не бежит, а несет над землей.

— Разобьешься! — слышится позади веселый голос Натальи Колотовкиной.

Она выходит из калитки соседнего дома. Наталья в комбинезоне, на голове зюйдвестка, на ногах сапоги. Степка сразу же вспоминает вчерашнюю Наталью в модном платье и, позабыв поздороваться, хохочет.

— Ну, Наташа, расфуфыренная ты была вчера, — говорит Степка. — Я сначала даже не узнал... Где купила?

— В Томске! — Наталья смеется, точно она сама понимает, что смешно было надевать ей модное платье, и вполне разделяет Степкину веселость по этому поводу. Потом она подходит к парню, крепко жмет его руку. — Здоров, Степка!.. Что, не понравилось?

— Не идет тебе... — смеется Степка. Он как-то забывает, что Наталья девушка, и ведет себя с ней точно так, как с парнями.

С тех пор как Степка помнит себя, он знает Наталью: их дома стоят рядом, отцы дружили, матери бегают друг к другу за спичками и солью, сам Степка заходит к Колотовкиным запросто, чтобы поболтать с Натальей, посмеяться, договориться о совместной поездке за ягодами. Подростками они ссорились, дрались, до сих пор на круглой голове Степки есть шрам от Натальиной руки — запустила камнем, да так ловко, что его потом возили в больницу, а Наталью драли широким отцовским ремнем. Вот почему Наталья для Степки не девушка, а старший друг по детским озорным играм, товарищ, с которым он чувствует себя просто и легко. Степка еще раз оглядывает Наталью, сравнивает ее со вчерашней — нарядной, с голой шеей и руками, — и ему кажется, что Наталье больше идет комбинезон.

— Тебе так лучше! — говорит Степка. — Ну, пошли!

— Пошли! — весело соглашается девушка.

Наедине со Степкой Наталья ведет себя покладисто. Весело поблескивают под зюйдвесткой ее черные глаза, ярко белеют на загорелом лице зубы; Степка знает, что Наталья — хороший друг, верный человек. Ей можно доверить тайну, рассказать об огорчении, поделиться радостью; с ней легче говорить о сокровенном, чем с Семеном Кружилиным, не нужно подбирать слова, бояться сказать не то — она понимает Степку с полуслова.

— Шевели ногами-то! — говорит она Степке, когда он замедляет шаги, но в ее насмешливых словах не слышно насмешки. Сказала просто так, чтобы Степка не отставал, шел бы рядом.

Объ накрыта туманом, словно марлевым пологом. Сквозь туман с трудом пробиваются огоньки красного и зеленого бакенов. Вдоль берега, далеко внизу под яром, прижимаясь к зеленому огонькам, пробирается буксир — на мачте горят лампочки, но самого парохода не видно, только слышно бодрое постукивание плиц, шипение пара, говорок вахтенных. Невидимая, посередине реки плывет лодка — слышен скрип уключин.

Раскисшая от тумана тропка круто спускается вниз. Здесь берег Оби высок, обрывист, от воды до верхней кромки яра не меньше двадцати метров. Даже в сухую погоду спускаться вниз трудно — ноги скользят, сыплются глинистые комочки; рыбаки иногда не спускаются под яр, а скатываются с него. Ребятишками Наталья и Степка в дождливую погоду приходили на яр кататься. Это было весело, захватывающе. Вспомнив об этом, Степка поворачивается к Наталье, улыбается. И по ее веселой улыбке Степка понимает, что Наталья тоже вспомнила давнишнее, детское — у нее забавное, девчоночье лицо, губы открыты, нос морщится.

— А ну, Степка! — ухарски вскрикивает Наталья.

— Давай! — орет он.

Ничего лучшего, чем катание с яра, для него сейчас нельзя придумать — найдут выход сила, радость, счастье, переполняющие грудь. Он порой чувствует себя совсем мальчишкой — и тогда, когда, озорничая, носится по песку, и когда восторженным криком встречает наполненный рыбой невод, и когда думает о Виктории и своей любви к ней. Живет еще в Степке мальчишка, бродят не забытые им радости детства.

— Поехали! — кричит Степка.

Он садится на кромку яра. Наталья устраивается рядом; лукаво переглянувшись, они одновременно отталкиваются руками и летят по раскисшей глине вниз. Спецовки у них брезентовые, крепкие, не то что девчоночьи ситцевые платяшки и мальчишечьи сатиновые штаны. Степка хохочет, орет, машет руками, стараясь скользить прямо, но его валит набок, он чуть-чуть приостанавливается, Наталья догоняет, валится на него, затем Степка опять выпрямляется, и, продолжая катиться, Наталья щекочет Степку. Она знает, что еще в детстве он панически боялся щекотки, обмирал от нее. И сейчас то же самое.

— Наташка! — испуганно орет Степка. — Не щекочи, холера!

Но она не перестает.

— Наташка, надаю по шее!

— Я тебе надаю! — не унимается Наталья. — Мне удобнее сверху... Как закатаю в лоб!

От щекотки и душащего смеха Степка теряет равновесие, коломбом катится вниз и распластывается у самой кромки воды. Наталья стремительно наезжает на него, с размаху хлопает ладонью по спине, но сама тоже падает, чтобы удержаться у кромки воды. Приподнявшись, Степка грозно говорит:

— Ну, держись, Наталья! По шее, пожалуй, не заеду, а бока намну! Держись!

Они разом вскакивают, бросаются друг на друга, охватывают крепко руками, борются, шумят, на какой-то миг Степка подгибает Наталью, но она опять щекочет его, и, взбрыкнув ногами, он валится. Наталья придавливает его к земле.

— Наташка, отпусти! — изнемогая от смеха, просит Степка.

— Будешь грозиться? — допрашивает она.

— Иди ты... Отпускай!

— Говори, будешь?

— Не буду... — наконец сдается он.

Она отпускает его, поднимается. Оба с ног до головы в грязи, оба веселые, запыхавшиеся. Они не видят, как с катера «Чудесный» на них смотрит Виктория Перелыгина — внимательно, строго вздернув маленький круглый подбородок. Степка и Наталья вообще не видят катера до тех пор, пока не поворачиваются к нему. «Чудесный» им представляется прекрасным видением, вынырнувшим из тумана. И бело-голубой флаг, и стремительные линии синей надстройки, и разноцветные спасательные круги — все неожиданно красиво, привлекательно, зовуще, все не вяжется с липким холодным туманом. Из машинного иллюминатора показывается голова Семена, подмигивает.

— Скорее! — приглашает Семен.

Они идут к катеру, а навстречу им несутся строгие слова Виктории:

— Где Ульянов Тихий? Товарищ Колотовкина, вы не видели его?

Наталья становится обычной; сплунув, она насмешливо говорит:

— Ори громче! Ульянов с вечера уехал на стрежевой песок...

6

К десяти часам утра от тумана не остается ничего.

Над Обью яркое солнце, хотя август здесь — почти осень. Уже к концу месяца холодный сиверко погонит волну за волной, замутит Обь, согнет свистящие тальники, а старый осокорь — друг дяди Истигнея — устало ссутулится сухой обломанной вершиной. Пронесется над рекой сдержанный стон, вода ахнет, раздастся в сторону, начнет оголтело, жестоко биться о глинистый затвердевший на холоде берег. Крепчает сиверко. Качаются лодки и обласки, взлетают на волне тяжелые завозни, и старые рыбаки печально поматывают головами: «Зимой, парень, пахнет!» Будут, конечно, еще теплые дни, но все знают: близка зима, надо конопатить окна, заваливать завалинки, доставать из кладовок пимы.

В начале августа Обь, тайга, верети и луга еще просквожены прозрачностью воздуха; шаг по лесу легок и приятен, а бордовые осины пока не тронуты осенним трепетом. В начале августа Обь величава и спокойна; она словно зеркало — лодка плывет не по воде, а висит в воздухе, похожая вместе со своим отражением в реке на раскрытую двухстворчатую раковину. В августе в обской воде снуют подростшие мальки, сытые, игривые. В воду падают листья осокорей. Поднимешь такой листок, посмотришь, вздохнешь: с одной стороны он еще зеленый, а с другой — желтый, похожий жилками на старческую руку. Осень идет! Ранняя нарымская осень.

...Перед началом второго замета Степка носится по берегу. Брезентовую куртку он бросил под навес, ковбойку прямо на песок, зюйдвестку повесил на сучок талины. Ему тепло, солнечно, бодро. Здесь есть Обь, «Чудесный», зеленая волна. Хорошо жить, когда есть на земле дядя Истигнея, а у выборочной машины сидит Семен Кружилин, когда бродит по песку немного смешной, черный, как головешка, Григорий Пцхлава, когда по берегу шествует важный бригадир Николай Михайлович, высматривает непорядки, но не находит; весела жизнь, когда есть на земле Виталий Анисимов, до смешного во всем подражающий дяде Истигнею! Перевернуть гору, одному утащить на плечах невод, переплыть Обь — пожалуйста! Степка все может! Только попросите — да что попросите! — кивни только головой Виктория, живо найдет точку опоры и перевернет земной шар.

— Стотовились! — голосом дяди Истигнея кричит Виталий.

— Есть! Стотовились! — восторженно ревет Степка.

Оторвавшись наконец от выборочной машины, забирается в катер Семен Кружилин, осторожно прикасается пальцем к какой-то кнопке,

нажимает — мотор заводится; Семен ждет, когда Стрельников скомандует полный; дождавшись, переводит рычаг и, радостно вздохнув, утыкается носом в книгу. «Чудесный» летит по течению.

Справа от Степки устроился на неводе Виталий, слева — Наталья, позади — Григорий Пцхлава. Наталья на людях со Степкой ведет себя по-иному, чем наедине: насмехается, вышучивает.

— Лопнешь! — хохочет она. — Ты словно теленочек!

И, конечно, права, так как из Степки неудержимо прет радость. Он выхватывает из кармана жестяной портсигар, раскрывает, протягивает Григорию Пцхлаве — тот берет, вежливо благодарит; подносит Виталию — тот даже не смотрит, а жестом дяди Истигней тянет из кармана длинный кисет.

— Котеночек! — продолжает насмехаться Наталья.

И опять права. Он, Степка, действительно сейчас немного похож на пушистого котенка, выпущенного на солнечный двор. Котенок носится, катается через голову, замерев, притаив дыхание, крадется к травинке, чтобы снова радостно броситься вперед, прыгнуть на листья лопухов.

Степка не обижается на Наталью, смеется:

— Знатная из тебя, Наталья, теща получится!

— У нас теща — хороший человек! — строго перебивает его Григорий Пцхлава. — Жена нам не дает пить красное вино, говорит нам: станешь алкоголиком. Теща говорит: пей! Она говорит нашей жене, что кавказские люди не могут жить без хорошего вина. Правильно! Мы пьем хорошее вино. Мы не станем алкоголиком от хорошего вина.

Степка оглушительно хохочет.

— Смеется тот, кто смеется предпоследний! — немного сердится Григорий. — Наша теща — хороший человек.

Прищуриль глаз, чуть наклонившись, работает бригадир Николай Михайлович. Он великий мастер своего дела. Нет в Карташеве человека, который мог бы лучше и изящнее Стрельникова поставить стрежовой невод. Пожалуй, только дядя Истигней может сравниться с ним. Дядя Истигней лучше бригадира знает повадки рыб, их привычки, хранит в памяти рыбы тайники, безошибочно предсказывает погоду, но в замете невода бригадир не уступит ему и, пожалуй, даже превосходит его. Сам дядя Истигней признает это.

Какие могут быть ориентиры на широкой реке? Никаких, а вот Николай Михайлович вытягивает пунктирную линию поплавков так, что два замата равны — невод проходит по тому же месту, что раньше. Когда Николай Михайлович за рулем катера, поза у него стремительная, лицо воодушевленное, с круто изломанными бровями и, несмотря на это, доброе. Нет тогда на лице Стрельникова важности, начальственности, нет смешной напыщенности, нет дураковатого выражения, с каким бригадир спрашивает: «Кто еще хочет поставить вопрос?» За рулем он простой, человечный, и рыбаки подчиняются ему беспрекословно — стоя за рулем, он в самом деле главный.

Сейчас Николай Михайлович весело, нарымским говорком приговаривает:

— Давай действуй, действуй, пять плетенюг вам в мягкое место!.. Степка, холера, через колено ломаный, руками действуй, чтобы заду было жарко... Наталья, гроб в печенки, почто Степку водой поливаешь? Наталья!

Он знает, что рыбаки его не слышат в гуле мотора, приговаривает просто так, от чувства легкости, удовольствия, радости, которые ему доставляет умение ставить невод.

— Наталья, не обливай Степку, черт тебе на шею! — кричит Стрельников.

Наталья действительно, уловив минутку, поливает Степку пригоршнями воды, поливает и кричит, что именно это и нужно Степке, чтобы охолодиться. Поливает, хотя все заняты черт знает как — голову нет времени поднять, вытереть пот. Степка хохочет, отворачивается от брызг, кричит Наталья:

— Звездану!

— Я тебе звездану! — несется в ответ.

Руки Степки проворны, сильны, в неводе разбираются привычно ловко; ему не нужно думать что к чему, он ощупью находит нужное. — Вот холера Наташка! — весело кричит Степка.

Завозня наклонена, чуть не зачерпывает воду рабочим бортом, отягощенным неводом, и Степке опасно наклоняться вперед — можно вывалиться в воду. Однако Степка старается изловчиться. Он хочет одной рукой схватиться за невод, второй — окатить Наталью. «Сейчас!» — восторженно думает Степка и наклоняется, чтобы зачерпнуть воду.

— Не баловаться! — испуганно кричит Виталий, но поздно: вырзвиваясь, Степка хватается рукой за верхнюю тетиву невода, которая течет в реку, не может, конечно, удержаться и, медленно завалившись на спину, мелькнув в воздухе тяжелыми броднями, валится в реку.

— Степка! — пугается Наталья. Она понимает, что он может угодить головой в невод и запутаться в нем, ибо у завозни дель невода еще не стоит вертикально. — Ныряй! — вскрикивает Наталья.

Степка знает это и без нее. Инстинктивно оттолкнувшись ногой от тугой тетивы, он ныряет, уходит далеко в воду, но, вынырнув, оказывается опять в неводе, который не распрямился, а лежит на воде плоско. Степка собирается снова нырять, но Семен Кружилин уже останавливает катер, на больших оборотах винта срабатывает задним ходом. Он спешит на помощь. И Степка первым понимает, что может случиться.

— Намотаете! — ошалело кричит он, забыв о том, что находится в опасности.

Мотор стихает сразу, внезапно, словно его остановили сильной рукой.

— Намотали невод! — говорит Виталий.

— Намотали! — повторяет Наталья.

— Намотали! — мрачно подтверждает Семен Кружилин.

Гулкая тишина стынет над Обью.

Степка, успевший поднырнуть под невод, плавает в тридцати метрах от катера. И Степку, и катер, и невод — все несет сильная обская волна. Степке хочется одного — уплыть от катера подальше, выбраться на противоположный берег и зарыться головой в песок, чтобы люди не видели его. Он так и собирается сделать, поворачивает к поселку, однако потом спохватывается и плывет к катеру.

— Возьмите гребни! — сердито говорит бригадир.

Рыбаки молча берут длинные, большие весла, отцепляют завозню — теперь им придется взять катер на буксир и тянуть его к берегу.

— Лезь в завозню, — говорит Степке бригадир и отворачивается от него. — Наделал, парнишка, делов! Будем ставить вопрос!

Мокрый и жалкий, Степка выбирается из воды.

Волоча, как два пониких крыла, концы невода, «Чудесный» на буксире возвращается к берегу.

7

Виталий Анисимов докладывает рыбакам:

— Дело было простое, товарищи! Еще как сели в завозню, я приметил, что Степка сам не в себе. Разболтался, это, в руках, вообще колобродит. Я, конечно, как старшой, серьезно так посмотрел на него, а Наталья,

конечно, говорит ему, что ты, дескать, котеночек и тебя надо отстегать хворостиной...

— Этого я не говорила... Про хворостину...

— Пускай не говорила! Ладно... Ну вот, значит, Наталья обозвала его котенком и сказала, что нужно отстегать хворостиной. Я еще пуше сердито на Степку посмотрел. Григорий вот может подтвердить...

— Мы ничего не видели, мы ничего не знаем! — вертит черной головой Пцхлава.— Мы думали о нашей теще!

— Пускай не видел! Пускай не знает! Ладно!.. Вот, значит, я на него посмотрел, а он свое — вертится, улыбается здоровенными губищами.

— Заостряй вопрос! — требует Николай Михайлович.

— Заостряю! В общем, смотрю, он и верно на котенка похож, но руками действует правильно, бирко...

— Ты короче можешь? — злится Семен Кружилин.

— Я могу вообще не докладывать! — покладисто отвечает Виталий.— Была нужда! Могу вообще не докладывать!

— Анисимов, продолжай вопрос! Кружилин, молчи!

— Продолжаю вопрос... Значит, руками действует правильно, бирко, а тут эта язва-холера, Наталья, давай его водой поливать. То есть давай со Степкой баловаться, заигрывать.

— Вот дурак! — сильно покраснев, говорит Наталья.— Я таких дураков...

— Пускай дурак! Ладно! А зачем в завозне баловаться, заигрывать? Вот пусть люди рассудят, кто дурак, кто умный... А я могу вообще не докладывать!

— Ты кончишь когда-нибудь? — выходит из себя Семен.— Или тебя надо самого орысиной огреть?

— Анисимов, продолжай заострять вопрос! Кружилин, молчи!

— Значит, Наталья давай поливать его, заигрывать, а он — ее. Ну и вывалился! — говорит Виталий и облегченно, радостно улыбается.— Весь вопрос...

— Понятно! — Николай Михайлович выпрямляется, встает над рыбаками во весь рост.— Понятно! Вопрос ясный. Других сообщений не будет?

Рыбаки сидят недалеко от берега, в тесном кружке; Степка — в середине. У него жалкий, растерянный вид, губы посинели; он даже не переменял мокрую одежду, и она прилипла к телу, отчего он кажется еще более жалким. Среди рыбаков нет дяди Истигнея: забредя по грудь в воду, он рассматривает невод, лучами собравшийся под кормой катера. Старик жмурится, качает головой, курит огромную самокрутку и чаще, чем обычно, моргает. Сам не замечая того, он еще глубже входит в воду — по горло; шарит рукой под винтом, потом сердито выплевывает намокшую самокрутку...

— У кого есть вопросы? — интересуется бригадир.

Рыбаки хмурятся, молчат. Произошло небывалое. Такого еще никогда не случалось в их практике, и они не только раздосадованы задержкой, но и удивлены — бывает же такое! Сгорая от стыда, Степка мается. Переживает. Он боится поднять глаза на товарищей, а пуше всего на Викторию Перелыгину.

— Значит, нет вопросов? — обеспокоенно переспрашивает Стрельников.— Тогда сам буду иметь слово... Колотовкина, отвечай, зачем поливала водой Верхоланцева?

— Мое дело! — огрызается Наталья.

— Ты критику должна принимать! — уязвленно отвечает бригадир.— Огрываться нечего — критику надо принимать! Отвечай, почему поливала?

— Хотела и поливала... Не то, что думают... некоторые дураки... Заигрывала!

— Не перечь! Отвечай на вопрос!

— Не хочу!

— Товарищи, товарищи!

Голос Виктории Перелыгиной звенит. Рванувшись вперед, она влетает в круг рыбаков — тонкая, стройная, побледневшая от волнения.

— Товарищи! — звучит ее высокий голос. — Зачем мы разыгрываем комедию? Это же ребячество! Кто-то кого-то обливает водой! Мы же взрослые люди! Зачем этот допрос, точно мы школьники?

Она прямо, вызывающе смотрит на бригадира.

— Мне непонятно, как можно так вести себя во время работы. Как может Верховланцев поставить себя так, что его во время серьезного дела обливают водой? Позор! Иного слова нет!

Виктория только чуть-чуть передыхает, чтобы еще громче произнести:

— Верховланцева нужно примерно наказать. Он комсомолец! Пусть ответит перед комсомолом!

— У вас все? — спрашивает Стрельников.

— Все! — отрезает Виктория.

В тишине слышно, как хрумкает песок под броднями дяди Истигна, подходящего к рыбакам. С него потоками льется вода, он задумчив, грустен, мокрые волосы торчат в стороны. Руки опущены вдоль тела. При виде старика Степка с болью проглатывает застрявший в горле комок. Тяжело опустившись, дядя Истигна протяжно вздыхает.

— Степка, Степка, как же так, а? Нехорошо, парниша! — глухо говорит старик. — Узнает твой батька Лука Лукич, дойдет до Евдокии Кузьминичны. Нехорошо! Рыбак должен быть солидным, осмотрительным, самоуважительным.

На песке становится тихо, приглушенно. Кажется, что и Обь плещет тише, осторожнее умывает берега ласковой волной. Степка багровеет.

— Нехорошо, парниша! К важному делу ты приставлен, к нештучному... Придет человек в магазин, пошарит по полкам глазами — нет осетрины! Почему нет? Степка Верховланцев невод испоганил... — Старик огорченно почесывает в мокрой голове. — Молодой ты, Степка, это конечно. Душа радости просит, простору... Тоже понятно! Хочешь радоваться, ступай на берег, катайся по песку, если невмочь. Я понимаю, сам молодой был, а все же... Эх, нехорошо, Степка, нехорошо!

Степка не дышит.

— Стыдно тебе, тоже понятно... — Старик задумывается, пошевеливает губами, потом вдруг другим голосом решительно говорит: — Нырять тебе придется, вот что, Степка!

— Я, дядя Истигна... — хрипло начинает Степка, но старик строго перебивает:

— Теперь помолчи! Теперь ты должен молчать!.. Семен! — Дядя Истигна обращается к механику. — Семен, ты назад можешь немного сработать?

— Немного могу.

— Так! — Дядя Истигна, оценивающе оглядев рыбаков, продолжает: — Григорий пойдет на помощь Степану. Ты, Виталья, с Николаем, как невод достанем, зачинишь порванное, а ты, Наталья, пойдика второй невод готовить... Анисья!

— Чего тебе, старый?

— Баба ты здоровая — пойдешь тоже на помощь... Ты, контролер, — он обращается к Виктории, — ты невод распутывай наравне со Степкой. Я, конечно, с вами! Ну, айда!

Он поднимается, широко шагает к катеру, рыбаки за ним. Николаю Михайловичу и в голову не приходит, что его подменили, что дядя Истигней сделал то, что должен бы сделать бригадир. Шагая со стариком, Николай Михайлович озабоченно спрашивает:

— Здорово невод порвался-то?

— Думаю, чуток... Ты, Николай, не лазь в воду. Пускай Степка. Пускай поныряет, стервец этакий!

8

Два часа над Карташевским стрежевым песком не поднимается светло-голубой флаг. Два часа мимо пологого берега беспрепятственно идут пароходы и катера, капитаны которых с удивленным беспокойством поглядывают на песок. Качают головами — что это случилось? Два часа не слышно веселого тарактеня выборочной машины, не отходит от берега катер «Чудесный».

Два часа вместе с другими рыбаками исправляет Степкину ошибку Григорий Пцхлава — разбирает запасной невод, готовит его к притонению, вытаскивает запутавшийся; весело переговаривается с Ульяновым Тихим, который сегодня не опохмелился и от этого еще пуще обычного смушен, неловок. С неводом Ульянов обращается осторожно, робко, точно боится неловким движением испортить его. Григорий подбадривает:

— Ничего! Мы думаем, что ошибка бывает всякой! Наша жена говорит: «Человек может ошибаться!» Наша жена молодец!

Щеки у Григория от бритвы синие-синие, зрачки утопают в больших розовых яблоках, ресницы длинные и прямые, под носом — тоненькие, в ниточку, усики.

— Тебе, Ульянов, надо хороший жена заводить. Чтобы был добрый, умный, красивый, как наша жена.

Сидя на корточках, Григорий цокает языком, вскидывает поочередно руки, как будто собирается вскочить, чтобы промчатся по песку в залихватской лезгинке.

— Мы, Ульянов, очень любим свою жену!

...Об этом в Карташеве знают все. Теперь карташевцы уже привыкли к необычному мужу маленькой, по-девчоночьи тоненькой Анны Куклиной. Два года назад Григорий Пцхлава торговал на томском базаре кислым виноградным вином, которое его брат привозил из Грузии. Бывало, еще стоит раннее утро, а Григорий, потирая озябшие руки, уже похаживает возле большой деревянной бочки, поджидает городских пьяниц. Они появляются. Опухшие, непроспавшиеся, диковатые, готовые за раннюю опохмелку снять с себя последнюю рубаху. Однако Григорий рубах не снимает, он может дать и в долг.

— Понедельник отдашь, кацо!

Вино Григорий не хвалит, не врет, что из лучших колхозных погребов, а, насмешливо цокая, говорит:

— Кислятина! Лучше не имеем. Пей, что дают!

Отпетым пьяницам он потихоньку прощает долги, но большей частью запивохи платят долги исправно — боятся, что в тяжелую минуту им больше не поверят.

Однажды Григорий услышал молящий женский голос:

— Не пей!

У прилавка стоял лохматый парень, за ним — маленькая девушка с огромными голубыми глазами, тянущая его от прилавка. Парень грубо оттолкнул ее и сказал продавцу сердито:

— Не обращай внимания — это сеструха! Налей двести.

Григорий пожалел девушку.

— Закрываем торговля! — сказал он, накидывая на бочку тряпку. — Нет вина, кацо!

Девушка поблагодарила его взглядом, и этот взгляд решил судьбу Григория. Забыв о своей бочке, он долго шел за девушкой, пока она и ее брат не потерялись в толпе. Он думал, что больше никогда не увидит ее, но ему повезло. Он узнал, что она работает в промартели. Явился к ней с букетом цветов и сказал:

— У нас сердце перевернулось от жалости к вам... Мы можем поднять вас одной рукой. Возьмем, поднимем, унесем куда хочешь! Тысяча километров можем нести...

Спустя месяц он уехал с Аней Куклиной в Карташево. Приехали они туда под вечер, в воскресенье, когда карташевцы, встречая и провожая пароход, прогуливались по берегу. Анна держала Григория за руку, шагала гордо, важно, он, улыбаясь во все стороны, показывал жителям белые ровные зубы. Карташевцы проводили молодых изумленным шепотом. Уж больно странны, отличны друг от друга были большой черный Григорий и маленькая, белая, как снежная куропатка, Анна Куклина.

Родители Анны встретили молодоженов на пороге избы, позади них выглядывали испуганные мордочки сестренки, стоял невозмутимый старший брат. Мать растерялась, не зная, что сказать, как обратиться к зятю, но зато отец Анны — Порфирий Иванович — крепко пожал руку Григорию, радушным жестом пригласил проходить в родной дом. Порфирий Иванович был одет в новую гимнастерку, на груди планки от орденов и медалей. Он усадил Григория в передний угол.

— Угощай милого зятяка! — прикрикнул он на растерявшуюся жену.

Держал себя Порфирий Иванович степенно, важно, гордясь большим домом, городской обстановкой, прочным и уважаемым положением рыбака. В ожидании закусок Порфирий Иванович степенно расспрашивал Григория:

— Как, например, теперь прозывается моя дочь? Фамилия, например, ее теперь какая?

— Мы Пцхлава! Они тоже Пцхлава!

Перепуганная мать Анны суетливо бегала вокруг стола, спотыкаясь на ровном месте, иногда останавливалась, шепча: «О господи!» — и снова бросалась к столу.

— Мы бросал все! — говорил Григорий. — Мы решил начинать новую жизнь!

— Это так! — поддакивал Порфирий Иванович. — У вас, у грузин, это так! Вы, грузины, народ горячий, самостоятельный!

Незванные и званые, набились в дом гости. Тихонько поздоровавшись, усаживались в тени, в отдалении от Григория, пытливо изучая его.

— Вы, грузины, воевали хорошо, — сказал Порфирий Иванович. — У меня, конечно, дружок был грузин. Хорошо воевал!

— Кавказский народ храбрый! — обрадовался Григорий.

— Это определено... — заметил сосед Куклиных.

Мать поставила на стол водку, брагу, вино, и все, как по команде, замерли, косясь на Григория.

— Ну, дорогой зятек! — возгласил Порфирий Иванович, поднимая рюмку водки.

— Мы не пьем! — сказал Григорий. — Мы можем сделать только два глотка хорошего вина.

— Как так не пьем? — разочарованно удивился Порфирий Иванович. — У вас, у грузин...

— Он не пьет, папа! — вмешалась в разговор Анна.

Мать Анны, услышав отказ Григория, сразу повеселела.

— Угощайтесь, пробуйте, ешьте! — сказала она ему ласково.

Гости-женщины обрадованно задвигались, моментально проникаясь к Григорию уважением, симпатией: какой положительный, обстоятельный муж у Анны — и в рот не берет проклятого зелья.

— Ну, за благополучие! — пересилив разочарование, поднял тост Порфирий Иванович. — Через недельку и свадьбу сыграем...

После свадьбы Григория устроили работать на стрежевой песок. Для этого к Куклиным пришел дядя Истигней, потихоньку выпросил Григория, где жил, кем работал, что думает о погоде и как относится к ней. Узнав подробности, дядя Истигней, ничего не пообещав, ушел, а назавтра утром, в шесть часов, заглянул к Куклиным и недовольно сказал Григорию:

— Ты чего же, парень, не собрался? Давай одевайся, ехать надо!

Так Григорий Пцхлава стал рыбаком...

Сейчас он распутывает запасной невод.

— У нас хороший жена, замечательный! — аккуратно укладывая поплавки, говорит Григорий Ульяну Тихому. — Они собираются родить нам мальчишку. Мы назовем его Серго.

Ульян, запутав грузила, рвет зубами тетиву. После вчерашней пьянки у него болит голова, тело вязкое, неповоротливое, оно не слушается его, а руки, как всегда, дрожат.

— Тебе надо доставать хорошую жену! — горячо продолжает Григорий. — Таковую, как у меня... Живешь один, невеселый, печальный! Надо доставать жену!

Ульян молчит, а Григорий понимает, почему он молчит, почему, перестав распутывать грузила, низко опускает голову. На склоненной шее Ульяна седые, скатавшиеся волосы. Григорий вдруг сердится, бешено вращает розоватыми белками.

— Думаешь, тюрьма, водка!.. Наплевать! Хорошему человеку наплевать, что ты сидел в тюрьме! Мы, Григорий Пцхлава, уважаем Ульян Тихий. Мы любим Ульян Тихий. Слышишь, товарищ?

— Да! — шепчет Ульян.

— Зачем не смотришь на друга? Зачем убираешь глаза? Ты знаешь, наш тесть для нас строит большой дом. Будет пять стенок, семь окошек, четыре комнаты... Куда нам такой большой дом? Через две недели дом будет наш. Хочешь, переезжай, дадим комната!

Григорий обнимает Ульяна. Ульян замирает под легкой рукой Пцхлавы, потом съезживается, втягивает голову в плечи.

Давно никто так не обнимал Ульяна. Ложились на его плечи руки неистовых собутыльников, охмелевшие дружки целовали его в липкие губы, клялись в верности до гроба, но давно никто не клал ему на плечо руку так, как Григорий Пцхлава. И Ульян тоскливо опускает голову и еще больше съезживается. А Григорий все убеждает его:

— Слушай, Ульян! Слушай, друг-товарищ! Не надо пить водку! Пей хорошее вино. Наша старая мать посылает нам тайно от брата хорошее вино. Хочешь — пей! Болит голова — пей! Только немного, и будешь счастливый и здоровый, как мы.

Свободной рукой Григорий лезет в карман спецовки, выхватывает плоскую флягу, размашисто протягивает Ульяну.

— Пей! Замечательное вино! Лучшее на Кавказе!

Ульян резко отшатывается, выскальзывает плечом из-под руки Григория. Он это делает произвольно, не понимая почему. Он с испугом смотрит на флягу. Лицо его бледнеет.

— Пей, друг! — улыбается Григорий.

— Не надо!

— Не хочешь — не пей! Но помни, в нашем кармане всегда есть для тебя вино.

Пальцы Ульяна трясутся, когда он снова берется за грузила.

— Построим дом, сами к тебе придем! — говорит Григорий. — Скажем: переходи жить, Ульян! Потом будем доставать тебе хорошая жена. Такой, как у нас! — горячо заканчивает он, заталкивая в карман флягу с вином.

9

«Степка, Степка, нехорошо, а!» — вспоминаются слова дяди Истигнея.

Степка одиноко сидит на лавочке и томится.

Нет сил на земле, которые бы смогли сделать так, чтобы не было сегодняшнего, все на веки вечные останется так, как было, — падение в воду, невод под ногами, тишина, наступившая после того, как катер заглох, мысль уплыть на другой берег, чтобы затолкать голову в песок. Случившееся гнетет Степку. Как был бы он счастлив, если бы не этот злополучный день.

Недавно, забираясь на чердак своего дома, Степка поленился поправить скособочившуюся лестницу; полез на чердак и, конечно, грохнул вниз. Прямо в крапиву. А в крапиве кирпичи, деревяшки, о которые Степка больно ударился ногой. Вскочив, расвирипел, зло пнул лестницу, выругался, и стало смешно. Себя ведь надо пинать ногой! Сколько раз он давал себе слово быть осмотрительным, заранее все продумывать — и не выдерживал, снова падал в крапиву.

«Кабы знал, соломку бы подстелил!» Степке известна эта пословица, но беда в том, что Степка, даже зная, что надо стелить соломку, не удосуживался это сделать, до конца продумать, чем кончится то или иное его действие. Он сейчас делает, ляпнет что-нибудь, а потом с изумлением наблюдает за непонятным действием своих рук или слов.

Степка привстает с лавочки. Какой он человек? Ему приходит на ум, что он никогда еще не задавался этим вопросом.

Какой он человек, Степка Верхованцев, — хороший, плохой, смелый, трусливый, честный, нечестный, щедрый, жадный?

Мать честная, не знает!

Как сказать, что хороший, коли он ничего хорошего, важного в жизни не сделал; как сказать — храбрый, если он не совершил ни одного героического поступка и только мечтает о нем; как сказать — честный, коли его честность не проверена, ну хоть бы чужой кошелек найти, чтобы вернуть владельцу в целостности и сохранности. Вернее будет сказать, что он плохой — недавно уснул на работе, проспал полчаса, сегодня испоганил невод, огорчил дядю Истигнея и всех рыбаков; вернее сказать, что он, ну, положим, не трус, а все-таки трусоват, хотя бы оттого, что еще в прошлом году взял в библиотеке книгу, потерял и до сих пор боится пойти в библиотеку, и его собираются вызвать через суд, и он боится участкового милиционера Рахимбаева; вернее сказать, что он нечестный, так как два года назад стянул у отца деньги на ружье и молчал до тех пор, пока не купил, хотя отец подозревал младшего братишку и тихонько от матери и Степки склонял безвинного к признанию, обещая, что за откровенность ничего плохого не будет.

Вернее, конечно, назвать его, Степку, дрянным человеком. Он человек без цели в жизни, без руля и ветрил, какой-то бескрылый. Не знает, чего хочет в жизни. Вот Виктория не такая, она понимает, чего должна добиться в жизни, и уж она-то определенно знает, какой она человек — хороший, умный, честный, смелый. А как же!

Степка, чувствуя себя глубоко несчастным, вздыхает, отщипывает от скамейки щепочки, грызет их с печальным, убитым видом. Нет, ему определенно надо меняться, становиться другим человеком—степенным, осмотрительным, как говорит дядя Истигней. Ему нужно становиться хорошим человеком, пока еще не поздно. Но это так трудно! А впрочем...

Вот, предположим, он с завтрашнего дня станет другим. Да, да, так и надо сделать! Он сможет, конечно, стать другим, в корне переменить поведение. Что нужно для этого?.. Степка медленно загибает пальцы, перечисляя качества, которые понадобятся ему для превращения в другого человека: воля, выдержка, спокойствие, честность, смелость, осмотрительность, трудолюбие. Когда у него загнуты все пальцы, Степка начинает представлять, как начнет новую жизнь.

...Неторопливый, солидный, даже нахмуренный, он приезжает на берег, забирается в завозню, осматривает невод, говорит: «В порядке!» Голос у него грубый, мужской, а перед тем как что-нибудь сказать, он, подобно дяде Истигнею, морщит лоб, думает, прикидывает. Вот, например, когда невод будет поставлен, он прищурится на него, равнодушно промолвит: «Должно, хорошо поставили!» Потом Степка вылезет на песок, молча снимет куртку, значительно поглядит на рыбаков и не бросит куртку, как попало, а аккуратно свернет ее. Потом начнется выборка невода; он будет тянуть его, помогать машине, затем покажется мотня, раздастся плеск, он бросится к мотне, воскликнет: «Осетер!» И... дядя Истигней скажет: «Ты бы набил в рот травы, а!»

— Тьфу! — ожесточенно плюет Степка.

Даже в мыслях не может выдержать до конца, а что будет на деле! Ох и беда!

Степка слышит мягкий скрип калитки, дробные удары каблучков о тротуар — это Виктория, которую ждет Степка, сидя на лавочке. Он ждет, когда она пойдет в библиотеку, — чтобы поговорить, объяснить, так как после случая на промысле Виктория на Степку перестала обращать внимание. Перед концом работы прошла мимо, отвернулась, сжав губы. Степка затосковал, но остановить ее не решился.

Сейчас, услышав ее шаги, Степка вскакивает, торопливо одергивает пиджак. Стуча высокими каблучками, приближается Виктория. За добрых сто шагов она замечает Степку, чуть приостанавливается, но тут же, видимо, берет себя в руки, и шаг ее становится опять таким четким, словно кто-то отбивает палочкой по барабану.

— Добрый вечер! — смущенно говорит Степка.

— Добрый вечер! — хмуро отвечает она.

— Куда пошла, Виктория?

— Ты же знаешь, в библиотеку.

Больше Степке ни сказать, ни спросить нечего. Он стоит возле тротуара, а Виктория — на тротуаре. От этого она на две головы выше Степки, и он поглядывает на нее снизу вверх и кажется особенно смущенным, растерянным.

— Я слушаю. — Виктория вздергивает голову.

— Виктория! — Степка встает одной ногой на тротуар. — Я, конечно, виноват, но... Я сам переживаю! Я не хотел!

— Чего не хотел?

— Запутывать невод...

— Ах, вот как! Ты не хотел!

— Конечно... я нечаянно...

Виктория держит книги, и ее тонкие пальцы в черной перчатке дробно, нервно постукивают по корешку. К Степке она повернула только голову, корпус ее устремлен вперед.

— Я не хотел... — говорит Степка.

— Не сомневаюсь в этом,— холодно отвечает Виктория.— Ты, на-
всрно, не хотел обливать водой и Колотовкину! Тоже нечаянно!

— Она первая! — тоном школьника, пойманного строгим учителем,
говорит Степка.— Сама начала...

— Мне нет никакого дела до ваших отношений! — Виктория пере-
дергивает плечами.— Можете делать все, что вам заблагорассудится!

— Сам не знаю, как получилось!— все в том же тоне школьника
продолжает Степка.— Баловство, конечно. Вот и дядя Истигней гово-
рит...

Виктория высокомерно усмехается — какой наивный! А скорее всего
прикидывается простачком, чтобы обойти острый вопрос, не заговорить
о том, что известно всем. Неужели он думает, что она, Виктория, не ви-
дела, как он барахтался с Натальей под яром, как боролся с ней, хохоча
и обхватывая за талию руками? Весь катер видел, как Наталья подмяла
Степку, навалилась на него грудью. Она, Виктория, готова была сорвать
со стыда, забилась в уголок, не дышала от унижения, а теперь он при-
кидывается простачком, строит из себя невинного ребенка.

— Тебе лучше ждать на лавочке Колотовкину! — говорит Виктория.

— Зачем? — удивляется Степка.— Она моя соседка. Утром увижу.

— Вот и прекрасно! Встречайтесь!.. Пожалуйста, встречайся с Ко-
лотовкиной! Хватай ее ручищами. Она не стесняется!

И наконец-то до Степки доходит, что Виктория ревнует его к На-
талье. Это так неожиданно, так невозможно и нелепо, что он изумленно
открывает рот. На миг он представляет Наталью — ее сильную, мужскую
фигуру, слышит ее грубый, насмешливый голос, видит насмешливую
улыбку. Степке становится весело. Наташка! Да разве можно! Степка
прыскает, но, чтобы не обидеть Викторию, вздрагивающим, приглушен-
ным голосом говорит:

— Виктория, ты чудачка! Ты не знаешь, какая ты... замечательная!
Ты замечательная! — Он не выдерживает и хохочет.— Ты замечатель-
ная, хорошая! — Степке кажется, что своей ревностью Виктория как-то
приближается к нему.— Ой, какая ты замечательная! — ликует он.—
Как ты могла подумать! Наташка мне соседка, понимаешь... Мы с ней
с самого детства дружки... Она наша, понимаешь?

Виктория прикусывает губу. Смех Степки, его удивление она при-
нимает за маскировку, думает, что он старается этим скрыть свое сму-
шение. «Он не такой простой и наивный!» — думает она о Степке.

— Перестань паясничать! — Виктория топает ногой.— Ничего смеш-
ного нет! Делайте с Колотовкиной все, что хотите, это меня не касается!
А вот о твоём поступке, о том, что ты сорвал рабочий день, я буду гово-
рить там, где нужно!

Степка пятится назад, спускается с тротуара.

— У меня с Натальей ничего нет, поверь, Виктория...— ошеломленно
говорит он.

— Мне безразлично.— Она передергивает плечами и резко броса-
ет: — Я ухожу. Прощай!

— Постой, постой! — пугается Степка.— Нельзя же так... взять и
уйти! Я объясню!

— Не нуждаюсь! — отрезает Виктория, поворачивается и быстро
уходит.

Каблуки ее туфель выстукивают барабанный грозный марш.

— Как сажа бела... дела... — шепчет Степка. Он делает стремитель-
ное движение к Виктории и вдруг замирает на месте.

Так он стоит долго.

Отца Степки зовут Лукой Лукичом, мать — Евдокией Кузьминичной. Часов в девять вечера, когда Степка возвращается домой после встречи с Викторией, Лука Лукич сидит на крылечке и точит тонкий рыбацкий ножик на изъеденном оселке. Он бос, на плечах порванная старая майка, брюки подпоясаны широким солдатским ремнем, на котором болтаются пустые ножны. Лицо у него темное, морщинистое, узкоглазое.

Евдокия Кузьминична возится у летней плиты. Она в длинном, старушечьем платье, повязана косынкой, на ногах разношенные валенки. И спина у Евдокии Кузьминичны сгорбленная, старушечья, а лицо румяное, обрамленное каштановыми молодыми волосами. Евдокия Кузьминична хмурится — скорее всего оттого, что дым ест глаза.

«Вжиг! Вжиг!» — полусует нож по бруску.

Вокруг занятого, сурово сосредоточенного Луки Лукича ходит здоровый голенастый петух, трясет гребнем, истерично закатывает глаза. Это тот самый петух, что по утрам провожает Степку на работу. Сейчас петух что-то высматривает на руке Луки Лукича, на что-то прицеливается, что-то пакостное задумал: без этого верхоланцевский петух жить не может. Всеи улице он известен вздорным и драчливым нравом. Увлеченный работой, Лука Лукич петуха не замечает, и зря! Странно изогнувшись, распутив по земле одно крыло, петух внезапно подпрыгивает, вскрикивает и со всего маху клюет Луку Лукича в руку. Старик роняет оселок.

— Тю, проклятый! — кричит он, вскочив, и поддает петуху ногой.

Тот легко, словно с удовольствием, взлетает, пронесится над головой Евдокии Кузьминичны и плавно опускается у дворового заброшенного колодца. Раздув гребень, петух радостно, весело кричит, как бы благодарит старика за удовольствие.

— Дьяволюга нечистая! — говорит Лука Лукич, потирая руку и опасно оглядываясь на сына, который сидит на лавочке: не смеется ли?

Но Степка не смеется, он ничего не видит, сидит, печально опустив голову.

Старик поднимает оселок и решительно говорит:

— Заколоть! Немедля!

— Кого, отец, заколоть? — спрашивает Евдокия Кузьминична, делая вид, что она тоже ничего не видела. — Что-то не пойму, отец, кого заколоть?

— Петуха! Кого? Развели петухов, не пройти, не проехать! Сколько их у нас? Скажи мне!

— А два их у нас, отец! — мирненько отвечает она. — Один молодой, второй старый. Всю жизнь, отец, по два держим, чтобы куры не остались без петухов. Вот так, отец!

— Не стрекочи! — прерывает ее Лука Лукич. — Что два держим, это сам знаю! Ты мне отвечай — этот молодой али старый?

— Это, отец, молодой петух! — отвечает Евдокия Кузьминична голосом, в котором уже слышны грозные нотки.

— Так вот я и говорю — это молодой петух. Развели, — чуть тише отвечает Лука Лукич, снова принимаясь за ножик. — В собаку палку бросишь, попадешь в петуха! Соседи вот недовольны...

— Кто недоволен? — Евдокия Кузьминична вскидывает голову. — Ты, отец, прямо говори, кто недоволен?

— Не знаю, — еще тише отвечает он, ожесточенно водя оселком. — Я ничего не знаю... Где мне! Сами разбирайтесь. С петухами...

— Вот тут ты, отец, правильно говоришь. А то заладил — зако-

лоты! — снова мирненько говорит Евдокия Кузьминична, внимательно следя за тем, чтобы не выкипела каша.— Это, отец, правильно!..

И опять в ограде Верхоланцевых тишина и покой. Дует легкий, неслышный ветер, черемуха в палисаднике пошевеливается. Уютно, мирно.

— Варево поспело! — объявляет Евдокия Кузьминична.

Стол накрывают в сенях — огромных, гулких, прохладных,— в них пахнет особым запахом, присущим только сеням, где держат муку, зимнюю одежду, брагу и крепкий квас. В Нарыме сени летом заменяют комнаты, в них спят, едят, справляют свадьбы, решают важные семейные дела. Комнаты дома в это время готовят к зиме — красят, штукатурят, кухню оклеивают обоями. У Верхоланцевых в сенях стоит большой стол с самоваром, две кровати, на маленьком окошке без рамы висит белая чистая занавеска, пол застлан суровыми половиками.

— Садитесь, мужики,— уважительно приглашает Евдокия Кузьминична, ставя на стол огромную сковороду с картошкой, зажаренной на свином сале.

К картошке подаются соленые огурцы, маринованные и свежие помидоры, грибы, брусника с сахаром, молоко. На самый кончик стола, за самовар, Евдокия Кузьминична приманивает небольшой графинчик с водкой, на горлышко которого вместо пробки надета серебряная чарочка. Лука Лукич видит хитрость жены, строго кашляет, но Евдокия Кузьминична и бровью не ведет.

— Снедайте, мужики,— говорит она.

Лука Лукич, не глядя, вроде бы машинально, тянется рукой за самовар, цепкими пальцами хватает графинчик, тянет к себе и в то же время для отвода глаз второй рукой кладет на блюде соленые огурцы.

Приглушенно булькает водка.

— Ай, должно быть, довольно! — быстро говорит Евдокия Кузьминична, когда маленькая чарочка наполняется наполовину.

Она вырывает графин из рук мужа, а он делает пальцами такое движение, точно собирается что-то посолить.

— Каждой дырке затычка! — kloкочущим голосом говорит Лука Лукич.— Дивуюсь, везде она встрянет!

А Евдокия Кузьминична торопливо уносит графин в дом и возвращается с видом человека, отлично выполнившего суровый, но неременный долг, и торжествующе глядит на мужа, который осторожно вынимает из чарочки кусочек сургуча. Затем одним глотком проглатывает.

— Ровно орехи лузгает! — поражается Евдокия Кузьминична, но от чувства одержанной победы делается ласковой, радушной, угощает: — Ты сальца, отец, сальца загребай! Вон с краю бери... Сальцо против водки большую силу имеет... Степушка, почто же ты бруснички не берешь? Вот я тебе, сыночек, придвинула...

Степка ест неохотно. Он сегодня совсем не такой, каким бывает обычно за семейным столом. Вообще-то Степка любит вечерние неторопливые ужины с родителями: ему приятно слушать напевное приговаривание матери, весело следить за ее маневрами с водочным графинчиком, за тем, как она ловко умеет отразить и погасить вспышку гнева отца.

Но сегодня Степке не по себе. Картошка кажется подгоревшей, огурцы пересоленными, от грибов пахнет прелью. Ест он мало. Мать, конечно, замечает это и порой как-то особенно внимательно глядит на него.

Проходит много времени, когда чуть покрасневший от водки и еды Лука Лукич откладывает ложку, вынимает портсигар, с удовольствием закуривает. Евдокия Кузьминична отдыхает перед мытьем посуды. На-

ступает время неторопливых, обстоятельных разговоров, раздумий; родители говорят негромко, приглушенно, не договаривая фраз: понимают друг друга с полуслова. Степка молчит, курит, а Евдокия Кузьминична, кивая на него головой, говорит Луке Лукичу:

— О третьих петухах вчера пришел. Я уж совсем было придремала, уснула, это, было, как чую — идет! Глянула на часы — третий. Ты уж, отец, спал, храпел страсть как!

Отец и Степка молчат.

— Слышу, за веревочку тянет тихо, сторожко. Это, значит, не хочет, чтобы я учуяла,— продолжает Евдокия Кузьминична.— Ай нет, я все слышу, сыночек!

— Сказано — женщина! Оно и есть женщина,— недовольно замечает Лука Лукич.— Ты его в карман посади. Курица и та цыпляет от себя на волю пускает.

— У курицы их много, у меня один остался.

У стариков еще два сына: старший в армии, младший сейчас в пионерских лагерях.

— Я, мама, на танцах был,— угрюмо объясняет Степка.

— Конечно, что не на работе. На работе тебя долго не удержишь. Слыхали, как ты работаешь,— подозрительно спокойно говорит Евдокия Кузьминична.

— Что слыхала? — опасливо спрашивает Степка.

Но мать не отвечает. Она наливает из самовара еще одну чашку, берет блюдечко растопыренными пальцами и сосредоточенно делает глоток. После этого она обращается не к сыну, а к мужу.

— Ты, отец, поди, не слыхал,— говорит она.— Сижу это я на лавочке, тебя, надо быть, поглядываю, а тут Анисья идет. И-и-и, говорит, Кузьминишна, мать моя, что твой сыночек сегодня на песке вытворил! Весь, говорит, невод на куски поизодрал, где начало, где конец, не разберешься, мотня, говорит, так и потонула, а старый черт Истигней твоего, говорит, Степушку так изругал, что я, говорит, дажесть заступилась — почто, говорю, молодого юношу обижаешь...

— Как так? — недоверчиво спрашивает Лука Лукич.— Степка, как так?

— Жди, отец, жди! Он тебе ответит! — строго говорит Евдокия Кузьминична, прихлебывая чай и поверх блюдечка глядя на густо покрасневшего Степку.— Он тебе ответит, как же... До трех часов ночи гулять он может, а как до дела, он язык проглатывает. Я тебе дальше расскажу... Дело было такое. Степка с Натальей начали в лодке баловаться, играть, да возьми и опрокинься в реку. Тут Николай Стрельников, конечно, приказал Сеньке стормозить, тот стормозил, ну катер и заплутался винтом в неводу. Три часа разматывали. Истигней, говорит, из себя выходит, ругается матерно...

— Анисья врет! — раздраженно перебивает ее Лука Лукич.— Истигней сроду не матерится.

— А конечно, врет,— соглашается Евдокия Кузьминична.— А вот про Степку не врет. Наври она мне такое... Знаешь, что будет?

— Знаю! — отмахивается Лука Лукич и резко поворачивается к Степке.— Наизаболь¹ испоганили невод?

— Порвали... левее мотни,— говорит Степка и опускает голову.

— Ну, брат, это не годится! — раздельно произносит Лука Лукич, привставая.— Истигней взаправду ругался?

— Ругался...

¹ Наизаболь — нарымское словечко, означающее: правда ли? Серьезно ли?

— Сойди с моих глаз! — гневно говорит Лука Лукич. — Видеть не могу! — Он поднимается, заложив руки за спину, прохаживается по толстым половицам сеней, босой, сутулый, ножны болтаются у пояса в такт его сердитым шагам.

Евдокия Кузьминична притихает, осторожно, чтобы не звякнуть стеклом, ставит блюдечко на стол, вытирает губы щепоткой, после чего выпрямляется, всем своим видом показывая, что полностью разделяет с Лукой Лукичом его гнев.

— Ты мне это не смей! — Лука Лукич грозит Степке пальцем. — Мы с Истигнием в одной роте воевали. Ты мне славу Верхоланцевых не порть! У нас слабаков и лентяев в роду не бывало! Что на рыбалке, что на войне — Верхоланцевы шли впереди! Отвечай, почему испоганил невод?

— Нечаянно я, отец...

— Нечаянно комара можно задавить. А тут дело государственное, нешутевое — рыбалка! Это тебе не в бирюльки играть! — Лука Лукич грохает кулаком по столу.

Степке так тяжело, что он сереет лицом, стискивает посиневшие пальцы. Евдокия Кузьминична видит это, ей немного жалко сына, но вмешиваться в разговор она не может, так как Лука Лукич прав.

— Я мечту имею, чтобы из тебя знатный рыбак вышел, чтобы ты наш род на рыбалке продлил, а ты что? Испоганил невод! По мне, лучше подерись с кем-нибудь, а дело не пятнай! — гневается Лука Лукич.

И тут Евдокия Кузьминична уж не может удержаться, чтобы не сказать:

— Чему ты учишь? Драться — этого еще не хватало!

— Мать, молчи, не вмешивайся! — обрывает он. — Рыбалка дело почетное, важное. У Истигниа сколь орденов? Четыре! А сколь за войну? Два! Остальные он за рыбалку получил. И орден Ленина — за рыбалку... Ты понимаешь это, спрошу я тебя? Не понимаешь! Ты как думаешь? — Лука Лукич останавливается, точно пораженный неожиданной мыслью. — Ты... я знаю, как ты мыслишь! Рыбалка, дескать, это так себе — поработаю, время проведу, а потом в институт, да на курсы, да еще куда... С директоршиной дочкой вот гуляешь! Мне понятно...

— Ты директоршину дочку не задевай! — говорит Евдокия Кузьминична, радуясь, что от рыбалки Лука Лукич перешел к директорской дочке и, значит, ей можно вмешаться в разговор. — Девка она взрачная, степенная, умная.

— Не встревай, мать, долго ли до греха! Обижу еще ненароком! — возвышает голос Лука Лукич. — Я не хочу, чтобы Степка на рыбалке вроде бы как принудилровку отбывал. А директоршина дочка, что думаешь, останется с рыбаками? Держи карман шире, наострит хвост через год, и поминай как звали!

— Ты, отец, говори, да не заговаривайся... Степушке тоже не всю жизнь на песке вековать. Пускай идет в институт. Перед ним дороги открытые! — Евдокия Кузьминична тоже повышает голос.

Лука Лукич замирает — он в ужасе от того, что говорит жена. Голос у него становится вздрагивающим, приглушенным.

— Ты как можешь? Как ты можешь?!

Он мечтал, что Степка продлит его жизнь на реке, а жена говорит — пусть идет в институт.

Лука Лукич выглядит обиженным, и в этот миг Степка очень похож на него не только смешно оттопыренными губами, взглядом, но и всем выражением лица.

— Как ты можешь такое! — говорит Лука Лукич. — Я разве плохо жизнь доживаю? Чего мне не хватает? Чего мне надо?

Он садится на свое место, замолкает. Евдокия Кузьминична начинает мелко помаргивать ресницами, блюдце в ее пальцах дрожит, она не знает, что сделать, что сказать.

— Лука! Да я разве... О господи! Что ты, что ты, Лука! Мне такую жизнь, как мы прожили, хоть сто раз начинай... О господи!..

Степка страдает.

Глава третья

1

— Здорово, Истигней!

— Здорово, Лука!

Дядя Истигней и Лука Лукич сходятся так, как сходятся два встречных парохода на голубой Оби.

Равные по величине, по значительности рейсов, важности груза, опытности капитанов, пароходы неторопливо обмениваются приветливыми гудками, желая друг другу счастливого пути, капитаны чинно раскланиваются, но в то же время зорко, ревниво примечают всякие новшества друг у друга: новую оснастку, подкрашенную суриком трубу, яркое украшение на шлюпке. Все примечают и, поджав губы, хмыкают: «Вот как!» Можно быть уверенным, что при следующей встрече на трубе парохода, капитан которого заметил подкраску у соперника, появится такая же новая полоска, но, конечно, пошире, поярче; можно не сомневаться, что капитан другого парохода в свою очередь прикажет натянуть на шлюпки такие же, как у соперника, красивые чехлы и тоже пойдет дальше: уж не синими будут они, а небесно-голубыми. Где только он раздобудет такую краску!

Точно так встречаются дядя Истигней и Лука Лукич: придирчиво оглядывая друг друга.

— Давно не виделись, Истигней!

— Давненько не куривали вместе, Лука!

Они представители различных видов рыбалки: дядя Истигней ловит на стрежовом песке, Лука Лукич ставит на озерах самоловы-сети, ловушки-морды, вентера и только изредка промышляет небольшими озерными неводами. Если на стрежовом песке дядя Истигней опытной дружкой, то на озерах трудно сыскать мастера лучше Луки Лукича. Оба славятся в районе и области, оба ездят в город на совещания, оба — заправила общественного мнения в поселке.

Молодые карташевские рыбаки во всех сложных случаях жизни идут советоваться к ним. Но коли один из них замечает, что к нему ходят чаще, чем к другому, то говорит: «Иди посоветуйся с Лукой Лукичом! Он башковитый!» Или наоборот: «Шел бы ты к Истигнею Петровичу! Он дело знает!»

Соперничая, дядя Истигней и Лука Лукич не теряют дружбы и уважения друг к другу. Это видно и из того, что Лука Лукич отдал сына на выучку к Истигнею. Вот почему так торжественно происходит встреча двух старых рыбаков. Помахав фуражками, подержав друг друга за руки, они направляются к ближайшей скамейке, садятся рядом.

— Покурим, Лука!

— Конечно, Истигней!

Они торопливо рвут из карманов кисеты, чтобы первому успеть поднести крепкий самосад. У дяди Истигнея кисет длинный, его скоро не вытащишь, Лука Лукич опережает его.

— Бери моего! Знатный табак.

— Спасибо, Лука! Знаю, твой табачок крепкий, полезный. Ты его для запаха одеколончиком поливаешь?

— Чуток!

Старики курят сосредоточенно и важно, затягиваются глубоко, дым долго держат в легких, выпускают из ноздрей густыми струями. Говорить, обмениваться новостями не спешат, да одному из них — Луке Лукичу — и начинать разговор трудно. Степка! Ах ты, щучий сын! Он, паскудник, наверное, и не догадывается, в какое тяжелое положение поставил родного отца своим мальчишечьим поступком.

Истигней понимает это, но на выручку не идет: сам разговора о Степке не заводит.

Вечерние тени ложатся на землю, сливаются, заполняют улицы темнотой. Солнце прячется за синий кедрач, втягивает в себя лучи в том месте, где кедрач прорежен, — кажется, что не солнце за ним, а разливное озеро расплавленного металла. По улице, поднимая пыль, носятся мотоциклисты.

Молчать больше нельзя. Лука Лукич, увидев мотоциклистов, находит предлог для разговора.

— Мой артист тоже купил, — говорит он. — Носится по деревне как оглашенный.

— Как же, видал, — отзывается дядя Истигней, довольный тем, что Лука сам начал разговор о Степке и назвал его артистом. Теперь ему, Истигнею, нечего бояться, что Лука слишком переживает за Степку: «Молодой еще. Артист. Что его брат на полную серьезность? Перебесится». — Как же, видал, — повторяет дядя Истигней. — Видал, как нажваривает. Прокурор! — Он затягивается, задерживает дым, продолжает: — А парень он ничего. Рыбацкая жилка в нем есть...

— Значит, так сказать, жилка есть... — успокаивается Лука Лукич. — Ты думаешь, есть наша жилка?

— Есть, парниша, есть... А я вот глазами слаб стал, все разглядеть не могу, кого это он на мотоцикле возит, а?

Ах ты, старый черт! Уж Лука-то знает, какие глаза у идола хитрого. У Истигнея этого; комара на верхушке сосны разглядит, на солнце, не сощуриваясь, смотрит, а говорит такое. Ну и ну!

— С кем он, Лука, ездит-то? — допытывается дядя Истигней. — Вроде знакомая, а?

— Директоршина дочка, — отвечает Лука Лукич.

— Это какой директорши, а?

— Ты, Истигней, брось! Не верти! Директорша у нас одна.

— Правда, что одна... Значит, той директорши, что школой накомандывает?

— Ты, Истигней...

Но Истигней вроде бы и не обращает внимания на досаду приятеля — курит, наслаждается, причмокивает от удовольствия. У Луки табак действительно отличный — в меру крепкий, душистый, пахнувший одеколоном и немного кедром. От него приятно кружится голова. И у Истигнея обязательно будет такой же табак, а то еще лучше, при следующей встрече он удивит Луку.

— Понимаю теперь, с какой дочкой, — говорит Истигней. — Понимаю. С той, что у нас на песке работает.

Он ищет глазами, куда бы бросить окурочек, но не находит места — вокруг лавочки чисто подметено; тогда он закатывает окурочек пальцами и сует в карман.

— Степка, конечно, еще молодой, — задумчиво говорит Истигней. — Горячий, путаный, разнобойный. Однако дело любит. Прямо скажу — любит...

— Наизаболь, Истигней?

— За Степку сердцем не болей,— говорит дядя Истигней.— Мне он глянется — хороший человек будет. Теперь он, конечно, блуждает — где хорошо, где плохо, не разбирается. Пройдет это! Хороший человек будет... Ты себя вспомни! Такой же стригунок был...

— Да и ты...

— И я... наших кровей Степка, рыбацких, сибирских. А вот та не такая!

— Директоршина дочка?

— Она! Недавно говорит — мало притонений делаете.

— Тебе?! — удивляется Лука Лукич.

— Бригаде! На меня напирает, что время тяну...

— По солнцу, что ли?

— По нему... Девка, конечно, красивая, умная, умеет себя поставить, на все у нее ответ есть. Хорошо разбирается, что к чему. Молодая, да ранняя... Отца я знаю — хороший мужик. Под Сталинградом был... Да, вот и говорю, хороший человек всегда проявится.

— Ты, Истигней, говори прямо!

Но Истигней не может сказать прямо — он к людям присматривается долго, внимательно, с выводами не спешит; знает, что жизнь дело не шутевое, что порой человеком руководят обстоятельства. Разное бывает в жизни. Истигней в человеке старается искать лучшее, от этого ему самому лучше жить. Вот почему на вопрос Луки он отвечает уклончиво:

— Не знаю, парниша. Ничего не могу сказать. Девка она дельная, энергичная. Слова знает хорошие, верные, а что дальше — пока не разберусь... Мать у нее, говорят, строга, неуклонна.

— Слышал.

— Так-то, дружище. А времена ласковые пошли... Гляди, гляди, куда это он? — говорит Истигней, показывая на Ульяна Тихого, который быстро, прижав руки к бедрам, идет по улице.— Надо быть, в чайную. Вот беда!

Ульян круто заворачивает за угол, оглянувшись на стариков, торопливо прибавляет шаг. У него такой вид, точно ветер давит в его спину, подгоняет, торопит, хотя на дворе тихий прозрачный вечер.

Проводив его взглядом, Истигней мрачнеет.

— Напелся! Вот беда — потерял стежку в жизни. Сбился с тропки и не знает, как выбраться на вереть. Вот, Лука, еще тебе вопросец! А все почему? Да потому, что есть еще такие любители человека по голове бить, не разбираясь. Есть! Ах ты беда...

2

Пожалуй, даже не ветер, а крепкие, незримые руки подталкивают Ульяна к поселковой чайной, чужой голос нашептывает: «Выпей! Легче станет, просторнее, душа отойдет. Выпей, Ульян!» Ему представляется, как будет весело, легко от стакана водки, как поплывет мир, станет мягким, радужным, теплым; исчезнут мысли о тяжелом, мучащем; жизнь раздвинется, распахнется радостью, обернется к нему хорошей стороной; не нужно будет гнать тоскливые, черные мысли.

В чайной дымно, звякают стаканы, гремит радиолка, блестит стеклом буфетная стойка, в углах — запыленные фикусы, на стене — картина с медвежатами. Две немолодые, но быстрые официантки обслуживают карташевских выпивох без заказов. Как только Ульян появляется в дверях, одна из них, круглолицая, полная, в белом фартуке и кружевной наколке на голове, покачивая бедрами, спешит к буфету, берет ста-

кан водки, блюдечко с грибами, кусок чайной колбасы и несет к Ульяну, который уже сел за свободный столик. Уплатив официантке, он мельком оглядывает посетителей — одному пить невесело. Компаньонов сколько угодно: справа за столом большая компания сплавщики из соседнего поселка, где нет чайной, слева — те два мужика, что стояли над пьяным Ульяном в воскресенье: один тощий, в гимнастерке, другой в просторном костюме с диковинно широкими брюками. Заметив Ульяна, тощий мужичонка радостно визжит:

— Ульян, сюда! Сюды вали, Ульян!

Сплавщики оборачиваются, ставят на стол торжественно поднятые стаканы, недовольно переглядываются, раздосадованные этим визгом. Их шестеро за столом. Это солидные, угрюмоватые люди, одетые в брезент, кожу и громадные сапоги размера на три больше, чем полагается каждому по ноге, чтобы можно было намотать побольше портянок. Все они великаньего роста, широкоплечие, у всех голстые шеи. Водку сплавщики не пьют, а употребляют, не проглатывают ее, а медленно процеживают сквозь зубы. От выпитого почти не пьянеют, не становятся разговорчивыми, а только краснеют лицами, наливаются силой, нужной им на трудной работе с тяжестью. Обычно, выпив по бутылке водки, съев по три порции второго, сплавщики пьют крепкий чай; напившись, поднимаются и дружной, плотной шеренгой выходят из чайной — молчаливые, багровые, сердитые.

Сплавщики не любят шума, громких разговоров; сами никогда не озорничают, не ругаются, а если кто из посторонних заводит ссору, молчаливо выделяют одного, и тот поднимается, громадный, как медведь, подходит к дебоширу, наклоняется к нему и раздельно говорит, будто диктует: «Бить не будем, а вот в окошко выбросить — выбросим. Почто людям отдыхать не даешь?» Этого достаточно для любого буяна, ибо все в поселке знают, что от слов к делу сплавщики переходят немедленно.

Обернувшись на голос тощего мужичонки, сплавщики, видимо, собираются предупредить его, чтобы он вел себя потише, но замечают Ульяна Тихого, и старший из них негромко зовет:

— Ульян, подсаживайся!

Ульян подходит, здоровается; сплавщики теснятся, освобождая ему место; они довольны, что он пришел, но особой радости не выражают. Люди сдержанные. Говорят поочередно:

— С народом, Ульян, веселей.

— Ты мастак! Нас догонишь.

— Одно слово — пожарник. Насчет водки он пожарник.

— Становь грибы к гуляшу. Колбасу не надо — несолидный продукт.

Старший говорит:

— Прикрыли месячный план. Справляем досрочное окончание.

Сплавщики уважительны к Ульяну. Они помнят его штурвальным «Рабочего», знают, каким большим мастером своего дела был он, как ловко проходил опасные обские перекаты. В Нарыме речников все уважают. Они, речники, — долгожданные гости в каждой семье; им готовят лучшие кушанья, ставится на стол самая крепкая брага, отводится первое место.

Ульян и сейчас для сплавщиков остается тем, кем был, — штурвальным. Им наплевать на то, что сейчас Ульян не у дел, — споткнулся чело-бек, ошибся, но ничего, со временем найдет свою точку, снова встанет на мостик «Рабочего». Не отнимешь же у него знания обских перекатов! А такая болезнь, как алкоголизм, неведома им. Сколько ни выпьют, а утром не опохмеляются — встают свежие, крепкие и идут ворочать

бревна в ледяной воде. Солнце, воздух, вода, обильная пища, природное здоровье не дают им спиться, и потому сплавщики считают, что в водке нет вреда, а только польза для организма. Им и в голову не приходит, что Ульянов спивается.

Сплавщики усаживают Ульяна, придвигают гуляш, вареное холодное мясо, свиное сало. После стакана водки они съедают столько, что иному хватило бы на два обеда.

— Хвати, Ульянов! — приглашают сплавщики.

Первый стакан Ульянов выпивает мучительно трудно. Сначала морщится, судорожно гоняет по шее кадык, будто задыхается, кажется — сейчас бросит стакан. Но нет, преодолев отвращение к запаху водки, он разжимает зубы, останавливает дыхание и одним глотком выпивает стакан до дна.

— Тяжело пьешь, братишка! — удивляется старший из сплавщиков. — Не в ту жилу, что ли, пошла? Закусывай!

После первого стакана Ульянов не закусывает. Он вообще мало закусывает, когда пьет, — ковырнет вилкой раза два, поморщится, неохотно съест кусочек, и все.

Пьянеет Ульянов медленно.

— Берет! — удовлетворенно говорит он, когда чувствует, что в груди потеплело.

Ему уже хочется поговорить, но он привычно молчит, смотрит на людей открытым, беззащитным взглядом: «Пьяница я — правильно! Ругайте меня, кричите! Ничего не поделаешь...» Ему, пожалуй, кажется, что стало легче, — на самом же деле в груди стынет прежнее тоскливое чувство. Оно только чуть приглушено.

— Дерни вторую. Догоняй! — говорят сплавщики, наливая Ульянову водку из своей бутылки.

Он торопливо вскакивает, чтобы заказать самому. Ульянов не хочет, чтобы его угощали водкой. У буфетной стойки он заказывает еще стакан, бережно, осторожно берет его дрожащей рукой, медленно поворачивается, чтобы вернуться к столу, и видит злое, насмешливое лицо Натальи Колотовкиной.

Она в стареньком, заношенном платье, узковатом для нее, голова повязана синей косынкой, на ногах — хромовые сапоги.

— Пьете? Зенки заливаете? — тихо спрашивает она сплавщиков.

— Ты откуда, девка, прыгнула? — недоумевает старший.

Ульян подходит к Наталье, глупо улыбается и здоровается.

— А, Наталья, здравствуй!

— Здравствуй! Давно не виделись! — отвечает она. — Здравствуй, милый мой! Купил еще стаканчик? Мало стало!

— Купил... — улыбается Ульянов.

Наталья вновь обращается к сплавщикам:

— Закусываете, значит, выпиваете? Время весело проводите?

Сплавщики никак не могут понять, что это за женщина стоит перед ними, уперев руки в бока. Их старшой угрожающе пошевеливает густыми бровями.

— Ты, девка... — грозно начинает он.

Но Наталья не дает ему кончить. Она поворачивается к сплавщику так резко, что кончики косынки парусят в воздухе.

— Я тебе, сивый черт, покажу девку! — кричит она. — Такую девку покажу, что родных не узнаешь! Девки на базаре семечками торгуют — понял?

Она подбегает к столу, хватая бутылку с водкой, опрокидывает и выливает на пол остатки, потом бросается к Ульянову, выхватывает у него стакан и тоже выливает.

— Алкоголики, пьянчужки несчастные! — кричит Наталья. — Я вам покажу!

Сплавщики огорошенно молчат, а тот, которого Наталья окрестила сивым чертом, пытается что-то сказать, но она опять не дает, кричит:

— Молчи, а то хуже будет! Я тебя, сивый черт, знаю! Думаешь, из Алексеевки, так я на тебя управы не найду? Завтра же съезжу к твоей Петровне... Ага, испугался, что знаю твою жену! Слабо стало! Кишка тонка! Ага! — торжествует Наталья.

Пожилой сплавщик как-то сразу успокаивается, уже не водит сердитыми кустистыми бровями, а смотрит в стол, катая в пальцах кусочек хлеба. Остальные сплавщики наблюдают за ним, плохо еще соображая, что произошло. Один из них, самый молодой, — вероятно, от привычки повелевать в чайной — говорит грозно:

— Отойди от стола! Плохо будет!

— Что? — удивленно восклицает Наталья. — Что ты сказал?

— Плохо будет, говорю...

— Мне? — все еще не верит Наталья. — Ты это мне грозишься? Вот как!

Не раздумывая, не колеблясь ни мгновения, она простенькой походкой приближается к молодому сплавщику, сует ему под нос дулю.

— А это не едал? — спрашивает она.

— Ну, — говорит сплавщик, — держись!

Он хочет встать, но это ему не удастся: Наталья двумя руками и коленкой, обтянутой стареньким платьем, крепко прижимает его к стулу.

— Если пикнешь, поколочу! — весело объявляет она.

Буфетчица от смеха заваливается за стойку — виден только ее подрагивающий хохолок; прижимая к груди тарелки, трясутся от смеха официантки; тощий мужичонка со своим приятелем тихонько похихатывают. Молодой сплавщик, прижатый Натальей к стулу, так растерялся, что даже не пытается вырваться.

— Марш по домам! — топает ногой Наталья, освободив его. — Марш по домам, кому говорят!

Она хватает Ульяна за плечо, поворачивает лицом к двери.

— Катись, Ульян. Катись, кому говорят!

Наталья не забывает и о тощем мужичонке.

— Герман, немедленно домой! Домой, а то пойду к тетке Серафиме!

Затем она подводит Ульяна к двери, выталкивает на крыльцо; вернувшись, обращается к сплавщикам:

— Ну!

— Идти надо, однакоть... — говорит старший сплавщик, шаря рукой кепку. — Засиделись, однакоть...

— Ну! — повторяет Наталья.

— Идемте, ребята. Идемте, — говорит старший.

Хохолок буфетчицы совсем скрывается за стойкой — она не может передохнуть от смеха.

Проводив Ульяна в общежитие, дождавшись, пока он зайдет в комнату, и немного постояв у крыльца, Наталья возвращается домой. Идет тихо, покусывая зубами кончик платка, улыбается своим воспоминаниям, одной ногой гребет дорожную пыль, потом скрывается за углом.

Тополя на обочинах пустынной дороги стоят, как гранитные изваяния, — серые от лунного света, недвижные в безветрии. В конце улицы темнеет тайга. Несколько минут стоит тишина, затем слышится скрип досок, на крыльце общежития появляется Ульян, садится, чиркает спичкой. Ему невмоготу сидеть в комнате, одиноко, холодно у него на сердце.

Раньше было не так...

В белом, отлично отглаженном кителе выходил Ульян на палубу «Рабочего», твердой рукой брал штурвал. Был он высок, строен. Нарядные пассажиры заглядывались на него. В Новосибирском порту на берег приходила девушка с копной пышных волос, встречала пароход, брала Ульяна за руку. Она любила конфеты «Раковые шейки», кино, катание на лодке. Ей нравилась валка, немного смешная походка Ульяна, она говорила, что у него хороший характер, а в ласковую минуту называла его «мой медвежонок».

Пароход «Рабочий» был для Ульяна как живое существо. Он узнавал его голос за два километра. Во время коротких ночевки на берегу Ульян не мог спать — ему не хватало покачивания, шума пара, грома рулевой машинки, шагов над головой, крика вахтенных: «Не маячит!» Зимой он худел, бледнел оттого, что жил в закрытом помещении, но зато весной на щеки напал ровный румянец, и он веселел, как мальчишка, отпущенный на летние каникулы.

Капитан «Рабочего» Александр Романович Спородолов в любое время года выходил на ночную вахту в валенках, в штатском драповом пальто, носил мохнатое кашне. Знающий, опытный капитан, он был тихим, вежливым, предупредительным, любил читать веселые книги. У него была гладкая, отполированная лысина, о которую Ульяну иногда хотелось чиркнуть спичкой. Он любил еще старинную армянскую поговорку: «Прежде чем зайти, узнай, как выйти».

В разговоре Александр Романович часто употреблял такие выражения: «Если я не ошибусь, конечно...», «Не знаю, насколько я прав, но...», «Не надеюсь на свою память, но...», «Может быть, я ошибусь, если скажу...»

В Томске Спородолова иногда встречала высокая седая женщина с печальной, закрытой улыбкой, с руками, вяло повисшими вдоль тела. Она заходила в каюту капитана, но оставалась там недолго. Когда она уходила, Ульян с палубы улыбался ей. Она ему казалась красивой, несчастной. И капитан ему нравился. Нравился его манеры, умение ладить с портовым начальством, которое по каким-то причинам всегда без очереди нагружало и разгружало «Рабочий», за что капитан и вся команда получали премиальные, и девушка с копной пышных волос могла сколько угодно грызть «Раковые шейки». Выросшему в простой, рабочей семье Ульяну казалось, что капитан обладает тем флотским лоском, которого не хватало ему.

Летом 1955 года Ульян посадил пароход «Рабочий» на мель. Посадила так прочно, что два небольших рейдовых буксира, пришедшие с Усть-Чулыма, не могли его снять, и пришлось вызывать специальное судно, на котором приехали чины судоходной инспекции, возглавляемые молодым и розовощеком человеком, приехал и капитан-наставник Федор Федорович. Старый капитан Федор Федорович немедленно спустился в лодку, объехал вокруг парохода, промерил мели. Покусывая длинный ус, выбрался на палубу, заорал на Ульяна:

— Говори, горел красный бакен или нет? Я тебя спрашиваю, горел или нет?

Это было до того, как на Оби установили бакены-автоматы.

— Горел, кажется...— тихо сказал Ульян.

— Как это — кажется?

— Красный бакен не горел,— заметил капитан Спородолов.

Стоящий против Ульяна бакенщик втянул голову в плечи. Он был сутул, в застиранной рубашке, в избитых сапогах. Ульян знал, что у него восемь малых ребятишек, которых он не смог бы прокормить на свою зарплату, не будь у него огорода.

Если бакен — красный — не горел, бакенщика нужно было отдавать под суд. Ульяна же могли только снять с парохода.

— Значит, не горел? — кричал Федор Федорович.

— Постарайтесь точно вспомнить, — неуверенно попросил глава судоходных инспекторов.

— Горел, — сказал Ульян, думая, что он действительно мог не обратить внимания на бакен, так как хорошо знал этот отрезок реки. Вообще, растерявшись, он забыл все — в памяти оставалось лишь то мгновение, когда пароход, дико заскрипев, замер, наклонился, раздался бухающий удар, и в каюте первого класса упал с койки и расшибся в кровь трехлетний мальчишка, а в третьем классе в салоне не осталось ни одного целого окна.

— Как же так, товарищ Тихий? — огорченно спросил инспектор, а Федор Федорович, крикнув, почему-то отошел в сторону и стал отлеерив глядеть в спину бакенщика.

— Бакен горел, — повторил Ульян.

Капитан Спородолов огорченно развел руками.

— Мне почему-то казалось, что бакен не горел. Но я, видимо, ошибаюсь, коли товарищ Тихий утверждает противное. Видимо, ошибаюсь.

— Как же так? — Инспектор в свою очередь развел руками.

И тогда капитан Спородолов сказал:

— Товарищ Тихий был на вахте выпивши. Мне только что сообщили об этом.

— Кто сказал? — опускаясь на скамью, воскликнул Ульян.

— Боцман...

Боцман подтвердил — да, Ульян Тихий перед вахтой выпил чекушку водки, боцман сам видел это, но не предупредил капитана потому, что Ульян пригрозил ему.

Боцман лгал — в те времена Ульян почти не пил. Боцман лгал, выгораживал капитана, с которым был связан давней дружбой. Боцман спасал капитана. Дело в том, что Ульян посадил пароход на мель в три часа ночи, когда капитан сам нес вахту и сидел рядом с Ульяном, обязанный контролировать его работу. И капитан был на вахте, но он дремал, уткнувшись в цигейковый воротник.

— Я во многом виноват, — сказал Спородолов молодому судоходному инспектору. — Моя вина в том, что я своевременно не обнаружил состояние Тихого и не сделал из этого соответствующих выводов. Я не успел вымолвить и слова, как он резко повернул штурвал и врезался в мель. Я позволю обратить ваше внимание на то обстоятельство, что красный бакен находится в двух метрах от борта судна.

— Ульян! — закричал Федор Федорович. — Какого черта!

— Я не пил... — сказал Ульян.

— Слушай, Спородолов, — Федор Федорович молитвенно сложил ладони, — ты понимаешь, что Ульяна надо судить за это?

— Бакен не горел, — сказал бакенщик. — Судите меня.

...Капитану Спородолову объявили выговор с предупреждением, бакенщику дали два года условно, и он стал работать в колхозе, а Ульяна Тихого за пьянку на вахте списали с парохода.

На берегу Ульян, оправдывая дурную славу человека, вышедшего пьяным на вахту, запил. И пил все больше и больше. Однажды ввязался в пьяную драку. На следствии оказалось, что он оскорбил милиционера, ударил прохожего, вместе с другими бил окна в ресторане. Его осудили на два года тюремного заключения.

Из тюрьмы Ульян вышел постаревшим. Он стал бояться и стыдиться людей, именно тогда появилась та самая улыбка: «Простите, люди!»

Один знакомый рыбак уговорил его поехать с ним в Карташево — маленькую рыбацкую деревушку на берегу Оби. Ульян согласился. Ему было безразлично. Рыбак привел Ульяна к дяде Истигней.

— Я сидел в тюрьме, — сразу сказал Ульян.

— Меня пока бог миловал, — улыбнулся дядя Истигней, разрезая на две части большой малосольный огурец. — Откуда родом?

— Из Баранова.

— Что на Ягодной стоит?

— Точно, — немного оживился Ульян. — Вы знаете?

— Я, парниша, всю Обь знаю, — сказал дядя Истигней, наливая стопочку. — Отпей, сколько полагается. Закусывай. Я всю Обь знаю, — повторил он. — Всю Обь — назубок. Вот ты меня можешь проверить! У Баранова глубина под яром метров семь, а? Ты, как речник, должен знать.

— Шесть с половиной, — сказал Ульян.

— А у нашего яра? — живо заинтересовался дядя Истигней.

— Одиннадцать, пожалуй...

— В точку! В Чулым осетер заходит или нет?

— Редко, — ответил Ульян, удивляясь, что старый рыбак не спрашивает его о тюрьме, не поинтересовался даже, за что он сидел.

— Почему редко? Ты мне ответь! — Дядя Истигней продолжал разговор об осетрах.

— У Чулыма дно деревянное, коряжистое. Его осетер не любит, опасается.

— Правильно! — качнул головой старик. — А как по комару определить погоду?

— Это знаю. Перед дождем комар пищит тонко, жалобно, тягуче; перед ведром — веселее, выше тоном.

— Правильно, парниша! А вот скажи мне, как звали дружка твоего отца, ну того, что с войны не пришел, что в Москве остался...

— Федор, — ответил Ульян. — Да вы разве знаете моего отца?

— Я, парниша, прямо сказал — всю Обь! Знавал я твоего отца, — продолжал дядя Истигней. — Прямой был жизни человек! — И, видимо спохватившись, что Ульян может невыгодно сравнить себя с отцом, торопливо прибавил: — Ешь мясо-то, остынет. Вот так!.. Ты сегодня у меня ночуй. Утречком вместе на песок поедем...

С тех пор Ульян работает на стрежевом песке.

Он сидит на крыльце, обливаемый желтым светом луны. Думает, мучится. Одно хорошо, приятно в его мыслях — воспоминание о том, что произошло в чайной. Тогда он был ошеломлен, немного напуган, а теперь случившееся представляется ему совсем в другом свете.

Интересная эта Наталья! Стараются казаться сердитой, насмешливой, а на самом деле она добрая, душевная. Ульян точно знает это. Когда шли из чайной, Наталья помалкивала, улыбаясь уголками губ, ворчала: «Теперь ты человек пропавший — каждый день тебя стану тиранить. Учти, алкоголик несчастный, ты в чайную — я в чайную. Я вашу шарагу разгону!» А что — разгонит! Ни черта она не боится. Как струхнули сплавщики — умора! А старший-то, старший! Услыхав о жене, живо скис, замельтешил, говорит: «Засиделись, однакоть, ребята. Засиделись!» Побаивается жены. А оно и действительно, попадись такая жена, как Наталья, — не то что водку пить, простую воду станешь потреблять с опаской, чтобы не подумала, что водка.

Попадись человеку такая жена, как Наталья, — да... Не станешь пить. Ну умора, как она их шуганула!

Ульян широко улыбается, тихонько хохочет. Ну и девка!

3

У Семена Кружилина с техникой особые отношения — он считает, что всю технику нужно переделывать. Впервые эта мысль возникла у Семена, когда ему было тринадцать лет. У соседа Кружилиных, участкового милиционера Рахимбаева, появился тогда первый в Карташеве мотоцикл «ИЖ-350». Хозяин держал его во дворе. Перебираясь через забор, Семен внимательно разглядывал мотоцикл, потом, притащив отвертку и разводной ключ, перешел к детальному знакомству с ним. Кончилось это тем, что Рахимбаев, сидя в своем кабинете и нещадно дымя, составлял протокол, сидевший против него Семен давал чистосердечные показания:

— Картер я разобрал потом. Сначала снял карбюратор. Плохой карбюратор. Дерьмо! Равномерной подачи смеси не будет. Ручаюсь! А передача — смех один! Цепь как для собаки. Почему?

— Помолчи! — сердито говорил милиционер. — Говорить будешь, когда оштрафуем.

— Спицы я выровнял, восьмерки не будет. Вы, дядя Хаким, не думайте, я хорошо их отрегулировал. Будете довольны.

— А если соберешь, заработает? — с робкой надеждой спросил Рахимбаев.

Сенька обиделся.

— Да вы дайте мне только железа, я новый сделаю. Получше этого!

Договорились на том, что Сенька Кружилин становится постоянным механиком при мотоцикле — будет следить за его исправностью, кое-что для пользы дела переделает, кое-что совсем выбросит. Предполагалось даже, что Семен сделает мотоцикл обтекаемым. Рахимбаев согласился на все, так как, кроме Сеньки, в Карташеве никто не мог собрать мотоцикл новой марки.

И Сенька стал полновластным хозяином милицейской машины. Собираясь в район по вызову начальства, Рахимбаев почтительно, даже заискивающе, обращался к Семену:

— В район надо, понимаешь. Вызывают, понимаешь...

— Всем надо. В прошлый раз ездили, коробку передач надорвали? Надорвали! Аккумулятор сел? Сел!

— Я тихонько, Семен.

— Ну, если тихонько, другое дело... Перегазовывайте поаккуратнее, а то без разгона и — сразу на вторую. Машина казенная, беречь надо.

К двадцати годам Семен успел поработать шофером, трактористом, механиком лесопункта, радистом. Перейдя на «Чудесный», он уже на второй день работы хмуро допрашивал бригадира Стрельникова:

— Почему нужно держать двух мотористов — катера и выборочной машины?

— Кто, парень, знает...

— Когда работает выборочная, катер стоит?

— Стоит...

— Почему нужны два человека? Один справлюсь!

Два мотора — катера и выборочной машины, — находящиеся в ведении Семена, работают образцово. Они не гудят, не воют, не гремят — неслышно, неощутимо вертят то, что им полагается вертеть. Семен не любит шума, тряски — это мешает ему читать книги, которые он умудряется читать и во время замета и во время выборки невода. Моторы у него всегда такие чистенькие, словно работают не на солярке, а на дистиллированной воде. Семен никогда не вытирает мотор ветошью, да и вытирать ему нечего: горючее и масло у него не капают, не проли-

ваются. Заводит моторы Семен не ручками, не ломami, а беленькими кнопочками.

Удивительно то, что сам Семен всегда грязен, распушенная рубаха его промаслена. Где он мажется, уму непостижимо!

Вообще он довольно странный человек, этот Семен Кружилин.

Вот и сегодня ведет себя странно — рыбаки, отработав, собрались на катере, нетерпеливо ждут его, а он посиживает себе возле выборочной машины, смотрит на нее так, точно ни разу не видел. Лоб у него, как гармошка, а взгляд удивленный до невозможности.

— Семен, на катер! — кричат рыбаки. — Иди же, Семен!

— Успеете, — бормочет он, похлопывая машину по теплomu боку.

4

Семен Кружилин читает учебник по дифференциальному исчислению. Ноги Семена лежат на спинке кровати, под головой две подушки, сбоку приспособлена хитрая лампа с рефлектором. Над изголовьем висят часы, которые могут кричать сиреной, снятой с катера. Вместо сирены на катере установлен какой-то особый гудок.

Чего только Семен не наташил в свою комнату: тут у него среди всяких железок и деревяшек — мотки провода, разные гайки, винты, кусок свинцовой руды, колесо от автомобиля, отдельно крышка, разобранный радиоприемник, гиря, у стены стоит таз с водой, в котором мокнули какие-то детали. На стене резвешаны цепи, электрические лампочки с проводами, изоляторы, на деревянном верстаке жужжит моторчик. В комнате пахнет железом, мазутом, канифолью, кислотой, озоном и кожей. Если прислушаться, то почувствуешь, как дом Кружилиных чуть-чуть вздрагивает, а наверху что-то шуршит — это работает смонтированный в крышу ветряк конструкции Семена, который снабжает его электроэнергией.

В комнате одна табуретка. На ней сидит тихий, грустный Степка Верхоланцев, мнет свою шикарную велюровую шляпу. Он уже сидит молча минут десять, с тех пор как зашел к Семену, и тот, показав на табурет, пробормотал: «Садись, молчи, я сейчас».

Степка размышляет о печальном. Дома ему не сиделось, по улицам не гулялось, а в клуб он боится показывать нос, чтобы не столкнуться с Викторией. Она может пройти мимо, сделав вид, что не замечает его.

Степка испытывает непреодолимое желание говорить о своем горе, рассказывать, как глупо они поссорились, но знает, что Семен — неподходящий для таких откровенных разговоров человек.

Степка поднимает с пола кусок железа, взвешивает на руке, прицеливается и с силой бросает на лист жести. Раздается такой сильный удар, что ушам больно. Степка довольно поджимает губы.

— Сейчас, — говорит Семен, торопливо перелистывая страницу.

— Чуцело! — печально, со вздохом, произносит Степка. — Закатать бы тебе этой железякой в лоб. Было бы звону! Сходил бы в баню — вот что! Зарос грязью, как поросенок. Да что я говорю: поросята теперь в колхозе в сто раз чище тебя.

— Сейчас, — отзывается Семен, не отрываясь от книги.

— Я тебе покажу — сейчас! — говорит повеселевший Степка. Он встает, берет Семена за ноги и стаскивает на пол.

— Скотина! — со вкусом произносит Семен, цепляясь руками за сползающее с кровати когда-то белое, но давно уже серое пикейное одеяло. — Я таких субчиков еще не видал...

— Поругайся у меня, поругайся. Окуну в таз, узнаешь!

— В таз нельзя,— серьезно говорит Семен.— В нем большая концентрация соляной кислоты.— И, словно ужаленный, вскакивает, бросается к верстаку, кричит: — Перешлифуется!

— Благодарю меня, что стащил...

— Ладно, ладно,— ворчливо говорит Семен. Он часто охлаждает пыл Степки этими словами: «Ладно, ладно».

— Чего замолк?..— ворчит сейчас Семен.— Стащил с кровати — разговаривай!

Грустно Степке.

— Запутался я, Сенька...— вздыхает он.— Барахтаюсь, как карась в сети, а выбраться не могу... Раньше как-то ясно было. А теперь!

— Что теперь? Да не тяни ты за душу. Разговаривай!

— Запутался я... С тобой ведь... Не принимаешь ты таких разговоров. Знаю тебя...

— Говори! — выходит из себя Семен.— Бормочешь!

— Ты, если не можешь, отвернись, а я говорить буду... Мне одному не выпутаться...

— Ну, придется тебя по макушке бить!

— В чем цель жизни, Семен? — приглушенно спрашивает Степка.— В общем-то я знаю, читал в книгах, учителя говорили. А вот как к себе начну прикладывать, смешно получается. Эх, Семен, Семен!

— Что «Семен, Семен»? — ворчит Кружилин.— Двадцать два года Семен! Беда мне с тобой, Степка! Летаешь в облаках, а себя не видишь.

— Я думал об этом, Семен, но она говорит...

— Знаю, что твоя Виктория говорит! — зло перебивает Семен.— Будет врачом! Прекрасно! Дело в том, каким она будет врачом. А дядя Истигней и на песке оставит свой след в жизни. Кто создал конструкцию нашей выборочной машины, а? То-то же... В трех сосенках плутаешь, а выход вот он, под носом. Работай, читай, думай, и жизнь покажет, на что ты способен. Просто ведь...

— Понимаю,— говорит Степка.— Понимаю. Я так раньше и думал...

В комнату осторожно, точно опасаясь чего-то, не входит, а проникает дядя Истигней. Еще на пороге он торопливо срывает с головы старенькую кепчонку, кланяется:

— Великого здоровья! Простите за беспокойство. Незванный гость, конечно, хуже татарина, но, однако, зашел на огонек.

— Добрый вечер, дядя Истигней! Проходите, дядя Истигней! — приглашают они.

— Шел, вижу — огонек горит, дай, думаю, навещу приятеля, поговорю о том, о сем.

Друзья переглядываются. Дудки, брат, их не проведешь. Они-то уж знают, что дядя Истигней для пустого разговора не пришел бы. Хитрый старик!

— Присаживайтесь, дядя Истигней! — приглашает Семен.

5

Дядя Истигней одет нарядно. На нем синий шевиотовый костюм, вышитая украинская рубашка, на ногах отличные хромовые сапоги; рубашка не заправлена в брюки: перехваченная тонким витым ремнем, она высовывается из-под пиджака. Густые черные волосы расчесаны на пробор. Когда дядя Истигней так принарядится, он похож на купчика.

— Часом не помешал? — спрашивает дядя Истигней.— Может, что важное обсуждали?

— Не беспокойтесь, дядя Истигней! Беседовали просто. Сидели.

— Сидеть можно тоже с пользой. Другой сидит, сидит, да и высидит, парниши вы мои хорошие. Намедни Виталька Анниси́мов тоже сидел, а высидел.

— Как так?

— Обыкновенно! Пошел в воскресенье на Квистарь, на заводи сет-чонку поставил, сел и высидел.

— Много?

— Много городские любители ловят... Пудика два стерляди взял — и хватит!

— Пудика два?!

— Мы чужую рыбу не вешаем!.. Может, и три.

Присев на краешек табуретки, дядя Истигней оглядывает комнату и, заинтересовавшись Семеновым тазом, в котором мокнут какие-то железки, говорит:

— Техничный ты человек, Семен! Башковитый, по всему видать. Это ведь надо догадаться — железяки вымачивать!

— Там, дядя Истигней, кислота.

— Память у тебя богатая... Ты, Семен, железяку, наверное, нутром чувствуешь, а?

Парни снова переглядываются — шибко хитрит старик! Вензеля выписывает! Теперь уж нет сомнения, что пришел он по какому-то важному делу.

— Ветром, значит, пользуешься? — говорит дядя Истигней, глядя на электрический моторчик. — Так сказать, природу поставил на службу. Так, что ли, пишут в газетах, а? Чудеса! Ты, парень, никак энциклопедии читаешь?

Степка тихонечко похохатывает, Семен недовольно морщится.

— Интересно, написано в энциклопедии про стржевые невода, а? Может, нету, а?

— Нету! — мрачно басит Семен.

— Жалкость! Недоглядели ученые! Я-то думал: приду, Семен мне энциклопедию представит, прочитаем на пару — и готово!

— Что готово? — настораживается Семен.

— Да к слову пришлось. Так себе. Сегодня, это, сел за стол, старые записи вынул, почитал, это, без очков — куда-то запропастились, не знаю, — почитал, это, без очков, вижу, что забавно. Мы ведь, парни, пять лет назад не девять притонений делали, а шесть. Дозвольте закурить?

— Закуривайте, — разрешает Семен. Он задумался. Немного погодя спрашивает: — А пять лет назад была такая же выборочная машина?

Дядя Истигней не отвечает — он занят скручиванием папиросы. Степка почтительно подносит ему спичку.

— Спасибо, парниша, спасибо! Все забываю, как твоя краля по фамилии прозывается, а?

— Перелыгина, — покраснев, отвечает Степка, зная, что старик прекрасно помнит фамилию Виктории.

— Во-во! Перелыгина... Вот она говорит: мало притонений делаем. Так?

— Ну, так!

— Правильно ведь говорит, а?

— Правильно, дядя Истигней. Но вы ответьте, какая машина была пять лет назад? — спрашивает Семен.

— Такая же, парниша, такая же! Когда с шести притонений переходили на девять, скорость использовали до конца. А я вот прикинул, посчитал — без очков, верно. Невод может большую скорость выдержать? Может! — резко заканчивает дядя Истигней, рассматривая самокрутку,

которая немного развернулась.— Нам бы, парниша, редуктор соорудить, а? Какой быть хоть заваливающий, а?

Семен идет к маленькому письменному столику, роется в его ящике и протягивает дяде Истигну какой-то чертежик.

— Я не знал, что скорость выборки можно увеличить,— говорит Семен.— Боялся за невод. А потом плюнул да вот набросал схемку. Пустяковая, конечно...

— А мы посмотрим, рассудим! — говорит дядя Истигней, жадно хватая чертеж и утыкаясь в него.— А мы посмотрим, увидим!

Он долго разглядывает чертеж, потом объявляет:

— Прокурор!

Семен вдруг ныряет под кровать; слышно, как там что-то гремит, скрежешет. Дядя Истигней бормочет:

— Чертеж что? Чертеж — бумага, а?

Наконец Семен выбирается из-под кровати, таща за собой что-то тяжелое, железное, блестящее. Ну конечно же, это редуктор для увеличения скорости выборки невода. Не готовый еще, не опробованный, но точно такой, какой изображен на чертеже.

— Редуктор! — говорит дядя Истигней.— Редуктор что — это еще не машина, а?

Семен пожимает плечами: ясно, мол, не машина, может ничего и не получиться.

Степка не понимает, что происходит. Подумать только, такое событие, а они делают постные лица, на редуктор и не глядят, стараются показать, что ничего не случилось. А Семен-то, Семен какой выдержанный, черт! Пока дядя Истигней не одобрил чертеж, он и не заикнулся о редукторе.

— Молодец, Семен! — ревет Степка.— Ура! Молодец!

— Страви пар,— строго произносит Семен.

— К нам в прошлом году профессор приезжал,— вспоминает дядя Истигней.— Вы, говорит, невод теоретически не освоили. Правильно, конечно, но мы все больше практически. Мы — практически! Вот она тоже... Ну как ее, Степан, кралю-то твою?

— Перелыгина,— помогает старику Семен.— Перелыгина ее фамилия.

— Во-во! Перелыгина! Она теоретически доказала, что мало притонений. Шустрая девка, проникающая... Ай-ай, а засиделся-то я как! Засиделся. Извиняйте, товарищи хорошие! — спохватывается вдруг старик, берясь за кепку.— Дай, думаю, забегу на огонек, на минуточку, а заболтался-то, заговорился-то! Прощевайте, парниши, прощевайте!..

Степке весело: ох и смешной же старик! И чего это он прикидывается таким простачком? А на Викторю дядя Истигней, оказывается, в обиде, по всему видно, задели старика ее слова.

(Окончание следует)



В. КОРЖИКОВ

★

ЛЕНИНСКАЯ УЛИЦА

Где океан у сопок хмурится —
Тайгой пропахшая слегка,
С разбегу
 Ленинская улица
Взошла
 на край материка.

Ислестаны ветрами стылыми,
К ней китобои подошли,
Дымки оставив за Курилами,
Ей салютуют корабли.

Под нею солнце умывается,
Всплывает, выбрав якоря,
К ее причалам пробиваются
Разноплеменные моря.

А по бокам перекликаются
То поезда, то катерки,
Дома проулками стекаются,
Теснятся к ней, как ходоки.

И если вдруг
 тайфун
 прокатится
С песками, с рябями запруд —
Ее девчонки в светлых платьицах,
Как для гулянья, уберут.

Здесь, майки скинув, юность встретится
С давно обветренной братвой —
И снова Ленинская светится
Над океанской синевой!

Россия, родина весенняя,
Какие ветры нас не жгли!
Какие только потрясения
Твоею ширью не прошли!

Но обновляется история —
И хлебом дышит целина,
И, как моя лаборатория,
Мне открывается Луна.

Смотрю на эти превращения,
Рубя тайгу, входя в Москву,
И всюду
 верю в ощущение,
Что я
 на Ленинской живу!

(«Дальний Восток», № 4, 1960).



Ю. КУРАНОВ

★

ПЕРЕВАЛЫ УСИНСКОГО ТРАКТА

Голубые топоры

Петька сидит верхом на доме. Дядя Матвей стоит под коневой слегой на чердаке с той стороны, где крыша еще не крыта. Петька сидит с топором, через плечо у него полевая дядина сумка с гвоздями. С земли стоймя оперлись о долбленный водосток тесины. Дядя Матвей берет одну за край, тянет ее вверх, быстро перебирая руками. Тесина ползет сначала в небо, потом клонится к Петьке, тот ловит ее в ладони, кладет на слеги. Ладони у Петьки уже не мальчишеские, а еще не мужичьи. Петька и дядя Матвей пришивают тес к слегам.

Петьке весело на ветру. Он далеко видит всю долину с тайгой, с рекой, густой, словно налитой черным маслом, с парнями, которые тешут лес на берегу для столовой, с пустыми, звучными срубам. Все это весело и даже забавно. Забавен дядя Матвей — тоненький, жилистый.

Прежде чем пришить, дядя Матвей набирает полный рот гвоздей шляпками внутрь. Со стороны кажется, что изо рта не гвозди торчат, а усы растут.

Из-за гор вываливает в долину низкая длинная туча.

— Хороша идет,— говорит дядя Матвей, показывая топорщиком в сторону тучи.

— Да, хороша,— соглашается Петька,— кабы не залила она нас.

— Не зальет. А зальет, невелика хитрость. Мы ведь с тобой, парень, не навозные, не размокнем.

— Размокнуть не размокнем, а крышу-то как сырую крыть?

— Не зальет,— успокаивает дядя Матвей,— она пойдет краем.

Петька успокаивается, но шьет быстрее, торопится. Остается тесин десять, когда из-под тучи дымно ухает порывистым ветром. Из тайги пробегает сильный запах багульника. Туча клубится, заворачивает в сторону, густая стена ливня проходит за рекой. Но гром стороной не ходит. Петька вспоминает, что все металлические предметы притягивают молнию, и топорыше начинает припекать его ладонь. Дядя же Матвей расхаживает по чердаку, как по горнице, и тесины глухо гудят над ним от близких ударов грома.

Первая крупная капля с грохотом падает Петьке на ухо, так что он вздрагивает. Сильный удар молнии заливают все ослепительным ясным гулом. Над рекой парни тешут для столовой бревна, высоко взмахивают топорами, и топоры похожи на голубые радуги. Дядя Матвей тоже размеренно вгоняет гвозди своим отточенным топором, и лезвие его топора тоже радужно светится. Напрягаясь изо всех сил, чтобы не броситься с крыши, Петька тоже шьет.

Большие холодные капли редко, с причмокиванием начинают бить по молодой крыше.

— Ну вот, первая размочка,— улыбается дядя Матвей,— этот-то, парень, дождь не помеха.

За рекой короткая, но мощная струя света ударила в сухой, жилистый кедр, тот мгновенно вспух, побелел не то от дыма, не то от пара, ударившего изнутри, и с треском, похожим на визгливый хохот, разлетелся на всю поляну.

— Это уже работа,— смеется дядя Матвей,— это уже артиллерия! Ишь, как его раздуло. Принимай-ка, парень, плаху.

Петька трясущимися руками принимает тесину и силится улыбаться, но только кривит губы. Редкий, но крупный этот дождь проходит. Ливень огибают далеко стороной, но гроза ликует. Молнии бьют часто, и так же часто вспыхивают и гаснут за рекой голубые радуги над головами парней. А парни тешут бревна для столовой.

Когда остаются две тесины, дядя Матвей присаживается на нижнюю слегу.

— Надо и передохнуть, парень. А?

Петька молча и злобно соглашается.

— Вот дождь и кончал,— говорит дядя Матвей.— Да. А гром-то ишь остался. Страшное дело, так всего и вихает. Ты-то ведь страху еще не ел. А я в армии по уши нахлебался. До армии, вот как и ты, ни грома, ничего не пугивался.

Широкая грохочущая вспышка осветила почти всю долину так, что тайга, и река, и срубы — все стало фиолетовым.

— Вот я и говорю,— продолжает дядя Матвей.— Я ведь после фронта годов пять по ночам вскакивал. Как загудит ночью гроза, так всего ажник потом обольет, вскочу и все инструмент ишу, мосты, значит, наводить. Еле привыкнул. Тебе-то что,— дядя Матвей оглянулся на тихую послегрозовую долину и пожевал губами,— ты страхов не едал, оттого и нет в тебе страху. Да и век бы в тебе ему не бывать.

За тучей двинулось с горы солнце. Ветер упал. Низом долины влажно потянуло спелой пшеницей и прошедшей веселой грозой. И оттого все кажется, что пахнет над срубом свежей чистой холстиной.

Певучее молчание

Сажусь в кабину попутного грузовика и для знакомства спрашиваю большеголового и рыжеглазого парня-шофера:

— Как дела?

— Ничего,— коротко отвечает он, разгоняет машину, как-то очень внимательно наклоняет голову — левым ухом поближе к ветровому стеклу — и молчит. В этой позе, в странной интонации короткого ответа чувствуется нежелание заводить разговор.

Я не принадлежу к числу людей, которые считают своим долгом во что бы то ни стало разговорить и вызвать на откровенность всякого попутчика, и поэтому мы мирно да молчаливо трясемся по горному тракту два часа. Я думаю о своем, он о своем. И, пожалуй, он даже не думает — вслушивается в какие-то недосыгаемые для меня слова, которые, судя по выражению его лица, кто-то невидимый наговаривает ему над самым ухом.

Возле станции Оленья Речка я поднятым указательным пальцем даю ему понять, что схожу здесь. Машина останавливается, и шофер становится обычным человеком. Он улыбочиво сам отворяет мне дверцу кабины и, когда я прыгиваю на землю, заговорщически спрашивает:

— Слышал?

— Чего слышал?

— Стекло пело. Черт его знает, где треснуло, а поет, что твоя соломина! Да и ветер сегодня чертовщиновский!

В его большом лице и рыжих глазах бесится откровенная радость.

— Да, слышал,— говорю я поспешно не то для того, чтобы не обидеть парня, не то, чтобы показаться лучше, чем есть.

— Поехали дальше,— предлагает он щедро, и я горько сожалею о том, что дальше ехать мне сегодня нельзя.

Живая река

Теперь вторая половина августа. Хариус чувствует приближение зимы. Он торопится в мощные реки, в озера.

Ночью я пришел от палатки к реке за водой. В пустом котелке потихоньку журчал ветерок. Луч фонарика пробил быструю зеленую воду до самого дна. Река была живой. Черные стаи хариусов несметно шли вверх, в озеро.

Попадая в полосу света, хариусы озадачивались. Они на мгновение останавливались, озирались. Я присел поближе к воде. Большой хариус поднялся навстречу фонарику из глубины. Хариус был величиной с локоть. Он смотрел прямо в рефлектор, так что свет глубоко забродил в его черных медлительных зрачках. Он стоял в воде, лениво двигая плавниками, не отрываясь от света.

Мимо шли и шли стаи рыб. Я замер на берегу. Кедровые шумели над озером. Вдалеке погромыхивал гром. Забытый котелок валялся в траве.

А позади возле палатки горел костер. Возле костра сидели мои спутники, они ждали меня и смотрели в огонь.

Чингисхан

За дорогой в скальной степи оцепенело уставился в даль безногий каменный идол. В стороне по траве густо бродит стадо черных и белых бычков.

Невдалеке сидит у костра старик в телогрейке, мятых кожаных сапогах. Высоколобий, узковекий. Под глазами старика вздулись узловатые синие жилы. Старик занят делом. Он подшивает маленькие детские сапоги, подметки вырезаны из синего куска автомобильной покрышки.

Я подхожу к старику и спрашиваю, указывая на идола:

— Кто это?

— Этот? — переспрашивает старик.

— Да. Этот кто?

— Чингисхан.

Странное дело. По многим долинам Тувы рассеяны эти женоподобные истуканы, высеченные из серого зернистого камня. И где бы ты ни спросил, почти всегда тебе назовут их именем того зловещего завоевателя. Между тем Чингисхан миновал Туву. В верховья Енисея ворвался тогда Джучи, сын Темучина. Два года свирепствовал он в стране древних оросительных сооружений, горных плавильных печей, каменных, искусно мощенных дорог. С той поры пришли в упадок и до самой революции вымирали тувинцы — этот маленький добрый народ.

Восьмой век ходит в народе жуткое слово — Чингис. И бабы-то каменные высечены гораздо, гораздо раньше нашествия. Но вот принесли из-за Байкала это свирепое слово коварные всадники Темучина, и выразило оно навсегда суть уродливых идолов с тупым, бесчеловечным взглядом.

Среди звезд

Машина идет в звездном небе. Вокруг светятся бесчисленные россыпи с величавыми названиями: Лира, Пегас, Возничий, Северная Корона...

Леса уходят в ночь. Лишь ветер шумит в кабине, метнется на повороте заяц в стремительном свете фар да испуганно шархнет из-под колес вздремнувший на дороге лесной голубь.

Навстречу нам петляет на перевал желтая торопливая звезда. Она долго скользит по степи, а потом взмывает на хребет. Вот и наша машина тоже, наверное, кажется из долины маленькой желтой звездой.

А еще дальше, в тиши растянутых взгорий, величаво открывается зарево. Встречный ветер теплеет. Под заревом открываются огни нового, невиданного созвездия. Огни залили всю степь по обоим берегам Енисея. Это — созвездие тысяч огней. Оно носит название «Кызыл», что по-тувински значит — «Красный».

Тайга

Тайга дрожит: по всем горам шумит ветер.

Река поблескивает густой вязью волн. Поблескивают на солнце и мелкие камешки под этой густой вязью.

Береговыми камешками играет мальчик лет десяти. Он сидит на коряге ко мне спиной, и я вижу только его голубую рубашку, да из-за рубашки торчит рыжий хохолок нестриженого затылка.

— Ты чего тут делаешь? — спрашиваю я, подходя ближе.

— Смотрю.

— Куда смотришь?

— В тайгу.

— Так ведь тайга в горах, а ты в речку уткнулся.

— А речка-то из тайги бежит.

— И то правда, — соглашаюсь я и присаживаюсь на корягу.

— А ты чего делаешь? — спрашивает мальчик.

— Я машину жду.

— Дождешься, машин на тракте хватит.

Мы с минуту оба глядим в горы.

— Пойдем в тайгу, — просит мальчик.

— А чего там, в тайге?

— У меня там дед. Я за дедом сходить хочу, а меня никто не берет.

— Придет дед, дождешься.

— Не придет. Не придет дед. Его уже три года нет.

— Три года?

— Ага. Взял ружье, говорит: завтра к вечеру вернусь. И все нет.

— А его искали?

— Искали, да не нашли. Вот братан теперь пошел на охоту. Может, он найдет.

На тракте взвывает машина. Я вскакиваю, взбегаю от речки и «голосую». Шофер бензовоза круто тормозит и открывает мне кабину. Я машу мальчику на прощание кепкой.

Машина круто взмывает по тракту в горы. Мальчик долго следит за ней, повернув свою рыжую голову.

— А ты что, знаешь этого пацаненка? — спрашивает шофер.

— Нет. Вот пока машину ловил. А что?

— Я брата его месяц назад на охоту подвез, а тот не вернулся...

Машина мчится в горы, а впереди вся тайга и все поселки, и от поселков люди с ружьями идут в тайгу.

Лебедь

Автобус блестел в темноте, он пришел мокрый. Видно, там, на севере, затянуло перевалы дождем. Елегин вошел первым и сел на заднее сиденье возле окна позади остальных пассажиров. Этудную он поставил к стене, на пол. Следом вошла сибирячка, к которой он несколько раз порывался подойти еще в столовой. В столовой он так и не подошел к ней: то ли не решился, то ли слишком сильно болела голова. Сибирячка тоже села на заднее кресло, почти рядом с ним.

Пассажиров больше не было, и автобус пошел.

Елегин уставился в окно. Небо плясало в окне на быстром ходу машины. Снаружи стекло было чисто вымыто дождем, но изнутри на нем лежал густой слой пыли, сквозь который звезды казались желтоватыми. Пахло в автобусе мешками, какой-то пронзительной таежной травой и молодыми кедровыми шишками.

— Зря мы сели в самый хвост,— сказала девушка после долгого молчания.

— Чего же теперь поделаешь, раз сели,— ответил Елегин.

— Конечно, впереди так светит, что глаза сечет,— согласилась девушка.— А вы далеко едете?

— В Кызыл.

— В Кызыл. Поди, на работу?

— Конечно.

За окнами были черные горы. Приближаясь, горы вытягивались высоко в небо. Они были покрыты лесом, а в лесу ничего нельзя было разглядеть.

— Я тоже работала в Кызыле,— сказала девушка,— да уехала от туда.

Елегин продолжал смотреть в окно, хотя ясно было, что оглянуться ему хочется.

— Чего вы все глядите в свое окно? Чего там такое увидели? — рассердилась наконец девушка.

— Там лебедь,— ответил Елегин и обернулся.

— Какой же лебедь ночью?

— А вот посмотрите.

Девушка подсела к нему и наклонилась к стеклу:

— Никакого лебеда нет.

— А вы в небо смотрите.

— Я в небо и гляжу.

— Да вот прямо над горизонтом шесть звезд. Вот они прямо перед вами.

— Да тут этих звезд — метлой не выметешь.

Елегин откинулся к спинке сиденья и закрыл глаза. Девушка продолжала смотреть в окно.

— Ну ведь их тут много. Где же тут лебедь?

Елегин открыл глаза, взял девушку за плечо, отстранил от окна.

— Вот смотрите,— на пыльном стекле указательным пальцем он обозначил звезду,— это хвост; вот вторая — это крыло; третья — в центре; четвертая — еще крыло; а вот две — это шея.

Девушка снова наклонилась к стеклу, долго смотрела в небо, наконец засмеялась:

— И верно. Лебедь.

Елегин опять сидел с закрытыми глазами. Девушка оглянулась, и он не успел глаза открыть так, чтобы она этого не заметила.

— Вас ко сну тянет? — спросила она, насторожившись.

— Нет, спать мне совсем не хочется.

— Так вам значит лихо. У нас на тракте многих лихотит. Такая уж дорога.

— Вообще-то да. Тряска. Но у меня сегодня озноб с самого утра. Пожалуй, я простудился.

— И застудиться у нас не хитро. Сибирь! Вам, как приехать, выпить бы водки с перцем или чаю с медом, если водку не пьете. Чаю с медом.

— Да, это правильно,— согласился Елегин.

— Знаете что,— сказала девушка,— давайте смозгуем так.— Она встала, сняла с себя узенькое плюшевое полупальто и свернула его. Потом по-хозяйски отодвинула Елегина от окна и положила полупальто к стене, как подушку.— Вы прилягте.

— Спасибо,— сконфузился Елегин,— я ведь ничего.

— Как же ничего, вам еще столько долго ехать. Умаетесь.

— Вам ведь самой холодно будет, да и скучно.

— Ничего мне не будет. Я такая...— Девушка повела узкими крепкими плечами под вязаной красной кофтой.— Я ведь такая. Вы ложитесь, а я буду в окно глядеть, на лебедя.

Елегин прилег. Девушка села у окна и стала смотреть в тайгу.

— Только вы не спите, а я буду что-нибудь говорить. Наспитесь, когда сойду... Знаешь, как меня зовут? Тамара.

Мелькнули огни какого-то крошечного поселка. Автобус остановился и раскрыл двери. Вошел парень в телогрейке, с красным фанерным чемоданом, углы которого были обиты жестью от консервных банок. Он сел на кресло кондуктора, которое пустовало, потому что здесь в автобусах дальнего следования билеты продает шофер. Парень устроился поудобнее, с силой натянул с макушки на лоб крошечную кепчонку с пуговкой наверху.

Пассажиров больше не было, и автобус пошел.

— В Туву,— сказала Тамара,— весной прилетают лебеди. Их ужасно много. Они по всем озерам. А на заре они летают низко-низко, и такие розовые. У них потом дети. Мы даже бегали за лебедями, когда они за лес летели. Хотели гнездо ихнее найти, да только убегались. А вообще, говорят, они такие злые: если возле гнезда поймают, набьют так, что до смерти. Да. Такие они. А так ничего, не трогают.

Она говорила и продолжала смотреть в окно.

— Да. Так никого не трогают. И вообще они какие-то такие. Если лебедиху убить, лебедь ни за что жить не будет. Поднимется в небо, как закричит и упадет, разобьется. Да. А у нас, в горах, нет лебедей. Там высоко, и тучи все время. Какая им у нас там жизнь...

Автобус шел быстро и тряско. Сидеть ей было неудобно, потому что она боялась прижаться спиной к Елегину. Все же через некоторое время она облокотилась на его плечо. Так они просидели долго. Потом она заговорила, заговорила очень тихо, шепотом:

— На меня все говорят, что я не такая какая-то... А я простая. Никакая я не легкомысленная, просто я простая. Если нравится человек, я и подойду к нему и сама заговорю. Как дурочка. И пойду с ним, ходить буду. А он, видно, что-то думает такое... А я не замечаю. Просто мне с ним хорошо. А он потом уйдет, и все опять говорят: вот она какая.

— Зачем же они так говорят? — спросил Елегин.

— Им, видно, интересно так говорить. Мне-то что, пусть они говорят, но все же неприятно как-то. Вот ты мне понравился, я и села к тебе. Чего мне от тебя? Я скоро сойду, ты уедешь. А хорошо, что мы едем вместе. А то сидели бы, как гуси, по углам. Правда?

— Конечно,— согласился Елегин.— А ты что, сойдешь скоро?

— Ага.

— А ты сиди пока.

— Я и буду сидеть.

Она смотрела на Елегина в полутьме фиолетовыми, косо, словно птичьих крылья, посаженными глазами, не улыбалась, не щурилась, а просто смотрела.

— Ты, наверное, хорошая,— сказал Елегин.

— Какая я хорошая, я простая. Я бы тебя и до Кызыла проводила, там устроила бы у наших девчонок, переболел бы у них, да нельзя мне. Дома меня сегодня ждут. Я ведь в горах работаю, и вот два выходных дали. А домой-то я наказала, что приеду.

— Дай-ка я встану,— сказал Елегин,— мне что-то жарко стало, да и вроде легче.

Он сел, она придвинулась к окну, так что поменялись местами. Так они просидели долго, ни о чем не разговаривая, осторожно касаясь друг друга плечами.

Парень в маленькой кепчонке, пристроившийся было спать, не заснул, он уже долгое время цепко приглядывался к ним из-под узенького, крошечного козырька. Вдруг он поднялся, шагнул и сел впереди них на кресло. Он обернулся к ним и спросил:

— Вы давно женаты?

— Уже месяц,— ответил Елегин.

— Я и вижу,— сказал парень и мягко улыбнулся выпуклыми, тягучими губами.— Молодожены, видно, все такие. Их уж сразу отличишь. А я вздремнуть было собрался, да все гляжу вот на вас, и нет охоты спать. Я тоже три месяца как женился, а вот уже целый месяц в командировке. Вы не в командировку?

— В командировку,— ответил Елегин.

— А я еле сел. Машины проходят, не останавливаются, как ни голо-суй. Кто же здесь ночью посадит, уж только если отменный мужик. Хорошо, автобус подошел.— Парень задумался.— Вот бы и мне свою в командировку-то взять. Она-то просилась, да я побоялся. А чего? И ездили бы вот, как вы. Верно? А то я все один да один, а ей-то какво одной! — Он опять задумался.— А меня все парни пугали: не женись. Константин, все они одинаковые. Работа-то, мол, твоя все командировочная, уедешь — и начнет она воду мутить. А ведь вот знаю, что ждет... Я еду, а она чувствует... Как пить дать не спит. А хорошо на вас глядеть. Жаль, сходить скоро. Да. А чего же, я ведь дома буду.

Впереди показались огни нескольких избушек.

— Вот я и впрямь приехал,— посерьезнел парень.

Автобус затормозил.

— Ну, пока.— Парень поднялся. Он схватил чемодан громадной ко-рявой лапой и еще раз оглянулся уже в дверях.— Ну, пока. Счастливой вам жизни! Ну мне-то пожелайте...

— Самой счастливой вам жизни,— сказал Елегин.

— Чтобы как лебеди,— сказала Тамара.

Двери распахнулись. Парень выскочил. Пассажиров не было, автобус захлопнул двери, пошел дальше.

Долго ехали молча.

— Ты зачем его обманул?

— А может, так лучше ему...

— Ему-то, конечно, лучше... Хороший парень, видно. Вот мне бы та-кого мужа. Я бы с ним всю дорогу ездила.

— А такого, как я? — спросил Елегин.

— Такого мне не надо. Ты, видать, умный. А я что? Да и у тебя жена где-нибудь есть.

— Нет у меня жены.

— Все равно не надо такого. Тебе другая нужна. А до Кызыла я бы проводила тебя, да нельзя мне. Если еще встретимся, провожу.

— Где уж теперь встретимся!

— Это верно. Я простая ведь? Верно?

— Да, ты простая.

Она повернулась к окошку, занесла над стеклом руку и хотела рукавом стереть с него пыль, да остановилась. Посмотрела на созвездие точек, обозначенных Елегиным на пыльном стекле, и сказала:

— Лебедь. Это ты здорово выдумал. Хорошие звезды. А в общем, мне уже сейчас вылазить.— Она надела полупальто.

— Это не я выдумал,— сказал Елегин.— Это созвездие так названо уже давно. Ну-ка, подожди.

Он поднял с пола этюдник, с треском раскрыл его, взял первый попавшийся картонный этюд, достал из нагрудного кармана куртки толстый карандаш и долго что-то писал на оборотной стороне этюда.

— Возьми на память, это ваши горы,— сказал он, подавая этюд Тамаре.

— Да ты художник! — удивилась она.— Я же говорила, что ты умный.

Впереди обозначились огни нескольких таежных домиков, и автобус затормозил.

— Вот я и приехала,— сказала Тамара, пряча этюд за пазуху.— Ну, пока. Привет. Поправляйся.

Никто здесь не сел, и автобус пошел дальше. Елегин долго смотрел назад, но с трудом различал на тракте среди красных деревенских огней женщину. Может быть, ее и видно уже не было, но ему казалось, что она все стоит.

Пассажиры спали в тучном запахе мешков, каких-то пронзительных таежных трав и молодых кедровых шишек. Спящих трясло, но они этого не замечали. Елегин долго смотрел на пассажиров, потом повернулся к окошку. Он принялся сквозь обозначенные им звезды разглядывать одним глазом небо.

Потом он взял этюдник, прошел к кабине водителя и постучал ногтем указательного пальца в стекло. Водитель обернулся. Елегин указал пальцем на дверь. Водитель взгляделся в его лицо, постучал себя кулаком по лбу и повертел возле виска пальцем, как бы ввинчивая в висок шуруп. Елегин еще раз указал пальцем на дверь. Водитель пожал плечами, затормозил и раскрыл двери наружу, в тайгу.

Елегин соскочил на асфальт. Автобус ушел.

Елегин долго стоял с этюдником в руке посреди тракта, ожидая обратную машину. Машины не было. Были только звезды. Они светились над горами, покрытыми черным лесом, и над трактом. Через добрую четверть неба, склоняясь к горам, летел лебедь.

С юга послышалась грузовая машина. Она стремительно, но бережно несла сквозь ночь белый сноп электрического света. Елегин поднял руку. Машина не остановилась. Когда она проходила рядом, его обдало ветром. Ночные мотыльки, попадавшие в свет фар, казались живыми испуганными снежинками.

Прошла вторая машина, высоко груженная и крытая брезентом. Брезент громко хлопал на ходу и свистел. Эта машина тоже не остановилась.

«Придется идти пока пешком»,— сказал Елегин и зашагал на север.

Таежные трубачи

Резвый, легкий гром ожил где-то в глубине земли и осторожно мчится по ложине в горы. Я выхожу на обветренную скалистую гряду, отделяющую меня от долины, и замираю. Прямо на меня танцующим галопом несется огромное стадо маралух. Они пока не видят меня и все несутся, несутся, пружинисто разбрасывая ноги, стремясь раскинуться по воздуху.

Но вот передняя круто останавливается в десятке метров, смотрит пристально, напряженно, молчит. Останавливается и, останавливаясь, подтягивается все стадо. Маралухи изучают меня блестящими серьезными глазами. Маралята тоже изучают, но больше стараются поближе прижаться к матерям. Они ждут от меня движения, чтобы умчаться. А я не двигаюсь.

Я только улыбаюсь. И этого достаточно. Одна из них тонко и отрывисто, почти по-птичьи, вскрикивает, и все разом срываются. Резвый бегучий гул вновь прокатывается по земле, он уносится в горы, туда, где исчезают за лиственницами бревенчатые зигзаги бесконечной изгороди. Только тревожно тают в зеленом сумраке тайги их треугольные зеркальца над взлетающими задними ногами. Гул долго еще гуляет по горам, то еле слышный, то усиливающийся, перемежаемый тонкими быстрыми вскриками.

Тревога передается и рогачам, отгороженным от меня таким же высоким бревенчатым забором. Они поднимают головы, вслушиваются и озабоченно принимаются бегать рывками, как бы разминаясь перед опасностью. Еще мгновение, и они тоже бросятся в тайгу, короткими бархатистыми пантами вычерчивая над лугом длинные черные линии.

Ранней весной, когда воздух наливается перламутровым сиянием, а снега с таинственным шорохом начинают незаметно оседать, маралы теряют рога. Обычно спокойные, рогачи становятся нетерпеливыми, трясут головами, чешутся рогами о деревья, пни, изгороди и наконец сбрасывают рога. Одомашненные же маралы сбрасывают окостеневшие пеньки, оставшиеся от спиленных летом пантов и называющиеся коронами.

И не успеют восковато-серые твердые коронки упасть в снег, начинают расти новые рога. Нежные, налитые под бархатистой кожей кровью, к концу мая они уже начинают костенеть.

Перед началом так называемой «панторезной кампании» бывалые рогачи начинают нервничать. Они сторонятся знакомых людей, далеко обходят то страшное место, где они должны потерять свое пышное убранство, подаренное природой. И огромного труда стоит загнать марала в панторезный станок.

Сначала рогачей собирают в большой загон, ворота из которого ведут к станку. И здесь-то начинается самое трудное. Нужно отбить рогача от стада и загнать в узкий бревенчатый коридор со множеством ворот. Эти ворота насажены по обеим сторонам коридора наискось друг от друга, и когда они закрыты, то расстояние между ними чуть больше длины туловища взрослого рогача. Ловкие всадники тувинцы вьются по запертому стаду, отбивая одного из маралов и тесня его к коридору. Рогач приходит в ярость, глаза его наливаются ненавистью, он бьет ногами и готов убить всякого, кто окажется поблизости. Но только он проскочил в первые ворота, как вся его ярость и вся мощь уже бесполезны против настойчиво раскрывающихся и закрывающихся многочисленных ворот, которые гудят от отчаянных ударов копыт.

Но вот раскрываются последние ворота, и марал оказывается перед обшитыми войлоком и холстиной двумя досками, горизонтально укрепленными друг против друга. Идти больше некуда, а сзади подталкивают все те же настойчивые ворота. Наверху стоит человек с короткой, туго натянутой пилкой. Сзади новый толчок. Марал, опасливо упираясь, ступает на дощатый узкий пол, напоминающий пароходный трап. Вот он делает шаг, еще шаг, еще один. Наконец он уже стоит между горизонтальными досками, ворота сзади плотно закрываются, и слышно, как щелкает запор. И тут приходит самое решительное. Доски сильно сдавливают бока, а пол уходит из-под ног, и повисшему в воздухе рогачу набрасывают на голову и закрепляют тяжелую деревянную колодку.

Выскакивает марал из станка не столько озлобленный, сколько удивленный, но еще не верящий в то, что уже наполнило все его тело болью. Он делает несколько решительных шагов, как бы еще веря, что можно уйти и больше не дать никому в руки, но внезапная куца легкость на голове дает понять, что бежать не стоит, бежать незачем, да и поздно. Марал некоторое время стоит и потом печально уходит куда-нибудь в луга или в зеленый сумрак тайги, где можно одиноко предаться тяжелой обиде, где запечется кровь на дымящихся ранах и где можно никому не смотреть в глаза.

Я не видел ничего порывистее маралухи. В ее тонких ногах, в полетном повороте головы, в восторженном беге, в быстрых скачках есть что-то от босоногой девчонки-подростка. И эта легкость, эта порывистость не исчезают в животном с годами, ее не уносит ни болезнь, ни старость. И только если заглянуть ей в глаза, можно увидеть, что там прячутся и постоянные лесные тревоги, и горечь обиды, и печаль одиночества, и кроткое благородство всепрощения, свойственное не всякому животному.

Застывшая на далекой лесной поляне маралуха напоминает мне растворившийся в воздухе звук, который еле слышен, но которым все еще полно. И нужно только пробежаться маленькому ветерку, чтобы звук воспрянул и зазвучал с прежней силой где-то вдаль. А стоит маралухе тронуться в горы, как все ее движения превращаются в нежную, но сильную мелодию. И когда я вижу рядом с ней ее пугливого, но послушного детеныша, я твердо верю, что природе тоже свойственно великое стремление к прекрасному, как и нам, людям.

Эти маленькие, но смысленные существа появляются на свет в середине мая. Первые полмесяца мать никого к детенышу не подпускает, прячет его где-нибудь в густых зарослях и ловко хитрит при появлении любой опасности. Стоит ей только заметить кого-то хотя бы поодаль, она тотчас же оставляет детеныша, уходит далеко в сторону и начинает кружиться возле пустого места, как бы ухаживая за мараленком. Тот в свою очередь с первого дня рождения чутко воспринимает всякую тревогу. Заметив человека или зверя, он падает в траву и лежит, не шелохнувшись. Можно пройти в двух шагах от него и не заметить, не вспугнуть или принять за камень. Все лето мать ходит с ним по горам в стаде или отдельно, кормит его, ухаживает за ним и, если нужно, защищает. Все маралухи стада проявляют к молодому поколению самое теплое внимание, не разбирая, свой это детеныш или чужой. Маралята растут быстро: молоко их матерей по жирности равноценно коровьим сливкам.

На втором месяце жизни маралята начинают щипать траву и к концу лета привыкают есть самостоятельно. Вес новорожденного двенадцать — четырнадцать килограммов, но за полгода он достигает трети веса взрослого марала. К ноябрю молодняк отнимают от матерей, чтобы дать маралухам возможность подготовиться к новому материнству.

Над осенней туманной тайгой гремит тонкая, но зычная труба. Призыв, нетерпеливый, яростный призыв, в этом отчаянном крике. Гремучее эхо разносит его по всем вершинам, ущельям и лугам, и кажется, что от самого Тянь-Шаня и до Байкала гремит, укает над хребтами этот стремительный зов.

Далеко в тайге кричат маралы, им отзываются рогачи из маральника, они по привычке тоже зовут соперников на бой. Но диких рогачей пускать в маральник нельзя: лишенные рогов домашние маралы не смогут защитить себя, да и не все из них стремятся принять участие в гоне. Многие не такие уж старые лежат себе под изгородью и даже не отзываются на рев диких, которым незнакома и непонятна такая осенняя лень.

Живет в Усинском совхозе рогач Ванька. Здесь, в Саянской тайге, он самый необычный рогач. К нему не всякий решится подойти, а дети и женщины вообще стараются обойти его далеко стороной. В маральнике его даже прозвали одиноличником. Ванька никогда не пасется вместе с другими. Он считает зазорным жить вместе со своими товарищами. Он отвоевал себе старую избушку на участке и целыми днями лежит в ней, ни на кого не обращая внимания. Сытый и сильный, в гоне он никогда не участвует. Он бросается на любого человека, замеченного хотя бы вдалеке.

На третьем участке такой же рогач Юрка. И такой же он строптивый. Этот верзила бьет маралят, отгоняет их от кормушки и, наевшись один, уходит. Среди диких маралов такого еще не встречалось.

Я выхожу на клубящийся прохладной синью луг, встаю за дерево и слежу за притихшим, внимательным стадом. Отсюда в сумерках маралы кажутся фиолетовыми. Они спокойно стоят, подолгу глядя друг на друга, на тайгу. Они молчат, они, наверное, вслушиваются в тягучий шум верхового ветра. Мне кажется, они сейчас ни о чем не думают, они только наслаждаются этой синей тишиной, этим прохладным покоем, когда ни им ничего не нужно и никому ничего не нужно от них.

И я стою долго, тоже ни о чем не думая. Мне просто приятно смотреть на их стройные силуэты, когда даже любая, даже самая спокойная поза животного полна только до поры до времени скрываемого движения. Мне просто радостно от близости этих благородных существ. Я убежден, что на земле нет животного прекраснее. Марал ни на кого не нападает, не обижает слабого, не требует от природы больше, чем ему нужно, он только гордо и ревниво оберегает свою свободу, свою красоту. И даже когда он уходит от преследования, движения его не теряют силы и величия, и ничтожными кажутся рядом с этим великолепным полетом злобные ужимки рыси, коварная волчья хитрость и неуклюжая мощь медведя.

И я стою до тех пор, пока стадо не тонет во мраке сгустившейся ночи. Но и тогда я не ухожу. Я чувствую их. По всем горам, в дремучей тайге — всюду тоже замерли величественно-дикие существа... Их много, у них легкие ноги, у них торжественные песни, их панты полны жизни.

И когда придет золотая, золотая пора осени, все они будут трубить!

Малиновый Саян

Окно в сенях было выбито градом. Вдоль сеней висели на тонкой жердине веники. Веники были сухие. В окно с утра дул ветер и шумел вениками. Ваня сидел в комнате перед окном, поглядывая в долину и прислушиваясь через стену к шуму веников. Сегодня он был один.

Начальник уехал в отпуск, а младший метеоролог Петька ушел с ружьем и удочками вниз к реке.

Веники шумели крупно, быстро, отчего казалось, будто невдалеке кто-то едет на телеге по каменистой дороге. Но Ваня знал, что на много километров вокруг нет ни телег, ни дорог. Шум нравился Ване, по шуму он мог бы, не выходя из комнаты, давать сводки. Сегодняшний шум говорил о том, что сводки можно давать добрые, и далекие многолюдные аэродромы не будут томиться, пассажиры нервничать, а огромным белым моторам не придется помалкивать на площадках. Под такой шум Ваня часами мог полулежать на лавке перед окном, не то дремать, не то просто раздумывать, вспоминая свою длинную неторопливую жизнь, опершись локтями о подоконник, потирая рыжую небритую щетину, здесь и там насквозь пробитую сединой. И можно думать о Петьке, как он вернется перед заходом солнца — краснощекий, с толстогубой улыбочкой, по-взрослому вышагивая, чтобы подчеркнуть свою коренастость, потряхивая издали в воздухе мешком с шелковистым розовым хариусом.

Порой появлялся вдалеке самолет. Он шел неторопливо, как бы размышляя. Он шел осторожно, словно боялся сбиться с тропинки. Ваня поглядывал на самолет и говорил вслух: «Этот в Абакан». Потом проходил другой самолет. Такой же синеватый, осторожный, но в обратную сторону. Ваня поглядывал на него и тоже спокойно бурчал: «Этот в Кызыл».

Так время шло к вечеру. Перед вечером далекий простуженный голос раздавался в углу комнаты. Сквозь шипение и треск голос произносил короткие вопросительные слова. Ваня поднимался с лавки и выходил на площадку. Потом он возвращался и отвечал голосу. Так же хриловато-строго Ваня произносил добрые слова. Теперь он садился за стол ест из алюминиевой тарелки красноватую жирную медвежатину с картошкой. Медвежатина была холодная, разогреть ее Ване не хотелось. Он запивал медвежатину водой из граненого зеленого стакана. От воды пахло кедром.

Где-то очень далеко, в глубине неба, зарождался гром. Гром был продолжительный, настойчивый. Ваня тяжело клал на стол свою березовую ложку и выходил на крыльцо. На крыльце он стоял босой, в незаправленной рубашке. Далеко впереди звука шли над землей три белые поблескивающие точки. Они шли твердо, казались вбитыми в небо, и ясно было, что лобная дорога в воздухе им не страшна. «Эти куда же? — Ваня напрягал морщины на лбу, некоторое время молчал и успокаивал себя: — Они знают куда». Он возвращался в избу к медвежатине и воде, пахнущей кедром. На ходу он замечал, что веники шумят иначе, мягче и шире.

Перед закатом солнце густо наливалось беспокойной желтизной. Солнце шло над огромной ступенчатой и каменистой горой. Горы здесь называли — Саян. В это время на другом краю неба вываливалась из-за хребтов сивая туча с гладкими, словно зачесанными, краями. Ветра от нее еще не было, но прохладой уже подавало. Ваня вставал и начинал ходить от стола до порога. Вскоре туча разлаписто входила в небо, обдавая тайгу холодом. Солнце багрово скрывалось за Саяном, и Саян начинал светиться по краям, словно плавился.

Из тучи медленно падал снег. Снег садился на деревья, камни, в траву. Снег был крупный и тихий. При свете заката он становился малиновым. Малиновая стена снегопада осторожно закрывала тайгу, долину за долиной. Крупные хлопья прилипали к стеклам, таяли, бежали вниз красноватыми потеками. Снег падал все гуще и гуще, было слышно, как он шумит по стенам и по крыше.

Темнело. Ваня подошел к приемнику, включил тихий желтый свет на его шкале и долго сидел, перечитывая светящиеся названия городов. Потом он тронул вертушку, и в комнату ворвалось множество голосов. Первым пришел низкий, тяжелый голос женщины. Она пела что-то печальное на незнакомом протяжном языке. Потом ворвался отрывистый металлический голос. Ваня не понимал слов, но знал, что может говорить этот голос. Ваня быстро уничтожил его.

Рядом появилась другая музыка. В музыке не было пения, не было песенной мелодии, но было очень широкое и удивительно сердечное звучание. Ваня видел березовую рощу. Ветра не было, но березы сами покачивали ветвями. Под березами ходила молодая женщина в синем простом платье. Волосы у женщины были белые, словно отбеленные на солнце. Она ходила и что-то все искала под деревьями. Ваня приглядывался к ней, стараясь догадаться, что в ней такого знакомого. Наконец он узнал в этой женщине свою дочь Настю. Потом Настя внезапно нашла под березой маленького спеленутого ребенка. Она взяла его на руки и распеленала... Вдали за рощей шел поезд, и низкое солнце горело в окнах вагонов. Ребенок протягивал руки к поезду и что-то силился выговорить, а мать успокаивала его.

В это время в углу снова началось шипение, и раздался голос. Голос просил у Вани погоды. И, выключив музыку, Ваня коротко рассказал голосу все — о снеге, о туче, о ветре.

После сводки он опять долго ходил от стола до порога, и прислушивался, и ждал Петьку. В конце концов он остановился среди избы и громко позвал: «Семимили!» Ответом было молчание. «Семимили!» — повторил Ваня, постоял и с ухмылочкой направился в сени. Веники почти не шумели, только влажно колыхались на слабом ветру. Под вениками на полу Ваня нащупал высокие резиновые сапоги и снова ухмыльнулся: «Ишь, Семимили, пристроились... будто вас и нету...» Он взял сапоги за голенища, отнес в избу, и долго ворчал, обуваясь, и притопывал сапогами: «Вот вам, Семимили, и дело будет... А то... ужо, вы у меня...» Ваня натянул длинную соболью шапку, и она блестя и переливаясь во тьме, как электрическая. Ваня натянул меховую куртку, снял с гвоздя ружье и направился по тропе вниз, к реке.

В темноте ночи все было густо усыпано снегом. Ваня шагал, оставив следы и вслушивался. То здесь, то там пробегали по тайге осторожные шорохи. Это маралы уходили от снега. Снег мокро свисал с деревьев и трав. Капли падали на камни и глухо звенели. «Ну и вот, Семимили, подались», — бормотал Ваня, шагая. Семимили скользили по мокрому снегу, проваливались в лужи, но воду не пропускали. Сами собой припомнились слова последней сводки: «В течение двух часов шел снег. В момент наблюдения снегопада нет. Облачность низкая. Ветер слабый...»

И, глядя по сторонам, Ваня продолжал про себя сводку: «Облачность низкая. Ветер слабый. Петька не вернулся. Иду за Петькой. От Насти вести нет. Темно. В тайге шумит вода. Маралы уходят в долины...»

Вдруг кто-то черный появился внизу на тропинке. Он подбежал к Ване, ткнулся носом, потеряв скользким боком о Семимили. Ваня зажал мокрый, быстро отдувающийся нос в кулаке и радостно проворчал: «Ишь, Голубарь, ишь ты!» Голубарь крутился, приплясывал в мокром снегу, вилял задом и слегка рычал. Глаза его блестели в темноте.

Еще ниже на тропе появился Петька. Он тащил на спине горного козла. Хотя Ваня и ожидал, но не знал еще, что у Петьки в кармане телеграмма. Ее недавно передал конный тувинец, которого Петька весь день поджидал у реки на тропе. В телеграмме говорилось, что сегодня на закате Ваня стал дедом.

Флаги на скалах

Чем выше в горы, тем меньше леса, да и лес мельче.

Вот пропали ели. Вот уже исчезает и карликовая березка на голубичниковых полянах. А вот уже скалы голые да снег.

А на скалах свистит на ветру пучковатой длинной хвоей кедр. И само кедр ростом не выше козленка, а хвоя мощная и сочная.

В ненастные дни, когда непогода загромождает горы бушующими облаками, высятся гольцы в сером морозящем тумане. Тогда ни зверя, ни птицы не видно, и кажется, что нет здесь никакой жизни ни в небесах, ни в долинах.

И только кедры шумят, реют пахучей хвоей на мозглых ветрах со своих скал нелюдимых.

Реют те кедры, как зеленые флаги вечно непобедимой и везде побеждающей жизни.



К. ВАНШЕНКИН

★

ИЗ ЛИРИКИ

РЕКА

Спустившись узкою долиною,
К воде подходят табуны,
И смотрят морды лошадиные
Навстречу им из глубины.

В воде холодной солнце плавится,
Мелькает лодка на реке,
И чье-то розовое платье
Я четко вижу вдалеке.

Летя вперед в стремленьи яростном,
Уже бессчетные века
Под этим лесом многоярусным
Гудит великая река,
Питаясь водами глубинными,
Подняв хребтину быстрины.

А как пойдет играть турбинами,
И впрямь не будет ей цены.

БУКСИРЫ

Туманно. В рубке сыро.
По Северной Двине
Два стареньких буксира
Прошли навстречу мне.

И кстати ли, не кстати ль
Но имя одного
Из них — «Изобретатель».
Подумать, каково!

Густого дыма тучка
Клубится над трубой,
Идет он, самоучка,
Испытанный судьбой.

А вслед ему — приятель,
Поверивший в мечту, —
Спешит «Преподаватель»
С командой на борту.

За ними волны-ленты
На обе стороны.
Идут интеллигенты,
Работники Двины.

Как будто от порога
Росистым вечерком
Пошли пройтись немного
Старик со стариком.

Я вижу там, в двадцатых,
Начало их путей,
Их пиджачки в заплатках
И в штопке у локтей...

Ах, как они умели,
Когда придет беда,
Срывать, натужась, с мели
Груженные суда.

Для них ориентиры
По всей Двине горят.
Идут они, буксиры,
Гудками говорят.

Герои на поверку,
Без лишней суеты
И нынче тянут кверху
Баржи или плоты.

КУКУШКА

Отважный мальчишка, исполненный сил,
Услышал кукушку и громко спросил:

— Кукушка, кукушка, а сколько мне лет?..—
Двенадцать «ку-ку» прозвучало в ответ.

Довольный ответом, он лег на траву.
— А сколько на свете еще проживу?

Молчала кукушка на первых порах,
И он, озираясь, почувствовал страх.

Вновь стала кукушка ему куковать,
Он сбился со счета и начал опять.

Валялся, смеясь над приметой былой.
Тянуло от сосен нагретой смолой.

И плыл над землей нескончаемый день,
И было, как в школе, считать ему лень.

ПОСЛЕ ШТОРМА

Наступила тишина
После длительного шторма.
Много жадным чайкам корма
Наготовила волна.

Тени вечера легли.
Море остро пахнет йодом.
Запоздалым пароходам
Маячок мигнул вдали.

Слышен песенки мотив.
Тянет свежестью с залива.
Море плещется лениво,
Чем заняться — не решив.

Тишина кругом стоит.
Все спокойно. Лишь в тумане,
Будто мелочью в кармане,
Море галькою гремит.



ДЖОН ЧИВЕР

★

УПРАВЛЯЮЩИЙ

Рассказ

Сигнал тревоги раздался в шесть часов утра. В квартире на первом этаже, которую управляющий домом Честер Кулидж занимал в счет жалованья, звонок этот был еле слышен, но Честер сразу проснулся: он и во сне не переставал слышать, как стучали и подрагивали моторы и механизмы, обслуживающие дом, и малейшие перебои в их работе ощущал, как перебои собственного сердца.

Не зажигая света, он быстро оделся и побежал к черной лестнице через вестибюль, едва не споткнувшись по дороге о корзинку из-под персиков, в которой топорщились увядшие розы и гвоздики. Отшвырнув корзинку, он легко сбежал по чугунной лестнице вниз и зашагал по коридору подвала, похожего на катакомбы. С каждым шагом звон становился все слышнее. Честер приближался к помещению, где стояли насосы. Звонок означал, что бак на крыше почти совсем опорожнился и что механизм, регулирующий подачу воды, перестал действовать. Честер включил запасной насос.

В тишине подвала было слышно, как в шахте грузового лифта, спускаясь с этажа на этаж, погромыхивала кабина с молочными бутылками. Для того чтобы запасной насос наполнил бак, понадобится час; Честер решил покуда не будить мастера — надо было только время от времени поглядывать на водомер; он поднялся к себе и в ожидании завтрака стал бриться и умываться. Кое-кто из жильцов переезжал сегодня на новую квартиру, и, прежде чем сесть за стол, Честер посмотрел на барометр и увидел, что стрелка пошла вниз, а когда взглянул в окно, вдоль всех восемнадцати этажей, на небо, оно показалось ему почти черным. Честер любил, чтобы в дни переездов было сухо и ясно. В прежние время переезды совершались непременно первого октября, и почти всегда можно было рассчитывать на хорошую погоду; теперь не то — жильцы переезжают и в дождь и в снег. Бествики переезжали в другой дом, а Негусы перебирались в освобождающуюся квартиру. Больше переездов в тот день не было. Честер пил свою первую чашку кофе под разговоры жены о Бествиках; их отъезд вызвал у нее какие-то воспоминания и сожаления. Честер не отвечал на ее вопросы, да она и не ждала, чтобы он разговаривал с ней в эту рань. Она беспечно болтала о том о сем для того лишь, как она сама себе говорила, чтобы слышать собственный голос.

Честер с женой прибыли в Нью-Йорк из штата Массачусетс двадцать лет назад. Это она придумала переехать. Болезненная и бездетная, миссис Кулидж решила, что в большом городе ей будет веселее, чем в Нью-Бедфорде. Они обосновались в восточной части Нью-Йорка,

на одной из Пятидесятых улиц, и она была всем довольна. Она ходила в кино и по магазинам, а один раз ей даже посчастливилось своими глазами увидеть персидского шаха. Единственное, что ей не нравилось в Нью-Йорке, это то, что здесь ее любвеобильное сердце почти не находило себе применения.

— Бедная миссис Бествик, — говорила она. — Как мне жалко эту женщину! Это ты мне сказал, что они отправили детей к бабушке, пока устроятся на новом месте, да? Как бы я хотела им чем-нибудь помочь! То ли дело в Нью-Бедфорде — я могла бы пригласить ее к обеду, например, или дать ей с собой корзиночку с хорошим обедом. Ты знаешь, кого она мне напоминает из Нью-Бедфорда? Феннеров — две сестры, помнишь? У них тоже бриллианты величиной с орех, а в доме ни электричества, ни ванны. Они еще ходили к Джорджиане Батлер купаться.

Честер не смотрел на жену, но одно ее присутствие воодушевляло и радовало его, ибо он был убежден, что она женщина особенная. Все — и то, как она говорит, и то, как убирает комнату, и то, как никогда ничего на свете не забывает, и та мудрая терпимость, с какой она принимает мир таким, каков он есть, — все это указывало на то, что жена его — личность просто гениальная. И сейчас маисовую лепешку, которую она испекла ему на завтрак, он жевал с чувством, близким к благоговению. Он знал наверное, что никто на свете не мог бы испечь маисовую лепешку так хорошо, как его жена, и что во всем Манхэттене никто даже и не догадался бы именно в это утро испечь маисовую лепешку.

После завтрака он закурил сигару и принялся думать о Бествиках. Дом, которым он управлял, пережил несколько эпох, и теперь по всем признакам для него начиналась еще одна новая эпоха. С 1943 года он стал делить жильцов на «постоянных» и «потолковых», то есть на тех, кто оставался в доме все равно, как бы ни повышалась арендная плата, и на тех, кто неминуемо должен был съехать, едва эта плата превысит определенный предел, потолок. Владельцы недавно добились разрешения поднять арендную плату, и он знал, что это поведет к тому, что несколько жильцов из «потолковых» будут вынуждены расстаться со своими квартирами. Первыми в результате новых условий уезжали Бествики, и Честер жалел об этом не меньше жены. Мистер Бествик служил в каком-то агентстве. У миссис Бествик была общественная жилка, она имела звание «капитана» Общества Красного Креста, вела большую работу в «Обществе борьбы с полиомиелитом» и в скаутской организации для девочек. Никто не знал точно, сколько зарабатывает мистер Бествик, но для обитателя этой части города заработок его был явно недостаточен, и это знали все — хозяин винной лавки и мясник, швейцар и рабочий, который приходил мыть окна. В Кредитном банке уже год как знали об этом. В последнюю очередь признали этот факт сами Бествики. Мистер Бествик ходил в высокой фетровой шляпе, просторном пиджаке, узких брюках и белом плаще. Каждый день, в восемь часов утра, он ковылял на работу с таким видом, словно ему тесны его английские полуботинки. Когда-то Бествики были богатые люди, и, донашивая старые платья, миссис Бествик все еще шеголяла в бриллиантах с орех величиной, как говорила миссис Кулидж. Семейство Бествиков — у них было две дочери — ни разу не доставило Честеру ни малейшей неприятности.

Примерно месяц назад миссис Бествик как-то под вечер позвонила Честеру и попросила его подняться к ним. Нет, нет, ничего срочного, пояснила она тут же своим приятным голосом. Но она очень хотела бы с ним поговорить, если можно. Миссис Бествик была худенькая, чересчур худенькая женщина, с великолепной грудью и очень грациозная. Она встретила Честера со свойственным ей милым изяществом и провела его в гостиную, где на диване сидела женщина постарше.

— Познакомьтесь, Честер, это моя мать, миссис Даблдей,— сказала миссис Бествик.— Мама, это Честер Кулидж, наш управляющий.

Миссис Даблдей сказала, что она очень рада, и пригласила его сесть. Честер слышал, как в одной из спален старшая дочь Бествиков пела:

Да здравствует Чейпин,
Спенса — долой!
Повесим мисс Хьюит
Вниз головой! ¹

Честер бывал во всех гостиных своего дома, и гостиная Бествиков нравилась ему больше остальных. Вообще же все квартиры в этом доме казались ему некрасивыми и неудобными. А жильцы, проходившие с важным видом по вестибюлю мимо него,— какими-то обездоленными. Ведь они лишены простора, света, покоя, тишины, уединения — всего, что дает человеку право называть свой дом замком. Честер знал, как тщательно маскируют они эти лишения. Взять хотя бы вентилятор, которым они надеются заглушить кухонные запахи. Городская квартира не отдельный домик, и если в одном конце ее жарится лук, вы не можете не знать об этом в другом. У всех у них на кухне установлены вытяжные трубы, но в городской квартире, сколько ни старайся, никогда не будет пахнуть так, как в домике, который стоит среди леса. Все гостиные казались Честеру слишком высокими и узкими, слишком шумными и темными. И он знал, с какой неутомимой энергией, не жалея ни времени, ни денег, женщины рыщут по мебельным магазинам и думают, что, если они сменяют ковры и столики, заменят старые лампы новыми, жилище их будет наконец походить на дом, о котором они мечтали всю жизнь. Миссис Бествик удалось осуществить свою мечту в большей мере, чем другим,— так казалось Честеру. Впрочем, может быть, Честеру так казалось именно оттого, что ему нравилась сама миссис Бествик.

— Вы слышали о новой арендной плате, Честер? — спросила она.

— Я ничего не знаю ни об арендной плате, ни о договорах,— солгал Честер.— Всем этим ведают в правлении.

— Нам повысили плату,— сказала миссис Бествик,— а мы столько платить не намерены. Я подумала, что, быть может, вы знаете о какой-нибудь менее дорогой квартире в этом же доме.

— К сожалению, миссис Бествик, ничего такого нет,— сказал Честер.

— Ну что ж,— сказала миссис Бествик.

Он чувствовал, что она не высказывается до конца. Должно быть, надеется, что он сам предложит поговорить в правлении и убедить их, чтобы они позволили Бествикам как старым испытанным жильцам занять квартиру на прежних условиях. Но миссис Бествик, очевидно, не хотела поставить себя в неловкое положение и просить его о помощи, а у Честера хватило такта промолчать и не говорить, что его влияние ничтожно и что он не может замолвить за нее слово.

— Я слышала, будто Маршалл-Кейвисы имеют какое-то отношение к компании,— сказала миссис Даблдей.

— Верно,— сказал Честер.

— Я училась в Фармингтоне с миссис Кейвис,— сказала миссис Даблдей дочери.— Что, если мне поговорить с ней?

— Миссис Кейвис здесь почти не бывает,— ответил Честер.— За все пятнадцать лет, что я тут работаю, я еще ни разу в глаза не видел кого-нибудь из них.

— Да, но дом-то — их,— возразила ему миссис Даблдей.

¹ «Чейпин» и «Спенс» — фешенебельные школы для девочек.

— Дом принадлежит «Маршалл-Кейвис корпорейшн»,— сказал Честер.

— Мод Кейвис была помолвлена с Бентоном Таулером,— продолжала миссис Даблдей.

— По-моему, сами они мало имеют отношения к дому,— сказал Честер.— Не знаю, но мне кажется, что они даже и не живут в Нью-Йорке.

— Спасибо, Честер,— сказала миссис Бествик.— Я просто думала, может быть, есть свободные квартиры.

Когда звонок зазвонил второй раз — на этот раз сигнализируя о том, что бак на крыше наполнился,— Честер прошел через вестибюль, спустился по чугунной лестнице в подвал и выключил насос. Стенли, домовый слесарь, уже проснулся и возился у себя в комнате, и Честер сказал ему, что, очевидно, задвижка на крыше перестала работать и нужно поглядывать на водомер. В подвале начался день. Принесли молоко и газеты; Делейни, швейцар, принялся вытряхивать мусорные ведра, стоявшие у черного хода; одна за другой стали появляться кухарки и уборщицы. Они звонко здоровались с Ферарри, лифтером служебного лифта, и Честер — в который раз — подумал, насколько люди в подвале учтивее, чем в вестибюле.

Было без чего-то девять, когда Честер позвонил в правление. Ответила секретарша с незнакомым голосом.

— В баке с водой испортилась автоматизированная задвижка,— сказал он.— Нам приходится пользоваться ручной. Пришлите аварийную команду.

— Аварийная команда находится сейчас в другом доме,— ответил незнакомый голос.— Они вернутся не раньше четырех.

— Но ведь у нас авария, черт возьми! — кричал Честер.— У меня тут больше двухсот ванн. Чем наш дом хуже домов на Парк-авеню? Если в ваннах не будет воды, я скажу всем, чтобы жаловались вам, а не мне. Поняли? Сегодня у нас переезжают, мы тут со слесарем и без того с ног сбились — не можем же мы торчать целый день у насоса.

Лицо его покраснело. Голос разносился по всему подвалу. Он повесил трубку и почувствовал, что обжег губы сигарой. А тут еще подошел Ферарри с новой неприятностью. Переезд Бествиков задерживается. Грузовая машина агентства по перевозке, с которым они сговаривались, везла этой ночью груз из Бостона на юг и по дороге сломалась.

Ферарри поднял Честера на служебном лифте, и он очутился у черного хода в квартиру девять «Е».

Миссис Бествик открыла ему дверь сама. Она держала чашку кофе в руке, и Честер заметил, что чашка надтреснута, а рука чуть-чуть дрожит.

— Какая досада с машиной, Честер, я так расстроена,— сказала миссис Бествик.— Я прямо не знаю, что делать. У меня все готово,— и она показала на ящики с посудой, заполонившие всю кухню.

Она провела Честера через коридор в гостиную, в которой не было ни ковров, ни штор, ни картин.

— Все готово,— повторила она.— Мистер Бествик ждет меня в Пелламе. Мама увезла детей к себе.

— Напрасно вы не посоветовались со мной насчет агентства,— сказал Честер.— Не думайте, что я получаю комиссионные, просто я бы связал вас с какой-нибудь солидной конторой, и, главное, за те же деньги. Люди думают сэкономить на переезде и связываются с каким-нибудь второразрядным агентством, а в конце концов ничего не выгадывают. Миссис Негус — из первой «А»,— она хочет внести свои вещи как можно скорей, прямо с утра.

Миссис Бествик ничего не сказала в ответ.

— Мне очень жаль с вами расставаться, миссис Бествик, — сказал Честер, испугавшись, что был слишком резок. — Я буду скучать, ей-богу. И по мистеру Бествику и по девочкам. У нас мало таких жильцов, как вы. За все восемь лет, что вы здесь прожили, вы, по-моему, ни разу ни на что не пожаловались. Увы, миссис Бествик, не те времена! Все с ума посходили, что ли. Цены растут так, что никаких денег не хватит. Я-то помню время, когда в нашем доме жили люди ни богатые, ни бедные, а так. А теперь — одни богачи. И если б вы знали, миссис Бествик, на что только не жалуются жильцы! Вы б не поверили. Третьего дня, представьте себе, звонит соломенная вдова из седьмой «Д», и, как вы думаете, что ей у нас не нравится? Стульчак, видите ли, ей мал.

Шутка не развеселила миссис Бествик, она едва улыбнулась — чувствовалось, что голова ее занята другим.

— Ну что ж, я сейчас спущусь к миссис Негус и скажу ей, что произошло небольшая заминка, — сказал Честер.

Миссис Негус, которая готовилась занять квартиру миссис Бествик, брала уроки музыки. Ее дверь выходила прямо в вестибюль, и под вечер было слышно, как она разыгрывает гаммы. Она никак не могла овладеть инструментом и выучила всего несколько пьесок. Уроки музыки были новым занятием для миссис Негус. Когда она только въехала в дом, в начале войны, ее звали Мери Томз, она тогда поселилась вместе с миссис Лассер и миссис Добри. Честер подозревал, что миссис Лассер и миссис Добри — женщины легкого поведения, и, когда Мери Томз к ним присоединилась, он почувствовал беспокойство за ее судьбу — уж очень она была молода и хороша собой. Он тревожился напрасно: легкая жизнь ей ничуть не повредила. Она прибыла бедной девушкой, в суконном пальтишке, а к концу года у нее оказалось столько мехов, сколько никому не снилось, и она была беспечна, как птичка. Мистер Негус начал ее посещать на следующую зиму. Первая же встреча — случайная, как полагал Честер, — изменила весь ход дальнейшей жизни мистера Негуса. На вид это был человек бывалый и немолодой, и Честер обратил на него внимание из-за его манеры прятать нос в воротник пальто и надвигать шляпу на самые глаза, когда он шел через вестибюль в квартиру один «А». Как только мистер Негус сделался постоянным посетителем Мери Томз, она дала отставку всем прочим своим знакомым. Один из них, французский офицер, моряк, оказался менее покладистым, чем другие, и пришлось позвать швейцара и полицейского на помощь. Затем мистер Негус указал миссис Лассер и миссис Добри на дверь. Мери Томз здесь была ни при чем, и она даже старалась достать для своих подруг квартиру в этом же доме. Мистер Негус, однако, был непоколебим, и в конце концов старшим приятельницам Мери Томз пришлось собрать свои пожитки и переехать на Пятьдесят восьмую улицу, Запад. Когда они съехали, был вызван декоратор, и всю квартиру отделали заново. Вслед за декоратором прибыли рояль, пудели, подписка на «Клуб ежемесячной книги» и, наконец, сварливая ирландская служанка. В ту зиму Мери Томз и мистер Негус съездили в Миами и там поженились, но мистер Негус, даже сделавшись законным мужем, проходил через вестибюль крадучись, как человек, который стыдится своего поведения. А теперь Негусы собирались перенести свои пенаты в квартиру девять «Е». Честер не думал, чтобы они задержались там надолго. Поживут год-другой, а потом миссис Негус захочется переехать в надстройку. А оттуда — в один из стильных домов в северной части Пятой авеню. Впрочем, не все ли Честеру равно?

Честер позвонил, и миссис Негус, по-прежнему хорошенькая, как картинка, открыла дверь.

— Здравствуйте, Чет,— приветствовала она его.— Заходите. А я думала, что вы раньше одиннадцати меня туда не пустите.

— Там, возможно, произойдет задержка,— сказал Честер.— Машина за вещами той дамы еще не прибыла.

— А мне какое дело, Чет? Мне необходимо поставить туда свое барахло, вот и все.

— Что ж, если за ней не приедут до одиннадцати, я попрошу Делейни и Макса, они вдвоем снесут ее вещи вниз.

— А, Чет!— сказал мистер Негус.

— В чем это у тебя штаны, мой милый?— спросила миссис Негус.

— Ни в чем,— сказал мистер Негус.

— А это что? — спросила миссис Негус.— Видишь, пятнышко?

— Слушай,— сказал мистер Негус,— я их только что получил из чистки.

— Ну и что ж, ты, может быть, за завтраком ел варенье,— сказала миссис Негус,— и сел на него. То есть, я хочу сказать, капнул вареньем на штаны.

— Да не ел я никакого варенья,— сказал он.

— Ну, значит, масло,— сказала она.— Очень уж бросается в глаза.

— Так я позвоню,— сказал Честер.

— Выкиньте ее барахло оттуда, Чет,— сказала миссис Негус,— я вам дам за это десять долларов. Ведь с двенадцати часов ночи хозяйка этой квартиры — я, почему же мне нельзя поставить там свои вещи?

Миссис Негус взяла салфетку и начала тереть ею пятно на брюках мистера Негуса. Честер вышел и закрыл за собой дверь.

Когда Честер спустился в подвал, он услышал, как у него в кабинете звонит телефон. Он снял трубку, и прислуга из пятой «А» сообщила, что у жильцов над ними ванна перелилась через край. Телефон звонил почти безостановочно. Прислуга и жильцы жаловались на неполадки — там окно не закрывается, там никак не откроешь дверь, кран протекает, раковина засорилась. Честер взял инструменты и сам занялся починкой. Жильцы по большей части держались уважительно и мило, но соломенная вдова из квартиры семь «Д» потребовала его к себе в столовую и набросилась на него.

— Вы здешний дворник? — спросила она.

— Я — управляющий,— отвечал Честер.— Я пришел сам, потому что мастер занят.

— Словом, я хочу поговорить с вами о черном ходе,— сказала она.— По-моему, в этом доме недостаточно поддерживается чистота. Моя прислуга утверждает, что она видела на кухне чуть ли не таракана: У нас никогда не было тараканов.

— Это очень чистый дом,— сказал Честер.— Это один из самых чистых домов в Нью-Йорке. Делейни моет черную лестницу через день, и мы при всяком удобном случае красим ее. Когда-нибудь, когда у вас будет время, спуститесь ко мне в подвал. Я за ним слежу не меньше, чем за вестибюлем.

— Я говорю не о подвале,— сказала женщина,— а о черном ходе.

Честер боялся, что вот-вот взорвется, и поспешил вернуться к себе в кабинет. Ферарри доложил, что аварийная команда прибыла и отправилась на крышу вместе со Стенли. Честер был недоволен тем, что они не явились сперва к нему. Ведь он как-никак управляющий и несет ответственность за все, что здесь происходит; прежде чем приступать к работе в его владениях, им следовало бы с ним посоветоваться. Он поднялся в надстройку «Д» и вышел по черной лестнице на крышу. Северный ветер завывал среди телевизионных антенн, и на соляриях кое-где еще лежал снег. Шезлонги и столики были накрыты брезентом, а на

стене одного из соляриев висела вся заледенелая соломенная шляпа. Честер подошел к баку и высоко на чугунной лесенке увидел двух человек в комбинезонах. Они возились с задвижкой. На трой же лесенке, двумя-тремя перекладинами ниже, стоял Стенли и подавал им инструмент. Честер подошел к ним и принялся помогать советами. Они слушали его почтительно, но, когда он спускался с лесенки, один из рабочих тихо спросил Стенли:

— Это ваш дворник?

Проглотив обиду — второй раз в этот день! — Честер подошел к самому краю крыши и стал глядеть оттуда на город. Справа виднелась река, вдоль нее, по течению, плыл грузовой пароход. На палубе и в иллюминаторах в неясном свете дня мерцали огни. Он держал путь в океан, но Честеру этот пароход с его огоньками и тишиной напоминал уютный одинокий домик, затерявшийся среди лугов. Маленький домик, уносимый течением. Ни один пароход, подумал Честер, не сравнится с его владениями. У него под ногами тысячи артерий, пульсирующих паром; десятки миль водопроводных труб и больше сотни пассажиров, любовью из которых, быть может, в эту самую минуту замышляет самоубийство, кражу или поджог. Огромная ответственность лежит на Честере — куда до него капитану какого-то грузового суденышка!

Когда Честер снова спустился к себе в подвал, позвонила миссис Негус — справиться, отбыла ли миссис Бествик. Он сказал, что позвонит ей, и повесил трубку. Десять долларов миссис Негус, казалось, обязывали Честера выжить миссис Бествик как можно скорее, но ему не хотелось усугублять ее и без того трудное положение, и он с грустью вспомнил, как хорошо она держала себя все время, что занимала эту квартиру.

Ненастная погода, мысль о миссис Бествик и воспоминание о том, как его дважды называли дворником, — все это нагнало на него тоску, и он решил для бодрости пойти почистить обувь.

Но у чистильщика в это утро было пустынно и тихо.

— Мне шестьдесят два года, — сказал Бронко, печально склонившись к ногам Честера, — а я думаю черт знает о чем. Может быть, это оттого, что я все время имею дело с подметками да с каблуками, как повашему? Или запах гуталина так действует, а?

Он густо намазал полуботинки Честера и принялся чистить их жесткой щеткой.

— Вот и моя старуха так говорит... — продолжал Бронко. — Она считает, это оттого, что я все время вожусь с этой дрянью. А я весь день только и думаю, что о женщинах, — печально заключил Бронко, — любовь, любовь и любовь. Тьфу, мерзость! Смотрю, например, фотографию в газете: сидит парочка, ужинает. Хорошие, чистые молодые люди, а у меня в голове совсем не то. Или, скажем, заходит дама, просит надбить каблук. Я ей: «Да, мадам», «Нет, мадам», «Завтра будет готово, мадам», а у самого в голове такое, что и сказать стыдно. Но если это от обуви, так что ж мне делать? Я больше ничем ведь не могу зарабатывать. Для такой работы, как ваша, нужно ведь быть и маляром, и плотником, и дипломатом, и нянькой. Завидую я вам, Честер. Заела где-то оконная рама. Или пробки перегорели. Вас зовут, просят починить. Хозяйка открывает дверь. Она одна. В ночной рубашке. У нее... — Бронко умолк и принялся энергично работать бархаткой.

Вернувшись от чистильщика и узнав, что фургон миссис Бествик так и не пришел, Честер сейчас же поднялся в девятую «Е» и позвонил с черного хода. Никто не выходил. В квартире было тихо. Он позвонил несколько раз и наконец открыл дверь своим ключом. И в эту же минуту миссис Бествик пришла в кухню.

— Я не слышала звонка,— сказала она.— Я так расстроилась из-за этого фургона, что не слышала звонка. Я была в дальней комнате.

Она опустилаась на стул возле кухонного стола. Лицо у нее было бледное и озабоченное.

— Не унывайте, миссис Бествик,— сказал Честер.— Вам понравится Пелам — вы ведь в Пелам переезжаете? Там деревья, птицы. Детишки ваши начнут поправляться. И у вас будет хорошенький домик.

— Очень маленький, Честер,— сказала миссис Бествик.

— Я, пожалуй, скажу рабочим, чтобы они взяли ваше бара... ваши вещи и снесли их во двор,— сказал Честер.— Они будут там в полной сохранности. А если пойдет дождь, я позабочусь о том, чтобы их как следует укрыли. А что, миссис Бествик, чем ждате, почему бы вам не поехать прямехонько в Пелам? — спросил он.— Я тут за всем присмотрю. Почему бы вам не сесть в поезд и не поехать в Пелам?

— Нет уж, я подожду, Честер, спасибо,— сказала миссис Бествик.

Где-то заревела заводская сирена, возвещающая полдень. Честер спустился и стал осматривать вестибюль. Ковры и пол чисты; стекла на эстампах, изображающих скачки, блестят. Затем он постоял под навесом и убедился, что медные подпорки натерты до блеска, что резиновый коврик вымыт и что прочный навес — не в пример другим — выдержал напор зимних ветров.

— Доброе утро,— окликнул его изысканно учтивый голос.

— Доброе утро, миссис Вардсворт,— ответил Честер и только после того, как ответил, понял, что это была не миссис Вардсворт, а Кейти Шей, ее пожилая служанка. Ошибиться было не мудрено, так как Кейти была в старой шляпке и пальто миссис Вардсворт и благоухала ее духами — последними каплями из выброшенного флакона. В полумраке навеса старая женщина казалась тенью своей хозяйки.

К подъезду задним ходом подъехал фургон — фургон миссис Бествик. Честер повеселел и пришел к завтраку с хорошим аппетитом.

Миссис Кулидж не села с ним за стол, и он догадался по лиловому платью, что она собирается в кино.

— Женщина из седьмой «Д» назвала меня дворником,— сказал Честер.

— А ты не расстраивайся, Честер,— сказала миссис Кулидж.— Когда я подумаю о всех твоих заботах, обо всем, что тебе нужно делать, мне кажется, ни у кого нет столько работы. Да ведь в любую ночь может вспыхнуть пожар, а кто, кроме тебя и Стенли, знает, где кишка? А потом лифт, электричество, газ, котел... Сколько, ты говорил, сожгли в этом котле прошлой зимой, Честер?

— Больше ста тысяч галлонов,— сказал Честер.

— Подумать только! — сказала миссис Кулидж.

Переезд был в самом разгаре. Рабочие сказали Честеру, что миссис Бествик все еще наверху. Он закурил сигару, сел за свой рабочий стол и услышал, как кто-то поет: «У моей крошки дивные ножки». Песня, сопровождаемая смехом и аплодисментами, доносилась из дальнего конца подвала, и Честер пошел на голос.

Он прошел по темному коридору до самой прачечной. В большой, ярко освещенной комнате пахло газовой сушилкой. На гладильных досках валялись кожура от бананов и бумажки от бутербродов. Из шести прачек ни одна не работала. Посреди комнаты две девушки отплясывали всюю, одна в шелковой комбинации, присланной для стирки, другая — завернувшись в грязную скатерть. Остальные хлопали в ладоши и смеялись. Честер раздумывал, следует ли прерывать веселье, но

тут зазвонил телефон, и он поспешил к себе в кабинет. Это была миссис Негус.

— Гоните эту стерву, Честер,— сказала она.— С двенадцати часов ночи квартира принадлежит мне. Сейчас я туда поднимусь.

Честер попросил миссис Негус обождать его в вестибюле. Она была в коротком меховом пальто и темных очках. Они вместе поднялись в девятую «Е», и он позвонил в парадную дверь. Он стал было знакомить дам, но миссис Негус так увлеклась туалетным столиком, который выносили рабочие, что забыла поздороваться, и сказала:

— Красивая штучка.

— Спасибо,— сказала миссис Бествик.

— Продавать не собираетесь? — спросила миссис Негус.

— Боюсь, что нет,— сказала миссис Бествик.— Мне, право, совестно, что я оставляю квартиру в таком состоянии,— продолжала она.— Но я не успела вызвать уборщицу.

— Это неважно,— сказала миссис Негус.— Я все равно буду делать ремонт. Я просто хотела перетащить свои вещи.

— Почему бы вам не поехать теперь, миссис Бествик? — сказал Честер.— Фургон уже пришел, а я присмотрю за погрузкой.

— Да, да, Честер, я скоро поеду,— сказала миссис Бествик.

— Недурные у вас камешки,— сказала миссис Негус, глядя на кольца миссис Бествик.

— Спасибо,— сказала миссис Бествик.

— Давайте вместе спустимся, миссис Бествик, я вам вызову сейчас такси, а там займусь и погрузкой.

Миссис Бествик надела пальто и шляпку.

— Наверно, следовало бы рассказать вам о разных здешних мелочах,— сказала она миссис Негус.— Но я вдруг все позабыла! Я рада, что познакомилась с вами. Надеюсь, что вам в этой квартире будет так же хорошо, как было нам.

Честер открыл дверь и пропустил ее в коридор.

— Сейчас, Честер,— сказала она.— Одну минутку.

Честер испугался, что она расплатится, но она всего-навсего открыла сумку и стала сосредоточенно в ней рыться.

Честер понимал, что дело не только в том, что она вынуждена расстаться с привычной обстановкой и ехать в совершенно новое место; ей было больно покидать дом, где ее манера говорить, весь ее облик, ее старые костюмы и бриллиантовые перстни все еще доставляли ей какую-то видимость почета и уважения; это была боль перехода из одного класса в другой, и боль была тем сильнее, что переходу этому так никогда и не суждено завершиться. Где-нибудь в Пеламе она непременно встретит соседку, которая тоже училась в каком-нибудь Фармингдейле или в Фармингтоне; подружится с кем-нибудь, у кого бриллианты тоже размером с лесной орех, а перчатки дырявые.

Она простилась с лифтером и швейцаром в вестибюле. Честер вышел вместе с нею, думая, что она простится с ним на крыльце, и уже готовился еще раз сказать, что у них было мало таких хороших жильцов, однако она повернулась к нему спиной и без единого слова быстро зашагала к перекрестку. Ее небрежность удивила и задела Честера, и он все еще смотрел ей вслед с возмущением, когда она вдруг повернулась и пошла назад.

— Боже мой, Честер, с вами-то я и не простилась! — сказала она.— Прощайте и спасибо, и проститесь от моего имени с миссис Кулидж. Передайте миссис Кулидж большой, большой привет.

И ушла.

— А что, пожалуй, может еще и разгуляться,— сказала Кейти Шей, выходя на крыльцо.

В руках у нее был кулечек с крупой. Как только Кейти перешла улицу, ютившиеся под мостом Квинсборо голуби узнали ее, и стая, словно взмытая ветром, закружилась над ней. Кейти слышала шум крыльев и видела, как в лужицах стало темно от птиц, но, казалось, не обращала на них никакого внимания. Мягкой и сильной походкой няньки, окруженной назойливыми детьми, шагала она между ними и даже тогда, когда голуби приземлились на тротуаре и стали толпиться у ее ног, не сразу принялась кормить их. Наконец она стала раскидывать желтую крупу — сперва старым и немощным, которые топтались у края, а затем остальным.

Рабочий, сошедший с автобуса на перекрестке, увидел стаю птиц и старую женщину среди них. Он раскрыл свою бутербродницу и вытряхнул на тротуар несколько корочек. Кейти тотчас подскочила к нему.

— Я просила бы вас не кормить их,— сказала она резко.— Видите ли, я живу вон в том доме и наблюдаю за ними, так что у них все есть. Я им насыпаю свежей крупы дважды в день. Зимой — кукурузу. Я трачу на них девять долларов в месяц. Они у меня получают все, что нужно, и я не хочу, чтобы их кормили посторонние.

И носком ботинка скинула корки в водосточную трубу.

— Я меняю им воду два раза в день и зимой смотрю, чтобы она не затянулась льдом. Но я не хочу, чтобы их кормили посторонние. Вы, конечно, меня понимаете.

Она повернулась спиной к рабочему и высыпала остатки из своего кулечка. Чудная, подумал Честер, совсем чудная. Впрочем, кто из них чуднее, неизвестно — она ли, кормящая этих птиц, или он, глядящий на то, как она кормит их?

Кейти была права: начало проясняться. Тучи исчезли, и Честер увидел в небе просвет. Дни заметно стали прибывать. А сейчас, казалось, день мешкает и никак не хочет уйти. Честер вышел из-под навеса, чтобы полюбоваться на прощание вечерним светом. Заложив руки за спину и закинув голову, он стоял и смотрел. В детстве его учили, что за облаками скрыт град господень, и даже теперь, взрослый, он испытывал к низко нависшим тучам любопытство ребенка, который думает, что ему вот-вот удастся заглянуть через какую-нибудь щелочку в жилище святых и пророков. Но дело было не только в привычке благочестивого детства. Он не мог уловить смысл только что окончившегося дня, и небо, казалось, обещало разъяснить ему этот смысл.

Почему этот день оказался таким бессмысленным? Почему он ничем не наполнен? Почему Бронко, и Бествики, и Негусы, и соломенная вдова из квартиры семь «Д», и Кейти Шей, и прохожий, почему они в сумме составляли нуль? Потому ли, что Бествики, и Негусы, и Честер, и Бронко ничем не могли помочь друг другу? Или потому, что старая дева не дала покормить голубей прохожему? Почему? Почему?— вопрошал Честер, вглядываясь в голубое небо, словно надеясь прочесть в нем ответ. Но небо сказало ему только то, что зима идет на убыль, что долгий день окончен, что уже вечерет и пора домой.

Перевела с английского Т. Литвинова.



ИЗ СТИХОВ СОВРЕМЕННЫХ ТУРЕЦКИХ ПОЭТОВ

★

СУАД ТАШЕР

Как тысячу лет назад...

Первый падишах, султан Осман,
пылкий был падишах.
Бунчуки, вперед, врагам на страх,
аллах велик, велик аллах,
барабан, бей, бей, барабан,
вперед, вперед, марш вперед,
поход на Иран, поход на Багдад,
на Крит поход!
«Счастливым я сделаю свой народ,—
обещал султан Осман.—
Золотые земли возьмем у врагов,
благословенные земли возьмем у врагов,
гурий в гарем, душистый кальян,
удачу в боях, веселье в пирах
каждому турку пошлет аллах»,—
обещал султан Осман, падишах.
И с тех пор
тысячу лет бил барабан—
вперед, вперед, марш вперед,
Крымский поход, Венский поход,
Русский поход!

Река за рекою — кровь течет,
море за морем — кровь течет,
булькает в горле народа кровь,
и в хрипе предсмертном нам слышится вновь
гортанная ярость султановых слов:
«Золотые земли возьмем у врагов,
гурий в гарем, душистый кальян,
удачу в боях, веселье в пирах
каждому турку пошлет аллах...»

Все изменилось за тысячу лет,
султана Османа давно уже нет,
давно уже сгнил в земле Осман.

И только, как тысячу лет назад,
 надтреснуто, хрипло зовет барабан
 в новый поход, в новый поход...
 И только, как тысячу лет назад,
 голодает народ,
 умирает народ...

Детские зубы

У ребенка режутся зубы,
 острые зубы, хорошие зубы...
 Вы понимаете, что это значит?
 Теперь перед ним открывается мир,
 теперь все будет иначе:
 ими надкусит он желтый инжир,
 разгрызет толстокорый орех,
 полакомится шашлыком,
 разжует он торжественно сочный шпинат,
 и вкусит он от солнца, сокрытого в нем,
 и распробует нежное мясо телят...
 Их сгружают на пристани, сотни телячьих годов,
 а из трюмов сверкающей льется струей
 камбала с коралловой скумбрией,
 и все для ребячьих зубов,
 для ребячьих зубов.
 Пекарь хлеб выпекает,
 горячий и пышный,— берите!
 Сладкий рахат-лукум prepares кондитер,
 огородники режут зеленый укроп —
 и все для ребячьих зубов?
 Да,
 если туг у родителей кошелек,
 да,
 если денег у них мешок,
 тогда хорошо.
 Если ж нет,
 то ему не видать шашлыков,
 не едать похрустывающих пирогов,
 и вообще
 он прекрасно бы мог обойтись
 без зубов.

★

ОРХАН ВЕЛИ

Для вас

Разве не все на свете для вас,
 люди, братья мои?
 Разве ночи и дни,
 и белесые бельма луны,
 неба серого холст,
 и краски, что радуют глаз,
 разве не все на свете для вас?

Разве мягкая кожа девичьих рук,
 каблуков почтальона стук,
 и «доброе утро» прохожих,
 и лодки, раскрашенные пестро,
 все, что ново, как жизнь,
 и, как жизнь, старо,
 все, что было и будет,
 что есть сейчас,
 разве не все на свете для вас?
 Разве капли пота на лбу,
 трибуналов военных своры,
 и смертные приговоры,
 и гвозди в стандартном гробу,
 смерть, живущая в сером нелепом свинце,
 и жесткая ясность последней зари,
 и надгробные камни,
 как точки, поставленные в конце,
 разве не все на свете для вас,
 люди, братья мои?

* *
 *

Если я застрелюсь,
 как вы думаете,
 что будет тогда?
 Друзьям моим плечи согнет беда,
 а кумушки будут судачить —
 конечно,
 невеста его далеко не безгрешна, —
 и злобно в усы усмехнется враг...
 Я не буду стреляться.
 Я не дурак.

★

ОКТАЙ РИФАТ

Ответственность

...Пахнут ландыши как на грех,
 в белый цвет одеваются яблоки девственно...
 Я не знаю,
 на что мне такая ответственность,
 чтобы думать о них обо всех!

Тут с рассвета дела...
 Первым делом бегу обеспечить восход.
 Это надо обдуманно, трезво начать:
 если вдруг по каким-то причинам
 задержалось светило,
 можно и голову потерять.
 А ее мне нельзя терять!
 Потому что
 вовремя не просохла роса,

мальчишку ужалила в нос оса,
у девочки расплелась коса,
а там уже что-то случилось с ягненком,
с ним тоже нянчишься, как с ребенком!
Что-то не нравится мне рассвет —
бескрасочный,

белый как мел...

А тут уже коршун погнался за ласточкой.
Недоглядел!

А там уже пахнут
ландыши как на грех,
в белый цвет одеваются яблони девственно..
Ну скажите, зачем мне такая ответственность,
чтобы думать о них обо всех?



МЕЛИХ ДЖЕВДЕТ АНДАЙ

Человек думает...

Посвящается чистильщику, деревьям
и девушке-цыганочке.

Утром я выхожу из дому.
У людей работа, забота...
А я иду посидеть в парке.
Чистильщик смотрит с сомнением
на мои залатанные ботинки...
— Эй, чего ты уставился, друг?
— Может, почистим, агабей? —
Он шутник, видно, чистильщик!
— Ну-ка, катись поживей,
не то шею намылю.— Все же
какая ни есть, а работа
намылить ближнему шею...
На скамейку напротив уселся
безработный, бродяга,
лентяй, видно, невообразимый:
сидит по утрам на скамейке!
Камнем сидит и сидит.
Да добро бы просто сидел.
А то думает. Вишь ты какой!
— Эй, о чем замечтался, приятель?
— Да так, о деревьях думаю,
вот ведь вроде они деревянные,
а весну тоже чувствуют. Здорово!
Вот послушай, гудит под корой.—
Приложил я ухо к стволу:
что ты скажешь, ведь правда гудит!
— Ну гудит,— отвечаю,— гудит,
а тебе-то какая прибыль?

Я не могу привыкнуть...

Вы можете даже надо мной посмеяться,
а я не перестаю удивляться
тому, как чудесен и странен мир.
Я не могу привыкнуть
к человеческим голосам,
и к глазам,
и к слезам,
и к пяти замечательным материкам...
И каждое утро я удивляюсь снова
маленькому чуду
человеческого слова.
Никак не могу привыкнуть к цветам,
к пчелам, к тучам и к воробьям,
я часами гляжу на них,
не испытал ни минуты скуки,
все мне кажется полным значения, вещим...
И даже к такой обыкновенной вещи,
как мои собственные руки,
я не могу привыкнуть.

Перевел с турецкого А. Янов.



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

М. БЕЛКИНА

★

КИЯ-ШАЛТЫРЬ

Шел дождь

Я живу в крайней избушке, у самой реки. Когда ветер толкает избушку в бок, кажется, ей не устоять, она съедет с пригорка и поплывет по реке... Но сейчас в стелу колотит не ветер; это Фомич в сенцах разгребает дрова, ищет, чертыхаясь, завалившуюся рейку.

— Фомич,— спрашиваю я его,— почему вам так нравилось быть старателем? Это что — доходно? Вы много зарабатывали?

— Да кто его знает! — отвечает Фомич.— Доход не велик. Пока ищешь — аванс тянешь, а нашел — как тут устоишь, когда и месяц и два ищешь! Пропьешь все на радостях. И опять аванс тянешь, опять ищешь... Отходня́я она, профессия. Теперь что, теперь драгами моют, а там все запломбировано. В потемки играешь. И не ведаешь, что моешь — песок или золото. Без интереса... А мы как? Мы мускульным трудом добывали. Дорог-то к нам нет, современную технику не доставишь... Тут азарт, значит. Затягивает очень...

Фомич невысок, суховат, суковатый какой-то. Под черной рубахой торчат углы плеч. На острые скулы натянута темная кожа в светлых растрещинках морщин. Брови торчком, и колючий ежик на голове полуседой.

— Понимаешь,— говорит он, переходя на ты, и морщит лоб.— Моешь и все ждешь. Вот сейчас оно тебе отвалит, счастье это... И понимаешь, что счастьем-то настоящему не бывать, а все только так — мелочь идет, и ищешь... все ждешь...

Глаза у Фомича светлые, прозрачные, как вода на реке. Он находит рейку, берет плащ и идет под дождь. Этот дождь не дождь. Это так только — порча настроения. В такой дождь все работают. Фомич останавливается за порогом, натягивает на голову капюшон и вдруг говорит:

— А ты-то не ищешь, не ждешь?.. Вот то-то и оно-то! — усмехается он.— А Юрку чего черти на Кия-Шалтырь мотают? Так уж человек устроен...

Он кивает в сторону реки, где у палатки сидит на корточках Юрка, съезжившись, поставив воротник пиджака, чистит картошку.

— То-то и оно-то,— говорит Фомич.— Только вы не знаете, чего ищете, а я-то знаю. Я такое ишу, чего ни один человек не нашел...— И он хохотнул.— А ну тебя! С тобой только дождь сквозь сито сеять! Меня Лида заругает.

Лида, она не только заведует метеостанцией, она еще и моя хозяйка — хозяйка «избушки на курьих ножках». Она и другая девушка, Маша, гидрогеолог, встретили шестидесятый год на чердаке этой избушки. Ветру вздумалось под самый Новый год сорвать крышу. И девушкам пришлось всю ночь «ставить крышу на якорь», «привязывать ее на местность». Не бежать же им было в клуб, за реку, звать топографов! Пока бегали бы, крышу бы унесло. А так она и сейчас стоит, привязанная, правда, несколько набекрень, но протекает не во всех углах.

Лида может вдруг сорваться и уйти на день, на два в тайгу, положив в рюкзак банку с тушенкой. Это значит, она ушла проверять дальний пост на реке. А на ближнем посту я ее вижу каждый день. Она усядется на жердочку, перекинутую через реку, пряча от дождя тетрадь, а Фомич бродит по реке, мерит — на сколько прибавилось воды, какая у нее, у реки, температура, с какой быстротой она сегодня бежит. А Лида все записывает...

Фомич идет по тропке, раздвигая плащом траву, а трава здесь в рост человека; она такая, говорят, с весны вымахивает за десять дней и потом все лето стоит, и никакие ливни ее не уложат.

Фомич, или Александр Фомич Гедройцев, — единственный из золотоискателей, который остался на Кия-Шалтыре. Здесь когда-то был прииск. Золото выбрали. Прииск закрыли. Все уехали. Только Фомич остался. Он и теперь еще ходит «стараться» — говорят, у него и теперь еще есть в мешочке золотой песок.

Начальник нефелиновой партии, которая разведывает здесь месторождение, сказал мне, что Фомич — человек пропащий, отравлен своей профессией. Ни за что бы он не взял старика на работу: станет тот табель снимать!

Когда закрывали прииск в 1957 году, Фомич поругался с начальством. Он доказывал: нельзя увозить продукты с Кия-Шалтыря, потому что в тайге полно геологов, а их база далеко, доставлять продукты в тайгу трудно и дорого. Лучше передать эти продукты геологам.

«Но уезжало-то Главзолото, а по тайге-то ходила Главгеология!.. — объяснял мне Фомич. — Вот то-то и оно-то...»

У него в хате, в комодe, хранится письмо — он писал в газету «Кузбасс» и получил ответ: «Вы, товарищ Гедройцев, правы, вы по-государственному мыслите...» Но пока письмо шло из тайги с оказией, пока ходило по городу Сталинску, «утрясалось», «согласовывалось» — продукты с Кия-Шалтыря увезли... Ну да это все было давно. Это так — к слову придется, Фомич и вспомнит...

Он дошел до тайги. Тайга тут же, за нашей избушкой, за кустами. Оглянулся и крикнул:

— А золото здесь найдут! Вот увидишь, найдут!.. Прусевич обещался... Этот может...

И исчез в чащобе. А по тропке мимо избушки потянулись в тайгу топографы. И по той стороне реки тоже идут.

— Э-ге-гей! Ты чего вечером не пришел? В преферанс играешь?

— Игра-аю... — несется через реку.

— Врешь! Какая вторая масть?

— Тре-фа-а...

— Это ты в романе вычитал. Приходи, проверим!

Топографы тащат чертежные доски, треноги, рейки, теодолиты. Кому повезло, у кого теодолит в новых невесомых ящиках из металла, а кому достались тяжелые деревянные, с ними еще деды ходили! Это сейчас, с утра, топографы идут бодрые, веселые, а вечером поплетутся мимо нашей избушки, еле вытягивая ноги из грязи. В иной день они вышагивают по пятнадцати, по двадцати километров по топям, продираясь там, где даже и зверь не ходил. Здесь, в тайге, бродят толпы топографов, «привязывают проект на местность», пробивают улицы в тайге. Здесь скоро вырастет город, здесь будут жить тысячи людей...

Топографы — из Красноярска. Геологи — из Сталинска. Здесь пока главные — геологи. Они старожилы. Разведывают месторождение. Но скоро главными станут строители. Они уже прибыли из Горячегогорска. Километрах в двух от нашей избушки над тайгой вьется спиралькой дымок.

— Где тут томские стоят? — кричит радист, увидя меня в дверях избушки. — Не уследишь! Часть их еще где-то в пути застряла...

Я беру у радиста телеграмму и несу ее томским. Они разбили свои палатки внизу, у реки, под пригорком, на котором стоит наша избушка. Их, конечно, никого нет, они в тайге. Только Юрка моет посуду на реке, и над ним вьется тучей мошкá. Здесь, как прекращается дождь, начинает одолевать мошка. Но я теперь знаю: «мошкá» — это не

только мошка; это слепец, пауты, комары, мокрец и всякая прочая нечисть плюс мошка. Но от этих знаний мне не легче. Правда, Юрка неуязвим: он весь вымазался репудином. Собственно говоря, какой же он Юрка? Он давно уже Юрий Александрович, и зовут его Юркой, должно быть, за малый рост. Он очень низенький. И это особенно заметно на карточке, где он снят с женой. Он всем показывает эту фотографию, и над ним подшучивают.

— Да она же тебе рога наставит, пока ты здесь шляешься,— говорят ему.

— Я ее за собой звал, а она ни в какую, как кошка к дому привязана. Так и всю жизнь в хате просидит! Свету в окне не увидит!..

— А чего вы сорвались именно сюда? — спросила я его.

— За приятелем. Интересно было посмотреть, какая она, Сибирь; все пишут — Сибирь, Сибирь, ну и поехал. Приятель в Томск завербовался. А что мне Томск — город! Я в партию определился. Я ведь с финской воевать начал. А потом в Отечественную с Первым Украинским до Берлина дошел... Я-то сам ленинградский. В Дудергофе у меня дом свой, в трехстах метрах от домика Петра Великого. Может, видали — за борчиком? Человека там поселил.

Странный этот Юрий Александрович. У него дом под Ленинградом. У жены дом в Запорожье. А он таскается таборщиком по тайге, толчет вермишель в ступе, печет блины, придумывает всякие блюда из консервов. Он и в войну был поваром. А вообще-то он кондитер и любит рассказывать, какие он пирожные делал в Ленинграде, когда работал там на кондитерской фабрике.

А может, он и не странный? Почему человека должны держать доски и крыша, какой-то один клочок земли? Вся земля его. Захотел — и пошел по земле. Захотел — и сидит на Кня-Шалтыре, чистит картошку, рассказывает, как делают эклеры, и слушает реку...

А река неглубока, неширока, в меру быстрая, в меру шумливая, обычная таежная речушка, прозрачная до дна. На дне камни. Река крутит колеса водоворотов, обтачивает камни, перекачивает их с места на место, пересчитывает... А на том берегу реки — гора, а на том берегу под горой бродит Пеган, расседланный, распатланный, щиплет траву. У него, должно быть, сегодня выходной.

Эту реку хорошо знают геологи. Много их здесь прошло в разные годы, в разное время. Прошел и Прусевич. Он шел по тому берегу реки, ведя на поводу своего черного Пегана. Шагал по самой кромке реки. Тайга прижимала к воде. Иногда входил в реку, поднимал камень, раскалывал его молотком и шел дальше.

Уже не первый год Прусевич бродит по этой тайге. Поднимается на горы, спускается с гор. Район этот трудный для геолога. Здесь нет выхода коренных пород, богатства земли скрыты от глаз — «задернованы». Тайга, трава по пояс, болота... И у Прусевича давно уже выработалась привычка не пропускать ни одной речушки, ни одного ключа. Они сбегают с водоразделов, разливаются, размывают породы, подтачивают скалы, заросшие вековой тайгой, скатывают камни, гальку, мостят ими дно...

Так и дошли они, Прусевич и конь, в тот день, 20 июля 1957 года, душный и паркий день — в тайге всегда парит, — до Безымянного ключа. А ключ этот сбегал с горы, которая тогда не была еще крещена, не имела названия.

Эта гора как раз напротив меня, то есть напротив «избушки на курьих ножках», напротив палатки, где у реки сидит Юрий Александрович и чистит картошку. Гора выросла тайгой по самую макушку...

— Лучком бы разжиться, релчатым, нечем суп заправить! — слышится вдруг рядом голос таборщицы.

Мы с Юрием Александровичем и не заметили, как она оказалась около нас и, войдя в реку, стала мыть сапог о сапог. Она худа «Худа, как палка, черна, как галка» — это сказано именно про нее. Ей, может быть, лет тридцать пять, а может быть, и все сорок пять. У нее жилистая шея, лицо в морщинах, но она словно и не замечает этого: носит короткую юбку, вызывающе-лихо держится с мужчинами и красит большой рот сердечком. Их партия уже срубила себе дома, и она целый день ворочает кастрюлями на плите. Кормит в этой же хате и спит в ней же. И над кроватью у нее висит водянистая фотография, где сняты она и муж, и над ними нарисованы два воркующих голубя. Она

ничего не говорит о муже. «Был у меня муж» — и все. Она часто забегает к нам в избушку, и Лида смотрит на нее неодобрительно.

— Ну и что же, — бросила ей как-то таборщица, пожимая плечами, — а если жизнь поломатая, под откос идет!.. Я ж только с холостыми гуляю, женатых не трогаю.

Но Лида все равно не одобряет. Лида ждет чего-то большого, необычного. Она бродит по тайге, читает толстые книги, а ее сверстницы давно уже замужем, и у них уже дети...

Лука у Юрия Александровича не оказалось. Как этого и следовало ожидать, какой уж тут лук! И таборщица побежала обратно по реке, туда, где мост.

Крылатая руда

Кия-Шалтырь — это горстка домов, брошенных по берегу речки. Дома встали где попало — одни окнами, другие задом к реке. А кругом горы, тайга, крохотный поселок в тайге. И дождь... дождь...

Хозяйка моей избушки Лида каждую ночь заводит будильник, ложится в постель одетая и не гасит свет. Чуть зазвенит будильник — она вскакивает, бежит на метеостанцию, что рядом с избушкой, за белым заборчиком. На улице может лить ливень, выть буря, а Лида все равно зажжет фонарь и будет орудовать приборами за белым заборчиком. Она уверяет, что по всей стране в этот час все метеорологи записывают показания приборов, и это, должно быть, ее вдохновляет. А потом она целые дни выводит длинные столбцы цифр и отправляет свои сводки на Большую Землю, но местную погоду предсказывает по Дедовой горе, и безошибочно.

— Если Дед с утра накрылся — все! Никуда вы сегодня не доберетесь.

А Дед этот как заладил накрываться, так накрывается каждый день! Правда, в то утро, когда я сюда добралась, погода была отличная. На зеленой макушке горы было тогда людно. Для стройки прибыли трубы, какие-то машины. А отправки отсюда дожидались пробы нефелина.

«Нефеле» — по-гречески облако. Облачно-серый камень! Я тогда еще не была знакома с геологом Прусевичем и не знала, что у этого камня жирный блеск, раковистый излом, а на плоскостях выветривания — ноздреватая поверхность. Для меня это был просто серый камень. Груды этих камней лежали навалом, их только что сбросили с саней. Да, с саней, хотя было лето. Но на Кия-Шалтыре такая грязь, что трактор может вытянуть только сани.

— Крылатая руда! — сказал кто-то.

— А Прусевич сейчас здесь? — спросила я.

Мне еще в Красноярске советовали с ним познакомиться.

— У него сломана рука, — ответили мне.

— В наш век открытия делают не отдельные индивидуумы, личности, а коллектив, и писать надо о коллективе, — сказал кто-то, упакованный в противоклещевой комбинезон, весь на молниях.

— Ну, это не всегда так, — ответила я. — И потом коллектив состоит из индивидуумов, личностей, вы ведь тоже индивидуум.

Он почему-то обиделся и отошел. Позже, в конторе внизу, когда я, уходя, закрыла за собой дверь, он сказал: «Надо у нее как следует проверить документы!» В этом он был абсолютно прав. Потом мы с ним еще встречались, но я забыла узнать его фамилию: он был, кажется, из Сталинска и что-то обследовал здесь, в тайге.

Вот и сейчас он куда-то отправился верхом. Говорят, на Растай, где работает отряд геологов. С ним еще двое верхами. Моросит дождь, и крупы лошадей блестят, как лаком покрытые... А я сижу у окна в столовой. Я уже, как завзятый кияшалтырец, научилась, получив алюминиевую тарелку с двумя резиновыми блинами (блины здесь очень ловко пекут на сковороде без капли масла), швырять ее на стол так, чтобы она не слетела на пол, а только проехала по скользкой поверхности до угла и встала. Напротив меня сидит бородач, и я завожу с ним ученый разговор об уртитях, сиенитах, молибдене, титановых рудах. Правда, при ближайшем рассмотрении «бородач» оказывается

сорок первого года рождения и быстро переводит разговор на Москву, на литературные и газетные новости, ибо он как приехал из Томска на практику, так из тайги и не вылезает.

А потом я стою у прилавка в нерешительности, не зная, что взять — шпроты или яблочный компот.

— Ничего, — говорит «бородач», — вам и шпротами можно позабавиться, вам командировочные идут. Нет ли у вас, — это он уже к продавщице обращается, — горохового супа-концентрата, или борща консервированного, или, может, капусты в банках? Овощного чего-нибудь хочется...

— Всем хочется! — И продавщица отпускает ему свиную тушенку, вермишель.

А он, набив банками мешок, идет на крыльцо, где его ждет конь. Он немного позриует передо мной, как перед фотообъективом, и своей бородой, и умением держаться в седле, и тем, что он, по его выражению, отправляется «на передовую» — в тайгу, в отряд.

— Трудяги!... — говорит Фомич, провожая его взглядом, и заходит в лавку.

А я выхожу на дорогу. Ну и развезло же ее! Дождь словно сдельно работает! По дороге с горы несется трактор, волочит сани с глыбами серо-голубого нефелина с Нефелиновой горы на другую гору для отправки. Сани оставляют позади себя черную лыжню. А по дороге туда, где контора — серое дощатое здание, над которым развевается вылинявший розовый флаг, туда, где камералка, — поднимается Прусевич.

Он очень высок. Длинноног, длиннорук. Правый рукав его серого пиджака болтается по ветру. Рука в гипсе, на перевязи. Он недавно в маршруте сломал ключицу. Она, кажется, неправильно срослась, и ее придется ломать. Врачи отпустили его из Сталинска только на два дня. Ему надо было проверить работу геологов. Но чертов Дед — Дедова гора — решил по-своему... Прусевич идет по дороге, придерживая здоровой рукой больную, вытягивая свои длинные ноги в огромных сапожках из грязи, и издали кажется, что он выполняет какое-то сложное физкультурное упражнение.

Его догоняет Вахмянин, техник-геолог, еще совсем молодой парень. У него несколько месяцев тому назад родился сын, княшалтырец. Вахмянин очень похож на своего сына. У него такие же светлые легкие волосы, голубые глаза и пухлые щеки. Теперь Вахмянин и Прусевич уже в четыре ноги проделывают то же самое упражнение, которое непосвященному кажется нелепым, но на самом деле имеет глубокий смысл — не оставить сапоги на дороге.

Вот эти двое людей да еще Фомич и были тогда при рождении, при втором рождении Кия-Шалтыря.

Был 1957 год. Лето. Под вечер Прусевич и Вахмянин въехали на своих конях на Кия-Шалтырь. Поселок был пуст. Еще зимой опустел. Окна в домах заколочены крестнакрест. Забиты двери. Дорога заросла по пояс травой. Все мертво. Только над бывшей конторой приска еще развевается вылинявший флаг. Только одна тропка вьется от реки мимо конторы, через улицу. Ее протоптал Фомич. Он один остался на Кия-Шалтыре. Семья уехала, надо было учить детей. А он остался за сторожа. Он не хотел уходить с Кия-Шалтыря. Он уговаривал геологов — а здесь всегда проходили геологи — искать золото. Он был уверен: здесь должны быть россыпи. Но у геологов было срочное задание — они искали нефелин, сырье для алюминия. Стране нужно много алюминия. Нужно много руды. И геологи искали...

И вот в тот летний вечер Прусевич и Вахмянин въехали на Кия-Шалтырь. Фомича не было дома. Он ушел «стараться». Контора была открыта. Геологи расседлали коней, внесли вещи в контору и разложили посреди улицы костер. Надо было высушиться, они еще утром набрали полные сапоги воды, когда перебирались через реку. Надо было варить ужин. Вахмянин наловил харьюзов. Он не доверил эту работу Прусевичу. Тот может задуматься или увидит вдруг камень, положит удочку и пойдет за ним. Прусевичу пришлось копать червей. Он копал их у реки и правда вдруг обратил внимание на гальку, вошел в воду, вытащил из воды камни и стал их разглядывать, близко поднося к очкам. Он близорук.

— Сиениты! — сказал он удивленно. — А они сообщили, что нефелиновых пород здесь не обнаружено! Я ведь говорил, надо тщательно просматривать гальку!

«Они» — это поисково-съёмочный отряд, который работал на Кия-Шалтыре. По рации в поселок Семеновку, где помещалась, так сказать, штаб-квартира, геологи сообщили, что съёмочные работы закончены, нефелиновых пород не обнаружено и отряд идет дальше. А Прусевич и Вахмянин ехали сюда из Семеновки проверить работу отряда, наметить дальнейшие маршруты и, кстати, выдать зарплату.

Итак, перед конторой, посреди дороги, Прусевич и Вахмянин варили уху. Уху неплохо заправить картошкой, луком, и Прусевич забрался в огород к Фомичу. Потом, после ужина, спустились к реке, потрошили рябчиков, мыли их, чтобы утром не возиться, и, конечно, Прусевич не удержался, вошел в воду и стал рассматривать камни.

— Опять сиениты! — сказал он. — Как бы они и правда чего не пропустили...

А утром он рано поднял Вахмянина.

— Как ты думаешь, Василий Алексеевич, в какой хате они могли сложить образцы? Ведь не потащили же они их на Дедову гору. Надо бы посмотреть.

Вахмянин видел в окно школы (теперь там камералка): на столах навалены камни. Школа была заперта. Прусевич сбил замок и шагнул в класс.

— Руда! — крикнул он. — Они пропустили руду! Да ты только взгляни, Василий Алексеевич, это чистый нефелинит! — И он взял со стола два камня, не похожих на другие. — Они, должно быть, приняла их за диориты. Но где они их нашли?

Геологи заторопились на Дедову гору. По дороге Прусевич выстукивал русло реки — нигде больше не встречались ни сиениты, ни эти новые концентраты нефелина, которые он еще не знал, как назвать. Но когда они дошли до Безымянного ключа, там, в самом устье, он нашел именно те камни.

— Во-от, — протянул он. — Помяни мое слово, Василий Алексеевич, здесь должно быть месторождение... — И поглядел на гору, поросшую по самую макушку тайгой, с которой сбегал ключ Безымянный.

Они не стали задерживаться и пошли дальше, вверх по реке, к Дедовой горе. Но выше нефелинов уже не было. Весь день Прусевич и Вахмянин искали отряд. И только под вечер обнаружили его почти у самой Дедовой лысны по крику петуха. Геологи купили у Фомича петуха и кур и возили их с собой в клетке.

А через несколько дней Прусевич спустился с Дедовой горы один, с Пеганом. Отряд должен был закончить работу на горе и тогда вернуться на Кия-Шалтырь. Вот в тот день, 20 июля 1957 года, Прусевич и Пеган дошли снова до Безымянного ключа. Прусевич оставил коня и стал подниматься на гору прямо по воде, по ключу...

А тем временем в поселок вернулся Фомич. Он тут же заметил не порядок. Были двое, на конях, жгли костер, теребили рябчиков, выкопали у него картошку на огороде, сорвали лук, а главное, сбили замок с дверей школы — этого он уже не мог простить. Он долго возился с замком, пока не приладил его на место, кляня геологов. Ну кто еще, кроме геологов, мог полезть в школу, когда там только камни и есть! Потом, когда стало смеркаться, Фомич пошел на реку за водой. И вдруг увидел — и сразу узнал — Прусевича. Тот бежал по тропке с горы и что-то кричал, размахивая руками. Фомич испугался, не струсилось ли чего. И, бросив ведро, заторопился к нему навстречу.

— Гора! — кричал Прусевич, тиская старика за плечи. — Нефелиновая гора! Здесь богатство почище золота!

— Что же это? — сказал, недоверчиво глядя на него Фомич. — Столько геологов было, столько отрядов прошло, и ничего не нашли, а ты нашел?!

— Нашел... — ответил Прусевич, растерянно улыбаясь. — Нашел! — И развел своими длинными, как жерди, руками.

— Теперь, значит, разведывать гору будете, — говорил Фомич. — А людей чем кормить? Как продукты сюда доставлять? Говорил, не увозите продукты!.. До зимы-то дороги сюда нет... — И, набрав в ведро воды, сказал: — Пошли ужинать.

— Мы у вас с Василием Алексеевичем малость огород обобрали, вы уж не сердчайте!

— Какой там огород! — Фомич махнул рукой. — А золото ты будешь искать? Ведь обещался, — сказал он, останавливаясь.

Прусевич засмеялся.

— Да это же, Александр Фомич, ценнее золота!..

Не каждый человек — человек

Мы идем вдоль реки, карабкаясь на отвалы, спускаясь с них. Здесь мыли когда-то золото, и на берегу реки выросли целые груды камней, песку. Они заросли травой, на них зреет черная смородина.

— Во-от,— говорит Прусевич, растягивая по своей привычке это слово «вот» и скользя по глинистому откосу. Он останавливается, протягивает мне свою здоровую руку.— Осторожно! Можно упасть. Вот, значит,— продолжает он,— мы с вами идем по алюминию. И в глине, обыкновенной глине, содержится — правда, в незначительном количестве — алюминий...

Обычно мы с Прусевичем встречаемся по вечерам после работы в домике радиста, где он живет. И я уже знаю, что алюминий — по распространению среди всех элементов в земной коре — стоит на третьем месте. А из металлов — на первом. Но в чистом виде, как металл, алюминий не встречается. Он всегда в соединении с кислородом — глинозем. Он есть даже в рубинах, в сапфирах. Но не из этих драгоценных камней добывают алюминий. Добывают его из других минералов, из более дешевых и доступных — бокситов, например, и нефелина.

Раньше алюминий добывали у нас в стране только из бокситов, как и во всем мире. Но советские специалисты разработали технологию добычи алюминия из нефелиновой руды. И впервые в мире на наших заводах стали получать алюминий из нефелина...

Рассказывают, когда с туристской группой к нам приехал один из крупнейших алюминиевых магнатов Америки (даже сенатор, кажется), он попросил показать ему Волховский завод, а там попросил прежде всего, чтобы его отвели на склад руды. И когда открыли огромные ворота склада, он молча взглянул, сел в машину и уехал. Больше его уже ничего не интересовало. Он не верил, что мы получаем алюминий не из бокситов, а тут убедился воочию. Бокситы — красные, а склад был забит дымчато-серыми камнями.

— Учтите,— говорит Прусевич, останавливаясь и показывая на Нефелиновую гору, которая на той стороне реки осталась чуть позади нас,— эта гора вся целиком уйдет в производство! Из глинозема будет алюминий, а из отходов — цемент самых высоких марок. Затем сода и поташ...

Мы наконец выбрались на тропку и идем в тайгу навестить строителей, которые прибыли сюда, в тайгу. Идем по пояс в траве, конечно, мокрой; и Дедова гора, которая маячит впереди, конечно, накрыта тучами; и над нами тучи; и мы идем в неуклюжих тяжелых плащах, которые, впрочем, даже и от легкого дождя намокают. Здесь в таких плащах ходят все, и я в Лидином запасном. Почему их здесь носят, я поняла: сначала все-таки намокает плащ, потом кофта или пиджак, но почему их сюда присылают как спецодежду, как защиту от дождя — этого я не поняла!

— Важно ведь не только найти,— говорит Прусевич, идя впереди меня по тропке и загораживая своей широкой спиной Дедову гору.— Важно вовремя найти. Нашел — и сразу в производство!.. Тогда интересно!

Скоро на Енисее и на Ангаре заработают самые мощные в мире гидроэлектростанции. И наша алюминиевая промышленность меняет географию: Иркутская область, Красноярский край. Уже к 1965 году там будут крупнейшие центры алюминиевой промышленности.

— Ну вот,— сказал Прусевич,— вот мы и дошли.

Вокруг валялись срубленные топором деревья. Колья врыты в землю, и на свежих смолистых срезах чернильным карандашом написано: «Осторожно, ось!» Из тонких сосенок сделаны какие-то загородки, и посреди них еще торчат деревья, кусты. Я читаю на срезах: «овошехранилище», «магазин». А вот и целая улица этих загоронок. Одна за другой они вытянулись в линии: «детские ясли», «общезитие № 1», «общезитие № 2», «шестнадцатиквартирный дом»...

— Дома будут двухэтажные, трехэтажные,— говорит Прусевич.— В домах будет паровое отопление, канализация, водопровод, ванная... Тайга — и все удобства! Мы уже перестали удивляться...

Но тут на нас обрушивается стена дождя. Мы с Прусевичем бросаемся к палатке, которая белеет среди зелени.

— Входите смелее! — раздается голос. — Выбирайте любую дырку, под которой меньше течет!

Мы перешагиваем через порог. Правда, я не вполне уверена, есть ли у палатки порог. Палатка белая, парусиновая, вся наполненная каким-то матово-белым светом. Это, должно быть, оттого, что за ее стенами от земли поднялся такой густой белый туман, что его можно ложками набирать. Даже струи дождя, падающие сквозь дыры на ржавые скелеты кроватей, — молочно-белые.

— Садитесь. Будьте как дома, — произносит тот же человек.

В углу, на кровати, сгрудились люди. Навалены вещи, матрацы, и на матрацах наверху лежит парень и пускает кольца дыма.

— Так начиналась одна из строек коммунизма! — произносит он, как диктор по радио.

— Брось демагогию разводить, — прерывает его человек, который приглашал нас войти. Он сидит на кровати и курит. — А вот то, что нас снаряжали не хуже капитана Татаринова, — это верно...

Он, должно быть, плотник. Почему-то на стройках самые начитанные люди мне попадаются среди плотников. Я не ошиблась — он действительно оказался бригадиром плотницкой бригады.

Они, двадцать четыре человека, пробивались на тракторах через тайгу. Трое суток не могли одолеть шестьдесят километров. Грязь выше колена, крутые подъемы, спуски с гор. Валили тайгу, стлали хвою под гусеницы.

За трие суток спали каких-то несколько часов. Один трактор вытянут, другой увязнет. А тут еще дождь, круглые сутки дождь. Добрались наконец-то до места. Думали, сейчас разобьют палатки, поставят печь, обсушатся. Но палатки оказались съеденными мышами, прогнили. Две железные печки есть, а труб дали мало. Поставили печку на печку — труб все равно не хватает...

— И продукты уже заплесневели. Вторая палатка тоже течет. На двадцать четыре человека — восемь одеял, матрацами накрываемся!

За свою жизнь я побывала не на одной стройке и не раз оказывалась в гостях у первостроителей. При мне на целине под Атбасаром вырос целый город палаток, там было тысяча строителей, и всем хватило раскладушек, матрацев, одеял, и даже белье выдавал молодой комендант будущего совхоза. И в Янги-Ере я жила у первостроителей, и в Находке... А здесь двадцать четыре человека!

Я покосилась на Прусевича. Он устался на лужу, в которой стояли его сапоги, и жевал папиросу. Он даже не выбрал места, где меньше течет, сидел под самой дыркой на железной кровати, и с капюшона его стекала вода. Нас выручил Фомич. Он быстро вошел в палатку и с ходу стал говорить:

— Эта погода что... Это ничего. Это просто лето такое. Еще дня два, и все. Это точно, у меня примета есть... Где брать песок и гравий, я бульдозеристу показал.

— Таким вот путем... — сказал парень, спрыгивая с матрацев и бросая окурки в лужу. — А ну, братцы, за дело, пока опять не начало лить.

Дождь как начался внезапно, так же внезапно и прекратился.

— Жаловаться ни к чему, — сказал бригадир, когда мы вышли из палатки. — Тут бы выразиться!.. — И он всадил топор в дерево. — Как говорится, на нет и спроса нет. Знали, на трудности едем. А зачем же еще добавлять? Три-то цельные палатки на складе остались... И все можно было подготовить. Сколько уже месяцев разговоры разговаривали — пора начинать стройку. А тут галочку, что ли, надо было срочно поставить — строители, мол, выехали. Вызвали, кто добровольно хочет ехать начинать стройку, — это в четыре часа дня было. Вечером, уже в темноте, со склада все выдали, а с рассветом и отправили. — Он поплевал на ладони и вытащил топор. — Это же политика, понимать надо, — продолжал он. — Мы ведь сюда чуть не с красным флагом ехали. Мы его в радиатор не воткнули только потому, что боялись замарать в грязи. А тут первый столб врыли в землю, сфотографировались. Как-никак — первостроители!..

Политически мы все подкованные, знаем — Никита Сергеевич сказал: в этой семилетке производство алюминия должно увеличиться примерно в три раза! За нами дело не станет, это уж точно. Вот только, если Боровских и дальше так организовывать будет...

И, хекнув, он стал подрубать дерево. Он был плотный, коренастый, а брезентовая куртка делала его почти квадратным.

— А разве механической пилы у вас нет? — спросил Прусевич.

— Дали «Дружбу» да к ней два литра бензина. Не разгуляешься...

Обратно мы шли той же тропкой и молчали. Только чавкала грязь под сапогами. Фомич шагал сбоку по дороге, и над травой виднелась его голова, непокрытая, с ключим ежиком волос.

— Во-от,— сказал Прусевич,— неловко-то как получилось.

— Беда,— произнес Фомич.— Не каждый человек — человек, вот в чем беда!

А я шла и старалась вспомнить одну недавнюю встречу: какой же он был, этот Боровских? Я с ним разговаривала очень недолго — это было в субботу, к концу рабочего дня. До Кия-Шалтыря я ведь добралась не сразу. Пришлось дожидаться оказии в Горячегорске. Успела заскочить в контору и расспрашивала человека по фамилии Боровских о строительстве...

Так какой же он был, этот Боровских? А не все ли равно какой: худой или толстый, облысевший или с кэпной волос? Он сидел в кресле за столом и повествовал о том, что на строительство Кия-Шалтыря отпущены миллионные средства, что строительство это срочное, ответственное. И что первый шаг уже сделан. Первую партию строителей он уже отправил на Кия-Шалтырь. Он так и сказал: «Я отправил». Он рассказал, какие он дал тракторы, тележку оборудовал (и три новые палатки упомянул) и что снабдил экспедицию всем необходимым. Он так и говорил: «Я снабдил экспедицию»...

Гора, что напротив „избушки на курьих ножках“

Что оттуда видно, с высоты этой горы? Во все стороны видно — и на юг, и на север, и на восток, и на запад — горы! Одни по-хозяйски разлеглись, лохматые, вытянув лапы, как звери. Другие уставились в небо колючими, острыми зубьями, одинокие, дикие. Есть лысые, округлые, отутюженные ветрами... А вон там просто накидана груда камней. А на той вон горе в морщинах застрял еще снег. А вон там, в самой макушки, ледяное озеро, как осколок зеркала, ловит солнечный луч. Горы, пока видит глаз. Горы, тайга!.. И над ними ясное небо. Ведь все-таки лето. Правда, оно прячется где-то за горами и, говорят, обслуживает в этом году только Москву.

— Лохматая гора, Дедова гора,— показывает Прусевич.— А там Растай, вот там, за горами...

Растая не видно, но я знаю: там, на Растае, отряд геологов. Там так же льют ливни, жрет мошка, там та же тушенка, та же вермишель... Там начальником отряда — Александр Гончаренко. Я его не видела, мы с ним не знакомы. Но я знакома с его женой — это Тоня, фельдшерка с Кия-Шалтыря.

Я как-то сидела у Тони, в ее белой крохотной приемной, и сама она была белая, прозрачно-бледная, в белом халатике. Вошел парень, и с его мокрого плаща сразу натекла лужа.

— Нам бы риванолу и бинт. Серый сбился.— И добавил: — Тебе Саша велел кланяться, написать не успел.

Тоня вспыхнула, и глаза у нее засветились, словно в них включили лампочки.

— Как он там?

— Порядок...— протянул парень, теребя в руках кнут.

Я хотела уйти, не мешать разговору, но Тоня грустно сказала:

— От него все равно ничего не добьешься, он только и знает «порядок»...

Они часто в разлуке — Гончаренко и Тоня. Они не видятся месяцами. И разве голько какой-нибудь вот такой «Порядок» передаст привет или записку... Тоня мне

рассказала, что Гончаренко учится заочно. Он техник-геолог, хочет стать инженером. Учиться и работать трудно. Учиться и быть геологом здесь, в этих краях,— почти подвиг! Сюда никогда не приходят вовремя программы, нужные пособия. Достать книгу, учебник — целая проблема. А он учится! И переходит с курса на курс. Даже в тяжелые маршруты, когда выбрасывают из рюкзаков все лишнее и берут только необходимые продукты, и тогда Гончаренко не забудет захватить с собой книги. Он использует каждую свободную минуту — у костра, в палатке при свечах, в ливень, когда нельзя работать. Он уже на третьем курсе...

А вон передо мной гора. Я знаю, там Прусевич сломал себе руку. Гора лысая. Выше 1 100 метров над уровнем моря начинается безлесная зона, как он объяснял мне. Гольцы. Хаос каменных глыб. Вот по этим глыбам и перешагивал с одной на другую Прусевич, ведя на поводу коня. Шел дождь. Было скользко, да и глыбы не все лежали прочно на земле — одна качнулась. Он поскользнулся и упал. Хорошо, что сломал только ключицу. Ему повезло... В первый момент он даже и не понял, что произошло, и сгоряча прошел еще метров триста, когда вдруг почувствовал боль. Но все равно надо было спускаться в долину. Нельзя на ночь оставаться на крутом склоне.

Добраться до Кия-Шалтыря он не мог. Пришлось вызывать вертолет. Его ждали три дня. А когда вертолет прилетел, надо было подниматься наверх, на макушку Таскыла, по крутой тропке, через валежины, по гольцам, а малейшее движение причиняло острую боль.

Я гляжу на цепи гор, на долины, ущелья — и знаю, там проходили геологи, там проходили Прусевич, Вахмянин, Гончаренко, там проходили те, с кем я познакомилась в тайге и с кем не познакомилась. Там взбунтовавшиеся реки отрезали отряд от базы, и люди остались без продуктов, и даже спички намокли, и нельзя было обсушиться у костра. Там разбился карбас с продуктами, разлетелся в щепы, ударившись о скалу. Там лошади завязли в трясине. Там семь суток сидели в палатках под проливным дождем, и нося нельзя было высунуть...

Там, по долинам, по горам, в любое время года, в любую погоду движется с места на место бродячее племя геологов. И зимой они не уходят в города из этой Мартайги, Мариинской тайги. Летом они ищут, зимой разведывают месторождения. А зимы здесь лютые — бураны, метели. Здесь как-то из отряда с горы спускался в долину рабочий — таежник, охотник; он решил — успеет дойти до метели. Не дошел... Потом, как ни искали его самолетом, на лыжах — не нашли! Замело человека, и все...

Здесь снегу наваливает три-четыре метра высотой. А в ложбинах — и все шесть. Здесь по тайге можно пройти только на гамузных лыжах. Они короткие, широкне, их подбивают мехом с жестким ворсом. Ворс тормозит, не дает съехать назад, когда взбираешься на крутизну.

Где это было — на какой горе? Впрочем, это случалось не раз, когда нужно было срочно доставить продовольствие в отряд. А отряд здесь часто стоит в таком месте, что и с вертолета не сбросишь. И тогда Качкин — есть тут такой медвежатник, он же по совместительству горный проходчик — впрягается в нарты, нагрузив их с горбом, и несется с горы на гору, тормозя на ходу длинными оглоблями, чтобы нарты его сзади не подшибли. Тропы узкие, горы крутые, на пути валежины, гольцы, лесины...

Здесь, в тайге, живут семьями, пока детей не надо учить, а тогда семьи переезжают в поселки, потом перебираются в города. Здесь находят друг друга, женятся, рождаются дети. Здесь три года тому назад прямо с неба спустили Тоню, фельдшерицу, совсем еще девочку. Наверно, тогда у нее и застыли глаза в удивлении и испуге. Она должна была отвечать за жизнь людей! Тот подорвался, взрывая шурф, того укусил энцефалитный клещ, тот сломал ногу, тот отморозил пальцы. У кого-то тяжелые роды. У кого-то камни в почках. А она одна. И не с кем посоветоваться, некому сказать, что ей страшно, нельзя подрывать авторитет! Но так, видно, и учатся плавать! Теперь все идут к Тоне за советом, ей верят. И она в себя верит! И потом... она нашла здесь своего Гончаренко или он ее нашел...

А Прусевичу пришлось здесь быть сватом. Вдруг загрустил Цыкунов — рабочий, горный проходчик. Влюбился в таежную Октябрину. Вокруг на сотни километров ни живой души, а он отыскал себе невесту. На брошенном приiske жил один чудак, вроде Фомича, с семьей. Он забрал себе в голову, что в тайге жених — только геолог! Рабочий не жених! И пришлось Прусевичу взять «НЗ» — запасные поллитра — и отправиться сватать... А года через два Цыкунов прослышал, что Прусевич ходит с отрядом по Растаю, — в тайге тоже есть свой телеграф. Цыкунов взял сына, жену и пошел на Растай. Там родилась у них дочь. Потом всей семьей они переехали на Кия-Шалтырь, и я с ними познакомилась у Прусевича.

Прусевича все знают в тайге. Да как и не знать, когда уже сколько лет он зимой и летом в тайге! И где бы он ни был, на какие бы горы он ни поднимался, по каким бы рекам он ни бродил — каждый месяц он обязательно должен прибыть с отчетом в город Сталинск, в Западносибирское геологическое управление. Он главный геолог нефелиновой партии.

Идет мокрый снег, оледенела тропа, уже сумерки, он плохо видит сквозь мокрые, запотевшие очки, но Пеган вывезет, Пеган знает дорогу. Вдруг Пеган поскользнулся, упал и придавил седока к валежине. У седока треснуло ребро. Он с трудом выбрался из-под коня. Поднял его — и дальше в путь... А вот он съезжает с крутизны на лыжах, этот длинный и не очень-то спортивный человек! Зацепился за что-то и ныряет головой в снег. Лыжи намертво воткнулись и приковали его. Он не может ни повернуться, ни встать и задыхается в снежном колодце! Но по тайге человеку не положено ходить одному. С ним был Качкин. Он давно уже съехал, а Прусевича нет. Он вернулся, разыскал, откопал — и дальше в путь.

— Вам, конечно, смешно! — сказал мне Прусевич, описывая это происшествие. — Но вы просили вспомнить какие-нибудь эпизоды, а ведь в общем-то день на день очень похож!

Да нет, мне совсем не смешно. Мне доводилось в Москве слушать рассказы геологов, вернувшихся из летних экспедиций, в их московских квартирах, где паровое отопление, где газ, телевизор, где за темными окнами рассыпается огнями обеснеженная Москва. Сколько увлекательных, романтических историй!.. Но, быть может, впервые здесь, на Кия-Шалтыре, я поняла, что романтика уступает место суровым будням, тяжелому физическому труду. Изо дня в день недосыпать, недоесть, жить всегда на тычке, необогретым, необученным, всегда «на передовой», под обстрелом стихии — ливня, бури, вьюги... Сколько надо иметь терпения, упорства, воли, чтобы на карте, где коричневой краской мажут горы, а зеленой — тайгу, появились красные, желтые, лиловые, оранжевые мазки: железо, нефелин, молибден, ильменит, циркон, торий, титаномагнетиты...

— Вы только одно поймите, — словно продолжая мою мысль, говорит Прусевич, когда мы стоим с ним на горе, — ведь Кузнецкий Алатау — это Урал! Наш сибирский Урал, еще не открытый, не разведанный до конца!.. Вы представляете, — и он разводит своей здоровой рукой, — здесь будут всюду города, рудники, шахты и заводы, заводы, всюду заводы! Здесь жизнь будет бить ключом!

— Когда это еще!

— Через несколько семилеток!

— Нас тогда уже не будет...

— Но мы ведь были... — говорит Прусевич.

Я поворачиваюсь и вдруг понимаю, что передо мной счастливый человек. Не так уже часто удается взглянуть счастью в лицо. А этот человек в сером потрепанном пиджаке, с рукой в гипсе, обросший медной щетиной, с потным лицом, на котором раздавлена мошка или какая-то другая нечисть, в нелепо маленьких школьных очках — счастлив! Он стоит на хребте открытой им нефелиновой горы. Он мне кажется почти великаном, этот человек. Он и так длинен, а тут он еще стоит выше меня и глядит куда-то в пространство, где горы, долины, реки, по которым он ходил и искал, по которым он еще будет ходить и искать... Стоит и улыбается. И улыбка у него какая-то просветленная, легкая... Но, впрочем, я не берусь описывать выражение его лица. Мне это даже кажется неловким. словно я ненароком подглядела что-то только ему одному

доступное и ведомое. И я подумала: а в чем же, собственно говоря, суть счастья — уметь искать или уметь находить? Ведь найдя, начинаешь вновь искать...

— Вот,— говорит Прусевич,— я здесь уже целый месяц не был и знаю все наизусть, а тянет.

— А тогда, когда вы в первый раз здесь очутились, вы понимали, что вы счастливый человек, что вам повезло найти такое?

— Как вам сказать... Главное ощущение было — растерянность. Куда бы я ни тыкался — и по хребту и по ключу,— всюду находил нефелин. Я сам себе уже не верил, растерялся. И больше всего мне хотелось, больше всего хотелось, чтобы кто-то был рядом, кому можно было крикнуть: «Ты видишь?»... Во-от,— продолжает он, срывая травинку и надкусывая ее.— Когда вы узнали, как была найдена гора, вы даже поскучнели. Да нет, вы не протестуйте, я ведь правду говорю. Я все заметил. И я все отлично понимаю. Вы тогда подумали, а о чем вы будете писать! Никакого «неотправленного письма» не было! Все так неинтересно! Человек шел и нашел. И главное, ничего героического! И даже руку сломал не тогда, а спустя три года и даже в другом месте...— Он глядит на меня сверху вниз своими серыми, чуть грустными глазами.— Человек шел и нашел... так просто, так легко... А я ведь всю жизнь искал...

К нам на хребет поднимался Вахмянин размеренной походкой, помахивая длинным молотком.

— Что значит молодость! — сказал Прусевич.— Поднялся и даже не запыхался.

— А вы что, в сорок лет уже в старики записались?

— Ну нет, я еще похожу! Я отсюда, между прочим, никуда не уйду... Смотрите, бурундучок. Вы видели когда-нибудь бурундуков?.. А это валежина,— объяснял он мне, когда мы спускались на карьер, где нас ждал трактор,— это кедрчак, а это пихта...

Объяснял, как школьнице на экскурсии. Мне хотелось ему сказать, что его Мартайга — однообразная, скучная тайга. Что вот дальневосточная, в Приморье,— там тайга! Там лианы, дикий виноград, тис, ильмы, та же пихта, кедры, клены пяти сортов, там на каждом шагу чудо, открытие! Но я промолчала — это была его тайга! И потом, хотя он и шел рядом, но по лицу его все еще блуждала какая-то отсутствующая улыбка, он был, видно, все еще там, на недоступных для меня высотах.

— Через год здесь уже не будет тайги,— говорил он.— Все срежут, оголят гору, взорвут! Экскаваторы будут черпать руду, накладывать в самосвалы, а самосвалы повезут ее на дробильную фабрику.

Гора и сейчас уже вся изрыта канавами, шурфами. Водопроводные трубы опутали ее, и из стыков бьют бойкие фонтанчики. Без воды нельзя бурить, и сюда тянули воду с реки по снегу, проваливаясь с головой. Рубили на горе избы, подтягивали тракторами машины, и первые буровые вышки начинали свою работу. Из промерзшей каменной горы вынимали первые керны и отправляли их на Большую Землю. Месторождение разведывалось срочно, срочно подсчитывались ресурсы. И сейчас, собственно говоря, работа уже закончена, и гору передают строителям.

Там, где стояли раньше буровые вышки, остались плечи — лес-вырублен, валялись бревна, трубы, куски железа, скважины были забиты деревянными втулками. К буровым вела дорога зимняя — ее мостили бревнами, иначе трактор тонул в снегу. Рядом, просекой, шла летняя — тут трактор тонул в грязи. Куда ни кинешь взгляд, всюду поваленные, искромсанные деревья.

— Как танки прошли! — сказала я.

Но Прусевич не был на войне. Его не пустили. Его уже тогда прямо из института послали искать. Нужно было сырье для военной промышленности. Он искал и находил. Потом была нужна руда для послевоенных пятилеток, и опять он искал. Теперь нужна руда для семилетки...

На карьере пыхтел трактор. Сани уже полны нефелина. И мы пускаемся в обратный путь. Тракторист торопится. Он должен выполнить норму, а засветло тут только две ездки и сделаешь. Он несется, подминая пни, кроша поваленные деревья, ныряя в болота, или забирается напрямик в тайгу, валит со скрежетом и треском деревья и несется по такой крутизне вниз, что кажется, не усидишь на тракторе и полетишь к чертовой бабушке под откос. Я с опаской поглядываю на Прусевича, который сидит по

другую сторону от тракториста, боком, держась здоровой рукой за спинку, весь напряжись, стараясь, видно, ослабить толчки.

Я пожалела, что втавила его в это путешествие. Я просила Вахмянина взять меня с собой на гору, когда он пойдет. А Прусевич услышал и захотел обязательно подняться с нами, как мы его ни отговаривали. Пешком по грязи было трудно тащиться.

— Мы поднимемся на лошадях,— сказал Прусевич, но, взглянув на мою узкую юбку, с укоризной добавил: — Ну кто же в таком виде ездит в тайгу?

И тогда возникла идея поехать на тракторе, который шел мимо... Наконец с горой покончено. Мы протарахтели по поселку и лихо затормозили у конторы.

— Ну как? — сказал тракторист.— Как вам наше кия-шалтырское такси?

Прусевич держался за большую руку. И все-таки он, видно, был доволен. Когда-то он теперь еще попадет на гору! Его в Сталинске ждала больница.

Уртиты, сиениты...

— Пресса! — кричал Миша, раздирая на себе тельняшку.— Я тебя вижу насквозь! Ты меня в вытрезвитель пошлешь, а потом опишешь! А ты меня пьяным описывай, не бойся, я тебе разрешаю... А почему я пью? Я пять лет на флоте отслужил и — ни-ни... Я, может, культурно развлекаться хочу... А тут — кияшалтырщина! — Его уведут спать, но он вырывается и кричит: — Ты меня лаком не покрывай. Я всю неделю шурфы рою, ты грунт здесь видала? Вот поеду на Большую Землю, женюсь — и точка...

Воскресенье. Те, кто с семьями, им некогда, они ушли с утра в тайгу заготавливать дрова. Здесь зима долгая, лютая. Здесь все лето заготавливают дрова. И рядом с хатами вырастают штабеля дров, и за баррикадами и хат не видать. А кто холост, кто приехал на время — пять звездочек коньяк! Сегодня придрались к случаю, провожают нас с Лидой. Лида уже в отпуску, а уехать никак не может. В нашей избушке перебивали чуть ли не все топографы, которые работают на Кия-Шалтыре. Вот и выпал мне случай со всеми перезнакомиться. Но стоит мне только с кем заговорить, как меня тут же отзывает в сторону тоже топограф, их товарищ.

— Вы собираетесь отметить вот этого? Согласуйте в Красноярске. А тот, с кем вы говорили перед этим, делает ошибки в плане и бросил жену...

И взгляд у него небесно ясный и улыбка, как у мальчишки-фискала, хотя по возрасту он, может быть, и дед.

— А что важнее: что он делает ошибки в плане или то, что он бросил жену?

— И то и другое достаточно важно.

— В планах я не разбираюсь, а то, что он ушел от жены, это еще ничего не говорит.

— То есть как это? Вы что-то говорите не то...

Он, кажется, мною недоволен и отходит, и я тоже им не очень довольна...

Разных людей я встретила на Кия-Шалтыре. Всяких людей.

В нашей избушке все собираются в клуб: чистятся, вертятся перед зеркалом и табунком спускаются к речке, где по камням чище пройти. Маша-гидрогеолог даже на высоких каблуках. Ее поддерживает буровой мастер с Нефелиновой горы. А Лида, та и на танцы может явиться в сапогах, ей все равно.

И из палаток, где томские, тоже идут в клуб. Только Юрка — Юрий Александрович — останется сторожить, будет сидеть у реки... А в клубе будут кружиться под одни и те же пластинки, будут листать старые «Огоньки». И только таборщица — та самая, худая и черная, — будет делать вид, что ей всех всеселее, будет кружить девушку-киномеханика (картины здесь не показывают месяцами). Таборщица не ждет, чтобы ее пригласили, хотя мужчин много, женщин мало, а может, она и не надеется... В тесных сенцах будут топтаться курильщики. Там темно, лиц не видно, только белые пятна вместо лиц, только красные огоньки папирос.

Но не всегда здесь лишь крутят стертые пластинки и шаркают ногами по неоструганным половицам. Здесь, бывает, засиживаются в клубе допоздна — идет разговор,

например, о реактивных двигателях, о проблемах современной физики или спорят об абстрактном искусстве. Кто-то из геологов приехал из Москвы, был там на выставках, привез открытки, журналы. Это Тоня и кия-шалтырские комсомолцы устраивают такие вечера...

На Кия-Шалтыре не горят фонари, и в жирных лужах на дороге тонут светлые прямоугольники окон. В избах тесно, в избах много жильцов. Где топографы играют в преферанс, где читают. На Кия-Шалтыре всюду в избах брошены книги, кто-то оставил Ремарка, Бунина, Сарояна. Топографы, геологи любят читать. Где-то тянут «Соловья-соловушку». У Фомича за столом старичок топограф в черных нарукавниках, аккуратный, маленький, крутит ручку арифмометра, все что-то считает. Ему уже за шестьдесят, он на пенсии, но приехал сюда подработать, два месяца по закону он может получать зарплату. Но он не «уложился», не окончил работу и остался на третий бесплатно.

— В фонд Кия-Шалтыря работаю, — сказал он мне, мечтательно глядя в потолок. — Приятно, знаете ли, почувствовать себя снова в седле... Я ведь и на Магнитке был, когда там еще было пусто...

— Это называется, по-вашему, восемь часов? — говорит Прусевич, показывая мне на часы.

Каждый вечер я прихожу к Прусевичу. Мы подружились. И даже маленькая Наташка, дочь радиста, которой нет еще двух лет, ждет меня и не ложится спать. И каждый вечер я опаздываю. Но я становлюсь своей на Кия-Шалтыре. Меня можно остановить посреди дороги и начать разговор.

— Почему обидели нашу Тоню? Как это так можно — взять и обидеть человека? Тоня хорошо работала, мы были ею довольны. И вдруг пришла бумага из райздравотдела — назначается новая заведующая фельдшерским пунктом. Ну, если бы прислали опытную, старую фельдшерицу, тогда еще понятно, а то приехала девчонка, у которой опыта меньше, чем у Тони. Мы собрали комсомольское собрание, послали протокол в район. Но прошло уже столько времени, а ответа нет. А ведь тут не подъедешь в район на автобусе, не позвонишь по телефону! Разве можно, чтобы человек ходил с обидой в сердце! Разве Тоня виновата, что, пока она отсутствовала, сгорел медпункт? Там и ее личные вещи тоже сгорели...

Или стоит у забора топограф, дымит папиросой, считает звезды в небе и говорит:

— В удивительное все-таки время мы живем! Посмотришь на небо — звезды как звезды... А спутник вы видели? Он чуть краснее звезд, медновагого такого отлива. Я тогда дорогу прокладывал Абакан — Тайшет!..

Так постоишь у одного забора, у другого — и опоздаешь.

— На чем мы вчера остановились? — говорит Прусевич.

Карты, папки уже на столе.

— Что вы сделали с Александром Матвеевичем? Он опять всю ночь писал, — перебивает его радист.

Прусевич протягивает мне исписанные карандашом листки.

— Это вам еще одна справка, может пригодиться...

У меня уже собралась целая энциклопедия по Кия-Шалтырю: климат, животный мир, растительный мир, полезные ископаемые и прочее и прочее.

Прусевич плохо спит — у него болит рука. Но я боюсь, как бы не было хуже оттого, что он пишет, и поэтому не очень-то деликатно заявляю, что мне уже все известно. И я даже знаю больше его. Он пишет: здесь водится белка. Но она ушла. Ее обижает соболь. Развели соболей, а они задирают белку. В реку выпустили нутрию. Она так ловко охотится за утками, что на камнях остаются только лапки. Утки уже здесь не садятся, перелетают. Медведь ушел. Человек приходит — зверь уходит...

— Откуда вы это знаете?

— От Фомича.

— Значит, вам не нужна моя писанина? — И Прусевич хочет забрать бумаги.

— Да нет, конечно, нужна. Но вы еще наделаете что-нибудь с рукой...

— Она и так болит. А тут хоть занятие. Я подушку под локоть подкладываю и карандашом... Только вы ничего не разберете...

Я читаю вслух последний листок: «1) Основанием для постановки работ нефелиновой партии служили благоприятные геологические предпосылки района на выявление нефелиновых пород в связи с широко развитым здесь щелочным интрузивным комплексом. 2) Актуальность работ определялась необходимостью создания в Сибири местной минерально-сырьевой базы алюминиевых руд в связи с намеченным в семилетнем плане развитием на территории Восточной и Западной Сибири крупной алюминиевой промышленности».

— На этом мы вчера и остановились,— говорю я.

— Вот-вот,— обрадовался Прусевич, что может сесть на своего конька.— Кроме того... Кроме того, значит, мы располагали сведениями, что в тысяча девятьсот двенадцатом году в районе Дедовой горы были обнаружены сиениты-дайки, то есть небольшие жилы, которые промышленного значения не имеют. На самом Кия-Шалтыре — мне рассказывал Михайлов, главный геолог бывшего золотого прииска,— он встречал сиениты. Сиениты мы и искали...

Сиениты, уртиты, ийолиты... Прусевич сидит на кровати и жует папиросу. Когда от мундштука останется сплюснутый комочек, он идет на кухню, выбрасывает окурочок. Зажигает новую папиросу и начинает ее жевать... Уртиты, сиениты... Вокруг него по кровати прыгает Наташа, и он заботливо и нежно оберегает ее здоровой рукой, чтобы она не свалилась на пол. У него и у самого есть сын чуть побольше. Но сын растет без отца в Сталинске, впрочем, как и старший, которому уже восемнадцать лет. Прусевич дома редкий и недолгий гость...

Дом... Все люди разные, но все же в чем-то похожие! Он как-то сказал мне между прочим: «Конечно, хорошо приходит каждый вечер домой... и в кино хорошо пойти. и в театр... но не будем углубляться...» Не будем... Так он мне ничего и не рассказал о себе. Сын слесаря, осмотрщика вагонов со станции Татарская, окончил Политехнический институт в Томске, геологоразведочное отделение, и стал искать... Найдет и снова ищет... Нашел кия-шалтырский нефелин, а месяца через два открыл на горе Лохматой нефелины...

Палатка, изба на каком-нибудь брошенном прииске, камералка на Кия-Шалтыре. Он там на ночь ставил раскладушку и спал, пока его не забрал к себе в дом радист Роман Васильевич.

Прусевич на редкость нетребователен. Мне кажется, ему все равно, где спать, что есть, промокли сапоги или нет... А может, и не все равно? Я, в общем-то, так мало знаю о нем. Но, впрочем, даже когда и хорошо знаешь человека, так трудно писать о нем, сделать его живым на бумаге. И потом как ни стараешься быть объективным, а все равно опишешь его увиденным по-своему. А это твое «увидение» редко совпадает с тем, каким видит себя человек сам, каким видят его окружающие...

— Ну вот,— раздался голос Прусевича,— вы и загрустили! Не буду я больше говорить об уртитах. Я и забыл, что обещал не говорить. Ниночка,— обратился он к жене радиста,— может, мы ужин соорудим?

Прусевич ушел к себе за занавеску, ищет для меня журнал. Должно быть, даст мне на ночь читать статью о каком-нибудь щелочно-интрузивном комплексе... Нина бесшумно ходит по комнате, собирает на стол. У нее строгое, иконописное лицо и голова повязана платком. А Наташка курносая, круглоглазая, кареглазая — в отца. Роман Васильевич укачивает ее на руках.

Запотели окна, и по черным скользким дорожкам катятся капли. Из угла уставился зеленым зрачком радиоприемник.

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза...

И мне представляется Роман Васильевич в белом полушубке, перепоясанном ремнем, в ушанке, он сидит в своей «рубке», в холодной комнатке в конторе и озябшими пальцами выстукивает позывные, держит связь с Большой Землей...

Передовая? Да, передовая... Всегда будет где-то труднее. Где-то кто-то будет прокладывать дорогу. Где-то будет начинаться будущее, где-то будет начинаться новая стройка, где-то пройдут первые разведчики... Конечно, все относительно, и отряду геологов, который бродит сейчас где-то там, по тайге, даже и Кия-Шалтырь может показаться глубоким «тылом»...

И опять я вспомнила Боровских. Интересно, когда ему позвонили из совнархоза — что он? Только испугался, что его снимут с работы, понизят в должности? Или ему стало так же неловко, как и нам троим — Прусевичу, мне, Фомичу — в той дырявой палатке? «Я сам лично знакомился с обстановкой, вылетал на Кия-Шалтырь», — сказал он мне. Ну, а если бы он себя «лично» снаряжал в путь-дорогу? Цельная палатка, теплое одеяло и прочие «досадные мелочи»...

«Боровских не типичен для нашей действительности!» — сказал мне как-то тот человек в противоклещевом комбинезоне, с которым я познакомилась в пути и с которым потом еще не раз встречалась, но он всегда куда-то торопился, бежал. И мне даже казалось, что и фразы он бросает на ходу, в спешке, заранее приготовленные.

Не типичен. Но встречается... Ну, а тот, например, кто на просьбу кияшалтырцев прислать зубного врача, ответил: «Подобные гастроли не предусмотрены!» А разве Кия-Шалтырь предусмотрен? Вчера его не было, сегодня он есть. Вчера не добраться было до Кия-Шалтыря. Нынче это стало совсем просто. Ну что бы тому человеку, который получил радиogramму с Кия-Шалтыря, — это был не Боровских, другой, — что бы ему поразмыслить, и, быть может, врач и съездил бы «на гастроли» на несколько дней!

А то, что топографы из Красноярска таскают по Кия-Шалтырю вместо теодолитов дедовские комоды?! А изыскатели из Томска приехали, снаряженные новейшими легкими приборами?

«Как же можно списать эти теодолиты? Они вполне исправимые».

Вот так и списать! Их можно использовать где-нибудь в степной местности, где всюду подъедешь. А не таскать их на спине, продираясь сквозь тайгу, по топям... А плащи, которые намокают и становятся пудовыми!.. В Сталинске, в Красноярске в магазинах, например, полно пищевых концентратов, всяких гороховых супов, сухих борщей и так далее. А в лавке на Кия-Шалтыре даже этих концентратов нет!

«К чему вы это все говорите?»

К тому, что очень многое зависит от человека, от его инициативы, от сознания ответственности, чувства долга, от простой человечности, наконец!

Но мы так и не договорили. По мосту шел трактор, и человек в противоклещевом комбинезоне вскочил на него на ходу. Ему нужно было на буровую вышку...

— Вот, — говорит Прусевич, появляясь из-за занавески, — я вам нашел журнал. Почитайте. Вы, наверно, думаете, алюминий — это только самолеты, авиация? Да?

Девочка уснула. Мы сидим за столом.

— Алюминий — все! Это металл будущего! Металл коммунизма! — продолжает Прусевич. — Может, это звучит несколько выпендренно, но по существу это так. Учтите, алюминий в три раза легче железа. Он необыкновенно податлив в обработке. Из алюминия можно делать все, что хотите, и окрашивать его можно в любой цвет... Дома, например, можно строить из алюминия целиком — стены, двери, рамы, крышу. Заводские корпуса, гаражи можно монтировать из алюминиевых плит. Быстро, нетрудоемко, дешево! Автобусы можно делать из алюминиевых сплавов, дизельные поезда! Подсчитано, например, что если у грузовика сделать блок цилиндров и тормозные колодки из алюминия, то пятитонный грузовик сможет перевозить семь тонн...

И Прусевич говорит, говорит. Это он умеет, он только о себе рассказывать не умеет.

— Между прочим, даже платья будут шить из алюминия! — продолжает Прусевич. — Не смейтесь. Алюминий поддается такой обработке, что из него можно делать тончайшую фольгу... Да, да...

А Нина, ставя чайник на стол, говорит о своем:

— Кнопки нет, пуговиц нет, карандашей нет, даже бумаги, чтобы письмо написать...

У женщин удивительное свойство — слушать, а думать о своем. Нина все еще, должно быть, переживает наше давешнее посещение лавки.

...Уже поздно, пора и до дому.

— Ноги не теряйте! — шутит Роман Васильевич, светя мне фонариком на дорогу.

Грязь хватает за сапоги и старается стянуть их, но я не отдаю... В моей «избушке на курьих ножках» свет. А внизу, под горой, где палатки, где врыт в землю стол, горит «летучая мышь» и стучат в домино.

Ты ли моя ягодка,
Тебе не двадцать два годка,
Тебе всего шнадцать лет,
С тобой гулять расцоту нет.—

кричит Миша. Он в одной тельняшке. Ему, должно быть, все еще жарко.

У нас в комнате топилась железная печурка. Маша мыла голову. Она лежит с голыми плечами, распустив длинные волосы, как русалка, всунутая в спальный мешок, — читает. А Лида, одетая, свернувшись комочком, спит на кровати. И будильник в изголовье на полке отсчитывает ее сны...

Отъезд

Пришла пора прощаться с Кия-Шалтырем. И когда мы поднимались на макушку зеленой горы, Прусевич пророчески сказал:

— Теперь будет гудеть... будет казаться, летит вертолет...

И это «будет гудеть» гудело, должно быть, часов шесть, а когда и правда за горами загудело, я не поверила. И надоели же мы друг другу напоследок в тот день... Я даже на правах уже старой знакомой, а главное, от нечего делать, устроила Прусевичу проработку. Удивительно небрежно он относится к себе. Если бы я не настояла, он бы не вызвал вертолета. А с рукой становилось все хуже. Он и тогда, когда поломал руку, не обратился к специалистам, а неопытный врач, видно, не так наложил ему гипс.

— Ну неудобно как-то, — говорил Прусевич, терпеливо слушая меня и жуя папиросу. — Ну как это будешь говорить о себе...

Наконец прилетел вертолет. Из его брюха посыпались девушки в сапогах, в шароварах. Молодые люди с фотоаппаратами, с киноаппаратами, с ружьями. Это была та самая «часть» партии томских изыскателей-дорожников, которая застряла в Сталинске. Девушки вытащили ящик, набитый белыми батонами, и я услышала, как Прусевич обиженно сказал:

— Что же это вы со своим хлебом? Здесь пекарня есть.

— Девчата, вы слышали? Оказывается, здесь есть пекарня, а мы все батоны в Сталинске скупили.

— Товарищ Прусевич, вы меня не узнаете? Я у вас проходил практику. Помните, в Семеновке вы мне дали своего Пегана, а он захромал? Я теперь уже окончил. Начальником отряда приехал.

Прусевич что-то ему отвечал, смущаясь, а потом в вертолете говорил мне:

— Неловко как, не узнал его. У нас ведь каждый год новые практиканты...

В последнюю минуту в вертолет ввалился тот самый человек в противоклещевом комбинезоне, и я подумала: ну теперь он уже никуда не исчезнет, и наше знакомство наконец состоится. Он был весь мокрый, взъерошенный, видно, бежал в гору. И, как он сам объяснил, он заснул после обеда и за обедом «принял» от простуды, а тут — вертолет! Человек этот сел крайним у двери, и штурман, закрывая дверь, пошутил:

— Смотрите, не вздумайте открыть!

— А что тогда будет? — спросил тот с испугом, видно не вполне еще очнувшись от сна.

— Прыжок в вечность, — засмеялся штурман и прошел в кабину.

— Слушай, — сказал этот человек, толкая Прусевича, — давай пересядем, а то ты все окно загородил, я первый раз лечу.

Прусевич покорно поменялся с ним местом, а я возьми и скажи:

— Это, значит, по принципу — пусть сначала мой ближний отправляется в вечность, а я уж как-нибудь потом!

До него это не сразу дошло. А когда дошло, он сердито на меня поглядел, отвернулся и ни разу не взглянул в окно. А в Сталинске ушел, не простившись.

...Потом был вокзал. Мне ведь совсем не нужно было в город Сталинск, мне нужно было в Красноярск, где в гостинице остался мой чемодан. Я летела на вертолете на Кня-Шалтырь на день, на два, меня в совнархозе уверяли, что там ничего нет интересного... А теперь мне предстояло ехать в Кемерово, а из Кемерова — в Новосибирск, а из Новосибирска — в Красноярск...

По дороге на вокзал мы забежали к Прусевичу, но дома у него никого не оказалось; жена и дети уехали в деревню. И вот часов в восемь мы дорвались наконец до обеда в мрачном и чадном привокзальном ресторане. Когда мы вошли в зал, какой-то парень, уже расплачиваясь с официанткой, крикнул:

— Привет Колумбу здешних мест!

Я успела разглядеть, что вид у него столь же кня-шалтырский, как и у нас. Он поздоровался и заторопился на поезд, а Прусевичу опять пришлось смущаться.

— Я и не знал, что он знает. Это из одного нашего леспромхоза, — объяснял он мне, — помните, я говорил вам? В тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году, когда нашли эту нефелиновую гору, ее надо было разведывать, людей надо было кормить, оборудование доставлять, а зимы ждать долго. Я тогда раздобыл танкетку, мы нагрузили ее продуктами, всем, чем надо, и решили пробиваться через тайгу. Это как раз перед ноябрьскими праздниками было. Люди голодные сидят на Кня-Шалтыре, ждут, а мы только отъехали от райцентра, звездочка на шестеренке и лопнула...

Прусевич вынул из бокала салфетку и стал чертить карандашом звездочку. А я уже знала: раз он решил, что мне необходимо понять, где расположена эта звездочка, что это за звездочка и почему она поломалась, то мне уже ничего не остается делать, как постараться это понять.

— Вот, значит, танкетка встала — и ни туда и ни сюда, — продолжал он. — А тут секретарь райкома на своем «газике», это еще было проезжее место. Он меня в леспромхоз и доставил, а там вот этот человек все и сделал...

— Это было, когда вы открыли на горе Лохматой месторождение?

— Вот-вот, только позже.

— Это вы тогда получили телеграмму из Геологического управления: «Ищите на своей территории»?

— Кто вам сказал?

— В Красноярске рассказывали, а я запомнила как анекдот — любопытно все-таки! Я была в прошлом году на Дальнем Востоке, на границе с Китаем. В китайском селе произошел несчастный случай — жерновом придавило старика, и наши бойцы на руках перенесли его к себе в больницу, там ему ампутировали ногу и спасли жизнь. И никому не послал телеграммы: «Пусть лечат на своей территории», «Не суйтесь не на свою территорию!» А тут всего-навсего граница экономического района. «Ищите на своей территории!» Послали бы телеграмму: «Поздравляем, рады, сообщим соседу»...

Но здесь разговор был прерван. За соседним столиком, где, видно, что-то праздновали шахтеры, где в тарелках дымился борщ, в стаканах шипело шампанское, зашумели. Поднялся человек, очень похожий на Качкина-медвежатника, такой же крепкий, коренастый русак, в одной руке он держал бокал, а свободным кулаком энергично дубасил воздух, говорил:

— Товарищи, я предлагаю самый простой и самый короткий тост — за человека! Всегда и во всем человека!.. За нашего Кольку! За Николая Ивановича Епихина...

Николай Иванович сидел ко мне спиной, и я не разглядела его.

...Потом, когда я уже стояла на площадке вагона, Прусевич сказал, прощаясь:

— Ну вот и все... У вас Москва, у меня — тайга... Не думайте, что это так мало. У каждого свое... А в общем-то, я вроде как привык читать вам лекции. Вы, главное, не забудьте, что в Кузнецком Алатау широко развит весь комплекс изверженных пород. Здесь наряду с многообразными щелочными и ультраосновными породами встречаются

крупные интрузии различных гранитов, диоритов габброидных пород. Встречаются также различные осадочные эффузивные и метаморфические породы. Вообще не забудьте, что по разнообразию горных пород и встречающихся здесь полезных ископаемых уже сейчас можно с уверенностью сказать, что Кузнецкий Алатау представляет собой слабо изученный в геологическом отношении сибирский Урал!.. Не забудете?

— Не забуду.

Поезд тронулся. Прусевич пошел за вагонами. Но, видно, так просто, по инерции. Он уже забыл и обо мне и о поезде. Он шагал мимо нарядных, по-летнему пестро одетых людей, в огромных сапожищах, на которых засохла таежная грязь, с рукой на перевязи, небритый, уставший, в маленьких школьных очках, и глядел себе под ноги. Он, видимо, и по асфальту в городе ходит, как по тайге, боясь что-то пропустить...

А недавно от Прусевича пришло письмо. Он писал:

«1) ...После неудачной «высадки 24-х» совнархоз стал наращивать темпы строительства. Завозили пиломатериал (плахи, тес), стекло, кирпич, печные приборы, паклю и т. д. и т. п. Сделано около 25 км. шоссейной дороги, а на остальном пути проложена временная. Как только хватил мороз и устоялась зима, пошли к нам колонны автомашин. Они завозят шестнадцатиквартирные дома, цемент, железо и т. д. Строительство поселка строителей рудника начинает разворачиваться по-настоящему.

2) Появился первый «регулярный» транспорт. «ГАЗ-93» (самосвал). Теперь Вы не стали бы жаловаться, что в гору трудно лезть с рюкзаком.

3) Помните «поселок» строителей, где стояла дырявая палатка и в землю были вбиты колья? Тогда, при Вас, смолили бревна — закладывали фундамент первого общежития. Оно уже давно заселено. Уже заканчивают второе общежитие. Построено уже много домов небольших, площадью пятьдесят—семьдесят кв. м. каждый. Построены магазин, склад.

4) Установлена электростанция. Поселок освещен электрическим светом. Работает радиоприемник «Рекорд».

5) У строителей по-прежнему очень много неполадок. Электростанция не обеспечивает пуска пилорамы. Не хватает трелевочных тракторов, нужен экскаватор, не хватает строительных материалов. Плохо снабжается магазин. А люди приехали с семьями — это будущие рабочие рудника.

Помните Качкина-медвежатника, который убил сорок пять медведей? Он недавно ко мне приходил, советовался, где ему срубить новую избу в тихом месте. Он не любит, чтобы было шумно илюдно. Закоренелый таежник. Сколько мы ни смотрели по плану, сколько ни ломали голову, а тихого места не нашли: там будет вокзал, там — дробильная фабрика, здесь пройдет шоссейная дорога!

Когда наша геологоразведочная партия пришла на это место, тут было пусто и мертво. Только один упрямый Фомич жил. Теперь, когда мы отсюда уходим — мы закончили нашу работу,—здесь строительство рудника идет полным ходом... И «тихое место» здесь трудно уже найти! Должно быть, это и есть высшая награда геологу!..»

Совсем недавно я была на Кия-Шалтыре, но как все там уже изменилось. А если бы я поехала туда сейчас? Все равно, пока печатался бы очерк, все снова изменилось бы!..

Кия-Шалтырь—Москва.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Е. РАТМАНОВА-КОЛЬЦОВА

★

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОЖИТЫЕ ГОДЫ

Рассказ Елизаветы Николаевны Ратмановой-Кольцовой — это глава из ее воспоминаний о встречах Михаила Кольцова с его современниками. Рассказ посвящен времени работы В. Маяковского над поэмой «Владимир Ильич Ленин». Я нахожу рассказ внутренне вполне завершенным, композиционно стройным, а по содержанию — чрезвычайно примечательным.

Тема — поэт и Ленин — раскрыта очень удачно в обоих ее «компонентах», и за ними слышится третье начало ее — народ в его отношении к вождю и к певцу революции. Наброшен также образ Кольцова, памятный тем, кто его знал.

Я думаю, что читатели «Нового мира» с интересом прочтут этот рассказ достоверного воспоминателя.

Конст. Федин.

«Мы не верим»

Маяковский, собирая материалы для своей выставки «20 лет работы», часто навещался и в издательство «Огонек». Располагаясь в кабинете редактора, он просматривал журналы и газеты за минувшие годы. Кольцов сам показывал ему зимой 1929 года рукописи, фотографии, рисунки, объявления, письма читателей и всяческие архивные материалы издательства.

Перелистывая журнальные фолианты, они читали текст и рассматривали снимки, и выражение не схожих чертами лиц собеседников менялось, отражая свет и тени прошлого. Они переживали с большой силой чувств то, что не забыть, и вспоминали далекое, что забыто. Это было совместное путешествие в прожитые годы.

Стороннего человека, непричастного к тайнам полиграфического искусства, удивило бы, что два взрослых, серьезных человека подчас принимают осторожно трогать бумагу старых журналов, пожелтелую и ломкую, как сухие листья. При этом Кольцов доставал новенький, еще пахнувший типографской краской журнал, или журнальную верстку, или газетные полосы, и собеседники заводили тогда разговор о нашей бумажной промышленности, о ее недалеком будущем, о мастерах полиграфии, о свойствах бумаги хранить во времени отпечаток типографского набора, цветовую гамму красок.

В сумерки редактор включал сразу все лампы, они сияли на письменном столе, подобно автомобильным фарам, освещающим дорогу путешественникам...

Когда Маяковский выступал в 1923 году в Москве с чтением стихотворения «Мы не верим», рабочие просили достать первый номер журнала «Огонек», именно тот самый, которым первого апреля 1923 года

началось издание советского массового иллюстрированного еженедельника.

— Надо отнести товарищам журнал. Не обеднеете душой,— обратился поэт к редактору.— Я дал слово. Им нужен снимок Ленина.

— Тираж «Огонька» — пятьдесят тысяч. Тираж мгновенно разошелся. Не рычите на меня, Володя... Знаю, что у стихов «Мы не верим» не пятьдесят тысяч, а миллионы соавторов. Я тоже ваш соавтор.

Кольцов сказал «Володя», так назвав поэта, которого привычно называл Владимиром Владимировичем; иначе сказать тогда он не мог, и Маяковский это понял. «Спасибо, Колéчкин»,— отозвался он, забирая сразу с собой несколько экземпляров журнала, добытых в редакторском запаснике.

На первой странице этого журнала были напечатаны стихи Маяковского «Мы не верим» и портрет Владимира Ильича, снятого в домашней обстановке в Горках в 1922 году.

Старинный диван и кресла перед маленьким овальным столом образуют уголок комнаты в Горках. Возле стола сидит Ленин, закинув ногу на ногу, руки покоятся на боковинках плетеного кресла. Момент отдыха, неотделимого от раздумья. Выражение лица Ленина непроницаемо-спокойное, борода подстрижена, как всегда, и щеки выбриты. Одет он в повседневный костюм с большими нагрудными карманами, хорошо знакомый по прежним снимкам. На столе — объемистые пачки книг, брошюр и журналов.

Четырнадцатого марта 1923 года было опубликовано правительственное сообщение об ухудшении здоровья Ленина. Медицинские бюллетени печатались в газетах, вывешивались повсюду — на улицах, на заводах, в сельсоветах и учреждениях,— и все тревожно ждали утренних и вечерних врачебных сводок из Кремля. Пятнадцатого марта был напечатан в газетах медицинский бюллетень № 3 о состоянии здоровья Ленина: «Затруднение речи, слабость правой руки и правой ноги в том же положении. Общее состояние здоровья лучше. Температура 37,0, пульс 90 в минуту, ровный и хорошего наполнения».

Знакомые и незнакомые люди повторяли друг другу слова и цифры медицинских бюллетеней. Казалось, не медики, а сами эти встревоженные люди, миллионы людей, слушают, как бьется сердце Ленина, как легкие его вливают воздух. Не верили люди, не хотели поверить, что теперешний приступ тяжелой болезни угрожает жизни Владимира Ильича, что Ленин не может ни ходить, ни говорить. И повсюду — в редакциях и библиотеках, в учреждениях и дома — снова читали и перечитывали статьи Ленина, написанные в зимнее время, недавно, совсем недавно.

В марте Маяковский однажды при встрече с Кольцовым сказал: «Сегодня утром у Владимира Ильича пульс — 108, дыхание — 30»,— и повторил потом эти цифры медицинского бюллетеня, и Кольцову было видно, как поэт ищет и нащупывает пульс на своей левой руке. Затем Маяковский пошел по лестнице в редакцию «Известий», грузно шагая через ступени и повторяя что-то про себя, то ли эти цифры, то ли слова, которые складывались в строки новых стихов. Рукав пальто был подвернут, и запястье громадной руки обнажено.

Высоко в небе сияло весеннее солнце, таяли сугробы на московских мостовых, и звенели в садах вешние ручьистые воды. Крохотные ребяташки, мокроногие, обмотанные башлыками, пускали кораблики и поражались, что взрослые ни за что не дают газету, чтобы смастерить кораблик, а все говорят и говорят, сбившись вместе, о чем-то очень важном, очень серьезном и невеселом.

Было очень людно во дворе старого дома на Тверской улице, что расположен поблизости от памятника Пушкину. Здесь, в кирпичном многоэтажном флигеле, размещались редакции газет «Правда» и «Известия». Допоздна заходили сюда в марте москвичи и приезжие, в талом снегу посреди длинного двора была протоптана скорыми, тревожными шагами дорожка от незакрываемых ворот до входа в редакции, открытого для каждого человека.

Маяковский, будто не слыша, что говорит Кольцов, смотрел на светлое по-весеннему небо и все время крутил в руках коробок спичек. Они встретились подле рулонов бумаги, которые были нагромождены вдоль здания типографии. Курить здесь было нельзя, и пожарный в медной каске озадаченно глядел издали на коробок спичек, вертящийся в руках поэта.

Еще зимой Маяковский обещал для предполагаемого журнала дать свои стихи. Вскоре, когда уже стало достоверно известно, что «Огонек» будет издаваться, он с добродушной насмешливостью рекомендовал молодому редактору «не обзаводиться сотней курьеров, не тревожить самолично ни маму, ни сестер Маяковского, полагаться на слово поэтов». Сказал так потому, что как-то в феврале Кольцов, разыскивая Маяковского по Москве, чтобы узнать, какие именно стихи он даст для «Огонька», нигде не нашел поэта и беседовал доверительно с матерью его, Александрой Алексеевной, и подробно рассказал ей о возникновении нового иллюстрированного еженедельника. И потом, когда-либо позже, заставая Кольцова озабоченным издательскими делами, Маяковский говорил ему: «А почему бы вам, Колéчкин, не посоветоваться сейчас с моей мамой?..»

Люди в типографском дворе переговаривались, тревожно, вопрошающе глядя на тех, кто выходит из подъезда редакций. Маяковский молчал. Кольцову надо было идти в «Правду» на летучку, но он продолжал стоять рядом с поэтом. Вдруг хрустнул спичечный коробок, жестко сдавленный пальцами. Маяковский разжал кулак, и спички посыпались на талую, в солнечных блестках, землю. Нет, лучше не трогать его, не спрашивать ни о чем. Все равно ничего теперь не скажет, когда, казалось, так отчужденно стоит, захваченный мыслями. Пусть думает о своем. Сам скажет со временем все стихами...

— Интересуются, где Шекспир, где Пушкин,— внезапно заговорил Маяковский, словно обрывая мысли, которые накатывались, как волны в прибое.— Великолпно... Скажите, спрашиваю, а вы сами нашли слова? Подходящие слова?.. Знаете, на чем себя теперь ловлю? Прочитал, опять читаю... А вы?.. Невероятно. Нет...

Маяковский вытащил рывком из кармана газету «Правда», сложенную, как большое солдатское письмо, и, не разворачивая, снова спрятал. Кольцов молчал, волнуясь его волнением.

— Марию Ильиничну не видели? Не появлялась, не приезжала, не говорили еще с ней? Передайте: «Поэт Маяковский просит записать его на прием, когда Владимир Ильич поправится и будет принимать сограждан». Так вот и скажите. Понятно? Или лучше письмо Марии Ильиничне написать...

— Я скажу все Марии Ильиничне. Скажу, когда увидимся, но когда — не знаю. Ее нет в редакции.

— Я сам знаю, что Мария Ильинична рядом с Лениным. Но вы, пожалуйста, все передайте, когда с ней увидите.

— Конечно, я скажу все так, как меня вы просили.

— Хорошо... Как вы думаете, когда Мария Ильинична придет в редакцию?

— Не знаю...

Кольцов тронул рукой плечо Маяковского, и вовсе не было странным или смешным, что человек маленького роста, в длиннополой шубе, в запотевших очках, вдруг вытянулся, приподнялся на цыпочках, чтобы положить руку на плечо рослого, очень рослого человека. Жест был ободряющий и теплый.

— Не знаю, когда приедет Мария Ильинична... Но верьте, Володя, я все точно скажу Марии Ильиничне,— повторил Кольцов и пошел очень быстро вдоль бумажных рулонов в редакцию на летучку.

Ответные слова

Маяковский выслушал, а потом сейчас же попросил все снова рассказать. Кольцов повторил все, хотя ясно видел, что так внимательно и напряженно поэт еще никогда его не слушал.

Сызнава повторил он поэту разговор с сестрой Ленина. Мария Ильинична приезжала в Москву из Горок, и он смог тогда передать ей просьбу Маяковского о встрече с Лениным.

Кольцов старался говорить спокойно и, воспроизводя разговор, вдруг замолчал, как тогда в разговоре Мария Ильинична, и потом только, после этого мгновенного — казавшегося ему тогда бесконечным — молчания произнес ответные ее слова:

— Владимир Ильич нашел бы время, конечно, побеседовать с поэтом Маяковским. Разве сомневаетесь в этом? Прошу вас, скажите товарищу Маяковскому, передайте, что...

Мария Ильинична замолчала на мгновение и потом произнесла:

— Мы надеемся... Скажите — мы надеемся.

Мать поэта

Когда именно в самом начале двадцатых годов была такая беседа с Александрой Алексеевной — не сказал Маяковский. Он только рассказал Кольцову, что Александра Алексеевна настаивала тогда как на самом неотложном:

— Поговорить с Лениным надо тебе, Володя.

Об этой своей беседе с матерью Маяковский рассказал Кольцову впервые только тогда, когда осенью в 1923 году справлялся у Кольцова, нет ли новых вестей лично для него, поэта, от Марии Ильиничны.

Здоровье Ленина осенью стало лучше. Он даже приезжал на автомобиле из Горок в Москву. Тех людей, которым удалось повидать Ленина во время его пребывания в Москве, называли счастливцами, очень им завидовали. Москва радостно шумела, словно громадный улей. Знакомые и незнакомые друг другу люди рассказывали:

— Ленин был в Кремле...

— Здоровался с красноармейцами...

— Улыбался...

— Заходил в свой кабинет...

— Заглянул в зал заседаний Совнаркома...

— Был у себя на квартире...

— Проезжал по сельскохозяйственной выставке. Всмотривался во все.

— Вечером на автомобиле вернулся в Горки.

В двадцатых числах октября Маяковский очень поздно вечером позвонил Кольцову домой, в Брюсовский переулок, где в старом флигеле

жили правдисты. Голос поэта звучал в телефонной трубке ясно, отчетливо, громко.

— Ленин был в своем кабинете, — подтвердил Маяковский и, отвечая мне, добавил, что ему, Маяковскому, не посчастливилось хоть случайно повидать Ленина на московских улицах. — Скажите Михаилу Ефимовичу, когда придет домой, что я звонил, разыскиваю его, — говорил Маяковский и потребовал, чтобы я все записала, несмотря на мои уверения, что в нашей настольной книжке есть, конечно, номера телефонов, которые мы прекрасно знаем. Поэт даже рассердился на меня и повторил вразумительно, словно диктуя малограмотной: — Запишите, что если у Кольцова будет срочное — меня вы понимаете, вы не спите? — если есть срочное — понятно? — надо передать об этом в любое время на Красную Пресню сестрам Людмиле и Ольге Владимировнам и маме, Александре Алексеевне. Записали? Спасибо... В чем дело? Кольцов знает, в чем дело... Доброй ночи, — произнес Маяковский и положил трубку.

Он даже не дослушал мои заверения, что все записала, что слово «срочное» написала очень большими буквами, понимая, что неспроста потребовал записать его просьбу Маяковский и что Кольцов, наверно, должен сказать ему что-то очень важное и значительное.

Тогда, осенью, Маяковский и рассказал Кольцову, что советовала сыну Александра Алексеевна. Он только не рассказал, о чем хотел говорить с Лениным.

Гораздо позже, спустя несколько лет, поэт снова упомянул о словах своей матери.

В 1929 году январским утром, просматривая дома газеты, Кольцов прочитал в «Комсомольской правде» стихотворение Маяковского «Разговор с товарищем Лениным». Кольцов стал звонить по телефону Маяковскому, но не застал его. Встретившись в издательстве «Правда», вместо приветствия он сразу обратился к поэту:

— Вот мы все услышали теперь ваш разговор с товарищем Лениным.

Маяковский ничуть не поразился, что Кольцов сказал «услышали». Он даже по-необычному обрадовался, оглядел всех и переспросил:

— Услышали?

И все, кто был на лестнице возле лифта в издательстве «Правда», сказали Маяковскому:

— Да, услышали.

А в декабре 1929 года, занимаясь сбором материала для своей итоговой выставки «20 лет работы», Маяковский в редакции «Огонька» просматривал старые комплекты журналов и газет.

И, перелистывая страницы, Маяковский снова вслух подумал:

— Мне надо было пойти к Ленину. Мама была права как никто на свете.

Сказанное поэтом Кольцов хотел привести в своих воспоминаниях. В тридцатые годы перед отъездом в Испанию он собирался написать литературный портрет Маяковского.

Письма

Когда был издан первый номер «Огонька» с портретом Владимира Ильича, снятого в Горках, и стихотворением Маяковского «Мы не верим», в редакцию стали поступать отовсюду письма. Эхо «Мы не верим» раскатывалось по стране.

Молодой редактор журнала показывал поэту все эти письма. Так повелось, что на всем протяжении двадцатых годов Кольцов собирал письма читателей, чтобы знакомить с ними Маяковского. Просматривая

почту, которая поступала на его имя в адрес «Правды» или «Огонька», он не забывал отобрать письма для поэта.

Обычай знакомить Маяковского с письмами читателей не нарушался, если Кольцов уезжал из Москвы. Этим занимались тогда заменявшие редактора и совместно с ним работавшие со дня возникновения журнала писатель Ефим Зозуля и журналист Леонид Рябинин.

Заходя в издательство, Маяковский привычно интересовался читательскими письмами, которые поступали в редакцию журналов и газет и массовой библиотеки «Огонька». Причем поэта интересовали вовсе не только те письма, которые касались его произведений, но и те, которые вообще затрагивали какую-либо жизненную тему. Читая их, он иногда что-то записывал, а многие письма с ведома Кольцова брал с собой.

В 1930 году читатели статьи Маяковского «Прошу слова», напечатанной в «Огоньке», и редакционного сообщения — в мартовском номере журнала — о выставке поэта «20 лет работы» писали, вспоминая прожитые годы, о первом напечатанном в журнале стихотворении поэта. Один из читателей, родом, по всей вероятности, с Украины, вспоминал, обращаясь к Маяковскому:

«...Не ветер срывал и не дождь смывал со стены нашего сельсовета наклеенный журнал со снимком Владимира Ильича и с вашими стихами «Мы не верим». Вы знаете, конечно, что снимок был для нас важен как недавний, потому что кулаки с троцкистами измышляли слухи, что в живых нет Ленина и потому нет Ленина на партийном съезде. Я предлагаю сейчас для вашей выставки мой старый журнал «Огонек», самый первый номер, хотя бумага очень плохая. Посмотрите, что вокруг стихов «Мы не верим» есть фамилии. На полях журнала тоже есть имена и фамилии. Это подписались в 1923 году весной мои земляки, которые думали заодно с Маяковским...»

Кольцов занес в свою записную книжку фамилию и адрес украинца и слова «не ветер срывал и не дождь смывал», а письмо отдал Маяковскому.

Современники

Никогда Маяковский прямо не говорил Кольцову, что пишет новую поэму, — ни в 1923 году, ни в 1924-м.

А писал он тогда поэму «Владимир Ильич Ленин».

Среди шумного многолюдья — будь то на московской улице или в редакции — поэт писал и переписывал строчки поэмы в записной своей книжке, с которой не расставался, и работал, не оповещая всех, что пишет.

Но по некоторым встречам Маяковского с Кольцовым можно было полагать, что поэт рассказал Кольцову, что пишет. Беседа все время кружилась вокруг имени героя новой поэмы Маяковского, ни единой строчки которой Кольцов в то время еще не прочитал и не слышал.

Кольцов щедро знакомил Маяковского с материалами, письмами, фактами, рассказами современников, своими впечатлениями, связанными с темой, которая выкристаллизовывалась в душе поэта. Журналист рассказывал поэту то, что должно было, казалось, стать строчками им самим начатой в 1923 году книги «Человек из будущего», посвященной жизни Ленина.

— Написать о Ленине должны мы, современники его, — отозвался однажды поэт на слова журналиста.

Это было зимой 1924 года. Писатели подходили вечером к дому, где помещались редакции «Правды» и «Известий». Было сугробисто и метельно, и фонари были почти сплошь залеплены снегом, и поэту и журналисту подчас приходилось держаться за руки. Метельный шум не

мешал им все же разговаривать, они слушали друг друга и говорили на ходу, несмотря на беспощадный встречный ветер и ледяные наросты на мостовой.

— А знаете что... Вы слышите меня?... Кто-то сейчас пишет там, на другом краю планеты...

Маяковский остановил Кольцова и, не выпуская его руки из своей огромной, вдруг застучал палкой по твердому насту, будто дружески стучался в дверь дома, который он видел сквозь всю громаду планеты на противоположной ее стороне.

— Человек пишет, потому что, поймите, не писать не может... Не будем мешать ему. Пусть пишет свое. Пока еще нас с вами он не зовет. Пойдемте... Возможно, он будет писать еще десять лет! Я тоже буду писать, поверьте, десять лет о Ленине. Пусть не мешают!.. Почему, однако, десять лет, а не всю жизнь? Нелепая оговорка... Пойдемте.

Свет

Летом 1934 года, перед открытием Первого съезда советских писателей, Кольцов перечитывал поэмы Маяковского, многие строчки стихов которого знал наизусть.

Никто не просил его писать о Маяковском, не было никакого договора с издательством, журналом или газетой. Занят был тогда чрезмерно. Но однажды он взял дома с полки книгу Маяковского с авторской надписью «Милому Колéчкину» и положил на письменный стол. И это было похоже на подписание сокровенного договора.

Он стал набрасывать черновые записи на разрозненных листках бумаги. На странице, которую дал мне напечатать на машинке, подчеркнул красным карандашом слова:

- «Хорошо» и Блок. Солдаты.
- Мобилизация чувств.
- Стендаль и Маяковский (кристаллизация).
- Поездка в Горки.
- Высокое силовое напряжение.

Поздно вечером, воротясь домой из редакции «Правды», Кольцов однажды продиктовал мне черновую запись маленького рассказа.

Он рассказывал, что Маяковский во время чтения стихов не любил никаких световых эффектов, предпочитая, чтобы в зрительном зале было светло, и очень любил выступать днем перед народом на заводах, на площадях, в парках.

Словно днем, было светло в большом клубном зале, когда Маяковский выступал с чтением поэмы «Владимир Ильич Ленин».

И вдруг кто-то невидимый, затаившийся в углу, выключил свет.

Маяковский продолжал читать,

А в большом зале кричали:

— Свет!.. Свет!..

Маяковский продолжал читать так, что каждое слово было слышно каждому.

Потом в зале стало светло, и снова зашелестела бумага, словно колосья в безграничном поле.

И неожиданно послышались просительные голоса:

— Маяковский, повторите.

И снова поэт произнес то, что читал, когда погас свет.

Люди записывали слова и сверяли друг у друга записанное.

Новая поэма еще не была напечатана, а многие жители Москвы уже знали наизусть ее строчки, записанные рукой, ловящей на лету слова поэта с трибуны.

В парке

Маяковский тогда многих спрашивал обо всем, что было связано с темой его поэмы, — не потому, что сам не знал или сам не пережил вместе с современниками все, о чем он писал в поэме «Владимир Ильич Ленин».

Весною и летом 1924 года с каждой встречей с Маяковским все явственнее, все объемнее, чем в 1923 году, проступала перед Кольцовым тема нового произведения поэта. При каждой встрече Кольцов ждал, что скажет поэт, о чем спросит, и внутренне тревожился: сможет ли помочь? Еще не все из пережитого отстоялось в слове. Минула первая весна в жизни людей, когда Ленина не было в живых.

Еще в конце января Маяковский позвонил домой Кольцову почти на рассвете и сказал, что надо поскорее встретиться, надо лично поговорить. Повторил, что снова прочитал в «Правде» очерк Кольцова «Последний рейс» и решил сразу позвонить, чтобы не откладывать очень важный для него разговор.

Он просит рассказать о прощании всех людей с Лениным в Горках, о проводах умершего вождя.

А зимою 1927 года, в феврале, Маяковский однажды по обыкновению своему зашел в редакцию «Огонька». Поэт тогда спросил Кольцова, знает ли он воспоминания Сорина, последние их строчки. Эти воспоминания В. Сорина («Большой дом») — о встречах с Владимиром Ильичем в Горках — были недавно напечатаны в «Правде».

Кольцов, думая, что Маяковский станет читать воспоминания, протянул немедленно газету, но поэт не взял ее. Ни о чем не спрашивая собеседника, он смотрел на фотографию в «Правде». На ней был запечатлен светлый высокий дом в Горках, окруженный лесным парком.

А потом Маяковский произнес:

— «Зимою в парке стоял глубокий снег. А весною, когда снег сошел, на узкой дорожке, ведущей от большого дома в глубь парка, ясно-ясно проступали борозды и колен, оставшиеся от кресла, в котором возили по парку большого Ильича. И нельзя было без волнения смотреть на эти следы Ильичева кресла».

Это были последние строчки из напечатанных в «Правде» воспоминаний. Поэт произнес их, как свои собственные.

— Вы были тогда, весною, в Горках? — спросил он.

Не дожидаясь ответа, сказал, что сам он поехал тогда, весною, в Горки. Поэт рассказывал, что он долго ходил один по дорожкам, ведущим от большого дома в глубь парка, нашел скамейку, простую низенькую скамейку, добротную сложенную деревенским плотником. На этой скамейке часто сидел Ленин, работал, писал и, чтобы ветер не унес прочь исписанные листки бумаги, клал на бумагу камешки, собранные им самим или ребятишками окрестных деревень для него на берегу реки Пахры.

Поэт еще сказал, что долго ходил по лесным дорожкам и тропам и смотрел на зеленую листву, которая распустилась или распускается из тех самых почек на ветвях, на которые, вероятно, не раз смотрел в зимнее время Владимир Ильич.

Больше ничего не говорил собеседнику поэт о своей поездке в Горки, и Кольцов не спрашивал его ни о чем. Они только договорились поехать вдвоем в Горки.

Много лет спустя, будучи в Испании, Кольцов однажды знойным днем добрался до стоянки интернациональной бригады. Корреспондент «Правды» пробыл здесь допоздна, беседуя с командирами и бойцами.

Вокруг, на мадридской равнине, укрытой в горах, было своеобразное спокойствие, какое бывает подчас перед значительным боем.

Луна в облачном небе иногда светила, словно яркая лампа, и тогда хорошо было заметно мигание усталых век того, кто рядом с тобою. Записная книжка в истертом клеенчатом переплете была раскрыта и металлический карандашик наготове, и нельзя было понять, почему Кольцов ничего не пишет, почему такое чудное лицо у него и очки запотели. А спросить было боязно, и жалко мне было нарушать его необычайную сосредоточенность.

Кольцов вслушивался, как поют люди на лесной равнине. Хор мужских голосов, негромкий, но слаженный, пел песню о любви и смерти, о свете более сильном, чем тьма, о взаимной верности и борьбе людей за этот теплый свет в мире. Многие люди пели слова этой антифашистской песни на языке своей страны, но все голоса — испанцев и русских, немцев и французов, американцев, поляков, англичан, венгров и чехов, всех, кто был вместе летней ночью на мадридской равнине в горах перед наступлением, — все голоса были слиты вместе, как листья сродны на ветвях дерева, которое вечно зелено.

Наконец Кольцов стал писать в походной своей книжке. При лунном свете было мне видно, что он стал выводить не слова, а чуть заметные линии и штрихи, понятные только их автору. Затем Кольцов сокрушенно произнес, что он жалеет, почему не родился живописцем, талантливым, как Репин или Серов. Говоря это, он не переставал вслушиваться в слитное разноязыкое пение бойцов интернациональной бригады.

Будь он художником, продолжал Кольцов, он постарался бы изобразить Маяковского на картине таким, каким знал в то время, когда поэт писал поэму «Владимир Ильич Ленин». А если по возвращении из Испании в Москву сбудется давнишнее заветное желание — издать в Журнално-газетном объединении поэму Маяковского с иллюстрациями, Кольцов будет говорить с художниками и попросит их написать портрет Маяковского, изобразив поэта в лесном парке в Горках, вблизи большого дома, на скамейке.

Говоря обо всем этом, Кольцов добавил, что хорошо бы объявить массовый конкурс художников — молодых и маститых, советских и зарубежных. Причем вполне возможно, что на этом портрете, написанном пока еще никому не ведомым художником, Маяковский будет чем-то похож на Пушкина, сочиняющего свои стихи в лиственном бескрайнем лесу.

Кольцов говорил все это, занося в походную истертую книжку металлическим карандашиком какие-то лаконичные записи, которые потом должны были найти свое раскрытие, когда он стал бы писать воспоминания о современниках и литературный портрет Маяковского. Будучи в Испании, еще до открытия Второго международного конгресса писателей в Валенсии, он вспоминал многие встречи с Маяковским и вспоминал встречу с ним февральским полднем 1927 года.

Они договорились тогда поехать вместе в Горки, и Маяковский должен был позвонить Кольцову домой или в редакцию. Кольцов сказал поэту, что надежнее всего позвонить накануне поездки вечером в редакцию «Правды»: ему всегда передадут срочную телефонограмму Маяковского. И невзирая ни на что, даже если будет очень ненастная погода, они поедут в Горки и пройдут вместе в большой дом, окруженный лесным парком.



С. БОНДАРИН

★

ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ

«Не ищите в его жизни происшествий простолюдина,— их не было; нет минут непоэтических в жизни поэта; все явления бытия освещены для него незаходимым солнцем души его...»

В. Ф. Одоевский. «Себастьян Бах».

Не случайно юношу Багрицкого прельщал образ народного певца и поэта Тиль Уленшпигеля. Веселый нрав, сметливость, отвага, преданность народу, способность чувствовать и умение действовать — все нравилось здесь Багрицкому, все владело воображением юноши; и ему самому хотелось быть таким, каким был Тиль Уленшпигель.

Исполнение подобных желаний дается не сразу. Долгое время, годы молодой Багрицкий только подражал своему герою. Юношеское чувство мира, открытого солнцу, облегчало этот воображаемый союз. В приморском городе, где родился и рос Багрицкий, многое способствовало этому чувству. Но, разумеется, тут не было еще самого главного — не было общности жизненных ролей, в судьбе молодого Багрицкого еще ничего не было от судьбы Уленшпигеля.

О Багрицком вспоминают охотно. Я часто задумывался, что так привлекало к Багрицкому, почему столько разных людей и теперь всегда охотно и интересно говорят о нем? В чем дело?

Конечно же, весь характерный живописный облик этого человека, его причуды и чудачества, вкус к выразительному словцу, постоянная поэтическая настроенность, неизменная готовность читать и слушать стихи, страстный интерес к зоологии, а особенно к птицам и рыбам, наконец, великая симпатия к людям — все это черты глубоко привлекательные, достаточные для того, чтобы этот человек был желанным другом и собеседником людей, причастных к искусству, природе, воинскому долгу.

Невольно вспоминается пронзительное, тонкое замечание К. А. Тимирязева: «Очевидно, между логикой исследователя природы и эстетическим чувством ценителя ее красот есть какая-то внутренняя, органическая связь». Слова эти относятся к характеристике английского художника Тёрнера, но могли быть сказаны и о Багрицком.

Повадки и жесты, хороший вкус и весь пафос жизни, свойственные Багрицкому-юноше, всегда дружелюбному, охотнику до острого словца, оставались характерными и для Багрицкого уже потучневшего, поседевшего.

Неизменно романтический внешний облик Багрицкого сам по себе был способен создать легенду, множить рассказы, анекдоты о человеке, всегда окруженном аквариумами, клетками, рыболовами, охотниками, писателями. Да, таким был Багрицкий всегда — и тогда, когда был еще худым, угловатым юношей с нежно-матовым цветом лица, со взглядом исподлобья, и тогда, через много лет, когда юношеская ясность и даже насмешливость этого взгляда красивых серых глаз сменилась взглядом тяжело-ватым, иногда болезненным. Все тело потучнело, в плечах стало широким, голова пригнулась, цвет лица из матового стал таким же серым, как неизменно наползавший на лоб как бы казацкий седеющий чуб.

Биографами установлена периодизация жизни поэта: одесский период, кунцевский период, московский городской. Вспоминаются и отыскиваются более или менее содержательные, любопытные происшествия этой жизни. Например, любят возвращаться к сообщению о том, что в последний год первой мировой войны Багрицкий успел побывать в Иране, на Кавказском фронте. Это верно. Об этом он и сам рассказывает в стихотворениях «Фронтвик» и «Голуби». Известно также, что в годы гражданской войны Багрицкий объезжал боевые участки с агитпоездом. События из жизни поэта в более поздние годы кунцевского и московского периодов известны меньше — и не удивительно.

Багрицкий всегда хотел куда-нибудь ехать, искал новых впечатлений, положений, в которых можно проявить мужественность, сметку. Но болезнь держала его на топчане перед астматолом. Тут же обычно лежали любимая настольная книга «Аквариум любителя» Золотницкого и развернутая ученическая тетрадь для вписывания стихов с бесчисленными быстрыми зарисовками пиратов, ландскнехтов, птиц, героев Сервантеса и Шарля де Костера.

Вот таким чаще всего и изображен Багрицкий, таким чаще всего рисуется он в памяти людей, хорошо его знавших. Весь он, преодолевающий приступ бронхиальной астмы, какой-то нечесаный, по-птичьи нахохленный. Ученическая тетрадь и огрызок карандаша отодвинуты в сторону... А только что, перед приступом болезни, Эдуард прочитал несколько строк нового стихотворения, проверил на слух, исправил строку... Эта работа легко совершалась им перед товарищем — без всякой позы, с большой искренней заинтересованностью во мнении того, чьему вкусу он доверял.

Так шли годы.

Внешними событиями эта жизнь не была богата... Но кроме этой, уже известной, биографии, есть другая биография — скрытая, труднодоступная для наблюдения со стороны, жизнь духа, биография души. И вот тут-то найдется то главное, о чем следует говорить. Тут найдется и в общем простой ответ на вопрос: что особенно влекло людей к Багрицкому, почему с таким чувством чего-то важного, серьезного, с такой душевной благодарностью вспоминаем мы своего старшего товарища?

Мало ли колоритных людей встречается в жизни, но далеко не всегда сохраняются эти встречи в памяти, а еще реже — в сердце. Вдруг вспомнишь интересного, а то просто забавного человека, на минутку порадуешься, оживишься этим воспоминанием — и опять все забыто. Думаю, что для многих встреча с Багрицким стала тем счастливым событием, о котором не только невозможно забыть — оно стало событием твоей собственной биографии. Может быть, это самая радостная особенность отношений между людьми.

Он входил в твою жизнь не так, как иной раз входят в привычку встречи с соседом для игры в шахматы. Как-то невольно ты приобщался к душевным задачам этого человека. Сразу и незаметно Багрицкий посвящал в свою веру, потому что, выражаясь по-старомодному, он прежде всего был вдохновенным апостолом поэзии.

И не в том было дело, что он многое помнил. Важнее было то, что на наших глазах он творил новое слово. Совершалось убеждение самым поэтическим образом. Знакомые слова и понятия впервые появлялись перед нами в новых сочетаниях, это производило впечатление сильнейшее. Багрицкий нам читал:

Яростный ветер крепчает,
С ветром раскат сильней,
Африка подымает
Голову из морей.
...Видишь: в дневном безлюдьи,
Между кустов и скал,
Слушают черные люди
Интернационал.

Мы разворачивали новый номер газеты и видели новые стихи Эдуарда:

О барабанщики предместий,
Когда же, среди гулких плит,

Ваш голос ярости и мести
Еинов над Парижем прогремит?..

Когда суровой и бесстрашной
Вы первый сделаете шаг,
Когда над Эйфелевой башней
Пылающий взвовется флаг?

Эти наглядные и незабываемые уроки давались незаметно и для учителя и для учеников.

Этим был богат Багрицкий, очень богат! Содержательна его вторая биография! Напряженная и непрерывная деятельность этой души не могла не ощущаться вблизи хотя бы потому, что в этой душе с большой энергией совершалось много такого, что в какой-то степени было свойственно другим молодым людям двадцатых годов, первых лет революции, молодым людям, вышедшим из той среды, из которой вышел Багрицкий. С большой полнотой об этом сказано в лучших его стихотворениях позднего периода: «Последняя ночь», «Происхождение», «ТВС»...

Багрицкий не оставил после себя какого-нибудь законченного автобиографического очерка. Сохранились наброски, черновики, впервые цитированные одним из внимательных исследователей творчества Багрицкого и его биографом — поэтом Всеволодом Азаровым. В одном из черновиков встречается сообщение, которое, несомненно, значит очень много, открывает доступ к внутреннему миру, к «внутренней биографии» Багрицкого, содержательной, богатой и — что особенно важно — типичной. Багрицкий пишет: «...я искал сложных исторических аналогий, забывая о том, что было вокруг. Я еще не понимал прелести выражения собственной биографии... Я сторонился слов современности, они казались мне чуждыми поэтическому лексикону».

Эти записи сделаны в последний период жизни поэта. Гораздо раньше, но и тогда уже не очень молодой, Багрицкий во вступлении к поэме «Сказание о море, матросах и Летучем Голландце» все еще спрашивал, все еще терзался сомнением:

Пусть, важной мудростью объятый,
Решит внимающий совет:
Нужна ли пролетариату
Моя поэма — или нет?..

При вступлении в битву жизни Шиллера и его современников-романтиков, как известно, шла борьба за право на монолог не только для принца, но и для бродяги. Для Багрицкого в этом уже не было сомнения, он безоговорочно владел этим правом, сомнения были другие и не менее трудные: каким должен быть монолог поэта-бродяги? Для кого писать? Что писать? Да нужен ли он сам, поэт-романтик, придерживающийся школы традиционного классического стихосложения?

Прости меня, классическая муза,
Я опоздал на девяносто лет!

А ведь к этому времени уже были созданы переводы из Бернса, Томаса Гуда, «Тиль Уленшпигель», «Трактир», «Черговы куклы», затерянные «Сон Игоря», «Марсельеза», «Харчевня», десятки более мелких по объему стихотворений... И почти все эти стихотворения «на случай» — четкие, звучные, нередко преодолевающие ограниченность служебного назначения — печатались в местных газетах и журналах. Багрицкому в большой степени уже было присуще профессиональное отношение к своему поэтическому труду. Опыт был обширный, и выучка твердая.

Редкий номер одесской газеты, посвященный какому-нибудь революционному событию, выходил без стихов Багрицкого, но он не оставлял и свою излюбленную тему о поэте и его назначении, варьировал ее снова и снова, как это выражено хотя бы в «Трактире» или в поэме «Харчевня». Затерянная позже поэма была написана в драматической форме.

Вечер в придорожной харчевне. Подразумевается «добрая старая Англия». Имена действующих лиц английские. В харчевне проездом останавливаются двое молодых

людей. Выясняется — они едут в Лондон на состязания поэтов. Веселые проезжие пьют вино и читают друг другу стихи. Но вдруг из-за прилавка раздается голос седого человека в фартуке.

— Стихи нехороши,— говорит престарелый трактирщик.

Молодые люди удивлены и шокированы. Предлагают незваному критику объяснить, почему он считает стихи неудачными. Тот объясняет это с полным знанием дела и дальше сам начинает читать стихи.

— «Ода бифштексу»,— возглашает он и вдохновенно читает оду.

Молодые люди угадывают, кто перед ними: перед ними прославленный поэт, сменивший лиру на нож, лоснящийся от жира... Поэты, счастливые неожиданной встречей, оказывают почести человеку, чьи стихи когда-то учили их поэзии.

Эта маленькая драматическая поэма была инсценирована и разыграна в лицах в одесском подвальном ресторанчике под вывеской «Мебос», что значит «Меблированный остров». Это было в голодные, но веселые годы нашей общей молодости: поэтов приглашали в подвальчик для чтения стихов перед публикой и за это кормили их горячим ужином.

По инсценировке Багрицкий, в фартуке трактирщика, с подвязанной бородой и наклеенными баками, исполнял роль содержателя харчевни; проезжими поэтами были молодой, еще не написавший в содружестве с Петровым «12 стульев» Ильф и Лев Славин, еще ходивший в студенческой фуражке. Оба они прикрывали свое смущение ухмылочками, баловством. Вокруг, за столиками, сидели другие юные и восторженные участники инсценировки, загримированные кто под матроса, кто под кучера; девушки пели разуценную песенку; а в самом дальнем углу, поблескивая стеклышками пенсне на изящном носике, следила с большим интересом за ходом пьесы молодая миловидная женщина. Многие из нас видели ее впервые. Но мы уже знали, что это Лида Суок, сестра Симы и Оли Суок, ставшая женой Багрицкого.

Гаснут свечи, пустеют столы. Подвыпившая компания поет:

Джен говорила: не езжай,
Мой милый, в путь опасный!
Пройдет апрель, наступит май,
И в щебетанье птичьих стай
Воскреснет снова мир прекрасный.
Но судно быстрое не ждет,
Оно расправит крылья,
И вновь направит свой полет
В кипучих волн водоворот,
Овеянный соленой пылью...
Прошел апрель, настал уж май.
Я сплю на дне песчаном.
Прощай, любимая, прощай
И только чаще вспоминай
Мой взгляд, встающий за туманом...

Позже это стихотворение появилось в печати в несколько иной редакции.

Женитьба Эдуарда насторожила нас. Что будет дальше? Еще никто из нас не обзавелся семьей. Насколько совместимо это с вольной судьбой поэта?

Лидия Суок не всегда скрывала свое непонимание стихов мужа, даже некоторую тревогу.

— Странные стихи! — робко признавалась она сестрам, одна из которых была замужем за Юрием Олешей. — Какая-то лестница на небо, гостиница «Спокойствие сердец»¹, там — бог, перед ним голодный поэт... Отдельные русские слова... Я ничего не понимаю.

— Что поделаешь! Мы тоже ничего не понимаем. Но они все так пишут, — утешали Лидию Густавовну искушенные сестры.

Кое-кто горячился, слыша эти признания. Багрицкий добродушно усмехался.

¹ В поэме «Трактир».

В эти годы еще не было единства настроений, дел и целей. Багрицкий еще не расстался с властью образов, форм, звуков, на которых он был воспитан. Долго со всем жаром молодой души он искал подтверждения лишь тому, что запало ему в сердце при первом — книжном — соприкосновении с поэзией. Думаю, не будет ошибкой сказать, что ни «персидский юход», ни агитационная работа Багрицкого на фронте и в газете еще не ощущались им как достаточная основа для творчества, эти дела и впечатления еще не пересилили впечатлений юности и любимых книг. А новых значительных происшествий в молодой семье не случилось и как будто надолго не предвиделось — разве только рождение сына.

Сын Сева родился у Багрицких в 1922 году. Для товарищей Эдуарда Георгиевича это было ново и интересно. Начались посещения «святого семейства», как не без основания принято было называть эту семью. В старом одесском дворе, в доме с шаткими деревянными лестницами и остекленной галереей, обрамляющей весь квадрат внутренних стен, где-то под чердаком помещались две комнатки. Нередко ранним утром, когда летнее солнце юга только начинало согревать камни, кто-нибудь из нас по дороге в редакцию, а то и без всякого повода, забегал к Багрицкому. Вот шаткая лестница уже позади, перед гостем новое затруднение. Накануне прошел ливень. Передняя комната в «квартире Багрицких» превращена в непроходимую лужу. Из второй комнаты доносится силловатый, астматический басок Эдуарда.

Багрицкий читает стихи:

Из-за свежих волн океана...

Гость, не решаясь перешагнуть через лужу, кричит:

— Эй, там, на переправе!

Голос Эдуарда затих. В дверях с доской в руках Лида.

— Отойдите, забрызгает,— предостерегает она и ловчится перекинуть доску через лужу.

Доска подхвачена, гость у яслей «святого семейства».

Картина неустроенности, веселой нищеты.

Для полноты картины у корыта, служащего колыбелью, не хватает только осла.

Эдуард всегда рад гостю, он оживляется.

— Садись,— приглашает он.— Что написал?

— Притчу в духе Руми «Поэт и его стихи». Ответ на твоего «Голландца». Но погоди, ты стихами оклеиваешь окна!

Половина окна заклеена газетой. Солнечный луч, просветив бумагу с колонкой стихов, падает в колыбель младенца.

Эдуард усмехается:

— Это мои стихи. Пусть. Так прозрачней их недостатки...

Гость обещает принести в следующий раз стекло. Эдуард слушает новые стихи «в духе Руми». По выражению его лица уже видно, что готовится какой-то каламбур.

Не совсем обычная обстановка семейной квартиры нисколько не смущала ни хозяев, ни гостей, не причиняла, собственно, никакого беспокойства, хотя и нельзя сказать, что Багрицкий был беззаботным мужем и отцом. Так, он брал на себя поначалу нелегкую задачу баюкать Севку под ритмическое чтение стихов. Чаще всего скандировался гумилевский «Дракон», видимо, хорошо отвечающий этой задаче.

Из-за свежих волн океана
Красный бык приподнял рога,
И бежали лани тумана
На скалистые берега...

Через много тысячелетий
Где-нибудь за Млечным путем
Он расскажет встречной комете
О таинственном слове Ом.

Я неспроста упомянул о первоначальных трудностях в этом деле. Но вскоре малютка привык к спокойному, ритмическому чтению, и не было случая, чтобы ко вре-

мени паузы, наступившей после слов «Через много тысячелетий», Севка уже не спал. Иногда теца заменял гость. Нередко гость привлекался в спутники при добывании очередного гонорара или пайка. Жена снаряжала мужа в поход, а это не всегда было простым делом — и потому, что заставляло Багрицкого пошевелиться, и потому, что не всегда была возможность одеть его по сезону. Наконец Эдуард одет, длинные худые ноги обернуты солдатскими обмотками австрийского образца — это мужское дело выполнял Эдуард Георгиевич с большой ловкостью.

Когда продовольственные дела в «святом семействе» улучшались, там любили приговаривать, пародийно прихлопывая ладонью о ладонь: «Хлеб на хлеб!» Жест и выражение, распространенные среди южан, означают, что к достатку тяготеет такой же достаток.

К наступлению зимы удалось перевезти «святое семейство» с чердака в полуподвальное, но сухое и сравнительно теплое помещение в полудачном тихом районе города с фонтанами во дворах.

К вечеру в новом помещении стало очень уютно. Севку уложили не в корыто, а в бельевую корзину. Эдуард просто и весело взгромоздился на привычный топчан.

Уже прочитаны новые варианты «Трактира» и «Чертовых кукол», новые стихи гостей, и в этот вечер впервые заговорили о том, что неплохо бы съездить в Москву — людей повидать и себя показать. К этому времени литературные сверстники Багрицкого стали москвичами, и кое-кто уже занимал довольно прочное место в литературе: Катаев печатался в лучших изданиях, работали в «Гудке» Ильф и Юрий Олеша. Имела заслуженный успех Адалис. То и дело встречались в журналах стихи и рассказы поэтов и поэтесс, имена которых были известны на юге... Не пора ли отстающим расправить крылья, а если уж начинать, то кому же, как не Багрицкому!

Багрицкий не был человеком дерзновенным в житейском смысле этого слова. Несомненно, тут сказывалась и развивающаяся в нем болезнь. Так же, как не любил он оставаться в одиночестве, он неохотно менял насиженное место и при всем любопытстве к жизни, к людям, к литературной среде был скорее робок, чем самоуверен, при новых знакомствах, а что касается крутых перемен в укладе жизни, то это его просто отпугивало. Думаю, ему легче было сделать какой-нибудь решительный шаг внезапно и сразу, чем обдуманно и планомерно. В этих случаях за него думали и действовали другие. Так получилось и на этот раз.

В созревающем замысле поездки в Москву не последнее место занимал вопрос экипировки. Начинается «История о бекеше»... Решено было приобрести Эдуарду настоящую бекешу. Почему бекешу? Да потому, что именно об этом наряде, равно как и о высоких сапогах, мечтал он в последнее время.

Событие это относится к осени 1922 года. К тому времени уже забывались недавние миллионы: новая экономическая политика укрепила советский рубль, счет пошел на червонцы и рубли, даже копейки. Тщательный подсчет вывел стоимость бекешки рублем в сорок пять — пятьдесят. Эти деньги требовалось добыть.

Нередки были вечера в рабочих и партийных клубах города. Участники бесплатных литературных выступлений вполне удовлетворялись одной приятной возможностью читать перед аудиторией, никто, кроме Багрицкого, еще не видел в своем стихотворчестве источника к существованию. Писали, право, как птицы поют — без какой бы то ни было оглядки, без привычки видеть написанное в печати.

На этот раз литературный вечер был устроен в городском клубе платный. Билет стоил двадцать копеек. За новые стихи, напечатанные в газете, редакция, посвященная в наши общие планы, выплатила повышенный гонорар. Если не изменяет мне память, вместо двадцати по тридцати копеек за строку.

Капитал был создан. Отправились на знаменитый одесский Новый базар. В ту пору там с утра до вечера кипела барахолка. После долгих поисков и торгов купили вполне достойную бекешу благородного коричневого оттенка с таким же воротником.

Все удалось на славу! Под цвет воротника подобрали папаху.

Это был первый выезд Багрицкого в Москву, принесший ему первые признания, но для окончательного переезда решимости пока не хватало.

В исторической своей бекеше, весь увешанный клетками с птицами, он все еще ездил

с птицеловами лишь на пригородные станции Одессы. Удача в делах птице- и рыбоводства всегда была для Эдуарда Георгиевича таким же важным делом, как удача в литературе. В этих милых волнениях среди щебечущих птиц и немотных рыб он находил отдых и утешение.

К зиме 1925 года созрело решение всего семейства Багрицких переезжать в Москву, и тут возникает «История о добродетельном лавочнике»...

На одесской Молдаванке, на улице Дальницкой, рядом с домом, куда после полуподвала на другом приморском краю города вселились Багрицкие, помещалась мелочная бакалейная лавочка. Оставшийся для истории человеком безыменным, содержатель лавочки был «святым человеком». К моменту, когда Эдуард Георгиевич выехал в Москву для того, чтобы перевезти потом туда и семью, долг Лидии Густавовны этому лавочнику уже перевалил за восемьдесят рублей. Лавочник рассматривал ее как несчастную женщину, брошенную с малолетним сыном беспутным мужем-поэтом. Он сочувствовал печальной судьбе, и никто не спешил изменить ложное впечатление.

Подробный рассказ о добродетельном лавочнике взволновал Эдуарда Георгиевича. Эдуард не один раз рисовал фантастическую картину, как лавочник появляется на пороге домика в Кунцеве и какой происходит диалог.

— А! Мсье (следует фамилия лавочника), это вы! — радостно восклицает должник-поэт.

— Да, мсье Багрицкий,— хмуро говорит кредитор.— Это я. Думаю, вам нехорошо спится.

— Ах, без лишних слов. Вы меня не поняли... впрочем, поэты всегда остаются непонятыми... Но я вас понимаю. Как сказал наш славный земляк, не будем размазывать кашу по столу. Лидя! Позвони по московскому телефону в Кремль, в Академию наук — пускай немедленно пришлют с курьером десять тысяч... Севка, перестань резать дяде штаны!.. Видите, мсье, эту папку с бумагами?

Озадаченный гость теряет воинственность. Эдуард продолжает:

— Это моя новая поэма «В последнем кругу Ада», за которую Академия наук платит мне тридцать тысяч рублей. Сейчас пришлют аванс — десять тысяч. Все отдаю вам. Да-с...

Почему Эдуарду хотелось, чтобы в этом акте справедливости принимала участие Академия наук, не помню. Но сущности диалога не извращаю.

Итак, Одесса была оставлена, начался период, который принято называть «кунцевским».

Семья поселилась на глухой Овражьей улице, в доме женщины, окрещенной кличкой «Манька Рябая». Комнатка с перегородкой оценивалась в тридцать рублей в месяц, и требовалось уплатить вперед за два месяца. Комнатушку взяли в долю с поэтом Олендером, который поселился за перегородкой. Из постельных принадлежностей в распоряжении Олендера находилась огромная семейная подушка. В первый же вечер из этой подушки, по соглашению с Семой Олендером, было сделано три или даже четыре.

Наутро проснулись весело.

Домик «Маньки Рябой» вполне мог сойти за «домик на курьих ножках».

Мы шли на новоселье с Ольгой Густавовной, сестрой Лидии Густавовны. Найти обитель Багрицких помог лишь случай. У серой, невзрачной, с покосившимся оконцем халупки ремья ревел мальчишка. Смысл горькой жалобы состоял в том, что малыш несправедливо обижен другим мальчиком. Сквозь всхлипывания слышались слова:

— Ваш Севка... Ваш Севка...

— Все ясно: тут их дом! — воскликнула Ольга Густавовна.

И в самом деле в оконце показалась огромная всклокоченная голова, затем протянулась знакомая заголенная белая рука с клеткой, послышался голос Эдуарда:

— На! Возьми! Только перестань реветы!

Все было ясно, все становилось на свои места...

Одно за другим являлись первые кунцевские стихотворения. Широкою известность приобретала «Дума про Опанаса». В издательстве «ЗИФ» вышло первое издание «Юго-

запада» в стильном переплете с гравюрой Дюрера, изображающей средневековую мужскую баню. Выбор был сделан по совету В. И. Нарбута, в то время заведовавшего издательством. Он считал, что Дюрер соответствует духу сборника. Но многие недоумевали и спрашивали: «Почему к стихам баня, и где тут вода?» Багрицкий, посмеиваясь, отвечал: «Не сомневайтесь! Это баня, а вода там, раскройте книгу».

Багрицкий стал желанным гостем в любой московской редакции.

Домик в Кунцево, третий после пристанища у «Маньки Рябой» домик, принадлежавший «человеку предместья», у которого семья снимала две комнатки, охотно посещали видные писатели и поэты.

Многие современники Багрицкого признают его пietet. Это случилось как-то сразу и безоговорочно, и над этим тоже интересно задуматься.

Профессиональный авторитет? Несомненно. Обаяние личности? Конечно. Не удивительно тяготение к талантливому человеку. Но вот что мне кажется еще: тут очень влияло то новое ощущение профессионализма, которое вносил Багрицкий в московский литературный быт, в среду своих современников благодаря тому, что он «вошел в литературу» не так, как начинало большинство молодых людей на глазах друг у друга — литературный кружок, рабочий клуб, споры в редакциях, споры в пивной...

Всех москвичей объединяла одна черта, одно свойство: литературная, профессиональная жизнь на виду, а «личная», «семейная», «домашняя» где-то на стороне, настолько на стороне, что никому та, другая, жизнь не представлялась сущей, хотя многие при этом жили под одной крышей. Багрицкий явился иначе. Как иногда говорил он сам, он явился «всем кодром», семьей, домом и сразу внес новизну в представления о поэте и его труде. Узнавали Эдуарда Багрицкого и одновременно его дом, семью. Это было и ново и странно.

Багрицкий и литература стали ходить друг к другу в гости, сблизившись домами, и это сразу придало знакомству особенный характер. Такое знакомство очень нравилось, особенно молодым. Сочетание «богемности» с «семейственностью» оказалось притягательным.

Что помогало Багрицкому почти безошибочно угадывать людей способных, талантливых? Ведь широко известно, как много он успел сделать в этом отношении. Среди более чем ста сохранившихся рецензий на сборники стихов молодых поэтов страны есть и прозорливые рецензии на первые или ранние стихи Дмитрия Кедрина, Алексея Суркова, Александра Твардовского, на книгу Лапина и Хацревина «Сталинабадский архив», сочетающую прозу с отличными стихами.

Стараясь сжато выразить, что было общим для всех этих отзывов, для всех этих «путевок в литературу», можно сказать так: он радовался появлению стихов, в которых чувствовал отзвук времени, борьбу нового со старым, разумеется, при условии обязательного качества — поэтического таланта.

И от себя и от других Багрицкий требовал трудолюбия, разумной ответственности, безоглядного напряжения сил. Он неплохо знал историю Великой французской революции и горячо говорил:

— Сен-Жюст в Конvente утверждал: «Равнодушие — это страшный ущерб для республики». Он призывал карать не только преступников, но и равнодушных. Не должно быть равнодушных и у нас, — говорил Багрицкий, — в нашей поэзии. Мы должны доискиваться до корней действительности. Уметь разбираться в противоречиях, жить творчески вместе со всей страной. Это дается не сразу, я-то хорошо это знаю, и, может быть, как раз поэтому мне дорог человек сегодняшний. Но не тот, кто отделяется лозунгом, одной злободневностью, а тот, кто и чувствует и думает глубже... Легко прибегнуть к готовому лозунгу, но это — та же маскировка равнодушия...

И дальше мысли сводились к тому, что пора, дескать, молодежи смотреть на себя серьезно. Только через сознание собственного достоинства, уважение к своему делу можно возвысить работу молодых до уровня признанной литературы.

Багрицкий высказывал свои взгляды на литературный быт:

— Напрасно Уткина хают. Воронский написал о нем: «Не поэт, а драгоценная ваза, идет и боится себя расплескать». А мне нравится эта черта в Уткине. Он держится, как Байрон. Как лорд. Это хорошо. Поэт должен быть таким...

— Хлебников ходил в мешке,— возразили ему однажды.

— Это вы знаете,— последовал ответ,— но не знаете, что в мешке он ходил не всегда. В свои студенческие годы он ходил не в мешке, не в тужурке, а в сюртуке на шелковой подкладке и писал при этом революционные стихи и предсказывал даты революции.

О молодых поэтах Эдуард всегда говорил с воодушевлением. Любопытная черта: когда Багрицкий о ком-нибудь говорил плохо, это звучало неубедительно, говорил хорошо — всегда убедительно. А еще удивительнее он говорил о самом себе. Скажет: «Это написано плохо... пишу плохо»,— и в его словах не чувствуется ни доли кокетства. Редкая способность судить о себе и скромно и искренне! Он роптал: «Не умеют наши поэты чувствовать масштабы совершающихся событий»,— но этот ропот обращал и к себе, к своей неподготовленности выразить чувство современности так, как ему хотелось бы.

Вместе с тем по всей своей натуре Багрицкий был расположен к веселому времяпрепровождению, а в молодости даже не прочь был прикинуться забулдыгой. Еще бы, ведь это соответствовало тому образу поэта-песнотворца, который привлек его в легендах о Тиле Уленшигеле!

Веселое вспоминать весело! Шла первая всесоюзная переписка. К Багрицким пришла девушка с опросным листком. Ответ Эдуарда на вопрос о его профессии заставил растеряться даже жену.

— Канатоходец! — решительно отвечал Багрицкий девушке с опросным листком.

Видно, Эдуард был под впечатлением «Трех толстяков» Юрия Олеши, и он так красноречиво рассказал о тайнах своей профессии, что милая девушка с сожалением ушла из дома «канатоходца».

К этому периоду относится и кунцевская «История о сватовстве».

Ретроградный дух семьи «человека предместья», в доме которого жили Багрицкие, занимал всех нас. Созрел своеобразный заговор против этого быта. Решили во что бы то ни стало превратить мещанскую усадьбу в «гостиницу для путешественников в прекрасном». Каким образом? Присватать с этой далеко идущей целью старшую дочь, крепкую, румяную, шустрю девицу на выданье. Кто был жених? Складный паренек «с высшим образованием». Автограф Багрицкого на свежем экземпляре «Юго-запада» гласил, что подарок делается «будущим шафером» «в чайнии грядущей свадьбы...».

Свадьба не состоялась, но другое серьезное происшествие в семье «человека предместья» послужило поводом к стихотворению Багрицкого «Смерть пионерки».

Трубы. Трубы. Трубы.

Подымают вой.

• • • • •

Валя, Валентина,

Видишь — на юру

Базовое знамя

Вьется по шнуру.

Умерла младшая дочь «человека предместья» — пионерка, умерла так, как рассказано в стихотворении.

Серьезное время наступило для Багрицкого. Все отчетливее, все настойчивее, а главное, все внушительнее звучит давний и постоянный мотив его поэзии: поэт и действительность.

В 1929 году написано стихотворение «Вмешательство поэта». В печати оно появилось с подзаголовком «Ответ критику» и с эпиграфом: «Багрицкий — романтик, начавший лиять». Из журнальной статьи».

Багрицкий полемически отвечал критику А. Лежневу, выступившему со статьей «Разговор в сердцах». Чем же был недоволен критик, чего он требовал и как отвечал ему поэт?

Он (то есть критик) возглашает:

— Прорычите басом,
Чем кончилась волынка с Опанасом,
С бандитом, украинским босяком.
Ваш взгляд от несварения неистов.
Прошу, скажите за контрабандистов,
Чтоб были страсти, чтоб огонь, чтоб гром.
Чтоб жеребец, чтоб кровь, чтоб клубы дыма...

Да, критик требует от поэта верности прежним романтическим мотивам, доставившим поэту успех и признание. Все это так, но, отвечает поэт:

...время движется. И на дороге
Гниют доисторические дроги.
Вульжником разъедена трава,
Электротехник на столбы вылазит,—
И вот ползет по укрошенной грязи.
Покачивая бедрами, трамвай.
...Я вижу, как взволнованные воды
Зажаты в тесные водопроводы,
Как захлестнула молнию струна.
Механики, чекисты, рыбководы,
Я ваш товарищ, мы одной породы,
Побоями нас нянчила страна!
Приходит время зрелости суровой,
Я пух теряю, как петух здоровый.
Разносит ветер пестрые клочки.
Неумолимо, с болью напряженья,
Вылазят кровянистые стручки.
Ключиче ошметки и крючки —
Начало будущего оперенья.

Прекрасное, полное энергии стихотворение!

А легко ли?

Думаю, что Бабель ошибался, когда оспаривал непрямой поэтический путь Багрицкого, хотел видеть в нем «прирожденного» поэта революции. Багрицкому было «прирождено» то, что помогало не одному ему в трудные годы: отвращение к пошлости.

Стать поэтом революции, найти героев в механиках, чекистах, рыбоведах, пионерах и рабфаковцах было нелегко. Мы, современники и сверстники Багрицкого, люди одного с ним поколения, знаем, как это было. Для такого решения, для готовности «вылинять», с тем чтобы «с болью напряженья» заново опериться, нужно немало передумать. Нужна для этого зрелая вера в себя и острое чувство своего призвания, подобно тому как нужна сила духа для спокойного согласия на опасную для жизни операцию.

Всю жизнь Багрицкий собирался на большую охоту в дикие леса. Он наслаждался этим не сполна, но все же несколько раз ему удалось побывать на серьезной охоте то в Мордовии, куда он ездил в «охотничий домик» к Тарасову-Родионову, то в Белоруссии, куда он ездил к давним своим друзьям Шульцам. Глава этой семьи, борodatый старик Шульц, в прошлом начальник Пробирной палаты, любил Эдуарда Георгиевича и как поэта и как зоолога. Шульц и сам был человеком весьма занимательным. Достаточно сказать, что по его квартире бегали лисы. Однажды Багрицкий ходил на охоту на кабана с сыновьями старика — так появилась «Трясина». Попутно вдвоем с писателем С. Гехтом они выступили в Минске с литературным чтением в саду имени Проф-интерна. В дальних поездках Багрицкому всегда был нужен спутник и собеседник. Сохранилась афиша с тезисами доклада Багрицкого:

- 1) В башне из слоновой кости: Вяч. Иванов, Вал. Брюсов, К. Бальмонт.
- 2) Недобрая тяжесть: О. Мандельштам, Анна Ахматова, Н. Гумилев.
- 3) Освобожденное слово: В. Хлебников.

- 4) Вздыбленная улица: В. Маяковский.
 5) Слово, как самодело: Н. Асеев.
 6) Конструктивисты — инженеры сюжета: И. Сельвинский.
 Автор читает: Думу про Опанаса, Контрабандисты, новые стихи.

Другой раз друзья повезли его с ружьем и собакой в северные леса, в гости к записному охотнику-вятичу. Из всех состоявшихся и несостоявшихся — воображаемых — поездок эта оставила самый долгий след. Там снимались на привале. Об этом он и сам говорил охотнее, чем о поездках для чтения стихов, и очень дорожил снимком: сидит он тут не на обычном, неизменном топчане, крытом дешевым ковриком, сложив ноги по-турецки, выложив кулак на стол перед шепоткой абиссинского порошка, — нет, в этом случае Багрицкий сидит на бревне, у него в руках ружье, на ногах болотные сапоги, у ног — собака; вокруг него славные бывалые люди...

Дальше едва ли не самым заметным из внешних событий становится переезд из Кунцева в городскую квартиру, в новый писательский дом в проезде МХАТа.

Светящиеся солнцем аквариумы в новой, чистой, сухой квартире были оборудованы какими-то насосиками, хозяин содержал самые дорогие породы рыбок. Об этом сказал В. Шкловский: «Слава принесла электричество... мотор, который подкачивал рыбкам то, чего не хватало Эдуарду, — воздух».

...Все реже Эдуард Георгиевич спускался с шестого этажа для похода в какую-нибудь редакцию. При разговоре с гостями все чаще его посеревшая голова склонялась над ядовитым дымком астматолоа, абиссинского порошка, смягчающего удушье. Но никогда ни на минуту не исчезало воодушевление в глазах и голосе, едва только дело касалось стихов, рыб или птиц, открытий и исследований. Нет, у Багрицкого чувство страха перед неизбежностью не восторжествовало, не обессилило оно человека...

Крылами раз! — и на забор с размаха.
 О, злобное петушьё бытие!
 Я вылинял! Да здравствует победа!

Все силы поэта сомкнулись лишь для того, чтобы неограниченно раздвинуть горизонты. Слова зрелой души становились словами поэзии. В этом участвовало все — и ум, и чувство, и жизнь, и книга, и природа, и люди, и знание, и труд. Так после «Думы», «Вмешательства», «ТВС» появились стихи «Последняя ночь», «Человек предмета», «Смерть пионерки», «Дума про Опанаса» (либретто оперы). Достигнуто желанное и счастливое соединение смысла, страсти и стиля — этих трех «с», что всегда сообщает голосу поэта полнотворность, неповторимое своеобразие.

Сейчас, оглядываясь, мы видим, что энергия творчества определяла и образ жизни Багрицкого и его внутренний облик. Она влекла к нему людей. Она разжигала в нем жажду и любовь ко всему мудро-прекрасному, она дала ему верное ощущение красоты, способность видеть ее и там, где другие уже не хотели ее видеть — не хотели или не умели из-за вольной или невольной предвзятости или ограниченности.

Вот почему с равным упоением и художественной убедительностью Багрицкий читал и «Слово о полку Игореве», и Ломоносова, и Пушкина, и Блока, и таких неравноценных, но безусловных поэтов, как Константин Случевский, Иннокентий Анненский или Валерий Брюсов.

На литературном вечере в Москве, посвященном памяти Багрицкого, я слышал утверждение одного поэта, считающего себя в какой-то мере учеником Багрицкого, уважающего его память, что Багрицкий, мол, не любил печальных стихов.

Что это значит — печальные стихи?

Я вас любил: любовь еще, быть может,
 В душе моей угасла не совсем...

Это печальные стихи?.. Может быть, печальные стихи — это те стихи, в которых говорится о печали? Например:

Но, как вино — печаль минувших дней
 В душе моей чем старе, тем сильней.
 Мой путь уныл.

А следующие стихи — позволительно ли назвать их печальными?

Увы, мой друг, мы рано постарели
И счастьем не насытились вполне.
Припомним же попойки и дуэли,
Любовные прогулки при луне.

Женаты мы. Любовь нас не волнует.
Домашней лирике приходит срок.
Пора! Пора! Уже нам в лица дует
Воспоминаний слабый ветерок.

И у сосновой струганой постели
Мы вспомним вновь в предсмертной тишине
Веселые попойки и дуэли,
Любовные прогулки при луне.

Это стихи самого Багрицкого, одно из посвящений к «Трактиру».

Багрицкий любил это стихотворение до последних дней — и трудно не любить эти стихи, их трогательный смысл, их светлую, прозрачную музыку.

Багрицкий любил и радостные и «печальные» стихи. Он любил хорошие стихи. Он любил поэзию. Он любил и Державина и Ахматову. Больше того: он любил стихи Есенина и Киплинга. Больше того! Возможно, мое утверждение прозвучит дерзновенно, но он любил Шиллера или Байрона не меньше, чем Маяковского или Николая Тихонова. Любил их такой же любовью.

И могло ли быть иначе?

Известно, что из-за поспешности даже при самых лучших побуждениях могут произойти серьезные недоразумения. Так случилось с поэтом, противником печальных стихов.

Был однажды случай такого рода. Пригласили Багрицкого в оперу. Сейчас уж не вспомню, что ставили. Эдуард Георгиевич молчаливо и хмуро просидел первый акт и вдруг спрашивает:

— А пожар будет?

— Какой пожар?

— На сцене... Ну, как в «Дубровском».

По ходу этого спектакля пожара не предвиделось.

— Ну, тогда давай пойдем: скучновато.

Дает ли этот эпизод повод сказать, что Багрицкий не любил музыку? Нет, было понятно, что Багрицкому трудно сидеть в духоте по той же причине, по какой, к его несчастью, он вынужденно лишался других удовольствий и впечатлений. И тут, как нередко, он поспешил шуткой заслонить свое истинное отношение к делу; не сомневаюсь, что в случае с декларацией о «печальных» стихах было что-нибудь в таком же роде.

Появляются и еще более досадные ошибки, оговорки, недоразумения, заставляющие напомнить об осторожности.

Например, к двадцатипятилетию траурной даты смерти Багрицкого в московской газете «Ленинское знамя» появилась заметка о домике в Кунцево, домике, уже отмеченном мемориальной доской. Легковерный репортер со слов хозяйки дома, рассказавшей ему о славном жильце, авторе «Человека предместья», сообщает: среди многих гостей Багрицкого нередко бывал Маяковский. Позже газета исправила ошибку: не только Маяковский не бывал в гостях у Багрицкого, но они не были близко знакомы. Единственная их встреча состоялась в 1924 году, да и то заочно. В гастрольной поездке Маяковский выступил на одной из одесских эстрад, здесь он публично осудил стихи Багрицкого за их традиционную форму. С. Гехт в своих воспоминаниях замечает, что в дальнейшем Маяковский очень сожалел о причиненной Багрицкому неприятности. Лефовская «принципиальность» Маяковского понятна, но так же очевидно, что Маяковский просто недостаточно хорошо знал Багрицкого, от его внимания ускользнули непрерывное брожение, неуспокоенность, разноречивость Багрицкого, проистекающая от этой неуспокоенности, ничего общего не имеющая с принципиальным консер-

ватизмом. Это подтверждается также и неизменно восторженным отношением Багрицкого к автору «Облака в штанах».

И трудно сказать, что больше вредит правильности представлений о жизни и характере поэта — необдуманное заявление о его якобы ограниченных литературных вкусах или легкомысленное обращение с его творческой и житейской историей. Вероятно, вредит и то и другое. Скорее всего, не нужно ни того, ни другого.

Очень жалко, что и лирический талант Константина Паустовского поддается иногда соблазнам легкого письма. Я имею в виду его повесть «Время больших ожиданий», точнее — ту часть ее, в которой выступает Багрицкий, не затрагивая других более или менее удачных догадок, вымыслов и импровизаций, составляющих, по замыслу повести, картину жизни Одессы в 1921 году.

Багрицкому в это время было двадцать шесть лет. Он еще не был изнурен болезнью, в нем еще играл молодой задор, он даже не чурался легкой поэтической рисовки. Это очень привлекательный образ. Ничего в этом роде не удалось выразить Паустовскому. Пробуя ввести в повесть Эдуарда Багрицкого, автор невольно изображает его таким, каким узнал он его значительно позже — в положении признанного литературного старейшины, с манерами, унаследованными от веселой, беспечной Одессы. Это смещение, эта необоснованная вольность не сходит безнаказанно. Она и тут очень вредит художественной выразительности и ощущению достоверности, столь важному качеству мемуарной художественной прозы. Образ Багрицкого не удался. Образа и нет, а есть только прием привлечения к делу удобного для автора персонажа, как в театре масок вводится в пьесу та или иная маска, нужная для данной сцены.

Тревожит возможность развития такой склонности к чрезмерно вольному пониманию поэта и его судьбы — от кого бы это ни исходило.

Приближалась весна 1934 года. Среди товарищей Багрицкого по-деловому заговорили о том, что Эдуард Георгиевич нуждается в курсе лечения в Германии, что ему будет устроена эта поездка. Ожидание этого действительно большого и важного события волновало всю семью, а Эдуарда Георгиевича, разумеется, особенно: родина поэтов-романтиков, поэтов эпохи «бури и натиска», издавна занимала воображение Багрицкого. Ожидали потепления, о поездке говорили, как о деле решенном.

Но 14 февраля Багрицкий заболел двухсторонним крупозным воспалением легких. Более десяти лет тому назад Багрицкий совладал с этим же весьма опасным для астматиков заболеванием, но уже тогда ему сказали, что повториться это не должно.

На следующий день решено было перевезти больного в филиал Кремлевской больницы на Пироговской улице.

Багрицкий уже не в силах был держаться на ногах, его снесли на носилках. Дома на столе осталась тетрадь с недописанной строкой поэмы «Февраль» — произведения, над которым поэт тогда трудился, произведения мощного, на большом дыхании. Он словно напропорчил себе. Помните заключительные слова из стихотворения «Последняя ночь»?

Но если, строчки не дописав,
Бессильно падет рука...
Пусть юноша (вузовец, иль поэт,
Иль слесарь — мне все равно)
Придет и встанет на караул,
Не вытирая слезы.

Так и совершалось...

О чем он вспоминал, о чем говорил в больнице?

— Кто кормит птиц? — спросил он жену, когда та пробовала покормить его творогом со сметаной.

Известны его ласковые слова, обращенные к медсестре: «Какое у вас славное лицо. Наверно, у вас было хорошее детство».

Умирая, он о смерти, кажется, не думал. В минуты прояснения он мечтательно

говорил о том, что откладывать поездку в Германию не следует, поездка своевременна как никогда.

Но для врачей и для жены надежды уже не было.

Утром шестнадцатого после долгого забытья Багрицкий медленно открыл глаза. Перед ним у койки стоял в халате румяный широколобый мужчина в очках, глядел внимательно и тревожно. Багрицкий узнал посетителя.

— Исаак Эммануилович,— проговорил он приветливо, пробуя улыбнуться, и опять забылся...

Исаак Эммануилович Бабель был последним, кто видел Багрицкого за несколько часов до смерти, кроме жены, сестер и врачей. «Ты, Лида, не бойся»,— это, кажется, были последние слова поэта, сказанные очень просто.

Багрицкий умер.

Удивились перемене, какая произошла в нем, когда его опять увидели— уже в гробу. Лицо его помолодело.

И почти все совершалось так, как было сказано им при жизни.

Вокруг много цветов, цветов московской зимы, особенно много гиацинтов, хризантем и левкоев. Яркие, утепляющие, даже слегка душные лучи «юпитера»; сдержанное гудение. По мягкому коврику шаги сменяющегося караула; слезы в глазах и признанных и негласных друзей.

Одного Эдуард не предвидел— эскадрон красной кавалерии, прибывший к клубу писателей по приказу Наркомвоенмора, последовал, цокая копытами коней, за гробом Багрицкого.

«Копытом и камнем испытаны годы...»



ПУБЛИЦИСТИКА

ОЛЕГ ПИСАРЖЕВСКИЙ

★

КАК ЖИВОЙ, С ЖИВЫМИ ГОВОРЯ

Публикуя письма Владимира Ильича Ленина, посвященные созданию первого государственного плана развития народного хозяйства страны, его соратник и друг, ученый-большевик Глеб Максимилианович Кржижановский взволнованно писал: «...Какое счастье было идти рука об руку с таким руководителем, каким был Владимир Ильич, и иметь возможность в трудные минуты прибегать к его мудрому совету! А мысль его неустанно работала по всем основным линиям наших хозяйственных и политических нужд, несла в состоянии великого напряжения свою незаменимую вахту».

И сейчас мы постоянно прибегаем к мудрому совету Ильича во всех наших делах и всегда находим в сокровищнице его мыслей умное, задушевное, направляющее слово.

Чем пристальнее вчитываешься, чем глубже вдумываешься в бессмертные строки ленинских творений — будь то научные обобщения, охватывающие целые эпохи развития человеческого общества и творческой мысли, или короткие, раскаленные стрелы неотразимой ленинской полемики, — тем больше открывается поводов для преклонения перед необычайной зоркостью ленинского взора. Эта его способность мгновенного проникновения в самую суть вещей и явлений, умение выхватить, отметить, подчеркнуть именно главные и определяющие черты сущего — чем объяснить, что с такой исключительной щедростью был наделен этот человек редчайшими дарами?

Огромной разносторонней талантливостью, остротой восприятия — всем тем, что составляет могучую силу ума? Несомненно, и этим.

Но также и высочайшей научной вооруженностью и убежденностью, подкрепляемой неустанной, непрерывной работой изучающей и обобщающей мысли. В своих воспоминаниях Г. М. Кржижановский подчеркивал «напряженный темп работы этого необыкновенного человека, который на наших глазах (речь шла о годах сибирских ссылок.— *О. П.*) не пропускал ни одного дня, чтобы так или иначе, но несколько продвинуться вперед в смысле расширения своего умственного багажа...». Не было таких разделов естествознания, которые не привлекали бы жадного внимания Владимира Ильича. Теория относительности Эйнштейна и гипотезы Вернадского о внутреннем строении Земли, подземная газификация ископаемых углей и новейшие достижения физиологии — вся жизнь науки, во всех ее уголках, представляла собой предмет его неизменного живого интереса.

В библиотеках Сорбонны и Берна он берет книги Ф. Даннемана «Как создавалась наша картина мира?», Л. Дармштедтера «Руководство по истории естественных наук и техники», А. Гааса «Дух эллинизма в современной физике», Э. Майера «Техника и культура», М. Ферворна «Биогенная гипотеза», Э. Абдергальдена «Синтез основных веществ клетки».

В январе 1904 года Ленин пишет из Женевы своей матери: «Я попрошу... купить мне некоторые книги. О русско-французском словаре я писал. Добавлю еще Сеचेва «Элементы мысли» (недавно вышедшая книга)».

Работая в Париже в 1909 году, Ленин делает заметки о книгах М. Планка «Принцип сохранения энергии», Л. Больцмана «Венские научные трактаты», Ф. Салиньяка «Вопросы общей физики и астрономии», Э. Рикке «Руководство по физике»...

И так всю жизнь!

С этой же стороны Ленина замечательно рисует случай, рассказанный академиком И. М. Губкиным. В период начала работ по нефтяной промышленности большое внимание уделялось изданию специального нефтяного журнала, называвшегося тогда «Нефтяное и сланцевое хозяйство». Все выходявшие номера этого журнала Губкин неизменно направлял Владимиру Ильичу. Посылалась ему и все более или менее интересные новинки в нефтяном деле. «Я должен покаяться пред светлой памятью дорогого учителя,— говорил Иван Михайлович,— у меня порою мелькала мысль, что вряд ли у него может найтись время для просмотра нашего чересчур специального журнала».

Велико же было его изумление, когда он получил от Ленина следующее письмо: «Главнефть тов. Губкин у».

3.VI.1921 г.

Просматривая журнал «Нефтяное и Сланцевое Хозяйство», я в № 1—4 (1921) наткнулся на заметку (с. 199) «О замене металлических труб цементным раствором при бурении нефтяных скважин».

Оказывается, что сие применимо при вращательном бурении. А у нас в Баку такое есть, как я читал в отчете бакинцев.

От недостатка бурения мы гибнем и губим Баку.

Можно заменить железные трубы цементом и пр., что достать все же легче, чем железные трубы, и что стоит, по указанию вашего журнала, «совершенно ничтожную» сумму!

И такого рода известие вы хороните в мелкой заметке архивного журнала, понимать который способен, может быть, 1 человек из 1.000.000 в РСФСР.

Почему не били в большие колокола? Не вынесли в общую прессу? Не назначили комиссии практиков? Не провели поощрительных мер в СТО?

Пред. СТО В. Ульянов (Ленин)».

«Меня это письмо изумило,— рассказывал впоследствии академик И. М. Губкин.— Мелкая заметка действительно была похоронена где-то на задворках журнального номера и напечатана петитом, и тем не менее Владимир Ильич ее отрыл и вытащил на солнышко».

Да, титаническая эрудиция, неистощимая любознательность — и это все важные характеристики ленинского ума.

Но, говоря о приложении любой силы, а особенно силы ума, мы не можем упустить из виду главное — ее направление.

Прислушаемся в этой связи еще к одному свидетельству близкого человека. «У нас в быту сложилось как-то так,— вспоминала Надежда Константиновна Крупская,— что в дни его рождения мы уходили с ним куда-нибудь подальше в лес и на прогулке он говорил о том, что его особенно занимало в данный момент. Весенний воздух, начинающий пушиться лес, разбухшие почки — все это создавало особое настроение, устремляло мысль вперед, в будущее хотелось заглянуть. Остался в памяти один такой разговор в последние годы его жизни.

...Сначала он говорил о разных текущих делах, но когда мы глубже зашли в лес, он замолчал, а потом стал говорить — в связи с одним изобретением — о том, как новые изобретения в области науки и техники сделают оборону нашей страны такой мощной, что всякое нападение на нее станет невозможным. Потом разговор перешел на тему о том, что, когда власть в руках буржуазии, она направляет ее на угнетение трудящихся, что, когда власть в руках сознательного организованного пролетариата, он направит ее на уничтожение всякой эксплуатации, положит конец всяким войнам. Ильич говорил все тише и тише, почти шепотом, как у него бывало, когда он говорил о своих мечтах, о самом заветном...»

Вот то, что рождает невиданное напряжение познающей, созидющей мысли,— присущие гению собранность воли, всепоглощающая устремленность к великой цели. Надежда Константиновна говорит об этом: «...все у него было подчинено одному — борьбе за жизнь для всех светлую, просвещенную, зажиточную, полную содержания, радости. Больше всего его радовали успехи в этой борьбе. Личное у него сливалось само собой с его общественной деятельностью».

Именно этот чудесный монолитный сплав мысли и чувства имел в виду Максим Горький, когда писал, что для него было исключительно дорого в Ленине именно это его чувство непримиримой, неугасимой вражды к несчастьям людей, его яркая вера в то, что несчастье не есть неустранимая основа бытия, а — мерзость, которую люди должны и могут отместить прочь от себя. «Я бы назвал,— писал Горький,— эту основную черту его характера воинствующим оптимизмом материалиста. Именно она особенно привлекала душу мою к этому человеку,— Человеку — с большой буквы».

Как естественно, как просто и в то же время как величественно раскрывает Горький в этом портрете обаяние этой сложной души, этого необъятного, всепроникающего ума...

И ведь действительно всепроникающего!

Если остаться в сфере естествознания и техники и ограничиться здесь лишь несколькими примерами, какое изумительное разнообразие ленинских интересов обнаружат они! И какую в то же время необычайную прозорливую точность выбора «точки прицела» его интереса. В поле ленинского зрения всегда самые эффективные, самые перспективные средства приближения, достижения великой цели — счастливого коммунистического будущего человечества.

Много раньше, чем прославленные специалисты прикладной электротехники, именно с этих — социальных — позиций разглядел Ленин победные перспективы универсального передатчика энергии, наиболее гибкого и мобильного источника двигательной силы — электричества. Не буду приводить здесь общеизвестных ленинских высказываний по этому поводу, но главную их особенность следует все же подчеркнуть.

Яркость, полнота ленинских предвидений в этой области определялась тем, что данные техники он, как всегда и во всем, множил на политику. Это отметил Н. С. Хрущев, говоря о том, что в знаменитой ленинской формуле: «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны» — «выражена сущность марксистского подхода к строительству коммунизма, в неразрывном единстве взяты вопросы о материально-производственной базе коммунистического общества и политической форме государственной власти, призванной осуществить переход от капитализма к коммунизму».

И как везде и во всем, ленинское предвидение, ленинская мечта («Да, наш родной Ильич был мечтателем», — говорил Н. С. Хрущев на Всесоюзном совещании по энергостроительству) были действенными и активными. Уже после того, как был создан план ГОЭЛРО, великий кормчий революции особую заботу проявлял о том, чтобы с ним был ознакомлен Третий конгресс Коминтерна. Ленин требовал мобилизации всех инженеров для чтения лекций, обучения широких слоев населения обращению с электричеством. Он торопил своих соратников с выпуском популярных очерков, брошюр, разъясняющих основные задачи электрификации.

План ГОЭЛРО был не только планом электрификации, но и первым общехозяйственным планом, построенным на прогрессивнейшей энергетической основе, развивавшим ленинские идеи, заложенные в «Наброске плана научно-технических работ», относящейся к 1918 году. В этом «Наброске» предусматривалось систематическое изучение производительных сил России, прежде всего с целью более рационального размещения промышленности, приближения ее к источникам сырья.

По прямому указанию Ленина, в осуществление этих установок, были развернуты исследования в области Курской магнитной аномалии. Известный деятель советского здравоохранения Н. А. Семашко вспоминал, как в 1922 году, уже будучи серьезно больным, Ленин требовал сообщений о ходе этих изысканий. Было установлено, что привлеченный к этой работе видный физик академик П. П. Лазарев сделает краткий доклад, который не мог бы утомить Владимира Ильича. Однако, стоя перед картой, на которой были обозначены пункты разведочного бурения, академик увлекся и проговорил дольше, чем было условлено. «Я делаю ему устрашающие жесты и упрекающие гримасы, — рассказывал Н. А. Семашко, — но он не останавливается. Тогда я пытаюсь прервать доклад, но Владимир Ильич продолжает слушать с загоревшимися глазами и после доклада засыпает академика Лазарева массой вопросов. Он просил тогда его

сообщать ему ежедневно краткой рапортной о ходе работ и о нуждах, и с тех пор работы быстро двинулись вперед».

По инициативе и при поддержке Владимира Ильича изучались и пропагандировались новые методы добычи торфа. Отцом советской торфяной техники был талантливый инженер Р. Э. Классон. Владимир Ильич с живостью подхватил выдвинутую Классоном идею гидравлического способа добычи нефти. С помощью Ленина за короткий срок это тогда еще весьма незрелое детище стало твердо на ноги.

В самых первых скромных опытах радиотелефонных передач Ленин прозорливо распознал огромное будущее радио, этой «газеты без бумаги и «без расстояний». Проблема беспроволочного вещания постоянно находилась в том — весьма, как мы видим, обширном! — круге вопросов, за состоянием которых Владимир Ильич следил неотступно. И здесь он проявлял осведомленность, поражающую специалистов. Когда в 1921 году инженер П. А. Остряков, руководивший строительством первой советской радиовещательной станции, показал Ленину образец отечественной электронной лампы, то объяснять ее назначение оказалось совершенно излишним, — в том убеждали ответные реплики. «Эрудиция Владимира Ильича как теоретика физика была столь же необъятна, как и социолога», — удивлялся инженер.

Кольбель советской радиотехники — Нижегородская радиотехническая лаборатория, созданная в 1918 году на основании ленинского декрета, и в дальнейшем пользовалась неизменной поддержкой Ленина.

— На какое расстояние будет действовать передатчик? Можно ли усилить человеческий голос? Нельзя ли и на большом расстоянии сделать так, чтобы не сидеть с наушниками, а слышать без них около приемника через какое-либо приспособление? — Такого рода вопросы Ленин буквально засыпал члена коллегии Народного комиссариата почт и телеграфов А. М. Николаева, рассказывавшего ему об опытах Нижегородской лаборатории.

В мае 1922 года Ленин, перед тем как уехать отдыхать в Горки, продиктовал по телефону письмо, в котором просил Политбюро принять меры к дальнейшему развитию отечественной радиотехники. «...В нашей технике, — подчеркивал Владимир Ильич, — вполне осуществима возможность передачи на возможно далекое расстояние по беспроволочному радиосообщению живой человеческой речи; вполне осуществим также пуск в ход многих сотен приемников, которые были бы в состоянии передавать речи, доклады и лекции, делаемые в Москве, во многие сотни мест по республике в отдаленные от Москвы на сотни, а при известных условиях, и тысячи верст... Поэтому я думаю, что ни в коем случае не следует жалеть средств на доведение до конца дела организации радиотелефонной связи и на производство вполне пригодных к работе громкоговорящих аппаратов».

Для ленинского облика характерны умение сразу схватывать суть дела («По каждому вопросу он имел свое мнение, — вспоминал А. М. Николаев, — никогда не удовлетворялся подсказанным и каждое предложение умел искусно анатомировать и извлекать из него самое существенное для данной практической цели»), пламенная, всепоглощающая увлеченность захватившей его идеей.

И еще одна, бросающаяся в глаза, решающе важная отличительная особенность научных и технических мечтаний Ленина. Это — способ их воплощения в жизнь.

Владимир Ильич постоянно говорил о «прекрасном размахе», который дала народному творчеству великая революция. «...Мы не можем в точности даже представить себе в настоящее время, — писал он в 1918 году, — какие богатые силы таятся в массе трудящихся... в интеллигентских силах, которые до сих пор работали, как мертвые безгласные исполнители предначертаний капиталистов, какие силы таятся и могут развернуться при социалистическом устройстве общества».

В этом смысле особенно характерно знаменитое письмо В. И. Ленина Г. М. Кржижановскому, датированное январем 1920 года. С этого письма по справедливости и ведется история первого плана электрификации России, так называемого плана ГОЭЛРО.

«...Нельзя ли добавить, — писал Ленин, — план не технический... а политический или государственный...»

Какой же смысл он вкладывал в понятие «государственный»? Ответ мы находим тут же, Ленин сам поясняет: «...т. е. задание пролетариату». Он предлагал предусмотреть в плане сооружение электростанций на воде, на сланце, на угле, на нефти, чтобы всю страну усеяли энергетические центры. И снова и снова подчеркивал: «...надо увлечь массу рабочих и сознательных крестьян великой программой на 10—20 лет...»

В наши дни, когда на подступах к XXII съезду КПСС творческое начало пронизывает всю деятельность советских людей, когда над проблемой улучшения производства в любых его звеньях настойчиво работает ищущая мысль всех участников производственного процесса «от мала до велика», а наука во всем многообразии ее направлений становится их постоянным советчиком и помощником,— широта ленинского подхода к оценке значения творчества масс в созидательной работе общества приобретает новый, еще более глубокий смысл.

О плане электрификации Ленин еще в 1920 году говорил: «...Эта программа каждый день, в каждой мастерской, в каждой волости будет улучшаться, разрабатываться, совершенствоваться и видоизменяться». Строительство коммунизма должно непрерывно обогащаться опытом миллионов людей — учит нас партия. Равнение «на маяки», по образному выражению Н. С. Хрущева, стало драгоценной партийной традицией.

Человек гигантского государственного ума, реалист в политике, умевший строго учитывать действительную расстановку сил, Ленин с огромным интересом и вниманием вчитывался и вдумывался в разнообразные предложения, изобретения, записки, которые с разных сторон притекали в Совет Народных Комиссаров. И своих соратников он учил тому же.

Как отмечал в своих воспоминаниях Горький, Владимир Ильич высоко оценивал значение интеллектуальной энергии в процессе революций. В основном соглашался Ленин — разумеется, с необходимыми социальными уточнениями — с любимой мыслью Горького о том, что сама революция, в сущности, и является взрывом именно этой энергии, не нашедшей для себя возможности закономерного развития в изжитых и тесных условиях. В связи с этими раздумьями Горький вспоминал одно из своих посещений Ленина. Он был у Владимира Ильича в сопровождении трех членов Академии наук. Шел разговор о необходимости реорганизации одного из высших научных учреждений в Петербурге.

«Проводив ученых,— рассказывал Горький,— Ленин удовлетворенно сказал:

— Это я понимаю. Это — умники. Все у них просто, все сформулировано строго, сразу видишь, что люди хорошо знают, чего хотят. С такими работать — одно удовольствие. Особенно понравился этот...

Он назвал одно из крупных имен русской науки, а через день уже говорил мне по телефону:

— Спросите С.¹, пойдет он работать с нами?

И когда С. принял предложение, это искренно обрадовало Ленина, потирая руки, он шутил:

— Вот так, одного за другим, мы перетянем всех русских и европейских Архимедов, тогда мир, хочет не хочет, а — перевернется».

Как-то Горький предложил Владимиру Ильичу съездить в Главное артиллерийское управление посмотреть изобретенный одним большевиком, бывшим артиллеристом, аппарат, корректирующий стрельбу по аэропланам.

— А что я в этом понимаю? — спросил Ленин, но поехал.

«В сумрачной комнате, вокруг стола, на котором стоял аппарат,— вспоминал Горький о том, что было дальше,— собралось человек семь хмурых генералов, все седые, усатые старики, ученые люди. Среди них скромная штатская фигура Ленина как-то потянулась, стала незаметной. Изобретатель начал объяснять конструкцию аппарата. Ленин послушал его минуты две, три, одобритительно сказал:

¹ Выдающийся математик, академик В. А. Стеклов, именем которого назван ныне Математический институт Академии наук СССР.

— Гм-гм! — и начал спрашивать изобретателя так же свободно, как будто экзаменовал его по вопросам политики.

— А как достигнута вами одновременно двойная работа механизма, устанавливающая точку прицела? И нельзя ли связать установку хоботов орудий автоматически с показаниями механизма?

Спрашивал про объем поля поражения и еще о чем-то — изобретатель и генералы оживленно объясняли ему».

На следующий день изобретатель рассказывал Горькому:

«Я сообщил моим генералам, что придете вы с товарищем, но умолчал, кто — товарищ. Они не узнали Ильича, да, вероятно, и не могли себе представить, что он явится без шума, без помпы, охраны. Спрашивают: это техник, профессор? Ленин? Страшно удивились — как? Не похоже! И — позвольте! — откуда он знает наши премудрости? Он ставил вопросы как человек технически сведущий! Мистификация! — Кажется, так и не поверили, что у них был именно Ленин...»

По дороге из ГАУ, читаем дальше у Горького, Ленин «возбужденно похихатывал и говорил об изобретателе:

— Ведь вот как можно ошибаться в оценке человека. Я знал, что это старый честный товарищ, но — из тех, что звезд с неба не хватают. А он как раз именно на это и оказался годеи. Молодчина! Нет, генералы-то как окрысились на меня, когда я выразил сомнение в практической ценности аппарата! А я нарочно сделал это, — хотелось знать, как именно они оценивают эту остроумную штуку.

Залился смехом, потом спросил:

— Говорите, у И.¹ есть еще изобретение? В чем дело? Нужно, чтоб он ничем иным не занимался. Эх, если б у нас была возможность поставить всех этих техников в условия идеальные для их работы! Через двадцать пять лет Россия была бы передовой страной мира!»

Та же гениальная проницательность и пылкое стремление поскорее осуществить «развитие лучших образцов, традиций, результатов существующей культуры с точки зрения мирозерцания марксизма и условий жизни и борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры» проявлялись и в поддержке Лениным деятельности выдающихся ученых — И. П. Павлова, Н. Е. Жуковского, К. Э. Циолковского и других.

Но всемерно поддерживая прогрессивные творческие силы дореволюционной науки, добровольно и самоотверженно пришедшей к служению революции, Ленин орлиным взором ученого и стратега революции заглядывал далеко вперед — уже в те наши дни, когда наука действительно вошла в плоть и кровь, превратилась «в составной элемент быта вполне и настоящим образом» прежде всего благодаря созданию в процессе культурной революции своей собственной, из народа вышедшей и глубоко ему преданной интеллигенции.

Ленинский дар проникновения в коренную суть важнейших общественных процессов современности проявился и в том, что он с самого начала уловил и мудро использовал принцип коллективизма, пронизывающий ныне все научное творчество нашей действительности. При создании плана ГОЭЛРО Ленин всемерно содействовал объединению ученых, изобретателей и инженеров для совместной работы. Жизненность этого начинания проявилась не только в его непосредственных результатах. Мы знаем, что решение серьезных научно-технических задач в современных условиях каждый раз требовало привлечения больших научных коллективов, консолидации ученых различных специальностей.

С изумительной зоркостью гения Ленин провидел гигантские преимущества, которые получает наука, приобретая такой надежный компас для практического «приземления» своих теоретических свершений, как народнохозяйственный план. Ленинский «Набросок плана научно-технических работ» был сам по себе замечательным образчиком перспективного планирования развития науки, предполагающим выявление ее основных, ведущих, генеральных тенденций.

¹ Изобретатель А. М. Игнатьев.

И он настал, этот счастливый день свершения лучших ленинских мечтаний, когда наши ученые и инженеры, подготовленные советской школой, претворяя в реальность многое из того, что еще совсем недавно казалось несбыточной фантазией, достигают мирового первенства на решающих направлениях науки и техники. И когда пытаешься охватить взором могучее цветение интеллектуальных творческих сил, пробужденных и созданных революцией, невольно приходят на память меткие и точные слова Максима Горького, которыми он завершает свои воспоминания о Владимире Ильиче Ленине:

«Наследники разума и воли его... работают так успешно, как никто, никогда, нигде в мире не работал».

Мы оставляем страницы воспоминаний и обращаемся к революционной практике и научным свершениям наших дней.

Раскроем недавно вышедший в академическом издании обширный сборник «Ленин и наука»¹, в который вошли материалы сессии общего собрания Академии наук СССР, посвященной девяностолетию со дня рождения В. И. Ленина. Содержание этой книги поможет нам еще и еще раз ощутить проникновенность реалистических научных предвидений Ленина, снова и снова оценить глубочайшую жизнечность его генеральных политических и философских положений.

Широкая, всесторонняя программа коммунистического строительства, намеченная в решениях последних съездов партии, является творческим развитием ленинского плана построения коммунизма.

В докладе на этой сессии Академии наук СССР на тему «В. И. Ленин и строительство коммунизма в СССР» академик П. Н. Поспелов на обширном историческом материале проиллюстрировал реализм ленинского подхода к вопросам построения коммунизма, который, по Ленину, может быть построен только при высоком уровне развития производительных сил. Путь к этому — всемерное развитие технического прогресса и прежде всего электрификации.

«Мы ценим,— говорил Ленин,— коммунизм только тогда, когда он обоснован экономически». Напомнив это важное ленинское высказывание, П. Н. Поспелов проследил, как последовательно развивал Ленин идеи электрификации Советской страны. «Ленин вовсе не «сочинял» каких-либо утопических, надуманных схем нового, коммунистического общества. Он глубоко изучал живое творчество народных масс, их первые начинания по строительству новой жизни, вскрывал закономерности перехода от капитализма к коммунизму, зорко подмечал все новое, передовое, которое создавалось трудящимися, научно обобщал их опыт и на основании этого намечал пути строительства советского социалистического общества».

Как хорошо перекликаются эти строки с воспоминаниями Г. М. Кржижановского, который в свое время писал: «Наиболее поразительной особенностью Владимира Ильича было его удивительное умение работать в строгом соответствии с требованиями действительности. Отсюда его величайшая неприязнь к учености в кавычках, к беспочвенному академизму, ко всякого рода пустым интеллигентским рассуждениям. Подходя к любому интересовавшему его вопросу, он, что называется, брал быка за рога и беспощадно совлекал все и всяческие маски для выяснения подлинных черт той действительности, для подъема которой неустанно работала его творческая мысль».

Глеб Максимилианович приводил в этой связи адресованное ему письмо от 4 июля 1921 года. Оно носило заголовок: «Мысли насчет «плана» государственного хозяйства».

«Главная ошибка всех нас была до сих пор,— писал Ленин,— что мы рассчитывали на лучшее; и от этого впадали в бюрократические утопии. Реализовалась из наших планов ничтожная доля. Над планами смеялась жизнь, смеялись все.

Надо это в корне переделать.

Рассчитать на худшее. Опыт уже есть хоть малый, но практический».

Замечательный образец сочетания подлинно беззаветной отваги в постановке сложнейших проблем народнохозяйственной жизни (ведь Россия впервые становилась на

¹ «Ленин и наука». Издательство Академии наук СССР. М. 1960.

путь планирования!) и беспощадно трезвого расчета. Не умерять дерзаний, но соразмерять свои силы, чтобы всегда доводить начатое до конца!

Следуя духу великого ленинского учения, Коммунистическая партия и Советское правительство определяют задачи на будущее, опираясь на богатейший опыт строительства социализма и коммунизма в нашей стране. Главными проблемами построения нового, коммунистического общества является, во-первых, достижение более высокой, по сравнению с капитализмом, производительности труда на базе высшей техники и, во-вторых, воспитание нового человека, свободного от предрассудков старого, частнособственнического общества.

Выполнение первой задачи связано с созданием мощной материально-технической базы коммунизма, позволяющей развить такую производительность труда, которая при минимальных затратах и коротком рабочем дне обеспечит обществу обилие продуктов и предметов потребления.

Для выполнения второй задачи — формирования нового человека — нам нужна система воспитания, организации труда, политехнического образования, которая прививала бы советским людям коммунистические взгляды на жизнь. А проникнуться этими взглядами — значит, любить и ценить труд как первую потребность человека, вырабатывать в себе правильное материалистическое мировоззрение, накапливать прочные и широкие научные знания и умение применять их в жизни.

В период развернутого строительства коммунизма сохраняется и получает дальнейшее развитие принцип материальной заинтересованности трудящихся в результате своего труда. Осуществление этого принципа способствует росту производительности труда, повышению квалификации работников, совершенствованию техники, ведет к укреплению дисциплины, к общему подъему народного хозяйства.

Вместе с тем в нашей стране все большее значение приобретает коммунистическое отношение к труду, производимому, по Ленину, «не для отбытия определенной повинности, не для получения права на известные продукты, не по заранее установленным и узаконенным нормам», к труду добровольному, к труду «по привычке трудиться на общую пользу и по сознательному (перешедшему в привычку) отношению к необходимости труда на общую пользу», к труду как потребности здорового организма. При переходе к полному коммунизму такое отношение к труду, столь ярко охарактеризованное В. И. Лениным, будет господствующим.

Главным в коммунистическом воспитании партия считает трудовое воспитание, связь его с жизнью, с практикой коммунистического строительства. Именно в обстановке созидательной деятельности коллектива, в ходе борьбы за высшую производительность труда меняется сам человек, его взгляды, характер, моральный облик. Замечательная особенность современного советского общества состоит в том, что ростки коммунизма, проявляющиеся в новом отношении к труду, подмеченные В. И. Лениным в коммунистических субботниках, стали массовыми, что движение за коммунистический труд составляет одну из важных закономерностей развития нашей социалистической Родины.

Великому Ленину принадлежит заслуга разработки основ политической экономии социализма. Этому вопросу в сборнике «Ленин и наука» посвящена работа члена-корреспондента Академии наук СССР А. И. Пашкова «Создание В. И. Лениным основ политической экономии социализма».

На этом важном участке теоретических работ, теснейшим образом сплетающихся с практикой строительства социализма, необходимо было разоблачение неокантианских попыток противопоставления объективного «закона» и «цели» как якобы несовместимых, взаимно исключающих друг друга. Согласно этому пониманию, там, где общественная жизнь осуществляется в соответствии с целями людей, никаких законов уже не может быть.

Это Ленин, показывая полную несостоятельность утверждения Бухарина о том, что конец капиталистического общества будет и концом политической экономии, решительно подчеркивал, что экономические законы нельзя рассматривать только как стихийно действующие законы, что планомерное ведение обществом народного хозяйства при социализме и коммунизме в соответствии с заранее поставленными целями отнюдь

не означает отсутствия здесь объективных экономических законов, которые общество познает и использует. Сами хозяйственные цели социалистического общества обусловлены системой производственных отношений этого общества и действующими здесь объективными законами.

Утверждением этих положений был открыт путь для творческой разработки проблем политической экономии социализма широким кругом советских экономистов и экономистов-марксистов других стран.

Особенно интересен и поучителен самый подход Ленина к работе социолога-теоретика. Глубокий научный анализ тенденций общественного развития он всегда проводил на живой практике строительства социализма. «Мы,— писал Ленин в сентябре 1917 года.— не претендуем на то, что Маркс или марксисты знают путь к социализму во всей его конкретности. Это вздор. Мы знаем направление этого пути, мы знаем, какие классовые силы ведут по нему, а конкретно, практически, это покажет лишь опыт миллионов, когда они возьмутся за дело». Политика, по Ленину, не должна ни отрываться от экономики, ни противопоставляться ей. Вместе с тем Ленин формулировал положение о первенстве политики над экономикой, называя это азбукой марксизма. «Сколько было, да и сейчас еще имеется, самых разных вариантов толкования смысла Ленина о первенстве политики над экономикой!» — отмечает А. И. Пашков. Между тем «первенство политики над экономикой» означает необходимость прежде всего правильного политического подхода к хозяйственной деятельности. Создание новой экономики, решение проблемы непрерывного роста производства, повышения производительности общественного труда и других экономических задач имеют первостепенное значение для победы социализма и коммунизма.

Отсюда и глубочайшая жизненность ленинских положений о постепенном перерастании социалистических производственных отношений в производственные отношения коммунизма, постепенное стирание классовых и других социальных различий. Ленин указывал, в частности, на то, что социализм означает уничтожение вопиющей несправедливости и вопиющего неравенства, присущих капиталистическому обществу: с одной стороны, пресыщенные богатством собственники средств производства, без затраты труда присваивающие львиную долю общественного продукта, с другой стороны, нищета трудящихся масс — создателей всех материальных благ. Но и при социализме еще остается экономическое неравенство людей, связанное с распределением по труду. Это неравенство будет уничтожено только с наступлением полного коммунизма. Указывая, что при социализме не должно быть резких различий в уровне оплаты труда работников разных категорий, что имеет место в буржуазном обществе, Ленин тем не менее подчеркивал первостепенное значение проведения принципа материальной заинтересованности людей в труде для строительства социализма и коммунизма.

Всем нам памятна крылатая мысль Ленина о том, что лишь живое творчество масс создает новую общественность, а затем развивает ее и укрепляет. «Социализм не создается по указам сверху. Его духу чужд казенно-бюрократический автоматизм; социализм живой, творческий, есть создание самих народных масс».

В приведенном в сборнике выступлении на тему «В. И. Ленин о мирном сосуществовании государств с различным общественным строем» член-корреспондент Академии наук СССР Ю. П. Францев напомнил это замечательное ленинское высказывание, говоря о марксистско-ленинском понимании мирового революционного процесса, ведущего к победе социализма. Никакого автоматизма при смене капитализма социализмом не было и не будет. Сам по себе, механически, социализм не может распространяться, ибо основа возникновения и развития социализма — живое творчество масс. И породит это живое творчество масс не «подталкивание» извне, а развитие соответствующих общественных условий в каждой стране и великая сила примера.

Мы знаем, насколько это верно. Внешняя политика стран социалистического лагеря, как это исчерпывающе выражено в Заявлении Совещания представителей коммунистических и рабочих партий, направлена отнюдь не на то, чтобы разжигать военные конфликты и устраивать международные осложнения. Политика эта направлена на то, чтобы способствовать созданию наиболее благоприятных международных условий для строительства нового общества. Сейчас в подлинно мировом масштабе подтверждаются

вещие слова Ленина о том, что свое воздействие на дальнейший ход истории мы...оказываем своим хозяйственным строительством.

Капитализму не удалось уйти от соревнования с новым общественным строем именно в области производства. Ему не помогли уклониться от этого исторического спора ни войны, ни интервенции. Принуждая капитализм к соревнованию в важнейшей сфере человеческой деятельности, социализм развернул и продолжает развертывать свои гигантские возможности в области творческого производительного труда.

Живая ленинская мысль непрерывно продолжает оплодотворять наше научное развитие, способствуя глубокому проникновению в него материалистической диалектики. По мере продвижения науки вперед, все глубже раскрывается теоретическое богатство ленинских работ, посвященных разработке марксистской диалектики. Среди них все ярче сверкают своими замечательными, глубокими идеями «Философские тетради» В. И. Ленина, теоретическое богатство которых выпукло очертил академик М. Б. Митин в своей работе «Философские тетради» В. И. Ленина — выдающийся вклад в развитие марксистской диалектики».

Изучение «Философских тетрадей» представляет особый интерес в связи с тем, что против материалистической диалектики, как могучего идейного оружия партии, по мере углубления коммунистического влияния активизируются враждебные коммунизму идеологи и философы. «Мода на диалектику» в буржуазной философской литературе в последние годы,— отмечает М. Б. Митин,— столь велика, что стали создаваться различные «теории», «учения» о диалектике, единственный объективный смысл которых состоит в том, чтобы, с одной стороны, фальсифицировать подлинную, материалистическую диалектику и, с другой стороны, хоть что-нибудь противопоставить ее победному шествию». Чего только не придумывается для этой цели! «Логическая диалектика», «теологическая диалектика», «психологическая диалектика», «трагическая диалектика», «диалектика духа», «диалектика как наука о ценностях», «диалектика как основа пессимизма» — таков далеко не полный перечень различных философских «учений», вернее, измышлений о диалектике, выдвинутых за последнее время в западной литературе.

Апологеты капитализма, буржуазные философы разных направлений не скрывают своей озабоченности в связи с огромным распространением диалектического материализма и исключительной притягательной силой этой философии. М. Б. Митин цитирует высказывание одного из главнейших американских прагматистов, реакционнейшего философа и социолога Сиднея Хука в его книге «Диалектический материализм и научный метод», опубликованной в 1955 году: «Социальное значение какой-либо философии измеряется числом людей, которые придерживаются ее, практикой, которую она обычно оправдывает, и привычками мысли и оценок, которые она оставляет. С этой точки зрения, философия диалектического материализма является одной из самых важных социальных теорий нашего времени». Поэтому-то «кригю» диалектического материализма Сидней Хук считает важнейшей философской задачей настоящего времени, стоящей перед философами и социологами Запада.

В своей книге «Теория познания диалектического материализма», вышедшей в 1958 году в Западной Германии, И. де Фриз пишет, что представители «западной мысли» должны заняться серьезным анализом философии диалектического материализма, не считать ее философией «низшего сорта», ибо «эта философия,— заявляет он,— содержит мировоззрение, которое всячески поддерживают правительства во всех коммунистических странах, охватывающих треть человечества, в том числе и в большей части нашей родины...».

Американский буржуазный философ Оливер Рейзер панически восклицает, что, тогда как СССР «уже имеет программу и вполне созревшего кандидата на роль мировой философии — марксистскую теорию диалектического материализма», капиталистический мир не в состоянии противопоставить диалектическому материализму скольконибудь удовлетворительную философию.

Академик М. Б. Митин разносторонним анализом «Философских тетрадей» подчеркивает бессмертную заслугу В. И. Ленина в развитии марксистской философии, состоящую в том, что им впервые было сформулировано положение о единстве, тождестве диалектики, логики и теории познания. Это положение характеризует предмет марк-

систской философии, определяет наш подход к познанию и изменению мира, устанавливает последовательность во взаимоотношениях различных сторон или элементов философского знания.

В гениальных обобщениях, выраженных подчас в краткой тезисной форме, разбросанных по разным страницам «Философских тетрадей» в связи с изучавшимися Лениным философской литературой и проблематикой, отмечается всеобщая универсальность взаимосвязей в объективном мире и необходимость отображения их в логике понятий. Ленин дает яркую характеристику бесконечного процесса развертывания, раскрытия новых сторон, качеств и отношений вещей. Вновь и вновь он подчеркивает объективность содержания человеческого познания, безграничную возможность его проникновения в глубь вещей, возможность приблизиться к все большему пониманию сущности отношений, существующих в объективном мире.

Ленин указывает на разнообразие форм единства противоположностей, рассматривая познание как процесс, включающий в себя бездну оттенков, безграничное богатство содержания. Для того чтобы выразить в познании эти оттенки, отражающие многогранность самой действительности, требуется, как справедливо отмечает М. Б. Митин, богатство категорий диалектики, богатство понятий, причем понятий подвижных, гибких.

Автор, опять-таки следуя именно духу ленинского учения, заключает свой интересный разбор постановкой конкретных исследовательских тем для дальнейшего философского осмысления действительности, дальнейшей теоретической разработки самой диалектики на материале нашей эпохи, нашей жизни — жизни и роста всего социалистического лагеря. Этот материал наполняет новым, живым и богатым содержанием и проблему противоречий, и проблему возможности и действительности, и вопросы борьбы нового со старым, и другие категории материалистической диалектики. В жизни мы имеем, говорит М. Б. Митин, не только процессы перехода различий в противоположности, а противоположностей в противоречия, в антагонизм. Социалистическая действительность дает и иной тип развития: противоположности, которые планомерно преодолеваются; противоположности, переходящие или перешедшие в различия; различия, переходящие в особенности; особенности, стирающиеся и становящиеся тождеством, и, с другой стороны, особенности, сохраняющиеся в полном единстве.

Антагонистические и неантагонистические противоречия; просто противоположности и коренные противоположности; различия существенные и просто различия... И впрямь, какая большая гамма понятий требуется для того, чтобы характеризовать сложность процессов общественной жизни, особенности и этапы развития, глубокую диалектику этих процессов!

Великолепно отточенное орудие познания и изменения мира — материалистическая диалектика, всесторонне разработанная Лениным, принята на вооружение всего широчайшего фронта советской науки. В этом отношении весьма характерно недавнее высказывание известного советского математика, члена-корреспондента Академии наук СССР, ректора Ленинградского государственного университета А. Д. Александрова:

«Материя и сознание в философии, конечное и бесконечное в математике, относительное и абсолютное в теории относительности, возможность и действительность, статистика и индивидуальные явления в квантовой механике, анализ и синтез в химии, внутренние свойства организма и внешняя среда в биологии, постепенность и скачки, количественные и качественные изменения в теории эволюции, сведение физиологических законов к физике и химии и их несводимость к ним в физиологии, содержание и форма в искусствоведении и так далее — всякий вопрос науки, если брать его с должной глубиной и общностью, неизбежно приводит к противоположностям. Поэтому всесторонняя объективная гибкость мысли, доходящая до тождества противоположностей, отражающая многообразие предмета и единство его, составляет суть истинно научного, диалектического мышления».

Советские ученые помнят предостережение В. И. Ленина против научного прожектерства, против субъективизма, скороспелой моды и общих фраз в подходе к научным проблемам. Глубокое изучение основ науки, фундаментальное знакомство с ее фактическим материалом должно обязательно предшествовать любой попытке обоб-

щения. Ленин писал по этому поводу: «Это самый наглядный признак метафизики, с которой начинала всякая наука: пока не умели приняться за изучение фактов, всегда сочиняли а priori общие теории, всегда оставшиеся бесплодными. Метафизик-химик, не умея еще исследовать фактически химических процессов, сочинял теорию о том, что такое за сила химическое средство? Метафизик-биолог толковал о том, что такое жизнь и жизненная сила? Метафизик-психолог рассуждал о том, что такое душа? Нелеп тут был уже прием. Нельзя рассуждать о душе, не объяснив в частности психических процессов: прогресс тут должен состоять именно в том, чтобы бросить общие теории и философские построения о том, что такое душа, и суметь поставить на научную почву изучение фактов, характеризующих те или другие психические процессы».

Эти разъяснения Ленина относятся, разумеется, не только к вопросам психологии: они направлены против любых беспочвенных обобщений и претензий на всеобъемлющее объяснение разом всех загадок мироздания. Смелость научного обобщения не только не отрицает, но предполагает непритязательное изучение фактов и тщательную проработку деталей. Сам Ленин, как и Маркс, давал замечательный личный пример как безусловной веры во всемогущество науки, так и творческой скромности; и тот и другой всегда строили свои выводы на основе глубокого изучения громадного конкретного материала, и поэтому-то эти выводы властно вошли в науку, поднялись до широчайшего обобщения и одновременно служат действенным руководством в практике.

Наши математики делают из ленинских предостережений правильный вывод, выходя, например, против скороспелых претензий объяснить все процессы управления и передачи информации в природе, обществе и мышлении кибернетикой, тогда как правильно понятая кибернетика претендует только на то, чтобы дать новый, достаточно общий и плодотворный подход к исследованию определенных сторон этих явлений.

Этот пример наглядно показывает, что не только в историческом аспекте, но и в животрепещущей практике сегодняшнего дня нам оказывает неоценимую помощь изумительная проникновенность и сила ленинского философского анализа жгучих проблем новейшего естествознания.

Для практики сегодняшнего дня глубоко поучительно и ленинское отношение к проблеме «кризисов» в научном развитии. Крупнейшие творцы современного естествознания отчетливо понимали, что на рубеже XIX и XX веков происходила коренная революционная ломка установившихся понятий и теорий, принципов и законов физики. Рушились старые, привычные представления и появились новые, с которыми рассудку так же нелегко примириться, как в свое время трудно было представить себе, что Земля движется вокруг Солнца. Для обычного «здорового» смысла диковинным казалось превращение одних форм материи в другие, непримиримые с ними с точки зрения устаревших догм. Станным казалось наличие у электрона изменчивой массы. Необычайным представлялось ограничение законов классической механики лишь одной областью явлений. Однако в то время, как физики прилагали героические, но безнадежные усилия к тому, чтобы удержать основу «классической» концепции в смысле сохранения наглядных представлений о строении материи, пытаясь защитить представление о существовании каких-то «последних» частиц материи, из которых образуется весь мир и которыми исчерпываются наши знания,— Ленин пошел несравненно дальше. Он показал, что революция, начавшаяся в естествознании, разрушает не отдельные неправильные положения в старой, механической, картине мира, как, например, положение о неделимости атоме. Нет, масштаб событий был совершенно иной: рушилась основа метафизического подхода к явлениям природы, к пониманию видов и свойств материи, ее строения, ее движения. По Ленину, крушение идеи о неизменности атомов следовало истолковывать не просто как отказ от неизменности одних частиц материи в пользу признания точно такой же неизменности, но только других частиц материи. Испытывала крушение сама идея о неизменности каких-либо частиц материи вообще. Происходило крушение метафизики в целом. Она вытеснялась диалектикой, стихийно проникающей в естествознание. Об этом интересно рассказывал член-корреспондент Академии наук СССР Б. М. Кедров в своей работе «Ленинский анализ революции и кризис современного естествознания».

И в «Материализме и эмпириокритицизме», как и в «Философских тетрадах», Ленин выступал против косности мышления физиков, которые тянулись к привычным представлениям, цеплялись за них, не желая и не умея сделать необходимых выводов происходившей в естествознании революции. История науки, отмечает Б. М. Кедров, сама рассудила, кто был прав в этом вопросе. Все попытки физиков построить модель атома, исходя из «классических» представлений, не привели и не могли привести к положительному решению. Причина этого, как и предвидел Ленин, заключалась в том, что электрон не мог и не должен был трактоваться как «последняя», «исчерпаемая» частица материи. Решающий революционный удар по «классической» концепции вообще и по признанию «исчерпаемости» электрона нанесли две новые физические теории — квантовая механика и теория относительности.

Характерно, что еще в 1922 году в статье «О значении воинствующего материализма» Ленин указал на первые симптомы нового подъема революции в естествознании, проводя прямую линию, соединяющую открытие радия с теорией относительности Эйнштейна.

Это характерный, но отнюдь не единственный пример диалектики познания.

Движение познания — это не спокойно и плавно поднимающаяся линия. Это крутые повороты, резкие скачки, революционные сдвиги в мышлении. Это сложное, но непрестанное движение от субъекта к объекту, которое еще не раз потребует ломки сложившихся представлений и замены, быть может, еще более странными, непривычными представлениями. По выражению Ленина, истина есть процесс.

Этот захватывающий романтический процесс приближения к истине продолжается и в наше время, являя собой торжество материалистической диалектики.

Ленинский анализ революции и кризиса современного естествознания — это живое действенное оружие передовых ученых всего мира в их борьбе против современной философской реакции. Этот проникновенный творческий анализ помогает обобщению с позиций марксистской диалектики новых грандиозных достижений науки, все дальше проникающей в глубь материи и позволяющей овладевать законами природы на благо человечества.

* * *

Мы далеки от того, чтобы хоть в отдаленной степени пытаться исчерпать в этом кратком обзоре многогранное содержание нового академического сборника «Ленин и наука». Мы хотели лишь на отдельных примерах подчеркнуть глубину ленинской мысли, которая, как нам кажется, особенно созвучна нашей эпохе — эпохе торжества бессмертных идей марксизма-ленинизма:

«... Наступил именно тот исторический момент, когда теория превращается в практику, оживляется практикой, исправляется практикой, проверяется практикой...»



А. М. КИРЮХИН
*Ученый секретарь Всесоюзной академии
сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина*

★

ХЛЕБ И МАШИНЫ

ЗАДАЧА О ДВУХ КОЛОСЬЯХ

Хлеб... Не много в нашем языке таких емких, с колыбели знакомых слов, как это слово. Сколько мудрых пословиц и поговорок сложил наш народ о хлебном зерне, выражая глубокое уважение к нему, хозяйское понимание его значения в жизни людей! Немало диковинных плодов и редких злаков вырастил человек, покоряя природу, но ни один из них не сравнится с хлебом.

Пятнадцать тысячелетий отделяют нас от того времени, когда человек впервые научился культивировать злаки. Обработывая землю с помощью каменной мотыги или поднимая целину стальным плугом, он всегда думал о конечной цели своего труда — о хлебе.

Труд сотен поколений хлебопашцев превратил неведомый нам дикий злак в культурное растение с тонким и упругим стеблем и с тяжелым, налитым зерном колосом.

Вы, конечно, читали книгу Д. Свифта «Путешествие Гулливера». Помните, в ней сказано: «Тот, кто сумел бы вырастить два колоса там, где прежде рос один, две былинки травы, где росла одна, заслужил бы благодарность всего человечества». Приведа в одной из своих лекций эту мысль, К. А. Тимирязев добавил: «Задача о двух колосьях, быть может, самый жгучий, самый коренной политический вопрос, который в ближайшем будущем предстоит разрешить...»

Задача эта успешно решается в нашей социалистической стране колхозным крестьянством. Посевные площади в СССР составляли в 1960 году двести три миллиона гектаров, почти на сорок шесть миллионов гектаров больше, чем засевалось семь лет назад. Сказались результаты освоения целинных и залежных земель. Мы смогли этого добиться лишь с помощью могучих советских машин.

Если в 1953 году в стране зерна было произведено пять миллиардов пудов, то в 1960 году производство зерна поднялось до уровня свыше восьми миллиардов пудов. За эти же семь лет государственные закупки увеличились почти на миллиард пудов. Производство мяса за тот же период возросло в полтора, молока — в 1,7 раза.

Никогда раньше наша страна не имела таких темпов развития сельскохозяйственного производства, как в последние семь лет. Это убедительное свидетельство высокой эффективности мер, принятых партией и правительством по крутому подъему сельского хозяйства, по дальнейшему упрочению колхозного строя, начало которым положил сентябрьский Пленум ЦК КПСС 1953 года.

Было бы наивно, разумеется, утверждать, будто мы уже настолько установили свою власть над землей и погодой, что теперь не страшны ни суховеи, ни затяжные дожди, ни заморозки, ни засуха. Конечно же, и поныне хлебороб с тревогой и надеждой прислушивается к прогнозам погоды. Но в наши дни борьбу за урожай колхозники,

работники совхозов ведут во всеоружии могучей сельскохозяйственной техники и агро-биологической науки. И природа постепенно сдает свои позиции, покоряется воле человека...

Состоявшийся в январе 1961 года Пленум ЦК КПСС указал конкретные пути дальнейшего подъема сельского хозяйства. Поставлена цель — создать условия, которые позволили бы вести сельское хозяйство так, чтобы оно не зависело от капризов природы. Сельскохозяйственное производство должно быть организовано таким образом, чтобы оно каждый год, при любых климатических условиях, гарантировало получение необходимых стране продуктов для полного удовлетворения потребностей народа.

Надежным средством получения гарантированных урожаев является ирригация. Орошение и обводнение поможет ввести в действие миллионы гектаров земель в Средней Азии, на юге Российской Федерации, в Поволжье, на юге Украины, в республиках Закавказья.

Наряду с широкой программой по развитию ирригации развернутся работы по мелиорации — осушению заболоченных и излишне увлажненных земель в районах нечерноземной полосы РСФСР, Полесья, Украины, в Белоруссии, Литве, Латвии и Эстонии.

И всюду нужна неутомимая сила наших машин. Можно поставить мощные насосы, использовать электроэнергию и поднимать воду на необходимую высоту с тем, чтобы орошать поля. На заболоченные и излишне увлажненные земли будет двинута техника, которая поможет осушить их и превратить в цветущие, плодоносные.

К концу семилетки мы будем собирать зерна по десяти-одиннадцати миллиардов пудов в год! Однако колхозники, рабочие совхозов берут обязательства выполнить семилетний план досрочно.

Известно признание одного американского экономиста, появившееся в нашей печати: «Русский фермер считает, что он нужен стране. Каждый успех, одержанный им, отмечается и вознаграждается правительством. Он считает, что русская система — самая лучшая, и он торжественно обещал обогнать нас по количеству и качеству продукции».

В социалистическом обществе возможности развития сельского хозяйства поистине безграничны. Советские крестьяне могут выращивать не два, как мечтали многие поколения земледельцев, а три и больше колосьев: — даже и там, где никогда прежде не росло ни одного.

Под силу ли нам такие задачи? Биологическая наука точно отвечает на этот вопрос: да, это вполне реальное дело.

По данным академика Н. В. Цицина, уже сейчас на опытных участках получена пшеница, имеющая до двухсот пятидесяти зерен в колосе. А подсчеты показывают, что если довести число зерен в колосе всего лишь до пятидесяти, то с одного гектара можно собрать примерно четыреста шестьдесят пудов хлеба!

НОВАЯ ТЕХНИКА — КРЫЛЬЯ СЕМИЛЕТКИ

Но борьба за хлеб, за увеличение производства всех сельскохозяйственных продуктов требует преодоления немалых трудностей. В современных условиях, в век атома, электроники, большой химии, победу дадут передовая наука и высшая техника, открывающие просторы для роста производительности труда.

Между тем производительность труда в сельском хозяйстве — этой наиболее обширной и жизненно важной отрасли всего народного хозяйства — растет менее высокими темпами, чем в промышленности. Сельское хозяйство не поспевает за бурным ростом нашей индустрии и ростом спроса населения.

Несмотря на крупную механизацию сельскохозяйственного производства в СССР, в нем еще занято слишком много людей — около половины всего дееспособного населения страны, в то время как в США — только тринадцать процентов. Развитие социалистической промышленности вызывает необходимость непрерывного перераспределения рабочей силы. Сельское хозяйство сможет выполнить свои прямые задачи и высвободить необходимые кадры для промышленности в том случае, если там, где

сейчас работают три-четыре человека, останется один, и труд этого одного будет несравненно более производительным. Это значит, что мы должны намного повысить научную и техническую вооруженность сельскохозяйственного производства. Решающую роль здесь призвана сыграть комплексная механизация земледелия и животноводства.

По решению январского Пленума ЦК КПСС будет составлен государственный план завершения комплексной механизации всех отраслей сельского хозяйства в основном уже в текущем семилетии, а также разработан переход на поточную технологию возделывания, уборки и послеуборочной обработки продукции важнейших сельскохозяйственных культур. Это резко поднимет производительность труда нашего сельского хозяйства. В то же время уменьшится потребность в рабочих в колхозах и совхозах и, значит, высвободится рабочая сила для промышленности.

Январский Пленум поставил как важнейшую и неотложную задачу улучшение сельскохозяйственного машиностроения, расширение производства мощных тракторов с повышенными скоростями и орудий к ним, самоходных шасси, зерновых, кукурузных и силосных комбайнов, машин для послеуборочной обработки зерна, хлопкоуборочных машин, оборудования и машин для механизации работ в животноводстве, внесения органических удобрений, техники для ирригации и мелиоративных работ и так далее.

В колхозах и совхозах сейчас имеется более четырех миллионов различных сельскохозяйственных машин. Прочно заняли свое место навесные орудия, выпуск которых растет из года в год. Они значительно сократили удельную металлоемкость агрегатов и высвободили большое количество рабочих-прицепщиков.

В течение 1959—1960 годов более чем на шестьдесят процентов обновлены конструкции выпускаемых промышленностью сельскохозяйственных машин и тракторов и освоено производство свыше ста шестидесяти наименований новых.

Тем не менее темпы создания новой техники для сельского хозяйства еще нельзя признать достаточными. Надо учесть, что для комплексной механизации сельскохозяйственных работ требуется свыше восьмисот видов машин, причем они должны быть качественно иными, во много раз производительнее и экономичнее прежних. Колхозам и совхозам нужны дешевые, надежные и удобные в эксплуатации механизмы.

Какими же путями будет развиваться механизация сельского хозяйства?

Высокая скорость, автоматика, электрификация — вот три главных, магистральных, направления в развитии сельскохозяйственной техники на ближайшие годы.

ФАКТОР ВРЕМЕНИ

Пожалуй, ни в одной области производства фактор времени не имеет такого важного, решающего значения, как в сельском хозяйстве. Вспомним народные поговорки: «День год кормит», «Упустил время — потерял урожай».

Маркс писал, что «к экономии времени сводится в конечном счете вся экономия». Именно с этой точки зрения следует рассматривать вопрос о скорости сельскохозяйственных машин — один из важнейших в земледелии.

В течение тысячелетий крестьянин пахал землю со скоростью два-три километра в час. Ни лошаденка, тащившая плуг, ни человек, шедший вслед, не могли двигаться быстрее. Теперь на наших полях повсеместно работают тракторы, а скорости остались прежние, «лошадиные», — почти такие же, как и сто, двести лет назад: в пределах трех — пяти километров в час. И это стало тормозить развитие сельского хозяйства. Ясно, что если, скажем, вдвое увеличить скорость машин, то вдвое быстрее пойдут и пахота, и сев, и уборка хлебов. А за этим кроется громадная экономия труда, металла, горючего, резкое удешевление продуктов земледелия и животноводства.

Повысить производительность тракторного агрегата можно двумя путями: либо увеличив ширину захвата орудий, либо повысив скорость движения.

В первом случае машины и орудия оказывались громоздкими, неповоротливыми; на их изготовление тратилось большое количество металла, а на передвижение — много горючего. Они часто ломались и выходили из строя.

Оставался второй путь — скоростной. Конструкторы пытались сначала увеличить скорость простым способом: изменением передаточного числа трансмиссии трактора. Но при этом затраты мощности на передвижение агрегата резко увеличивались, сопротивление прицепных орудий возрастало и коэффициент полезного действия трактора падал.

Следовательно, нужно было найти принципиально иные решения. Недавно сотрудники Всесоюзного научно-исследовательского института механизации сельского хозяйства (ВИМ) под руководством академика В. Н. Болтинского, в творческом содружестве с конструкторами ряда тракторных заводов, модернизировали существующие тракторы, специально приспособив их для работы на повышенных скоростях, за счет увеличения мощности двигателя. Испытания показали, что уже сегодня можно в два раза повысить скорость тракторных агрегатов. При этом качество пахоты, сева, междурядной обработки стало даже лучше с агротехнической точки зрения. Особенно эффективной оказалась скоростная пахота — при увеличении скорости лучше крошится почва, получается более слитная и ровная поверхность, а пласты укладываются так плотно, что после вспашки почти не требуется дискование или боронование.

В целом экономический эффект от увеличения скоростей тракторных агрегатов выражается в таких цифрах: производительность машин повышается, в зависимости от почвенных условий и характера работы, от десяти до сорока процентов, а расход горючего снижается до двадцати процентов.

Теперь представьте себе необъятные пашни колхозов и совхозов нашей страны — свыше двухсот миллионов гектаров! Если эти поля будут обрабатывать скоростные тракторы, то годовая экономия труда в сельском хозяйстве составит около четырех с половиной миллионов человеко-дней, а годовая экономия средств — свыше ста миллионов рублей (в новом масштабе цен).

Наша промышленность уже подготовилась к массовому выпуску таких машин. Харьковские тракторостроители на базе модернизированного трактора «ДТ-54М» создали скоростной трактор «Т-75». Он хорошо работает с пятикорпусным плугом, обеспечивая глубокую вспашку, успешно ведет лушение, боронование, посев, прикатку полей. Правда, на некоторых работах «Т-75» используется с недогрузкой, но зато он универсален по своим возможностям; это выгоднее, чем иметь в хозяйстве много разных тракторов. Главное же его преимущество — быстроходность. Если у обычного гусеничного трактора «ДТ-54» рабочая скорость на пахоте не превышает трех километров в час, то «Т-75» пашет со скоростью шесть — девять километров, а его транспортная скорость достигает восемнадцати километров в час. В конце сентября прошлого года завод перешел на серийное производство этого трактора.

Но полностью ли удовлетворяет нас такая машина? Не совсем. Трактор «Т-75» является переходной моделью и по ряду параметров не соответствует современному уровню техники. Конструкторам уже видятся иные, еще более совершенные машины. Наши тракторы должны двигаться с рабочей скоростью по меньшей мере двенадцать километров в час. Для этого мощность их двигателей должна быть доведена до ста — ста двадцати лошадиных сил. Сейчас ведутся «пристрелочные» испытания гусеничных тракторов с двигателями мощностью сто — сто тридцать лошадиных сил. Испытания показали, что можно смело приступить к созданию машин такого класса.

Массовый выпуск быстроходных машин начали и минские тракторостроители. Готовят скоростные тракторы Сталинградский, Липецкий и Алтайский тракторные заводы.

На опытном поле под Барнаулом мне довелось наблюдать испытания нового гусеничного трактора «Т-4». Внешне он мало чем отличается от своего предшественника, широкоизвестного трактора «ДТ-54». Но вот обоим машинам дан старт, и уже с первых минут новый трактор быстро опережает своего коллегу. Пока «ДТ-54» прошел загонку в одном направлении, «Т-4» с таким же плугом успел пройти поле в оба конца. Старый трактор вспахал лишь половину своего участка, а его юный соперник уже прошел весь участок.

«Т-4» имеет шестицилиндровый дизельный двигатель мощностью в сто лошадиных сил. На пахоте с пятикорпусным ушпренным плугом он движется со скоростью до

восемь километров в час. Коробка передач имеет восемь скоростей вперед, четыре — назад. Машина предназначена для сельскохозяйственных, дорожных, строительных, мелиоративных и других тяжелых работ. Общая сумма затрат на гектар пахоты у нее на одну треть меньше, чем у трактора «ДТ-54», а долговечность ее в два раза выше.

Коллектив Алтайского тракторного завода создал также новый колесный трактор «ТК-4». У него все четыре колеса — ведущие, благодаря чему достигается очень высокая проходимость. Машина развивает транспортную скорость до тридцати пяти километров в час.

Но надо сказать прямо: выполнение намеченной программы выпуска скоростных тракторов стоит под угрозой срыва. Причина — до сих пор еще не созданы для них новые, мощные и экономичные двигатели. Конструкторы Владимирского и Харьковского тракторных заводов недопустимо затянули это дело. Пользуясь случаем, хочется напомнить этим товарищам, что в их руках судьба скоростных машин. Право, это не просто фраза!

В ближайшие годы рабочая скорость колесного трактора, вероятно, достигнет восемнадцати — двадцати, а гусеничного — до четырнадцати километров в час.

Может возникнуть вопрос: зачем нужен скоростной трактор, если к нему нет скоростного плуга или скоростной сеялки? Ведь им суждено работать вместе, в одной «упряжке», и скорость их движения должна быть полностью согласована.

Да, наши ученые и инженеры озабочены сейчас созданием принципиально новых рабочих органов для агрегатов, работающих на повышенных скоростях. Уже определились идеи конструкции скоростного плуга (не буду затруднять читателя описанием технической стороны этого дела). Будут у нас и скоростные сеялки. Во Всесоюзном научно-исследовательском институте электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ) под руководством доктора сельскохозяйственных наук Д. Е. Камышенко сконструирована пневматическая сеялка, которая может работать со скоростью двадцати километров в час. Одно из важных преимуществ этой сеялки: семена падают не только под действием силы тяжести, но главным образом под давлением воздушного потока и потому более равномерно укладываются в землю. А это повышает урожай.

Ученые подсчитали оптимальные скорости движения для почвообрабатывающих машин и механизмов. На средних по твердости почвах машины должны двигаться со скоростью шести—восьми километров в час, на твердых почвах — восьми—десяти, на солонцовых — двенадцати—четырнадцати. Такое повышение рабочих скоростей движения плугов ведет к увеличению производительности пахотных агрегатов в пределах двадцати пяти—сорока пяти процентов и урожайности сельскохозяйственных культур — на пятнадцать—двадцать процентов.

Естественно, чем быстрее движется трактор, тем труднее на нем работать; усиливается тряска, особенно на колесных тракторах и прицепных агрегатах, вокруг машины поднимается много пыли, из-за чего тракторист хуже видит, ему становится трудно дышать. Для устранения этих недостатков скоростные тракторы должны иметь плавный ход, дистанционное и автоматическое управление прицепными и навесными орудиями нужно перенести непосредственно на трактор. Конструкторам предстоит решить и эти задачи.

Чтобы вовремя переключать скорости, особенно при работе на неровных полях, трактористу сейчас приходится затрачивать немало усилий. Сотрудники ВИМ под руководством В. А. Светозарова разработали фрикционную трансмиссию, в результате стало возможным автоматически управлять скоростью движения трактора. Необычно выглядит в таком тракторе кабина. Вместо рычагов управления там находится специальный маховичок. Поворачивая его с ничтожным усилием, тракторист меняет направление движения трактора. Скорость же регулирует механический автомат в зависимости от сопротивления. При этом автоматическая передача работает так, что нагрузка на тракторный двигатель всегда остается постоянной.

Оснащение машин фрикционными бесступенчатыми передачами сулит большой экономический эффект. Такая передача, установленная на тракторе «ДТ-54», значительно повышает производительность агрегата и уменьшает расходы топлива. Трансмиссия В. А. Светозарова дает возможность в ближайшие годы начать выпуск тракторов

с двигателями в сто десять — сто шестьдесят лошадиных сил, без увеличения их веса. Производительность таких тракторов на вспашке повысится в полтора-два раза.

В другом московском институте — НАТИ (Научно-исследовательский тракторный институт) специалисты нашли интересное решение: изменение скорости и направления движения трактора производится не механическим путем, а гидравлическим, за счет изменения потока масла к гидравлическим моторам, которые приводят в движение ведущие колеса трактора. Отсутствие механической связи между двигателем и ведущими колесами значительно упростило конструкцию машины, повысило ее маневренность, обеспечило возможность автоматического вождения.

Аналогичную машину с гидравлической трансмиссией создал ВИМ. У нее все четыре колеса ведущие — на каждом смонтирован гидравлический мотор. Машиной управляют с помощью всего лишь одной рукоятки. Тракторист, повернув рукоятку, может подать масло к передним или к задним колесам; ко всем четырем; только к левым или только к правым. Если каналы перекрыты, движение мгновенно прекращается.

Существует еще и электрическая силовая передача, она успешно применена на тракторе «ДЭТ-250», созданном конструкторами Челябинского завода. В ней шестерни коробки передач заменены двумя генераторами и одним тяговым электромотором. Мощность от дизельного двигателя передается на генератор, а генератор приводит в действие электромотор.

Такая передача дает возможность иметь в определенном интервале бесконечно много скоростей. Трактор сам выбирает себе наиболее выгодную скорость, в зависимости от работы, которую он производит. Сопротивление почвы велико — скорость уменьшается. Почва податлива — и скорость растет. Трактористу здесь не приходится перемещать рычаги, все делается автоматически. Электрическая трансмиссия увеличивает маневренность агрегата, повышает производительность труда и экономичность тракторных работ.

Существенный недостаток современных тракторов — слишком большой вес. Чтобы снизить вес машин и тем самым повысить рабочие скорости агрегатов, будут применяться легкие сплавы и пластмассы, тонкостенные отливки и штамповки, а также рациональные конструкции отдельных узлов, алюминиевые детали, двигатели воздушного охлаждения.

Повышение скоростей машинно-тракторных агрегатов открывает широкие перспективы для творческой инициативы сельских механизаторов. Появятся новые, более прогрессивные способы возделывания почвы, ухода за растениями и уборки урожая.

АВТОМАТЫ ВЫХОДЯТ НА ПОЛЯ И ФЕРМЫ

Автоматику не зря называют чудом XX века. Автоматика и технический прогресс — эти два понятия сейчас существуют рядом. Если техника — тот архимедов рычаг, с помощью которого можно «перевернуть земной шар», то автоматика — точка опоры этого рычага. Она направляет полет космических кораблей, следит за работой ядерных реакторов, управляет электростанциями, транспортом, станками и целыми промышленными объектами.

В наши дни автоматика выходит и на поля. В прошлом году на землях Северокавказской машиноиспытательной станции можно было наблюдать небывалый факт. С виду это был самый обыкновенный трактор. Он то шел вперед, то делал развороты вправо и влево, то останавливался, то снова трогался в путь. Не было только тракториста в кабине. Он стоял в сторонке. Собственно говоря, это уже теперь не тракторист, а оператор. Через плечо на ремне у него висел портативный радиопередатчик, в руке крохотная продолговатая коробочка — пульт управления. Человек на почтительном расстоянии командовал каждым движением машины.

Трактор-автомат изобрел Иван Григорьевич Логинов. Имя этого новатора теперь широко известно. В прошлом рабочий, житель города, Логинов решил поехать в село на постоянную работу. Поступил в Усть-Каменогорское училище механизации сельского хозяйства и, когда началось великое наступление на целину, прибыл в зерносовхоз «Иртышский» Павлодарской области, стал трактористом.

Нелегкий это труд — работать на тракторе. Кто считал, сколько раз за сутки придется повернуть рулевое колесо? Должно быть, считали, потому что известны любопытные цифры. Оказывается, только на вращение штурвала тракторист затрачивает работу, достаточную для того, чтобы поднять трактор на высоту двадцатипятиэтажного дома. Разве руки не устают? Или вот еще пример. Управляя гусеничным трактором на пахоте, тракторист в течение часа делает до пятисот—шестисот движений, воздействуя на рычаги. И всякий раз приходится прикладывать значительное усилие.

Вот тогда и возникла у Логинова мысль об автоматическом управлении трактором. Вспомнил он, как работал на заводе на копировально-фрезерном станке. «Если принять трактор с плугом за фрезу, — рассуждал он, — а землю считать как обрабатываемое изделие, то остается лишь придумать копир». Принцип действия станка Логинов и применил для автоматизации трактора. Трактор должен проложить только первую борозду, а в дальнейшем агрегат работает по копии автоматически. При движении трактора копир следует по дну борозды. Стенки борозды играют как бы роль направляющих.

Уже выпущена опытная партия автоматических устройств для управления трактором, которые проходят хозяйственную проверку.

Небезынтересна история этого вопроса.

Первые попытки автоматизировать вождение трактора относятся к началу нашего столетия. Наиболее реальные успехи были впервые достигнуты в 1954 году советским инженером К. Г. Ремезом. Он разработал гидромеханическое приспособление, в котором имеется щуп, скользящий по борозде и являющийся датчиком направления. Однако это приспособление было сложно по конструкции и очень чувствительно к малейшим повреждениям. Оно не нашло широкого применения.

В 1956 году латвийский изобретатель А. Ф. Гаранин сделал электронепневматическую установку. На прямолинейных участках трактор двигался по копии. Отклонения копии передавались пневматическому регулятору. На поворотных полосах тракторист с заднего трактора управлял поворотом переднего, передавая команды по электрическому кабелю. Впервые в мире была практически подтверждена возможность полной автоматизации управления трактором. Годом позже подобную систему создали и в США. Но она не стала распространенной. Гибкий электрический кабель, по которому передавались команды, сковывал движения тракторов.

И вот, наконец, в 1958 году И. Г. Логинов придумал гидроэлектрическое устройство для автоматизации вождения трактора, которое позволило трактористам вообще покинуть кабину. Два человека, находясь на противоположных концах поля, могут осуществлять повороты нескольких тракторов, которые двигаются на прямолинейных участках по копиям.

Однако приспособление Логинова имеет существенные недостатки. Дело в том, что попадающиеся в почвах большие комья вызывают ложные отклонения копирующего щупа, ненужное срабатывание автомата. Отсюда преждевременный износ узлов и деталей, лишний расход топлива. Тогда ученые сделали этот трактор-автомат самонастраивающимся — поставили на нем полупроводниковое «запоминающее» устройство.

Затем на тракторах, оборудованных по схеме Логинова, установили аппаратуру для дублированного управления по радио. Теперь, двигаясь по борозде или по другому проложенному маршруту, копии ведут за собой машины, тракторист только наблюдает за ними. Лишь на поворотах и переездах он управляет ими сам. На одном тракторе он это делает с помощью обычной системы управления, а на другом дублирует по радио. При перегреве двигателя, пониженном давлении масла, выходе копира из борозды трактор автоматически останавливается.

При испытании радиоуправляемого трактора в Красноярске выяснилось, что обычный серийный радиопередатчик даст возможность управлять сразу несколькими тракторами. Каждый из них или все одновременно могут выполнить любую команду. Радиоуправление позволяет использовать трактор не только на пахоте, но и на других работах — на севе, бороновании, культивации, обработке пропашных культур, а также на снегозадержании и устростве дорог.

Сейчас советские инженеры-новаторы разрабатывают программное управление

трактором по заранее заданному курсу, без участия человека. Уже практически решается задача обеспечения агрегатов автоматической радиосигнализацией, которая не только сообщала бы в диспетчерский пункт обо всех возможных отклонениях от нормального режима в работе машин, но и автоматически защищала их от каких-нибудь неисправностей.

Одновременно испытывается индукционная система автоматического программного управления трактором, предложенная работниками ВИЭСХ гг. Литинским и Гурьяновым. Сущность ее заключается в том, что для автоматического управления машиной используется магнитное поле. Меняя частоту тока, трактору на расстоянии можно подавать различные приказания, в том числе и изменять подачу топлива, поднимать или углублять плуг, останавливать агрегат. Он может работать днем и ночью.

Работники ВИМ и группа специалистов Всесоюзного научно-исследовательского института сельскохозяйственного машиностроения (ВИСХОМ), возглавляемая С. А. Алферовым, оборудовали аппаратурой для автоматического управления обычный самоходный зерновой комбайн. Он сам движется по заданному курсу, сам меняет скорость на различных участках и сам сигнализирует о неисправностях. Комбайнер только наблюдает за работой аппаратуры.

Основная часть автоводителя — копир, который, скользя вдоль бровки нескошенного хлеба или вдоль вала при отдельной уборке, направляет движение комбайна. Специальный «следающий» элемент автоматически поднимает хедер комбайна при встрече режущего аппарата с препятствием. Автотехнолог регулирует скорость движения в зависимости от урожайности и влажности убираемого хлеба.

Сейчас институты работают над дальнейшим совершенствованием автоматической аппаратуры, с тем чтобы применить ее и на агрегатах для уборки картофеля, льна, свеклы, кукурузы, различных силосных культур.

На полях страны год от года увеличиваются площади квадратно-гнездового посева пропашных культур — свеклы, хлопка, подсолнечника и так далее. Для этой цели созданы квадратно-гнездовые сеялки с мерной проволокой. Однако работа с мерной проволокой не всегда обеспечивала точное размещение квадратов, а это затрудняло междурядную обработку посевов. К тому же сеялки с мерной проволокой малопроизводительны и тяжелы, на их изготовление расходуется много металла. Механизаторы сельского хозяйства долго ждали от ученых надежного и простого устройства для квадратно-гнездового сева.

Теперь эта проблема разрешена. В Запорожском филиале ВИЭСХ сконструирован автомат, который заменяет механическое приспособление для диагонального переноса мерной проволоки при квадратно-гнездовом севе.

Сотрудники ВИСХОМ разработали систему механизмов, названных «автоматическим культиватором». Для этой цели на обычных культиваторах установили электромагнитные муфты и специальные поворотные «бритвы» для обработки междугнездий, а в борозду спустили проволочные «маячки» с интервалами в тридцать—пятьдесят метров. Когда мотыга подходит к проволочному «маячку», установленный на ней датчик соприкасается с ним, подается командный импульс на электромагнитные муфты, которые и приводят в движение поворотную «бритву», аккуратно и добросовестно выполняющую прополку и рыхление почвы вокруг растения.

Автоматы находят все большее применение и на животноводческих фермах.

Представьте себе большой круглый зал. В нем все необычно: и выложенные кафелем стены, и блестящий пол, и мягкий дневной свет, идущий сквозь застекленный потолок. Удивительно чистый и теплый воздух.

Это зал для автоматической дойки коров, недавно построенный в Краснополянском совхозе Омской области по проекту кубанского инженера И. И. Тесленко. Огромный круг со станками, в которых стоят коровы, за шесть минут делает один оборот. Проходит час, и вот уже надоено двести сорок коров.

Впервые автоматизированный доильный зал конструкции Тесленко был построен в колхозе имени Сталина Крымского района Краснодарского края. Его обслуживают три человека — две доярки (их теперь называют операторами) и механик-электрик.

За день в нем выдаивают шестьсот коров. Производительность труда животноводов увеличилась в тридцать раз по сравнению с ручным доением.

Как работает автоматизированный зал?

В просторном куполообразном помещении смонтирован кольцевой, непрерывно движущийся конвейер, разделенный на станки. В каждом из них установлена кормушка с кормопроводом, имеется доильный аппарат и молокосорбник — дозатор со специальным автоматическим устройством. Доение производится таким образом. Коровы одна за другой подходят по коридору к доильной площадке и занимают станки, куда их влечет корм. Как только корова попадает в станок, вымя ее сразу же обмывается теплой водой с помощью сильных веерных струй, которые не только смывают всю грязь, но и массируют вымя. Этим процессом руководит доярка-оператор. Вторая доярка нажатием кнопки приводит в рабочее состояние доильный аппарат и подвешивает стаканы к вымени. Этим исчерпывается круг ее обязанностей.

Когда завершается процесс доения, аппараты отключаются сами. Простейшее приспособление направляет корову в коридор, по которому она возвращается на скотный двор.

А что происходит с молоком? Из доильных стаканов оно попадает по шлангам в молокосорбник — дозатор. После того как визуально замерен удой от коровы, оно поступает в так называемый релизер. Назначение этого аппарата — учитывать валовой сбор молока, а также перекачивать его для дальнейшей обработки. Молоко затем по трубам поступает в подвальный этаж доильного зала. Там установлен молокоочиститель, пройдя через который продукт попадает в пастеризатор. Отсюда диетическое молоко направится в холодильник. Получив необходимую температуру, оно перекачивается в молочные цистерны.

Экономическая выгода такой автоматизированной «молочной фабрики» очень велика: высвобождается на другие работы около шестидесяти доярок, в три раза снижается себестоимость молока.

Однако автоматизированный доильный зал при всех своих достоинствах обладает одним существенным недостатком: он «привязан» к ферме. А ведь скот, особенно летом, почти весь день на выпасах. Там обычно и доят коров.

Инженеры П. Пономарев, Д. Ицкевич и техник А. Рыжов разработали схему передвижного кругового доильного конвейера. Он размещается в круглой палатке диаметром в двадцать метров. В хорошую погоду конвейер можно установить под открытым небом на двадцати одноколесных тележках, поставленных в круг. Эти тележки используются и для перевозки конвейера — их соединяют между собой в небольшие клетки по три—пять тележек и прицепляют к трактору. Во время доения трактор вращает конвейер и одновременно создает вакуум в доильных аппаратах. С помощью такого автоматизированного подвижного конвейера пять человек легко могут выдаивать до полутысячи коров.

А вот как действует автоматизированная птицеферма. Перед вами небольшой в черной металлической оправе прибор. Он «командует» всеми механизмами на ферме Зимним утром, когда все еще спят, прибор включает свет. Подойдет время кормления птиц, он «прикажет» механическим раздатчиком наполнить зерном кормушки. Автомат проветривает помещение, собирает яйца и выполняет ряд других работ. Такая автоматизация успешно действует на птицеводческой ферме в совхозе под Пятигорском. Она рассчитана на двенадцать тысяч кур. Ферму обслуживает один человек.

Недавно в Загорске близ Москвы сооружен птичник для выращивания цыплят на мясо. В нем содержится пятнадцать тысяч цыплят, а управляется с ним одна работница. Все работы выполняют автоматы. Сейчас в Загорске строится автоматизированный птичник на двадцать пять тысяч цыплят. В ближайшие годы подобные предприятия появятся у нас во многих местах.

Ученые изыскивают способы полной ликвидации ручного труда на животноводческих фермах. Ручной труд здесь должен уйти в прошлое, крупные животноводческие фермы будут обслуживаться инженером-технологом, задающим программу автоматическим устройствам при помощи электросчетных машин, и небольшой брига-

дой наладчиков. В ближайшие семь—десять лет на животноводческих фермах соотношение технического персонала и рабочих будет 10:1.

Как в земледелии, так и в животноводстве автоматизация производственных процессов невозможна без измерительных и контрольных приборов. И здесь на помощь приходят полупроводники. Термоэлемент, составленный из двух различных полупроводников, представляет своеобразную электрическую машину, для которой не нужно ни парового котла, ни турбины. Термоэлементы позволяют осуществлять автоматизацию контроля любых, самых сложных сельскохозяйственных процессов и управлять ими из единого центра. Так, маленькая крупинка полупроводника размером от десятых долей миллиметра до нескольких миллиметров, прикасаясь к поверхности листа, стебля, почвы, кожного покрова животных, может моментально и точно определить их температуру. Малюсенькая пластинка полупроводника измеряет силу освещения в различных условиях, в разных направлениях, внутри или вне растительного покрова, в теплицах, парниках или на полях. Легко предвидеть, как это скажется на организации производства, на облегчении труда земледельца и животновода.

Вот термосигнализатор. Он может быть широко использован для сигнализации перегрева зерна в хранилищах, продуктов на складах, в овощехранилищах, силосных ямах, оранжереях.

В Агрофизическом институте сконструирован автоматический сигнализатор заморозков со счетно-решающим устройством. Сигнализатор самостоятельно производит сложную вычислительную работу и показывает ожидаемую температуру в любой час ночи. Если температура упала ниже нуля, прибор подает световой или звуковой сигнал. Этот автомат найдет особенно широкое применение у садоводов и цитрусоводов.

Создан прибор-автомат со счетно-решающим устройством и для работников орошаемого земледелия. Он определяет испарение влаги с поверхности поля, с его помощью можно точно установить сроки и нормы очередного полива той или иной сельскохозяйственной культуры. Этот же прибор автоматически выключает и включает в действие систему орошения.

Автоматика — вернейшая дорога к изобилию сельскохозяйственных продуктов. И она же облегчит и сделает более производительным труд советского крестьянина, приблизит его к труду промышленному.

Решающая роль в автоматизации сельскохозяйственного производства принадлежит электричеству.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕЛИНА

Всем памятна фотография — Владимир Ильич Ленин на испытаниях первого электрического плуга. Это было 22 октября 1921 года. Ленин прибыл на Бутырский хутор под Москвой. День стоял холодный. Владимир Ильич был в пальто с меховым воротником, в надвинутой на лоб кепке. Он приветливо поздоровался с рабочими, учеными, конструкторами, крестьянами, быстро подошел к электроплугу.

Плуг стоял посредине поля, по краям которого находились крытые повозки с электролебедками. Невдалеке виднелись столбы полевой линии электропередачи. От плуга к лебедкам протянулись серебристые нити стальных тросов.

Начались испытания. Плуг двинулся вперед со скоростью хорошей лошади — один метр в секунду. С помощью троса он попеременно подтягивался то к одной, то к другой электролебедке, совершая таким образом движения поперек поля.

Владимир Ильич неотступно шел по борозде за плугом, внимательно рассматривал, как ложится пласт...

Далек тот осенний день двадцать первого года. Но чем глубже вдумываешься в первый практический почин по применению электропахоты, тем яснее понимаешь горячее стремление Ленина, нашей партии электрифицировать сельское хозяйство России.

Немалая доля гигантских потоков электроэнергии, рожденной водами Волги и Днепра, Енисея и Ангары, направляется и на колхозные поля. Годовое потребление электрической энергии сельским хозяйством приблизилось к девяти миллиардам киловатт-часов. Это в четыре раза превосходит общее производство электроэнер-

гии в царской России. В нынешней семилетке завершится электрификация всех колхозов и совхозов.

Недавно мне случилось побывать в Поволжье. Как изменился этот край с пуском Волжской ГЭС имени В. И. Ленина! Волга щедро отдает свою могучую энергию стране. От Жигулевска до Москвы и до Урала шагнули мачты высоковольтных линий электропередач. Преображенная энергия великой русской реки теперь пришла и в знаменитую самарскую степь. В ту самую степь, которая была, пожалуй, самой обездоленной в Российской империи. Ныне она превращается в богатейшую житницу Поволжья.

Из тридцати шести сельских районов Куйбышевской области двадцать стали районами сплошной электрификации. Сейчас уже около восьмидесяти процентов всех колхозов области пользуется электроэнергией, все гуще растет над крышами сельских домов лес телевизионных антенн.

Я был в колхозе «Дружба» Ставропольского района. Его доходы перевалили за пять миллионов. Из года в год увеличиваются урожаи. В 1960 году с каждого гектара собрали по двадцати—двадцати пяти центнеров зерна.

— У нас все делает электричество,— говорит председатель колхоза Борис Александрович Денисов.

И это действительно так. Электричество заменило здесь сотни рабочих рук. Оно подает воду на фермы и prepares корм для скота, очищает и грузит зерно на токах, выводит и обогревает цыплят на колхозной птицефабрике, приводит в движение станки в мастерских. С помощью электричества колхоз орошает водами Куйбышевского «моря» сад и овощную плантацию.

В различных отраслях производства сельхозартели используются около сотни электрических двигателей. Они позволили снизить общие затраты труда в колхозе в два-три раза. А ведь первая электрическая лампочка здесь загорелась всего лишь пять лет назад!

Но приходилось мне видеть и колхозы, в которых электричество еще не вошло в сельскохозяйственное производство. Несмотря на то, что в Куйбышевской области обилие электроэнергии, во многих колхозах она используется лишь для освещения. Коров доят вручную, воду доставляют в бочках лошадьми.

По числу электромоторов, работающих в деревне, по количеству энергии, проходящей на гектар полезной земельной площади, мы отстаем от многих стран. Доля электроэнергии в общей энерговооруженности сельского хозяйства СССР еще слишком мала — она не превышает семи процентов. К тому же лишь сорок процентов электрической энергии используется на производственные нужды, остальное идет на удовлетворение бытовых потребностей. Особенно слабо электрифицировано животноводство.

На XX съезде партии Н. С. Хрущев, касаясь вопросов электрификации деревни, говорил: «По-настоящему, с должным государственным размахом мы еще не приступили к решению этой задачи. Более того, имело место неправильное отношение к электрификации колхозов и совхозов. Даже там, где это экономически выгодно и не представляет технических трудностей, не разрешалось подключать колхозы и совхозы к энергосистемам».

С присоединением колхозов к государственным энергосистемам, промышленным и коммунальным станциям начался процесс сближения государственной промышленной энергетики с сельской. Это позволит создать единую в стране энергетическую сеть, призванную обслуживать на равных началах как промышленность, так и сельское хозяйство. И деревня уже почувствовала благодатное влияние мудрой политики партии. Только за последние десять лет мощность сельских электростанций в стране увеличилась более чем в четыре раза.

Недавно Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление о дальнейшем развитии электрификации сельского хозяйства. Для каждого колхоза и совхоза будут определены наиболее экономичные источники электроснабжения. Признано необходимым значительно увеличить на 1961—1965 годы объем государственных капитальных вложений на нужды электрификации села. Расширяются научно-

исследовательские работы по техническому прогрессу в области применения электроэнергии в сельскохозяйственном производстве.

Перед учеными стоит задача — создать системы сельскохозяйственных машин, приспособленных к электрическому приводу и осуществляющих комплексную механизацию и автоматизацию производственных процессов.

Пахота — одна из самых трудоемких и энергоемких работ в сельскохозяйственном производстве. Не случайно В. И. Ленин с таким вниманием отнесся к испытаниям первого электрического плуга. Он сразу увидел главное — огромную производительность электропахотных агрегатов и дешевизну этого способа обработки почвы. В то же время Владимир Ильич обратил внимание на большую сеть электрических проводов, спросил, как можно упростить систему.

Система и конструкция подвода электрической энергии к тракторам, комбайнам и другим подвижным сельскохозяйственным машинам все еще по существу не разработаны. Между тем разрешение этой проблемы имеет исключительно важное техническое и экономическое значение для всей страны: почти половина трудовых усилий и большая часть энергетических ресурсов затрачивается именно на подвижные сельскохозяйственные процессы — пахоту, сев, уборку.

Лучше всего было бы применить аккумуляторный и индукционный беспроводный способ питания. Однако электрические аккумуляторные батареи чересчур громоздки, чувствительны к сотрясениям, требуют много дефицитных материалов и имеют большой вес. Индукционный же способ очень рассеивает электроэнергию, коэффициент полезного действия его невелик. К тому же он применим на сравнительно небольших расстояниях.

Есть еще один, быть может, самый заманчивый и рациональный путь получения электрической энергии без проводов. Это — применение топливных элементов, в которых химическая энергия топлива преобразуется непосредственно в электрическую энергию без промежуточного получения высоких температур. В этом случае отпадает надобность в каких-либо топочных устройствах.

Над созданием топливных элементов ученые работают давно. В нашей стране этот вопрос изучался еще в 1946 году. В США теперь построен экспериментальный трактор с топливными элементами. Он развивает тяговое усилие в тысячу двести килограммов, мощность топливной батареи — пятнадцать киловатт, электродвигателя — двадцать лошадиных сил. Как показали испытания трактора, коэффициент полезного действия (кпд) топливных элементов достигает восьмидесяти процентов, то есть превышает максимальный тепловой кпд тракторных дизелей более чем в два раза. Это сулит целый революционный переворот в электрификации мобильных сельскохозяйственных машин.

Интересна также выдвинутая профессором В. И. Гриневецким идея создания двигателя, работающего по раздельному циклу: энергию получают в одном агрегате, а превращают ее в механическую работу — в другом. В настоящее время принцип В. И. Гриневецкого, видимо, будет широко использован для создания электрифицированных самоходных шасси.

Широчайшие перспективы открывает электрификация для комплексной механизации и автоматизации стационарных производственных процессов, в первую очередь на животноводческих и птицеводческих фермах.

Если осуществить все предложения наших ученых в этой области, то, по подсчетам ВИАЭСХ, каждая тысяча киловатт-часов электроэнергии, затраченная в сельскохозяйственном производстве (и в первую очередь в животноводстве), может сэкономить триста человеко-дней. Комплексная электромеханизация позволит уменьшить в 1965 году число работников, занятых только на живогноводческих фермах Российской Федерации, на миллион — миллион двести пятьдесят тысяч человек. Затраты труда на производство центнера молока сократятся в среднем до трех с половиной человеко-часов (в США — 4,7), одного центнера привеса свинины — до двух человеко-часов (в США — 6,3) и одной тысячи яиц — до двух человеко-часов (в США — 13).

Вот какие поистине грандиозные перспективы открывает электричество перед работниками животноводства!

И это не только в животноводстве. Сельскохозяйственное производство объединяет множество разнообразных технологических процессов, которые с помощью электриче-

ства можно автоматизировать. В теплицах, в птичниках, на фермах и полевых точках могут быть автоматизированы целые технологические процессы. Уже имеется, например, «семейство» электрифицированных машин и транспортеров для очистки и сушки свежеубранного зерна. Применяя это новейшее оборудование, в Сосновском совхозе Омской области построили опытный двухлинейный зерноочистительно-сушильный пункт. Первую автоматизированную линию обслуживает только один человек. Затраты труда уменьшились в десять раз.

Следующим этапом является использование электроэнергии для непосредственного воздействия на животных и растения.

Вполне реальным и практически целесообразным является применение в сельском хозяйстве таких электромагнитных излучений, как инфракрасные и ультрафиолетовые лучи, токи высокой частоты, энергия высоковольтных импульсных разрядов. Особое место занимают ультразвуковые колебания и энергия радиоактивных излучений.

Практика колхозов и совхозов показала, что ультрафиолетовое облучение значительно увеличивает привес молодняка, повышает яйценоскость птицы, удои коров. Благоприятные результаты были получены и при предпосевном облучении семян. Исследования в этом направлении продолжают.

Тщательно изучаются условия для практического использования в сельском хозяйстве ультракоротких магнитных волн и токов высокой частоты. Медицина пользуется этой энергией для лечения заболеваний и заживления ран. Под влиянием электрического поля ультравысокой частоты улучшается питание тканей, обмен веществ в органах. Периодическое воздействие высокочастотного электрического поля на животных способствует общему улучшению их состояния. Токи высокой частоты применяют также для сушки и обеззараживания кормов.

Организация специализированных огородноовощных хозяйств вокруг городов и рабочих центров с использованием отходов энергетических хозяйств для нужд теплиц и парников по-новому ставит вопрос о светокультуре. В средних и северных областях СССР выращивание ранней рассады требует дополнительного освещения. Хорошие результаты получаются от люминесцентных ламп в комбинации с газополными.

Сейчас ученые создают новые лампы интенсивной радиации для выращивания овощей в различных зонах страны. Для этого строятся автоматизированные теплицы.

Представим себе: на дворе бушует метель, лютует мороз, а в здании автоматизированной теплицы — лето. Мы увидим залитые светом растения, которые начали плодоносить, — гроздь красных помидоров, крупные огурцы. Щетинятся перья лука, растет салат, а рядом раскинулись целые «плантации» редиса. Вдруг откуда-то снизу забил фонтанчики, разбрызгивая мелкие капли воды. Омытые растения посвежели, листья засверкали в лучах скупого солнца... Но это не обычное солнце, вместо него — зеркальные лампы накаливания.

В теплице нет рабочих. На возвышении, в удобном кресле сидит человек у экрана телевизора. Но он только наблюдает за ростом растений. Кто же выращивает и ухаживает за овощами? Автоматы. Они включают подачу питательных веществ и воды, регулируют температуру, влажность воздуха, содержание углекислоты.

Эти автоматы создал Агрофизический научно-исследовательский институт в Ленинграде — единственное в мире научное учреждение, целиком занятое внедрением достижений физики в сельское хозяйство.

На окраине Ленинграда вот уже несколько лет агрофизики выращивают растения в искусственных условиях, в специальных темных помещениях, где свет и тепло дает электрическая энергия, а почвой служит керамика. Этот необычный «грунт» заполняют питательным раствором, содержащим все вещества, необходимые для нормального роста растений.

Солнце, зажатое человеком, творит буквально чудеса. Установлено, что при соответствующем подборе искусственного освещения, температуры, влажности, питания удается достигнуть результатов, немыслимых в естественных условиях. Например, редис в лаборатории вырастает за две недели вместо месяца. В начале опытов на каждый килограмм зрелых томатов тратили две тысячи киловатт-часов электроэнергии. Но потом удалось снизить эти затраты в восемь раз. И это не предел.

Пройдет немного времени, и у нас будет изобилие дешевой электроэнергии. Тогда в различных районах страны появятся не только автоматизированные теплицы, а целые растениеводческие электрифицированные фабрики и заводы. Население суровых земель Сибири, Севера, Заполярья круглый год будет иметь свежие овощи и ягоды.

Быстрое развитие техники высоковольтных импульсов заставляет обратить серьезное внимание на эту новую форму электроэнергии. В сельском хозяйстве импульсная техника может быть использована для борьбы с почвенными вредителями и для уничтожения сорняков, в электрических оградах для скота, в электроловушках вредных насекомых. По опытам Запорожского филиала ВИЭСХ световая полевая ловушка, снабженная вентилятором, во время лета за одну ночь уничтожила до полумиллиона различных насекомых. Для борьбы со свекловичным долгоносиком разработана полевая импульсная установка с передвижной трансформаторной подстанцией на сто киловатт.

Большие выгоды сулит применение в сельском хозяйстве такого своеобразного вида энергии, как ультразвук. Под влиянием ультразвуковых колебаний, действующих как катализатор, усиливаются процессы обмена веществ, вследствие чего ускоряется рост и развитие организмов. Этот сильный стимулирующий фактор должен быть всесторонне изучен и применен на практике в животноводстве. Ультразвуковые колебания могут применяться также в ветеринарии как лечебное средство.

Сейчас ультразвук намечают использовать и для борьбы с вредными личинками и микроорганизмами в водоемах, с вредителями в почве и зерне. Его можно использовать и в других целях, например, для установления степени загрязненности овечьей шерсти или определения толщины сала у живой свиньи.

Недавно во Всесоюзном научно-исследовательском институте растениеводства проведены интересные опыты по воздействию ультразвука на семена различных сельскохозяйственных культур.

В небольшой стеклянный сосуд, наполненный водой, опускают зерна пшеницы и включают генератор. Вода при этом остается холодной, но от колебаний высокой частоты словно закипает. Затем «озвученные» семена высаживают в грунт. Оказалось, что ультразвук не только повышает всхожесть, но ускоряет развитие растений. При этом значительно увеличивается урожайность. Например, лен, обработанный ультразвуком, дает вдвое больше семян. На томатах появляются плоды, которые крупнее обычных и созревают быстрее.

Самого тщательного и глубокого изучения заслуживает проблема использования радиоактивных излучений и рентгеновских лучей в сельском хозяйстве. С помощью радиоактивных изотопов разработаны рационы кормления, обеспечивающие увеличение молочной, мясной и сальной продуктивности животных. Меченые атомы помогают борьбе с инфекционными заболеваниями скота. Проводятся многочисленные исследования по изменению биологических и физиологических функций организмов под воздействием ионизирующих излучений. Эти опыты дали положительные результаты.

Чтобы лучше использовать радиоактивные изотопы и ионизирующие радиации, надо создать специальную облучающую аппаратуру. Наши научно-исследовательские институты сейчас разрабатывают экспериментальные гамма-установки для облучения сельскохозяйственных животных, которые позволят изучить такой актуальный вопрос, как определение влияния ионизирующего излучения на наследственность и стимуляцию развития организмов.

Трудно даже перечислить все то полезное, что может дать электричество сельскому хозяйству. Конечно, все, о чем здесь рассказано, это только первые шаги. Впереди еще много нерешенных задач.

НАУКУ — НА ВЫСШУЮ СТУПЕНЬ

С большим удовлетворением встретил наш народ недавнее решение ЦК КПСС и Совета Министров СССР о перестройке аппарата сельскохозяйственных органов и превращение его из аппарата административного управления сельским хозяйством в организаторский центр по внедрению в производство достижений науки и передового опыта. Отныне главной задачей Министерства сельского хозяйства является дальнейшее по-

вышение культуры земледелия, технический прогресс во всех отраслях сельскохозяйственного производства.

Упорядочение и всемерное улучшение всей научно-исследовательской работы в области сельского хозяйства, предусмотренное постановлением ЦК КПСС и Советом Министров СССР, — дело назревшее и безотлагательное.

В области механизации и электрификации сельского хозяйства сейчас работают в основном четыре всесоюзных научно-исследовательских института: сельскохозяйственного машиностроения (ВИСХОМ), тракторный институт (НАТИ), механизации сельского хозяйства (ВИМ) и электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ). Все это детища разных матерей, причем все они находятся в Москве. Между ними нет нужных контактов, институты часто дублируют друг друга в создании конструкций машин, зачастую оторваны от колхозов и машиностроительных предприятий. Эта разобщенность мешает сосредоточить научные и инженерные силы на решении наиболее важных научно-технических проблем, приводит к расточительству средств, затрудняет внедрение достижений науки и техники в сельское хозяйство.

ВИМ, подчиненный Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук, нередко повторяет труды ВИСХОМ, который находится в ведении Комитета Совета Министров СССР по автоматизации и машиностроению. Обои институтам было дано, например, задание создать общими силами кукурузо-силосоуборочный комбайн, способный отделять початки от стеблей кукурузы. ВИСХОМ разработал конструкцию этой машины, и она принята на производство. А лаборатория зерноуборки ВИМ по этой же технологической схеме уже не один год безуспешно пытается создать «свою» машину. Такое же «соперничество» ведет ВИСХОМ с группой ленинградских конструкторов в создании зернового комбайна для северных районов и не желает объединиться с ними для того, чтобы общими усилиями быстро создать нужную машину.

А вот как решается такая животрепещущая проблема, как обработка зерна. Четыре научно-исследовательских института — зерна, сельскохозяйственного машиностроения, механизации сельского хозяйства и продовольственного машиностроения, — находящиеся в разных ведомствах, в течение нескольких лет работают над созданием системы машин для комплексной механизации послеуборочной обработки зерна и ухода за ним в период хранения. Однако в их работе нет никакой увязки, преобладает узковедомственный подход, происходят мешающие общему делу распри. А в это время зерно на токах все еще обрабатывают вручную, миллионы трудодней колхозников тратятся непроизводительно.

Многие темы годами кочуют из плана в план. Более семи лет, например, ВИСХОМ проектирует рулонный пресс — подборщик соломы. На его разработку уже затрачена уйма денег, однако агрегат до сего времени еще не годен к массовому производству. Такая же картина получилась и с подборщиком-стогаобразователем. Сотрудники института, начав проектирование этой машины, взяли за основу старую схему, рассчитанную на устаревшее механическое, а не на передовое гидравлическое или пневматическое устройство, давно применяемое за границей. В результате первые же испытания машины дали отрицательные результаты.

Только отрывом теории от практики, неосведомленностью в отечественном и зарубежном опыте объясняется тот печальный факт, что так долго недооценивали у нас раздельную уборку зерновых культур. Этот прогрессивный способ вытекает из самой природы растений и зерна, из их биологических особенностей, и в этом его большое практическое достоинство. Это не какое-либо временное, преходящее мероприятие, а фактор, который должен во многом изменить нашу уборочную технику.

Недопустимо медленно создаются новые зерноуборочные машины в конструкторских бюро, еще медленнее разрабатываются теоретические основы комплексной механизации раздельной уборки. Черепашими темпами создаются машины для комплексной механизации возделывания и уборки кукурузы. Отсутствуют высокопроизводительные механизмы для сбора и транспортировки соломы. На низком уровне находится механизация погрузочно-разгрузочных работ, хотя ежегодный объем их только в колхозах составляет миллиард трудодней.

Ученые в творческом содружестве с работниками промышленности, колхозов и совхозов предложили комплекс машин для применения в различных зонах страны, учитывая почвенно-климатические и хозяйственные условия каждой зоны. Но эта система все еще требует большой доработки. Несмотря на высокий уровень механизации, законченной системы машин до сих пор нет еще ни в одной отрасли сельского хозяйства. Промышленность тракторного и сельскохозяйственного машиностроения не производит машин, приспособленных для работы в северо-западных районах, в прибалтийских республиках, в районах Казахстана, Дальнего Востока, Приморья и других зон страны.

Между тем, как бы совершенна ни была агротехника земледелия, она утрачивает всякое реальное значение, если не получает в своем практическом осуществлении столь же совершенной материально-технической основы, под которой мы понимаем строго выдержанную систему машин и орудий.

Как мы уже говорили, развитие комплексной механизации колхозного и совхозного производства требует непрерывного роста энергетических мощностей. Однако НАТИ невероятно затянул разработку важнейших технических проблем по увеличению скоростей тракторов. В то время, когда конструкторы-новаторы боролись за высокие скорости, НАТИ, по заданию Госплана, составлял семилетку тракторной промышленности. Специалисты все в ней предусмотрели, кроме «сушеного пустяка» — тракторов, которые были бы пригодны для скоростных работ. При разработке скоростных тракторов «Т-75» конструкторы Харьковского тракторного завода не только не получили поддержки со стороны работников НАТИ, но, наоборот, встретили резкое сопротивление. Неправильная ориентация института отрицательно сказалась и на работе конструкторов Сталинградского тракторного завода. Созданный ими трактор «ДТ-56» из-за малой мощности двигателя на государственных испытаниях показал низкую производительность и не был рекомендован к производству.

Существует нетерпимый разрыв между работниками, проектирующими новые машины, и работниками, разрабатывающими основы эксплуатации и ремонта этих машин. Необходимо, например, чтобы при создании новых машин обеспечивалась возможность широко применять агрегатный метод ремонта, унификацию деталей и узлов. Известно, что двигатели различной мощности можно получить, комбинируя число цилиндров и оставляя размеры поршней, колец, пальцев и других деталей кривошипного механизма одинаковыми для многих марок двигателей. Одно это значительно облегчило бы обеспечение запасными частями и организацию ремонта машин. А какая необходимость есть в том, что некоторые тракторные двигатели имеют сейчас один и тот же диаметр цилиндра, а поршень и гильза не взаимозаменяемы?

Осуществление комплексной механизации сельскохозяйственного производства потребует очень крупных материальных, денежных и трудовых затрат. Стало быть, надо уметь считать эти затраты. Между тем Институт экономики сельского хозяйства работает в полном отрыве от институтов механизации и электрификации. При создании новых машин на первый план обычно выдвигается техническая сторона дела — инженерный расчет, конструирование, в то время как основой разработки всякой новой техники должно быть экономическое проектирование.

Вызывает удивление, почему в стране самого крупного механизированного земледелия институты машиноведения и механики Академии наук СССР, располагающие научными методами расчета конструкций и большим опытом применения новейших достижений науки, совершенно устранились от разработки теоретических проблем тракторного и сельскохозяйственного машиностроения. Ну как можно мириться с таким положением, когда число ученых, занятых вопросами механизации сельского хозяйства, составляет сейчас менее пяти процентов общего числа научных работников, занятых в институтах ВАСХНИЛ — Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина. Это никак не может соответствовать ни темпам, ни размаху технического прогресса в сельском хозяйстве страны.

Сеть научно-исследовательских учреждений по механизации и электрификации сельского хозяйства явно недостаточна. К тому же размещена она крайне неравномерно. Вблизи Москвы находятся два крупнейших института, а в Казахстане, в Сибири, на Востоке и в Средней Азии такого рода научных учреждений нет.

Коренного улучшения в этой связи требует вся система подготовки инженерных кадров для сельскохозяйственного производства. Это важное дело пущено на самотек. Хуже того — учебные институты механизации и электрификации сельского хозяйства постепенно ликвидируются или превращаются в факультеты сельскохозяйственных институтов. Так, например, крупнейший Московский институт механизации и электрификации сельского хозяйства сейчас передан в Тимирязевскую академию на правах факультета. Из учебных планов института в разное время исключены земледельческая механика, механическая технология сельскохозяйственных материалов, курсовое проектирование по сельскохозяйственным машинам.

Назрела необходимость создать широкую сеть зональных институтов механизации и электрификации сельского хозяйства, а также укрепить отделы механизации и электрификации в отраслевых институтах — животноводства, овощеводства, виноградарства.

Пора пересмотреть профиль всесоюзных институтов механизации и электрификации сельского хозяйства. Нельзя считать нормальным, когда они разрабатывают отдельные, частные, проблемы (картофельводство, свекловодство, овощеводство и другие), подменяя этим отраслевые и зональные институты. Их деятельности нужно придать исключительно теоретическое и общетехническое направление.

Одновременно следовало бы организовать в составе республиканских академий наук исследовательские центры по перспективному совершенствованию системы машин и новых технологических процессов в сельском хозяйстве.

Как тут не вспомнить замечательные слова Н. С. Хрущева: «Наука должна освещать путь вперед инженерам и конструкторам, чтобы они могли успешно конструировать еще более совершенные машины, чтобы техника постоянно совершенствовалась».

Уже не столь далеко то время, когда на наши поля и фермы придут сотни, тысячи машин-автоматов. Это будет эра самого высокопроизводительного земледелия и животноводства, эра изобилия...

И нужно приблизить это время.



И. ЗЫКОВ

★

ЗЕЛЕНЬ ПЯС

(Из книги о лесах)

НЕ ПО МОДЕ, А ПО ПРАВДЕ

В сентябре 1956 года мне привелось побывать на открытии первой государственной лесной защитной полосы Камышин — Сталинград.

Юго-восточные степи — светлые, бледно-желтые с серым оттенком. Такая окраска складывается из трех элементов: светло-серая земля, реденькие увядшие травинки и обилие золотистых лучей высокого солнца.

И вот по этому бледному фону резко и могуче прочертились три параллельных темно-зеленых вала с кудрявыми макушками молодых деревьев и с шелестом листвы.

Вообще-то сама по себе посадка леса — дело не особо трудное. Идет восьмидесяти-силный трактор «С-80» и тащит за собой семь лесопосадочных машин. На каждой машине сидят две женщины, прикрывшие лица белыми платочками (загар у сталинградских красавиц не в моде), и при каждом удобном случае запевают «Тонкую рябину» или «Каким ты был, таким остался».

Двигается эта сухопутная эскадра со своим многолюдным и голосистым экипажем, и впереди нее лежит голая степная земля, а сзади появляется полоска молоденького леса шириной в пятнадцать метров. Ну, не совсем еще лес — прутики и веточки, но они станут лесом.

Внушительное зрелище, способное вызвать торжество и гордость.

Сажать-то легко, да весь вопрос, где сажать. В сталинградских степях, которые по географической номенклатуре следует называть вовсе не степями, а полупустынями, лес по своей воле расти не желает. Жарко тут и скупо насчет дождичка.

Деревьям нужна вода. Поглядите, сколько на каждом листе! Если сложить вместе, получится паруса в десятки, а на большом дереве даже в сотни квадратных метров. Огромной своей поверхностью листва испаряет много воды, а корни высасывают ее из земли. Каждое дерево — насос и могучая испарительная машина.

По данным А. Л. Кошеева, авторитетнейшего исследователя испарительной работы деревьев, гектар взрослого, густого и полнокровного леса расходует за лето пять тысяч тонн воды. Но Кошеев производил исследования в прохладной Ленинградской области, а под Сталинградом, где лето длиннее и солнце печет жарче, деревьям для нормальной и вольготной жизни потребуется влаги еще больше. Ну, а сколько же?

Ф. С. Черников, изучавший жизнь ползающих насекомых в засушливом климате Юго-Востока, теоретическим путем исчислил годовую потребность в воде гектара древесных насаждений в условиях, аналогичных сталинградским, в восемь тысяч тонн. Противники этого ученого возражают и говорят, что цифра завышена, что деревья могут существовать при более экономном расходовании воды.

Да, могут, но тогда их жизнь не будет ни нормальной, ни вольготной. Поэтому расчеты Черникова следует признать правильными, имея в виду именно привольную жизнь.

Но где ж в степях взять столько воды?

В течение года на гектар сталинградских степей выпадает три тысячи тонн дождей и снега, но не вся же выпавшая влага достанется деревьям: часть задержится на листьях и испарится, не достигнув поверхности земли, часть стечет, часть усвоится травянистой растительностью.

Исследования А. Л. Иванова, А. А. Молчанова, С. В. Зонна и других ученых, занимавшихся изучением этого вопроса, показывают, что в условиях, близких к сталинградским, гектар леса фактически потребляет за лето всего полторы тысячи тонн воды. Не потому так мало потребляет, что больше ему не надо, а потому, что большего-то нет, и вынужден он по приходу и расход держать.

Но такая вынужденная экономия, конечно, не нравится деревьям. Она болезненно отражается на жизненных функциях. Поэтому леса сами, по своей воле, в степях не расселяются, а если их принуждает к тому человек — приживаются туговато. На иссохшей от солнечного зноя земле чувствуют себя дома чахлая польнь да колючий курай — перекасти-поле. А дереву тяжело.

Но у русских лесоводов за плечами более чем полуторастолетний опыт степного лесоразведения. Немало было перепробовано всяких способов, много понесено горьких неудач. Сажали — усыхал, снова сажали — снова усыхал. Ни в какой другой отрасли русские люди не проявили такой упрямой настойчивости, как именно в степном лесоразведении. В конце концов кое-чего достигли: научились помогать деревьям приспосабливаться к скупому водному пайку и бороться со степью.

Сталинградцам победа далась нелегко; много положено трудов.

Во-первых, чтобы создать молодым деревьям благоприятные условия жизни, перед посадками была произведена вспашка и обработка земли настолько сложная, долгая, тщательная и высококачественная, что к ней применимы названия «экстра», «люкс» и все другие слова, какие придуманы для обозначения превосходства над самым высшим сортом.

Вспаханную почву два года держали под паром и многократно ее бороновали, чтобы не зарастала она сорняками, чтобы оставалась всегда рыхлой, чтобы вся влага скупого сталинградского дождика впитывалась вглубь и чтобы ни одна лишняя капля не испарялась с поверхности. Так создавался запас влаги для будущих посадок.

А потом землю повторно вспахали на шестьдесят сантиметров, чтобы у молодых посаженных деревьев могли быстро развиться глубокие корни. Земля получилась — как сахар.

На третий год сажали.

Но степные сорняки тоже не отворачиваются от хорошего. Они прямо-таки озверело кидаются на невиданно сладкую землю. Какой-нибудь курай — перекасти-поле — в степи растет жалкой мочалкой, а как попадет на хорошо обработанную почву, разрастается в метровый шар. Деревья — пришельцы; сорняки у себя дома, они пока сильнее, они способны заглушить и погубить гостей. И вот после посадки деревьев начинается жаркая борьба со степными травами. Сталинградским лесоводам пришлось порядком покорпеть, чтобы прополкой и рыхлением земли побороть сорняки и выпестовать каждый дубок и вяз.

Тут не всякое дело может выполнить машина. Если трава переплелась с молодыми деревцами, то надо траву выбирать руками. Сколько же надо рабочих рук!

На помощь пришли комсомольцы и школьники. Тысячи старшеклассников из Сталинграда, Дубовки, Камышина во время летних каникул добровольно работали на полосе, жили в палатках, занимались прополкой.

Вся работа велась на отменно высоком уровне, о котором принято говорить, что «надо бы лучше, да больше уж некуда».

Вот так и получается: посадка ведется, как говорится, в сжатые сроки, посадочные эскадры ходят семь дней, а вся-то работа на каждом участке продолжается семь лет — два года до посадки и пять лет после посадки.

Сейчас все это осталось позади. Борьба закончилась выигрышем. Деревья укоренились прочно, поднялись высоко, оделись густой листвой, сомкнулись кронами, бросили на землю сплошную тень, а степные травы за миллионы лет своего существования привыкли жить на ярком солнце, они не переносят тени и погибают под деревьями от

недостатка столь нужного им света. Деревья теперь не нуждаются в защите, сами за себя могут постоять.

Окончание посадок намечалось по плану на 1965 год. Но сталинградские лесоводы во главе со своим энергичным руководителем — начальником областного управления лесного хозяйства Алексеем Гавриловичем Грачевым — и помогавшие им комсомольцы оказались на высоте положения: крепко поднажали, быстро с делом управились и на девять лет раньше срока предъявили плоды своих трудов государственной приемочной комиссии. Чего ж в самом деле ждать? Ведь посаженные деревья, или, как их принято называть, лесокультуры, достаточно окрепли и готовы к экзамену на аттестат зрелости.

И вот прибывшие из Москвы министерские начальники в сопровождении сталинградских лесоводов едут на машинах вдоль кудрявой зеленой стенки. На приметных местах останавливаются, слезают с машин, углубляются в молодой лесок, разглядывают, меряют высоту, обмениваются впечатлениями. Потом снова трогаются в путь.

От обычных полесозащитных насаждений государственная полоса отличается особой капиталностью. Она имеет ширину почти в километр, но не вся сплошь засажена лесом. Насаждения тянутся тремя параллельными лентами — две по краям и одна посередине, а между ними лежат трехсотметровые свободные промежутки, пересекаемые поперечными лесными перемычками. Принцип построения такой же, как в ажурной ферме моста, составленной из прочного переплетения стальных балок, причем полезное действие не меньше, а значительно больше, чем получилось бы при сплошной посадке.

По названиям конечных пунктов — Камышин и Сталинград — можно предположить, что лесная полоса идет по берегу Волги. А на самом-то деле она пролегла вдалеке от реки. Из Сталинграда надо ехать к ней восемнадцать километров в глубь степи.

Она расположилась на самых высоких нагорьях Приволжской возвышенности, составляющей водораздел между Волгой и бассейном Дона. Чтобы точно следовать линии водораздела, лесной полосе приходится выискивать места повыше, избегать с пригорка на пригорок, извиваясь зигзагами, причем параллельность составляющих полосу лесных лент всюду строго сохраняется.

Полоса господствует над прилегающей местностью. Глянешь вправо, глянешь влево — там на десятки километров простираются сизые дымчатые дали, а под самым горизонтом виднеется что-то белесое и голубоватое, и никак не разглядишь: то ли вода, то ли затуманенная степь. Вот тут какой кругозор!

А места безлюдные, нераспаханные. И нет никакого жилья, кроме кордонов — маленьких домиков, построенных для охраняющих полосу лесников.

— Почему лес посадили на самых высоких нагорьях?

Такой вопрос задал я старейшему сталинградскому ученому-лесоводу Николаю Трофимовичу Годунову, преподавателю института, наставнику и советчику здешних лесомелиораторов. Седенький, дряхлеющий, он был в ту пору еще очень бодрим. Очень его здесь любили, ценили огромный опыт, прислушивались к его советам. Своими консультациями он оказывал большую помощь созданию лесной полосы.

Ученый ответил:

— Мы сажаем леса в степях для борьбы с ветром; выполнить свое назначение они могут только тогда, когда не прячутся от ветра где-нибудь в низине, а противостоят ему на возвышенных местах. Наша полоса защищает гребень водораздела, тем самым она имеет значение для широкой округи. Не без ума выбрана трасса.

Я попросил разъяснить значение степного лесоразведения.

— С большой охотой, — сказал Николай Трофимович. — Не взыщите, если получится длинно. Про лесные посадки наговорили черт знает чего. Уши вянут, когда слушаешь. Выходит так, что лес якобы умеет чародейским способом рождать воду из ничего. Посади лесок — сразу над тобой разверзнутся хляби небесные и польет дождик. Это, конечно, вздор. Мы реалисты, а не мистики, и мы не верим в колдовство. Лес способен сыграть очень большую роль в увлажнении засушливых степей, но происходит это не по шучьему велению и без помощи волшебства, а в силу обыкновенных законов физики. Лес не создает какую-то новую влагу, но он помогает сберечь существующую влагу от потерь.

Старый ученый взял меня за рукав, повернул, заставил оглядеться кругом.

— Какой простор! Есть где разгуляться ветру. Вы видали метель в степи? Если не видали, вспомните хотя бы «Капитанскую дочку» Пушкина. Разве может зимой снег удержаться в открытой степи? Нет, его несет до тех пор, пока он не ляжет в овраг, а степь остается голая. И не только без пользы пропадает снеговая влага, а приносит вред. Придет весной тепло, и забурлит талая вода, разрушая на своем пути землю; растут и ширятся тогда овраги. Чем другим, а оврагами наша Приволжская возвышенность слишком уж богата.

— Как же бороться?

— Да вот при помощи лесных посадок. Поставьте в степи ветрозащитные стены — уляжется метель. Можно строить их из камня, железобетона. Но опыт показал, что сплошные, непроницаемые преграды приносят мало пользы, скорее даже вред: ветер около них мечется вверх и вниз, образуются вихри, сметающие местами снег дочиства, а местами насыпающие глубокие сугробы. Наилучшими ветрозащитными стенами оказываются полосы из живых деревьев. Ветер увязает в упругом переплетении качающихся и пружинящих древесных веток, постепенно теряет силу, гаснет без завихрений. Говоря техническим языком, лесная полоса — идеальный амортизатор силы ветра. На защищаемом ею пространстве снег ложится ровным слоем, без сугробов. Наша полоса — молодая, но уже работает. Вот вам результат: в открытой степи снега бывает пять сантиметров, а в зоне полосы накапливается пласт толщиной в тридцать сантиметров. Такие площади становятся уже пригодными для земледелия. Весной растаявший снег обильно смочит почву — можно вырастить ячмень, просо, а то и пшеницу.

И не только зимнюю влагу сохраняет лес, — продолжал Н. Т. Годунов, — но и летнюю, дождевую. Даже на крутом склоне, засаженном деревьями, вода не стекает по поверхности, а впитывается в грунт, потому что почва под лесом пористая, взрыхленная корнями деревьев. А это имеет большое значение и для накопления влаги в почве и для борьбы с оврагами. И я особо хочу обратить ваше внимание на то, что, посаженный в степи узкими полосами, лес сохраняет от сдувания и от стока значительно больше влаги, чем сам он высасывает из почвы и испаряет листьями. Дело-то ведь в том, что высасывает и испаряет лес только на той площади, которую сам занимает, а накапливает влагу на всей подзащитной степи. Сам от жажды страдает, а воду для степей продолжает сберегать. Вот какой верный слуга! Вообще значение леса многообразно. Сильный ветер в жару — это сухой ветер, он обжигает растения. Ослабьте ветер — нет суховея, уже не обжигает.

Открытие первой в стране государственной лесной полосы заслуживало бы праздника, многолюдного митинга, флагов, толп народа, оркестров, произнесения торжественных речей. Признаться, когда я ехал в Сталинград, думал, что так и будет. Но эти ожидания свидетельствовали о городском типе моего мышления. Лесная полоса оказалась вещью весьма протяженной и удаленной от населенных мест. Транспорт здесь затруднен, а люди рассредоточены. В период посадок и ухода за лесокультурами жили в палатках, а сейчас сезон работ уже кончился, все разъехались, остались только на кордонах лесники. На отдельных участках комиссию встречали пять — десять человек. Как и куда соберешь людей на общий праздник?

Все свелось к деловой стороне — осмотру посадок, причем работа затянулась на несколько дней.

Приемочная комиссия постановила: «Государственную защитную лесную полосу Камышин — Сталинград считать законченным объектом полезащитного лесоразведения и зачислить ее в лесопокрытую площадь Государственного лесного фонда». Как стройка превращается в действующее предприятие, так посадки превратились в лес.

Сталинградские лесоводы — народ негордый, но все они сознавали большое значение выполненного дела. Выращенная раньше срока полоса сдается в прекрасном состоянии: деревья хоть молодые, да рослые — на многих участках успели вымахнуть в высоту до пяти метров.

Самое главное то, что она первая в СССР. Она начал, старшая сестра других подрастающих полос. Посадки продолжают, и скоро зеленые шумящие ленты разбегутся на многие тысячи километров, опояшут все засушливые области.

Старейший сталинградский лесовод Н. Т. Годунов сказал:

— Наша полоса равнозначна Волховстрою. Это первая искра большого будущего пламени.

И такая светлая радость сияла в глазах старика!

Участники посадок переживали праздничную взволнованность. Улыбались, разговаривали более громко и оживленно, чем всегда. Ждали откликов печати, предполагали, что весть об успехе прокатится по всей стране.

В день открытия полосы областная газета «Сталинградская правда» предоставила участникам посадок целую страницу и напечатала их статьи. Но лесоводы не считали это голосом общественности, потому что сами писали про себя. Писали и конфузились:

— Сами про себя говорим. Пусть лучше расскажут другие.

Н. Т. Годунов несколько дней просматривал все московские газеты, какие можно достать в сталинградских киосках, вплоть до железнодорожного «Гудка» и «Речного флота». Он так и просил:

— Все, все газеты, какие есть!

Но в газетах не появлялось никаких сообщений об открытии Сталинградской лесной полосы.

Лесоводы недоумевали:

— Помните, как шумела печать о лесных посадках лет семь назад? Громко хвалили нас, а мы в ту пору только готовились к работе и делали первые ошибки. А вот теперь достигли крупного успеха и — молчат.

— Мы вышли из моды,—подвел итог Годунов.— А все-таки работу надо продолжать.

И продолжали, потому что через Сталинградскую область проходят еще четыре другие государственные лесные полосы. И работали с не меньшим усердием и успехом. А пишут или не пишут — не все ли в конце концов равно?

В 1957 году была сдана вторая выращенная государственная лесная полоса Белгород — Дон, а в 1958 году еще две: Пенза — Каменск и Воронеж — Ростов-на-Дону. Общая протяженность действующих зеленых заслонов достигла двух тысяч четырехсот пятидесяти километров.

Большой это факт или малый? Если отпечатать карту СССР на спичечном коробке, то и в таком масштабе линия длиной в две с половиной тысячи километров будет достаточно заметна. Это две трети длины Волги. Вот это какой факт!

Но и на этот раз газеты не обмолвились ни словом.

Само по себе умолчание о посадке и открытии государственных лесных полос, взятое изолированно, ничего особо удивительного в себе не заключает. Мало ли к чему у людей нет интереса!

Удивительное, граничащее с невероятным, выявляется в сопоставлении.

Из архива десятилетней давности извлеките любую центральную или периферийную газету, стряхните пыль, раскройте любой номер за 1949 год и там всюду найдете статьи, заметки, очерки о лесных полосах.

Это те самые полосы, на открытии которых мы присутствовали и о которых газеты в конце пятидесятих годов не издали ни ползвучка.

А в 1949 году о них с восторгом писала вся наша печать. Карты будущих полос на огромных фанерных щитах были выставлены на площадях и даже в фойе кино и московских театров. В журналах появилось немало литературных произведений на ту же тему. Композитор Шостакович написал ораторию «Песнь о лесах». Художники изображали лесопосадки на картинах. Словом, все музы, каждая на своем языке, прославляли лесные заслоны против суховеев. А никаких заслонов в ту пору еще не было, разрабатывались только проекты их посадки да кое-где начиналась подготовительная работа.

Почему же о лесных полосах писали, когда их не было, а когда они появились, писать о них перестали? Посадили, вырастили — и не только никаких ораторий в честь лесоводов не прозвучало, а даже не тиснули трех строчек в газетных разделах «Коротко о разном» или «Отовсюду обо всем».

Зато в 1958 году я получил через бюро газетных вырезок три тысячи статей, корреспонденций и заметок об истреблении лесов, причем на девяносто процентов они были вздором. А вот то, что в том же 1958 году магистральные государственные полосы пробежали от Пензы и Воронежа до Ростова, что длина железнодорожных лесных полос составила в тот год пятьдесят семь тысяч километров, а общая площадь искусственно посаженных лесов измеряется уже многими миллионами, даже десятками миллионов гектаров, об этом я прочесть нигде не мог — пришлось глядеть собственными глазами.

Плохая это штука — мода, заслоняющая правду. Мешает она разглядеть хорошее и худое, не позволяет понять причину того и другого и тем самым закрывает поиски правильных путей к исправлению существующих не порядков.

Давайте поговорим о наших лесах не по моде, а по правде! Никакой позолоты и никакой сажки! Не станем замалчивать ни достижений, ни прорывов.

Так, значит, есть в лесу прорывы и не порядки?

Как не быть! Множество! Гораздо больше, чем знают о них печальники оскудения природы. Да только вопрос в том, насколько не порядки длительны и неисправимы, какое значение они имеют для судеб нашего народа. Рисуеться ведь это дело обычно так: для заготовок древесины мы вырубам слишком много лесов, на наш век их, быть может, хватит, но потомкам мы оставим страну разоренную и непригодную для жизни.

Я пробовал доказывать обратное, а люди не соглашались, напоминают мне о карте уничтоженных лесов чеховского доктора Астрова и упрекают в непочтительности к Чехову.

Я принадлежу к поколению провинциалов, воспитавшемуся на Чехове. Он был властителем наших юношеских дум. Даже по одному этому полемизировать с Чеховым было бы для меня тяжеловато.

Да к счастью, полемизировать не приходится. Ни один из русских писателей не глядел в будущее с таким доверием, как Чехов. Ведь он не уставал повторять, что в будущем «вся земля обратится в цветущий сад».

Стало быть, в глазах самого Чехова общий ход жизни определялся не теми процессами, какие запечатлелись на карте доктора Астрова, а другими линиями развития, способными стереть докторскую карту и привести к будущему расцвету.

Жизнь — это множественность явлений и процессов.

Я однажды сидел во время ледохода на берегу Москвы-реки, у деревни Старая Руза. На середине русла льдины неслись влево, вниз, как положено по законам течения рек. А около берега, у самых моих ног, вереница льдин двигалась все время в обратную сторону.

Объясняется очень просто: вода поднялась, залила берега; образовались заливы и мысы — ходу воды препятствия. Да еще мост стоит на быках. И вот, наталкиваясь на препоны, вода ответвляет струи, идущие вспять.

Река жизни куда сложнее, больше в ней всяких переплетающихся струй и водоворотов. Чтобы понять, куда она течет, следует смотреть не себе под ноги, а подальше.

Надо приглядеться ко множественности фактов, происходящих в наших лесах, проследить, какие явления отмирают, какие нарождаются и какие должны победить.

А главное — надо судить по правде.

Есть в логике закон: «Все следует мыслить на достаточном основании, а без достаточных оснований нельзя делать никаких умозаключений».

В суждениях о лесе этот закон в наши дни частенько нарушается.

У меня был напечатан очерк «Шумят леса». Там описан Козельский лес в Калужской области, каким я видел его в 1925 и в 1955 годах. И вот по поводу этого очерка И. С. Соколов-Микитов в рецензии, опубликованной в журнале «Новый мир» (№ 4, 1959), написал: «Очень сомнительно, чтобы автор рецензируемой книги мог любоваться «стеной Козельского бора», который уже не существует. Этот заповедный монастырский бор на берегу реки Жиздры в годы войны уничтожили фашисты».

Я подивился. Бор никогда не был ни заповедником, ни монастырским. И он не уничтожен фашистами. Во время битвы за Москву фашисты действительно заняли Козель-

ский район в ноябре 1941 года, а в декабре их вышибли обратно (Большая Советская Энциклопедия, том 28, стр. 392—395). Леса уничтожить они не успели, да и не таков этот лес, чтобы его можно было легко уничтожить.

И. С. Соколов-Микитов говорит, что бор «не существует». Но чрезвычайно легко навести справки. Карта Козельского леса геодезической съемки 1947 года (следовательно, после фашистов и после войны) напечатана в распространеннейшем учебнике Г. П. Мотовилова «Лесоустройство» (изд. 1951 года, вкладка к странице 213). Все лесники этот учебник изучают, и карта Козельского леса им очень хорошо известна. На чертеже видно, что в пределах Калужской области лесной массив имеет площадь в 38 516 гектаров, что он переходит через областную границу и продолжается в Тульской области, а сколько там занимает еще места — это надо искать уже на других картах. Вот видите, какой лесок! Разлегся на две смежные области. Скоро не уничтожишь!

Козельский лес обозначен также в капитальном издании «Карта лесов СССР».

В последние годы распространилось много всяких слухов про истребление лесов. А та или иная оценка процессов, происходящих в природе в результате хозяйственной деятельности человека, имеет большое значение. Портим мы природу или обогащаем, к чему идем: к благу или к разорению? Решение этих вопросов далеко не безразлично для нас.

Крупнейший из классиков лесной науки Г. Ф. Морозов, чья деятельность направлялась одной пламенной страстью «сберечь, сохранить великое народное достояние — народный лес», в 1916 году читал в Петербургском лесном институте прощальные лекции. Изданные уже после его смерти, они звучат, как завещание. Морозов говорил: «Пессимистическое воззрение Руссо, что все, исходящее из рук творца, совершенно и все, к чему прикасается человек, теряет совершенство, думается мне, не может быть общепризнано... Тогда надо кончать самоубийством. Мне, наоборот, представляется культурная деятельность человечества, и в частности воздействие человека на природу, в другой окраске».

КОРЕНЬ УЧЕНЫЯ ГОРЕК

Профессор Тимирязевской сельскохозяйственной академии по кафедре лесоводства Владимир Петрович Тимофеев — пропагандист посадок лиственницы. И, конечно, большой знаток этого быстрорастущего, крепкого, долговечного дерева, легко переносящего всякого рода невзгоды. У него диссертация докторская была о лиственнице, да за нее же он получил и лауреатство.

В каком бы уголке Московской области ни сажали лиственницу, профессор не утерпит и обязательно съездит поглядеть: как там у них получается, все ли правильно делают, нет ли каких ошибок?

Да не одна же лиственница! Не может профессор безучастно отнестись ко всему, что происходит в лесах Подмосковья. А подмосковные леса — очень важные и очень трудные, потому что соседствуют с чрезмерным сгущением людей, построек, дач, дымящих заводских труб, сыплющих на окрестности ядовитую золу и копоть. Все это вторгается в жизнь лесов, нарушает ее нормальный ход. У подмосковных лесоводов множество всяких забот. Профессор Тимофеев не стоит от них в стороне и частенько выезжает из города: все надо поглядеть своим глазом. А я бываю рад, когда удается его сопровождать.

Лес доступен только пешей ногой. Прогулки иной раз бывают утомительными. Отсюда понятно, почему шепетильный и даже церемонный Владимир Петрович однажды летом согласился зайти передохнуть на дачу моего приятеля в Шелковском районе.

— Для таких калик переходящих пенсионного возраста, как мы с вами, всякое пристанище — благо.

Дачный поселок расположен в лесу. Участок моего приятеля весь заполнен столетними соснами и елями. Домик вдвинулся промежду них осторожно и при постройке не беспокоил деревьев.

Надо сказать, что мой приятель — большой любитель леса и страстный его защитник. Услышит по радио про успехи лесорубов или хотя бы про их обещания дать

стройкам больше древесины — обязательно покачает головой и скажет: «Истребляют леса, разводят суховой». Напечатал в газетах несколько заметок на эту тему, присутствовал на собрании в Доме ученых и кричал из зала: «Суховой разводят!»

Внезапный приход известного профессора лесоводства не мог не порадовать любителя леса. Встретили нас радушно. Хозяйка принялась выставлять на стол угощение, а хозяин повел мыть руки после дороги. Умывальник висел на стволе живой ели с лохматыми зелеными ветками, а над ним громадными гвоздицами прибиты палка для полотенца и несколько полок: для мыла, для щеток, для зубного порошка и прочих снадобий. Любит человек во всем удобство.

Под рукомойником не стояло таза или какой-нибудь другой посуды; мыльная вода стекала на корни дерева.

По лицу профессора проскользнула тень недоумения. Как человек чрезвычайно деликатный и не позволяющий себе замечать промахи окружающих, он ничего не сказал, но сделал попытку уклониться от мытья рук: нет, мол, в этом необходимости, по лесу ходили, а там чисто.

Я же, воспитанный менее тонко, сказал хозяину:

— Эх ты, хранитель природы! Сколько же ты гвоздей в несчастную елку заколотил! Почему не прибил рукомойку с этажерками к столбику или к забору?

— Я так полагаю: дереву ничего не сделается. От поливки оно еще лучше растет.

— Ты же изранил, — говорю, — елку. Уж коли тебе невтерпеж, вколачивал бы лучше гвоздицы в сосну, благо она рядом.

— Какая разница?

— Большая. Сосна обильно заливает рану смолой, она переносит легче. А елка — дерево тонкокорое, малосмольное; через раны она заражается гнилостными грибковыми болезнями. Она не переносит поранений. Не в долгом времени погибнет твоя вековая ель. Вот и выходит, что сам ты разводишь суховой.

В разговор вступил профессор и со свойственной ему мягкостью заметил:

— Не следует прибивать ни к ели, ни к сосне и ни к какому другому дереву. Дело ведь не только в гвоздях, но и в том, что корни дерева обильно поливаются мыльным раствором, а в мыле содержатся соли. Они могут быть губительны.

Мой приятель попробовал оправдаться:

— А как же Чехов? Когда он построил в Ялте дачу и посадил деревья, воды было мало, и деревья всегда поливались помоями из умывальника. Это же известно из переписки писателя с сестрой. И хорошо действовало: розы цвели, персики вызревали.

Я перебил:

— Не спорь! Склонись перед авторитетом профессора!

Приятель шутливо ответил:

— Под тяжестью улик подсудимый признал свою вину. Моя неграмотность в вопросах лесоводства доказана. Я расписался в ней молотком, гвоздями и бочками вылитых помоев. Но, граждане судьи и присяжные заседатели, не на меня одного должна пасть ответственность. Грех пополам!

— С кем? — спросил профессор.

— С вами, учеными-лесоведами.

Профессор В. П. Тимофеев изумился необычайно:

— В чем же мы виноваты?

— Вы не написали для нас, рядовых граждан, ни одной популярной книги о лесе.

— Мы старательно пишем. Существует огромная научная и учебная литература.

Почему не читаете?

— Пробовал читать учебник, написанный профессором Ткаченко, да бросил: очень скучно. После учебника у меня в голове засела путаница. Я привык думать, что все явления природы текут по незыблемым законам, не допускающим никаких исключений, что один предмет безусловно хорош, другой безусловно плох. А в учебнике лесоводства на каждый закон приводится сотня исключений. При одной комбинации условий выходит так, при другой иначе. Например, в одном случае лес сушит почву, в другом увлажняет. Читайте: «Лесные пожары — страшное зло», и на той же странице сказано, что во многих случаях пожары приносили лесам пользу. Вот, например, в Теллерманов-

ской роше Воронежской области сгорел худой лешишко, и на его месте после пожара вырос великолепный дубняк. Не было бы счастья, да несчастье помогло.

— Таковы подлинные противоречия действительности,— заметил профессор.— Разнообразные сочетания причин дают различные последствия. Иначе не может быть.

— Не спорю,— ответил хозяин дачи.— Но мне трудно запомнить сотни правил и тысячи исключений. Зубрежки тут требуется гораздо больше, чем при изучении иностранного языка. Пусть этим делом занимаются специалисты. А для себя я хотел бы иметь какую-то элементарную книжку, понятную, как таблица умножения и четыре действия арифметики.

— Напрасно вы взяли большой вузовский учебник,— сказал профессор.— Он, конечно, труден для неподготовленного читателя. Но есть же учебник для колхозных лесоводов — два небольших томика, написанных с предельной простотой.

— Как бы ни был хорош учебник.— возразил хозяин дачи,— люди читают его не по своей охоте, а только под страхом получить на экзамене двойку. Дайте нам книгу, которая читалась бы без принуждения! Сто лет назад написана «Жизнь животных» Брема. Она существует и в многотомных и в сокращенных школьных вариантах, много раз перерабатывалась, переведена на многие языки, до сих пор переиздается, и нет человека, который бы про нее не слышал. Почему не написана аналогичная книга о лесах?

— Нечто подобное предпринималось и в лесном деле,— сказал профессор.— В начале двадцатого века издана «Энциклопедия русского лесного хозяйства». Она ставила задачи популяризации лесоводственных знаний. Печатались и другие общедоступные книги, но они не получили распространения. Лесная наука действительно не пользуется вниманием общества. В этом вы правы. Только напрасно вы обвиняете нас, лесоводов. Тут не вина, а беда наша. Не мы обижаем, а нас обижают.

И профессор рассказал о том, как крупнейший из классиков лесной науки Г. Ф. Морозов в свое время тщетно ратовал за то, чтобы лесоведение изучалось не только в специальных лесных институтах, но и на биологических факультетах университетов, чтобы оно было известно не только практическим работникам лесного хозяйства, но в элементарных своих основах — всему образованному обществу.

Университетская наука вошла в культуру народа. Она распространялась в обществе через среднюю школу. Из университетов выходили школьные преподаватели. Они, естественно, могли научить лишь тому, что знали сами. В школьных программах природоведения нашли себе место элементарные начатки и орнитологии, и энтомологии, и всего прочего, чем нагрузили в университете будущих учителей.

Лесоводственные же науки в университетах не изучались, в школьные программы не проникли, в учебный предмет не оформились, в обществе не распространились.

И это большой урон. Для такой лесистой страны, как Россия, понимание леса имеют бы не меньший смысл, чем знакомство с биологией беспозвоночных. Ведь подавляющее большинство населения повседневно соприкасается с лесом, невольно влияет на его жизнь, ведет о нем споры. А споры-то получают невежественные, знахарские, без достаточных знаний.

У меня давно чешутся руки написать понятную для всех книжку о лесах. Но пугают опасения: станут ли читать?

Впрочем, что ж гадать: станут, не станут? Надо попробовать. Попытка, говорится, не пытка.

Миллионы людей любят лес, с жаром о нем говорят, принимают близко всякого рода известия о лесах и живо интересуются их судьбой. Так неужто же никто не пожелает познакомиться с законами жизни леса? Не может этого быть! Ну, а если кто не захочет, того не заставишь никакой хитростью.

ЛИПА ЦВЕТЕТ

Наша любовь к древесной растительности начинается в городе. Именно здесь, среди каменных домов, на земле, одетой в бетон и асфальт, мы наиболее ценим шелест зеленых листьев и с особой заботой оберегаем деревья.

Начало июля в Москве. Целый день жаркое солнце калило кирпичные стены и железные крыши. На размягченном от жары асфальте каблучки пешеходов стали оставлять вмятины.

К вечеру ветер словно устал проветривать нагретый город и затих; сгустилась духота.

Я шел по Садово-Кудринской улице. С рокотом и гулом катились по мостовой табуны автомашины: разноцветные «москвичи», «волги», «победы» и много грузовиков со всякой поклажей.

Они заполнили улицу десятью бегущими вереницами: пять обгоняли меня, пять неслись навстречу по другому боку мостовой.

На перекрестке зажегся красный фонарь светофора, и движение остановилось. Машины сгрудились в плотную пробку, шум затих. И пока двигался поперечный поток и торопливо перебежали через улицу пешеходы, автомобили на Садовой стояли и молчали. А потом открылся зеленый фонарь, пришла очередь возобновить бег, и каждая машина, трогаясь в путь, обязательно фыркала, а некоторые выпускали струйки белого дыма. Распространился резкий запах нефти, словно начадила неисправная керосинка.

Очень много бегают по Москве автомобилей. Движение же происходит толчками: то бегут, то останавливаются под светофорами. И такая непостоянная и неравномерная работа моторов вызывает при рывках выхлоп несгоревших газов. Москвичам частенько приходится нюхать нефтяную гарь.

С Садово-Кудринской я свернул на Малую Бронную. За углом показались деревья сквера на Пионерских прудах, и сразу же бензиновый смрад сменился приятным ароматом. Взглянул вверх: густые ветвистые липы усеяны бледно-желтыми цветочками.

На Садово-Кудринской улице тоже есть липы, тоже цветут, но деревья невелики, недавно посажены, стоят в один ряд вдоль тротуара — перевес сил явно на стороне лавины дымящих автомобилей. И только ночью, когда уличное движение затихает, начинает чувствоваться сладкий медовый запах цветов.

На Пионерском сквере липы вековые, стоят густо, и такое на них неисчислимо множество цветочков, и так сильно они благоухают, что аромат в любое время суток борется с чадом машин и побеждает.

Людно бывает на аллеях сквера в пору цветения лип. Уголок живой природы, вкрапленный в нагромождение многоэтажных домов, привлекает людей всех возрастов. Топчутся малыши, матери катают по дорожкам детские коляски, и старички пенсионеры, собравшись в кружок, с азартом брякают костяшками по доске, забывая «козла».

Освежающее действие деревьев на воздух наиболее ощутимо, когда липы стоят в цвету, но оно не прекращается и после опадания цветов. Состязание деревьев с машинами длится целое лето. Главную работу выполняют не цветы, а листья.

Автомобильные моторы могут работать идеально, сжигая топливо без остатка и не пуская чада, и все же они не перестанут портить воздух. При сжигании любого топлива во всех случаях выделяется ядовитый углекислый газ. Запаха от него нет, а воздух отравлен.

А для деревьев углекислый газ служит пищей. Зеленые листья в продолжение всего лета отсасывают его из воздуха, разлагают на составные части, берут себе углерод и при помощи солнечных лучей строят из него ткани древесины, а получившийся при разложении кислород выделяют в воздух. Так деревья очищают атмосферу от углекислого газа и обогащают ее кислородом.

Кроме того, деревья выделяют фитонциды — особые вещества, очищающие воздух от болезнетворных бактерий.

Отсюда понятны заботы о насаждении парков, садов, бульваров, скверов и полос деревьев вдоль городских улиц. Это вовсе не роскошь, а составная часть современного градостроительства, столь же необходимая, как сами жилые дома, мостовые на улицах, водопровод, городской транспорт, канализация.

Люди с давних пор понимали важность зеленых насаждений. Петр Первый одновременно с постройкой Петербурга сажал сады.

В Москве же на этот счет обстановка сложилась неблагоприятно. Город веками рос стихийно и сохранил пороки средневековой сумбурной планировки с кривыми

узкими улочками и чрезмерной теснотой застройки. Когда в восемнадцатом столетии всталась задача навести в городе какой-то порядок — расширить улицы, посадить деревья, — тогдашняя администрация не в силах была что-либо сделать, потому что вся земля до последнего клочка принадлежала частным собственникам.

Но в тех случаях, когда в распоряжении администрации оказывались свободные пространства, они предпочтительнее отводились не под застройку, а для посадки деревьев.

Такие свободные места город получил после уничтожения старинных оборонительных сооружений, двумя кольцами окружавших столицу. В былые века они защищали Москву от вражеских нашествий. С упрочением могущества России возможность осады Москвы уменьшалась; укрепления становились ненужными. Их снесли и на освободившихся местах в конце восемнадцатого века посадили деревья. Вместо прежних каменных стен Белого города протянулась цепочка бульваров: Пречистенский (ныне Гоголевский), Никитский, Тверской, Страстной, Петровский, Рождественский, Сретенский, Чистопрудный, Покровский, Яузский. Общая их протяженность — семь километров.

На месте скрытого Земляного вала появилось кольцо Садовых улиц с непрерывной аеренницей бульваров, скверов и палисадников на протяжении десяти километров — от Крымской площади до моста через Яузу.

Потом заключили в трубу речку Неглинную, а русло засыпали землей — получилось довольно широкое пространство для посадки Екатерининского парка, Цветного бульвара и Александровского сада у Кремлевской стены.

На этом озеленение Москвы прекратилось надолго. Созданные три полосы насаждений сами по себе прекрасны, но для большого города их было явно недостаточно. Превеликое множество запутанных улиц и переулков оставалось без единого деревца. А сажать из-за тесноты негде.

Только в начале двадцатого века на нескольких наиболее спокойных и просторных улицах посадили вдоль тротуаров ряды лип. Они и поныне существуют на Большой Ордынке, улице Воровского и Ленинградском проспекте.

В советский период много сажают. Едва ли придет кому в голову упрекнуть Московский Совет, что он слабо занимается озеленением города. Успехи у всех на глазах.

Но пришлось и уничтожать.

Старые москвичи не могут забыть, как в 1935 году при реконструкции Садовых улиц было снесено их нарядное зеленое убранство. Деревья на бульварах, скверах и в палисадниках выкорчевали; землю сравняли экскаваторами и залили асфальтом. Многие вспоминают об этом событии с болью. Садовые улицы действительно были прежде красивы, а многие участки — восхитительны. Мы, старики, помним; молодежь может судить по фотоснимкам. Известен, например, снимок Большой Садовой от нынешней площади Маяковского в сторону Кудринки, — по обе стороны улицы, примыкая к домам, тянутся две роскошные зеленые полосы, составленные из густых лип, кленов, дубов, тополей и окаймляющих их кустарников. Вся эта красота в 1935 году уничтожена, и нам надо разобраться, плохо или хорошо тогда поступили, и не значит ли это, что в Москве вообще не берегут деревьев и варварски их истребляют.

Решить этот вопрос нам поможет отрывок из автобиографической повести К. Г. Паустовского «Беспокойная юность». В 1914 году автор работал вожатым трамвая и водил вагоны линии «Б» по Садовому кольцу. Правдивое свидетельство о том, каким в ту пору было уличное движение, для нас очень важно.

«Это была дьявольская работа», — пишет Паустовский. — «Однажды у Смоленского бульвара на рельсы въехал белый автомобиль с молоком фирмы Чичкина. Шофер едва плелся. Он боялся, очевидно, расплескать свое молоко. Я поневоле плелся за ним и опаздывал. На остановках мой вагон встречали густые и раздраженные толпы пассажиров».

Вскоре меня нагнал один вагон линии «Б», потом — второй, потом — третий, наконец — четвертый. Все вагоны оглушительно и нетерпеливо трещали. В то время у моторных вагонов были не звонки, а электрические трещотки.

На линии создавался тяжелый затор. А шофер все так же трусил по рельсам впереди меня и никуда не сворачивал.

Так мы проехали с ним всю Садовую-Кудринскую, миновали Тверскую, Малую Дмитровку, Каретный ряд. Я неистово трещал, высовывался, ругался, но шофер только попыхивал в ответ табачным дымом из кабины.

Сзади уже сколько хватал глаз ползти, оглушая Садовые улицы трещотками, переполненные пассажирами «букашки». Ругань вожатых сотрясала воздух. Она докатывалась от самого заднего вагона ко мне и снова мощной волной катилась назад.

Я пришел в отчаяние и решил действовать. На спуске к Самотеке я выключил мотор и с оглушительным треском, делая вид, что у меня отказали тормоза, ударил сзади чичкинский автомобиль с его нахалом шофером.

Что-то выстрелило. Автомобиль осел на один бок. Из него повалил белый дым... Я увидел, как с Самотечной площади бегут к вагону, придерживая шашки, околоточный надзиратель и городской. В общем, на следующий день меня разжаловали из вожатых...»

А все произошло из-за того, что шоферу, боявшемуся расплескать молоко, некуда было сворачивать. На Садовых улицах между роскошными палисадниками лежала посередине проезжая полоска в десять метров шириной. Она предназначалась для движения в обе стороны всех видов транспорта, и на ней располагались два тротуара для пешеходов, две трамвайные колеи и две узенькие обочины между рельсами и тротуарами. Извозчицья пролетка еще туда-сюда — могла притулиться на обочине и пропустить обгоняющий трамвай, ну а грузовому автомобилю было тесновато.

Кольцо Садовых улиц — главная транспортная магистраль столицы. Если заторы и пробки из трамваев и извозчиков образовывались на ней даже в 1914 году, когда и автомобилей-то в Москве было всего с полсотни, — можно представить, что начало твориться в тридцатых годах. Движение становилось просто невозможным. Пришла эра автомобиля, и потребовалось расширить мостовую. Для этого пришлось уничтожить деревья. Иного выхода не было, иначе нельзя.

Сейчас по расширенным Садовым улицам проходит в сутки всяких транспортных единиц больше, чем в описываемое Паустовским время проходило за год.

Вдоль тротуаров посажены теперь липы, но стоят они всего только в один ряд. Для большего нет места. Улицы продолжают называться Садовыми по старой привычке. Садов не стало.

К. Г. Паустовский — свидетель правдивый. Если в нем может проявиться пристрастие, то совсем в иную сторону. Мы знаем писателя как лирика и романтика. влюбленного в красоту живой природы. Об этом свидетельствует и его широко известная «Повесть о лесах». И мы знаем, что, если возникнет конфликт между практическими нуждами человека и существованием дерева, Паустовский пренебрежет практикой и встанет на защиту дерева. Ласковый шелест листьев для него приятнее трамвайного грохота. И тем не менее из приведенного отрывка ясно, что деревья с Садовых улиц следовало удалить.

Это был единственный случай, когда в Москве уничтожали бульвары и сады. На первый взгляд — повод для упрека, а на самом деле упрекать не в чем.

Никто не имеет права заявить, что в Москве деревья якобы не берегут. Нет, заботливо берегут, усиленно сажают, тщательно ухаживают и тратят на это дело колоссальные деньги. В Москве довольно часто ломают дома, чтобы посадить деревья, но я лично не видал ни одного случая, когда срубали бы деревья, чтобы построить на их месте дома.

Ущерб, понесенный на тесном Садовом кольце, с избытком искупается широчайшим размахом озеленительных работ в других, более просторных, районах столицы. В советский период в Москве создано несколько крупных парков и триста новых скверов; более тысячи улиц и переулков озеленены рядами деревьев вдоль тротуаров. В 1913 году в Москве было две тысячи сто сорок пять гектаров зеленых насаждений всех типов вместе с остатками самородных лесов в ближайших окрестностях. К 1960 году их площадь достигла семи тысяч трехсот гектаров.

Сейчас числится значительно больше, но надо сделать оговорку: стремительный

скачок цифр в 1961 году объясняется не столько новыми посадками, а связан главным образом с официальным расширением границ Москвы. В городскую черту включена часть прежних загородных лесов и парков.

Вспоминается, как робко и медленно производились посадки в двадцатых и тридцатых годах. Парк культуры имени Горького у Крымского моста засаживался исподволь в течение целого ряда лет. А и весь-то он в сотню гектаров. И с какой молниеносной быстротой созданы в пятидесятых годах прекрасные парки вокруг нового здания университета на Ленинских горах и около стадиона в Лужниках! Вот это размах!

Ежегодно высаживалось по двести пятьдесят тысяч деревьев, два миллиона кустарников и сорок миллионов цветов.

В шестидесятых годах, несомненно, станут сажать еще быстрее.

Зелень занимает сейчас двадцать два процента городской территории. На каждого жителя столицы приходится по четырнадцати квадратных метров. Это очень неплохие цифры. Однако нельзя сказать, что дела вполне блестящи. Недостаток заключается в неравномерном распределении зелени по территории Москвы.

Богато озеленены новые районы, созданные на окраинах. Там озеленение входит составным элементом в проект застройки. Просторные улицы и кварталы спланированы так, что всюду есть много места для деревьев.

И по-прежнему трудновато с зеленью в центре. Переделывать старый город гораздо труднее, чем строить новый. Чтобы расширить узкие московские улицы, много надо сломать домов и выселить уйму народа. Это дело займет немало времени. Но и сейчас стараются не упускать возможностей для посадки деревьев. Места, освободившиеся после сноса ветхих построек, используют по большей части для разбивки скверов.

ЗОЛОТЫЕ ЛИСТОЧКИ

Большой участок площади перед Киевским вокзалом в Москве огородили забором, и там внутри начали стучать отбойные молотки и еще какие-то невидимые машины. Слышно, что взламывают асфальт, и ясно, что начинается стройка, а что строят — никак не поймешь. Если дом, то словно бы не на месте.

Кто-то сказал:

— Будет новая станция метро.

Но у Киевского вокзала и без того две станции метро. Куда ж еще? Что-нибудь не так.

Недели через три забор убрали, мусор вывезли, и там, где люди привыкли видеть гладкий серый асфальт, появился чистенький новый сквер с деревьями восьмиметровой высоты и с зеленой травой. Превращение совершилось быстро, и опрокинулась старинная поговорка: «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается».

Деревья привезли из питомника готовые, выросшие, с листьями, с материнской землей на корнях, или, как лесоводы называют, «с комом». Этот окружающий корни «ком земли» величиной примерно в два кубических метра и весом в три-четыре тонны был осторожно вырезан из грунта питомника, обшит толстыми досками. Каждое дерево ехало в ящике и на месте посадки опускалось краном в подготовленную яму, а потом ящик разбивали и доски вытаскивали поодиночке. Так при пересадке деревьев сохранялась нетронутой живая сила корней.

Но это же дорого стоит? Я разговорился с И. М. Соколовым, главным инженером «Мослесопарка» — одного из московских озеленительных трестов. Сам он сейчас занимается больше пригородными лесами, но достаточно сведущ также в вопросах городского озеленения и принимает в нем участие, выращивая в расположенных за городом питомниках молодые деревца для будущих посадок. Он рассказал:

— Посадка двадцатилетнего дерева обходится — на новые деньги — в пятьдесят рублей. На улице Горького, на Советской, Пушкинской и на Красной площадях, да и на Садовых улицах сажали липы старше двадцати лет. Те стояли на тогдашние деньги рублей по восемьсот и даже до тысячи. На бойких местах, где особо сильна людская толчея, целесообразнее сажать крупные деревья. Во-первых, потому, что дерево уце-

леет, если прохожий невзначай толкнет его плечом. Да и результат от посадки виден сразу. Если же сажать мелочь, то не дождешься, когда она вырастет. Ведь нет же условий для роста на земле, скованной бетоном и асфальтом. Ну, а где обстановка полегче и позволяет, там сажают молодняк. Тот стоит недорого. В последние годы в Москве сажали по тридцать тысяч крупных деревьев и по двести двадцать тысяч молодняка.

Я подавлен огромностью цифр и говорю:

— Стало быть, Московский Совет расходует бешеные деньги?

— Стараемся удешевить,— отвечает главный инженер,— поощряем изобретательство и рационализацию, не считаем незыблемыми прежние нормы и расценки. Но есть предел, через который не перескочишь. Нельзя, как говорится, купить на грош пятаком. Цена посадки складывается из многих слагаемых. Через много рук пройдет дерево, прежде чем встанет на московской улице, в окне, прорубленном среди бетона и асфальта. В далеком загородном питомнике из древесных семян выведут маленькие сеянцы. Потом их пересадят в другой питомник, так называемую «школу», и выращивают до десяти лет. Часть десятилетнего молодняка идет для посадок в парках и скверах. А часть переводят в «школу высшей ступени» для дальнейшего выращивания и подготовки к самым ответственным посадкам, где держат еще десять лет. В этой последней «школе» деревья размещают редко, далеко друг от друга, чтобы впоследствии можно было взять их с большим «комом» вырезанной земли. За деревьями тщательно ухаживают, ускоряют рост, часто стригут ветки, для того чтобы формировалась густая шаровидная крона. К двадцати годам деревья уже дорого стоят. И наконец наступает самое дорогое — выкапывание, заделка кома земли в ящик, погрузка, перевозка в Москву. Наш главный питомник находится в Битцах, это недалеко, ближе Подольска, но приходится завозить и из далеких мест. Липы на улицу Горького и на Садовые привезены из тульских засек. Да и вообще сплошь и рядом автомашина не может сделать за рабочий день больше одного рейса и привозит при этом только одно дерево. Сметните, во что обойдется перевозка! Да надо еще посадить, подготовив громадную ямищу. И все надо делать потихонечку да осторожно, иначе живое дерево превратится в мертвую хворостину... Создание одного гектара городских зеленых насаждений обходилось до сих пор в Москве в двести — триста тысяч рублей старыми деньгами. Но есть города, где тратили полмиллиона. Дорого, что и говорить, но без зелени горожане будут задыхаться, заболеют.

Я спросил:

— А как с рабочей силой? Нет недостатка?

— Прежде этот вопрос,— сказал Соколов,— стоял остро. Работа по озеленению — сезонная. Каждую весну надо набрать рабочих, осенью их рассчитать, следующей весной снова искать. Очень было трудно. Но в городском хозяйстве есть другие сезонные профессии. Например, истопники в домах. В апреле заканчивается отопительный сезон, и рабочим говорили: «Идите, голубчики, куда хотите, а в октябре возвращайтесь!» У жилищных отделов были трудности, у отделов озеленения тоже, но у каждого наизнанку: одним рабочие нужны на зиму, другим на лето. Когда эти две трудности соединили вместе, проблема легко разрешилась. Истопников с апреля переводят на озеленение, осенью они снова возвращаются к своим когтам. Так в математике минус на минус дает плюс. Всем стало удобно: и истопникам, и жилищным отделам, и отделам озеленения.

С посадкой дерева в Москве расходы не заканчиваются, а лишь начинаются.

На улице Горького вдоль тротуара выстроились липы, посаженные в начале пятидесятых годов. Каждая стоит среди асфальта, в колодце, прикрытом чугунной решеткой.

Подъехала автоцистерна. Рабочие подняли решетку, вычистили накопившийся мусор (почему-то граждане кидают окурки именно сюда) и через резиновый шланг наливают питательный раствор. Ждут, покамест впитается, потом добавляют.

Я стал расспрашивать. Рабочие ответили:

— Живут эти липы на искусственных харчах. Естественных кормов для них тут нет. Не в том даже дело, что под асфальтовую корку не проходят ни воздух, ни дождевая вода и земля лежит мертвая. Хуже то, что под этими липами нет даже такой мертвой земли. Вы не видали, как их сажали?

— Не привелось.

— А мы глядели. Ямы для посадки этих лип вырублены в кирпичной кладке. Земли у бедняжек столько, сколько привезли на корнях из питомника, а со всех сторон лежит кирпич. Тут ведь раньше дома стояли, их сворочали, когда расширяли улицу, а фундаменты остались. И много в Москве есть мест, где деревья посажены на каменной кладке. Москва, она ведь исстари звалась белокаменной. На Болотной площади новый сквер стоит на сплошных сводах бывших торговых лабазов... Вот в новых районах ничего плохого про землю не скажешь. Там посадки идут на местах, где отродясь никаких построек не было, а если где и стояли жалкие деревянные амбарушки, так их скovyрнули, и не осталось никаких последствий. Там дереву расти вольготно. А в центре приходится подкармливать раствором. За каждым деревом ведется индивидуальный уход.

Благодаря уходу деревья чувствуют себя неплохо. Они, правда, не вырастают до такой величины, как на воле, но живут достаточно долго. Липы дореволюционной посадки на улице Воровского и на Большой Ордынке не обнаруживают пока признаков старости. А им сейчас по шестьдесят, по семьдесят лет.

Разумеется, на уход тратятся деньги.

Я шел с главным инженером И. М. Соколовым по Тверскому бульвару — зеленому и нарядному. Центральная аллея полна гуляющих людей. Боковые заставлены скамьями-диванами с удобными сиденьями и спинками; на них хорошо отдыхать.

Главный инженер сказал:

— Не знаю, можно ли назвать листочки на здешних деревьях золотыми. Но если их отчеканить из серебра, они стоили бы дешевле натуральных. Московский трест зеленых насаждений до сих пор тратил на содержание одного гектара сорок тысяч рублей старыми деньгами в год, не считая стоимости первоначальной посадки.

Я снова потрясен огромностью цифры, и у меня срывается:

— Иван Михайлович! А нет ли тут излишеств? Такая уйма деньжищ!

— Уход требуется,— отвечает инженер,— иначе бульвар захиреет. Давайте присмотримся к возрасту деревьев! Вот эти липки и вязы совсем молоденькие, посажены после войны. Тополя и лиственницы тоже молодые. Ясеням лет по тридцать, от силы по сорок. Стало быть, посажены они при Советской власти. Там видны старые дубы и липы — наследие царского режима. Но много ли их? Пересчитаем!

Попробовали посчитать. Оказалось, что не менее девяноста процентов деревьев посажено в советский период. Вначале это кажется мне невероятным. Моему изумлению нет границ. Я хожу по Тверскому бульвару больше сорока лет, всегда вижу его свежим и зеленым, никогда не замечал никаких изменений, не помню, чтобы бульвар закрывался на капитальный ремонт. Когда же посадили деревья? Тем не менее факт есть факт. Деревья молоды, посажены именно в те годы, когда я ходил по бульвару, и произошло это как-то незаметно.

— В этом как раз и заключался хороший уход,— поясняет И. М. Соколов.— Если дерево умирало, его срезали, сажали новое. Текущий ремонт производился настолько регулярно и своевременно, что бульвар все время оставался свежим и зеленым. А это стоит денег. Кроме того, много средств расходуется на благоустройство и чистоту. Ну и, конечно, цветники. Тоже не излишество. Нас даже упрекают за то, что мало разводим цветов... Да вы не пугайтесь: не все гектары обходятся по четыре тысячи рублей новыми деньгами. В ведении треста зеленых насаждений находятся самые важные объекты — Александровский сад, Бульварное кольцо, Лужники. Большинство скверов принадлежит районным Советам, и те тратят на гектар вдвое и вчетверо меньше. Вообще стоимость содержания снижается от центра к периферии, по направлению к самородным лесам, где деревья размножаются и вырастают сами. На загородные парки мы тратили в старых деньгах по шестьсот рублей, на пригородные леса — по сто рублей на гектар; в новых деньгах это шестьдесят и десять рублей. Но сейчас обстановка в

подмосковных лесах складывается иная. Они тоже начинают требовать большого ухода. Десяти рублей теперь уже мало. Нас поругивают за то, что плохо ухаживаем за пригородными лесами, и упреки эти обоснованны. Надо дело улучшать, тратить больше труда, расходовать больше денег. Задаром ничего не сделаешь.

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Один мой знакомый, увидев новый сквер перед Киевским вокзалом, сказал:

— Правильно сделали! Киевляне, приезжающие в Москву, первым делом должны видеть зелень. Нам не следуют перед ними ударять лицом в грязь.

И верно: Киев издавна считался самым зеленым городом нашей страны.

Не в том даже дело, что в нем зелени много, но очень уж она бросается в глаза. Если спросят, что в Киеве находится в самом центре, на самом видном и выигрышном месте, придется ответить — парки.

Киев расположен на неровной местности, изрезанной логами и оврагами, причем улицы лежат по большей части в логах, а холмы заняты парками.

Как это ни странно, лога понижаются не к Днепру, а в обратную сторону — к маленькой речушке Лыбеди. На берегу же Днепра стоит могучая гряда высоких холмов. Расположившись на этой гряде, парки возвышаются над городом и тянутся вдоль его главного фасада, потому что иначе чем фасадом днепровский берег не назовешь.

Много в парках красивых дорожек. Наиболее любимая народом — та, что идет по самому краю крутого обрыва. Склон к реке тоже засажен деревьями. Снизу к вам тянутся верхушки пирамидальных тополей. Такие они легкие, гибкие и нежные; кивают при малейшем дуновении ветерка, словно метелки из мягких зеленых перьев.

А глубоко внизу вьется серебряная лента Днепра. Так глубоко, что идущие по реке пароходы показывают вам не борта, а крыши. И кажутся они совсем маленькими. За рекой уходит вдаль зеленая равнина с синими островами лесов.

В принципе то же самое, как в Москве на Ленинских горах. Но учтите, что в Киеве гора выше, склон ее круче, парк гуще, река шире, воздух прозрачнее, украинское солнце ярче. Природа кажется здесь богатой и величаво-прекрасной.

Неплохо озеленены и улицы Киева. Посажено много каштанов. В этом дереве все крупно и красиво. Само оно — зеленый шар на ножке, листья — раскрытые веера (семь листков расходятся в стороны из одной точки). Весной деревья украшены стоячими белыми свечками соцветий; осенью на ветках висят бледно-желтые лимончики, утыканные иголками. Этот сорт каштана, что разводится на киевских улицах, не дает съедобных плодов, зато он самый красивый.

Еще более богаты зеленью города Средней Азии и Южного Казахстана. В Алма-Ате, например, на каждого жителя приходится по шестьдесят квадратных метров зеленых насаждений (в Москве — четырнадцать квадратных метров).

Когда я впервые попал в Алма-Ату и ехал с вокзала в гостиницу, дорога все время шла по аллеям, среди зеленых деревьев. Мне казалось, что мы едем пока по какому-то дачному предместью, а самый город будет где-то впереди. И я очень удивился, когда шофер остановился и сказал:

— Приехали.

Аллеи оказались центральными улицами. В Алма-Ате каждый жилой квартал окружен плотной стеной высоких пирамидальных тополей. Все улицы и переулки представляют собой сплошные бульвары. Это зеленое великолепие создано на искусственном орошении. С гор бегут арыки и разветвляются по всем улицам и переулкам. Рядом с тротуарами идут канавки, и там журчит вода. Без них деревья не могли бы существовать в засушливом климате.

Такое построение города вызвано жизненной необходимостью. Нам, жителям влажной Центральной России, трудно представить, как сильно пересыхает земля в пустынях и степях Казахстана. Скачет ли там всадник, едет ли повозка или передвигается овечья отара — всегда вслед за ними белым облаком стелется пыльный хвост.

Город Алма-Ата строился в ту пору, когда асфальт еще не вошел в обиход. Это

теперь, в советское время, замостили улицы, а раньше они были обычными грунтовыми дорогами. Протарахтит арба — поднимется пыль. И надо было защитить жилье. Наилучший способ — посадка пирамидальных тополей.

Эти красивые и стройные деревья похожи на высоченные столбы, обвитые пышной зеленой бахромой. Стоят они бок о бок, как в частоколе, и образуют сплошные стены, идущие вдоль тротуаров и закрывающие дома от проезжей части улицы. Через такой плотный заслон пыль не проникает.

Поэтому пирамидальные тополя — неперенное украшение сел и городов степной засушливой полосы: Средней Азии, Южного Казахстана, Предкавказья, Украины.

Пирамидальный тополь в диком виде существует только в Гималаях, а у нас и в других странах разводится искусственно. В культуру он вошел несколько тысяч лет назад и был широко распространен в древнем Риме и в древней Греции, откуда еще в античные времена проник в Крым и на другие побережья Черного моря, потому что там существовали греческие колонии.

Разводится он очень легко: достаточно воткнуть в землю кусок отрубленной ветки — вырастает целое дерево. Это все равно, как если бы у кошки отрубили хвост и из него выросла целая кошка с головой, туловищем и ногами.

Поразительна неиссякаемая жизненная сила этого дерева. Способность размножаться вегетативным путем, когда отрубленный кусок прирашивает себе недостающие органы и превращается в целое растение, свойственна и некоторым другим породам деревьев, но при многократном повторении такого размножения поздние поколения раз от разу становятся слабее и недолговечнее. Пирамидальный же тополь тысячи лет размножается только черенками, за это время сменилось великое множество поколений. Невозможно даже проследить, через какие страны прошли предки вот хотя бы этих деревьев, растущих сейчас в Алма-Ате. Но пирамидальный тополь не выявляет никаких признаков ослабления и вырождения. Это по-прежнему сильное, здоровое и быстро-растущее дерево.

Характерно, что в нашей стране повсюду до сих пор были только мужские экземпляры и ни одного женского. Разумеется, они не дают плодов и семян. Сейчас у нас есть и женские особи. Они нужны ученым для скрещиваний и выведения новых сортов. А новые сорта помогут продвинуть это южное и неустойчивое против заморозков дерево на север. Если сейчас прекрасные тополя бульвары украшают Киев, то почему бы не иметь точно такие же в Москве? На Выставке достижений народного хозяйства СССР хорошо растет пирамидальный тополь, выведенный академиком А. С. Яблоковым. Деревья уже достигли в высоту двадцати метров, а станут еще выше.

ПОДМОСКОВНЫЕ ЛЕСА

Как ни усиленно сажают в городах бульвары, парки, скверы, все же они не могут полностью удовлетворить потребности горожан в чистом воздухе и общении с живой природой. Городские насаждения — необходимый минимум для защиты нашего здоровья. Они существуют, так сказать, на каждый день.

В праздник же человеку хочется большего — простора, покоя, тишины, свободного ветра, — и он направляется вон из города.

Без всякого подсчета, просто на глаз, заметно, что летом в выходной день на московских улицах народу становится гораздо меньше, чем в будни. Зато переполнены дачные поезда.

Наиболее приманчивы для человека в летний день река и лес. Приятно искупаться, позагорать на солнышке, а потом неторопливо идти по лесной тропинке, вдыхать запах нагретой хвои, слушать птичьих трели и ни о чем не думать, забыв на время всякие заботы.

А что такое лес? И чем он отличается от деревьев на улице Горького и на Тверском бульваре?

Садитесь у Киевского вокзала на автобус № 35. Он привезет вас в Рублево, и там вы увидите прекрасный сосновый бор. Опушка порядочно затоптана, и деревья изрежены. Но пройдите в глубину, и там лес предстанет во всей своей могучей силе. Сосны

стоят, как прямые свечки. Ростом они с восьмизэтажный дом, от роду им по полтора-ста лет. А под ними множество молодых сосенок высотой и в один, и в два, и в три метра. Есть пятилетние, десятилетние, пятнадцатилетние. Кто их посадил? Чьи затрачены деньги? Никто не сажал. Сами выросли из разбросанных старыми соснами семян.

В этом и заключается одно из главных отличий вольно растущего леса от городских искусственных насаждений — парков, бульваров, скверов и отдельных деревьев на тротуарах. В лесах из падающих на землю древесных семян рождается молодняк.

Пригородные леса имеют исключительно важное значение. Они служат и прекрасным местом отдыха для горожан и резервуаром чистого воздуха для вентиляции города.

Столько по Москве бегает автомобилей, столько дымит заводов, так сильно загрязнен воздух, что очистить его не под силу одним внутригородским насаждениям. Большую роль играет вежливая, приток воздуха извне.

Самый легкий, еле ощутимый ветерок движется со скоростью пяти километров в час, умеренный ветер успевает пробежать за час тридцать, сильный — пятьдесят километров.

Так внутрь города проникает воздух из окрестностей. И для нас далеко не безразлично, какой это воздух, что с собою несет. Важно, чтобы пришел он из лесов, насыщенный кислородом и свежестью. А для этого надо, чтобы вблизи города стояли леса. Когда их нет, сажают. Прекрасные зеленые кольца создаются, например, вокруг Ростова-на-Дону, Сталинграда и других степных городов. Даже около столицы Калмыкии Элисты, расположенной в засушливой полупустыне, сажают две тысячи гектаров искусственного леса.

Для Москвы такие экстраординарные меры не нужны. Москва находится в лесной зоне и окружена самородными лесами. В Московской области леса занимают два миллиона гектаров и составляют тридцать шесть и восемь десятых процента всей площади.

Конечно, наибольшая часть лесов находится на удаленных от столицы западных и северных окраинах области. В Шаховском, Талдомском и бывшем Уваровском районах леса идут почти сплошь.

В окрестностях Москвы лесов поменьше, и они пожиже. Так ведется исстари. По исследованиям историков, еще в XVI веке вокруг Москвы лежала «очень значительная территория, почти столь же бедная лесами, как и теперь» (Н. А. Рожков. «Сельское хозяйство Московской Руси в XVI веке»). Да это и понятно. Транспорт в ту пору был трудный, способы консервирования пищи примитивны. Продовольствие для Москвы, становившейся уже значительным городом, добывалось в ближних окрестностях. А для этого надо было иметь поблизости много полей, сенокосов, пастбищ, огородов, ягодников — вообще много свободной от леса земли.

Конечно, мы от всей души желаем, чтобы подмосковных лесов стало больше, и надеемся, что в конце концов так оно и будет. Но разделяемое Рожковым ходячее мнение, что Подмосковье якобы «бедно лесами», едва ли верно. Это чересчур крепко сказано. Богатство и бедность — понятия относительные, понимаемые субъективно.

В зеленый защитный пояс Москвы зачислены леса на пятьдесят километров во все стороны от границ города. Подмосковное защитное кольцо простирается с юга на север от Чехова (Лопасни) и Михнева до Дмитрова и с запада на восток — от Истры до Павловского Посада. На этом пространстве имеется полмиллиона гектаров лесов, и они занимают больше трети всей площади Подмосковья. Вряд ли можно называть это бедностью. Не всякий город может похвастаться полумиллионом гектаров лесов в своих окрестностях.

Это очень важные и ценные по своей роли леса. Они имеют санитарно-гигиеническое значение для столицы. Их надо тщательно беречь.

Время от времени приходится читать в газетах призывы «спасти зеленое ожерелье Москвы от топора». Спасать, конечно, надо. Состояние древостоя внушает большую тревогу. Леса требуют заботливых рук.

Зря только приплетают сюда топор. Он ни с какой стороны не угрожает подмосковным лесам. Тут явное недоразумение.

Советское законодательство относит пригородные леса к первой, наиболее оберегаемой группе наравне с почвозащитными и полезащитными насаждениями, курортными массивами и заповедниками. Такие защитные леса не считаются источником добычания бревен, досок и дров. Они приносят пользу своим существованием и выполняют роль, стоя на корню. Не древесина их нам нужна, а сами они, живые, с их зеленой листвой и хвоей, освежающей воздух. Поэтому промышленные рубки в пригородных лесах запрещены; допускаются только рубки ухода, имеющие большое значение для выращивания хорошего леса и играющие ту же роль, что прополка сельскохозяйственных культурных растений, а также санитарные рубки, то есть уборка умерших и пораженных болезнью деревьев. Эти рубки необходимы для оздоровления остающегося на корню древостоя.

Правда, во время войны эти правила нарушались. На подступах к Москве сооружались противотанковые завалы с высокими пнями, и для этой цели срублены были тысячи гектаров леса. Немало порубили тогда деревьев и просто на дрова. Но минувшая война — событие исключительное. Не каждое же столетие приходится оборонять Москву от вражеских войск.

В нормальное же время запрет рубок в пригородных лесах соблюдается строго. Не исключается, конечно, возможность воровских, самовольных порубок, но они случаются не чаще, чем хищение вещей из запертых квартир или кража бумажников из карманов пассажиров в троллейбусах.

Стало быть, в плохом состоянии подмосковных лесов виноват отнюдь не топор. Да и вообще мы привыкли чрезмерно преувеличивать отрицательную роль топора.

Возьмите, к примеру, отдаленный Уваровский лесхоз. Он лежит за Можайском и граничит со Смоленской областью. Там регулярно ведутся промышленные лесозаготовки, и все же лесов там больше и леса сохранились лучше, чем в ближних окрестностях Москвы.

Уваровские леса таковы, что дивиться на них надо, экскурсии туда устраивать, картины писать.

Уваровка названа по имени графа, владевшего здесь большими именьями, и это вполне заслуженно, и нет тут никакой обиды нашему социалистическому сознанию. Уваров заботливо занимался лесным хозяйством и оставил нам хорошее наследство. У него работал лесничий К. Ф. Тюрмер — великий умелец осушать заболоченные земли и сажать на них леса. Делал он это без всяких дорогостоящих проектов, без изысканий, комиссий, консультаций, просто на глазок.

— А ну-ка, веди плугом борозду отсюда на тот ложок!

И получалось всегда метко. Уж очень верный был у него глаз. Ошибка не было. Осушительные каналы действовали безотказно.

Лесничий Тюрмер работал с пятидесятых до девяностых годов прошлого века и посадил много лиственницы. Сейчас эти быстрорастущие и в то же время долговечные деревья вступили в лучшую пору зрелости и достигли исполинской величины. Стоят темнокорые цилиндры высотой в сорок два метра. Ровные они и гладкие, без единого сучка. А на самой верхушке из одной точки торчат во все стороны могучие ветви с темно-зеленой хвоей. Формой эти диковинные лиственницы не похожи ни на какое другое дерево, кроме разве экзотической кокосовой пальмы: голый ствол и большой пучок перьев на макушке.

Сказочный древостой! Если измерить объем стволов, растущих на одном гектаре, получится тысяча двести кубических метров. В наших обычных лесах запас древесины на гектаре бывает по двести — триста кубических метров. Цены нет такому лесу. Глядишь на это диво и убеждаешься, что человек умеет лучше выращивать, чем сама природа.

Конечно, не все леса близ Уваровки таковы. Есть и самородные березники с осиничками. Но главное то, что все деревья — живые. Пусть осина. Дерево, конечно, не особо ценное для хозяйства. Но стоит она вся зеленая, полнокронная, трепещет листьями, радует взор и выполняет свою полезную работу по очистке воздуха.

А в ближайших окрестностях Москвы состояние лесов совсем иное. Оно значительно хуже.

Почему же в оберегаемом от топора защитном кольце столицы мы за последние двадцать — двадцать пять лет были свидетелями массовой гибели древостоев и образования пустырей? Такая картина наблюдалась, например, в Лосином Острове — самом обширном лесном массиве ближнего Подмосковья, в Балашихе, Кучине, Кускове и во многих других местах. Да и сейчас, если сядете на Ярославском вокзале в электричку, увидите в дальнем конце Сокольников голые, почерневшие сучья мертвых деревьев без единого листка. И это среди лета, когда деревья по законам природы обязаны зеленеть. Какое же это «зеленое защитное кольцо», если в нем так много безлиственных и почерневших древесных трупов!

У нас существует обывательское, наивное мнение, что достаточно причислить лес к первой группе, объявить заповедником, запретить в нем рубки и вообще его не трогать — и он якобы вечно будет существовать в самом прекрасном виде.

Нет, этого мало. Надо еще вести в лесах работу. И особенно большой работы требуют такие трудные леса, как пригородные.

А трудные они потому, что существуют рядом с огромным числом людей, заводов, построек, дач и условия их существования не совсем обычные.

Леса, нафаршированные дачными поселками, городами, заводами; леса, где толчется много народу, — это уже не леса, а нечто совсем иное. Если лес застраивается дачами, то деревья перестают быть лесом и становятся уличным озеленением дачного поселка. А это меняет условия их существования.

ЛЕС В СОСЕДСТВЕ С ЧЕЛОВЕКОМ

Летом у меня в Москве гостила орава племянников, и на мне лежала забота их занимать, чтобы не скучали. Ну, конечно, первым делом знакомились с московскими достопримечательностями и порядком погоняли по столице. Наконец я им сказал:

— В Третьяковке были, Кремль смотрели, новый университет видели, в музеях были, по реке на теплоходе катались. Куда бы еще сунуться?.. Поедем теперь в лес!

— С удовольствием!

— Только, — говорю, — постараемся сочетать приятное с полезным. Будем не просто гулять, а станем изучать жизнь леса, постараемся понять, что такое там происходит.

Мои ребята поморщились:

— Изуча-а-ать? Ты, дядька, мучитель рода человеческого! Мы всю знму учились, недавно с экзаменами расквитались, а ты предлагаешь сверхпрограммные уроки. Мы отдали делу время, настал для нас потехи час.

Пришла моя очередь опечалиться. Ведь вот все говорят про лес, и никто не откажется туда поехать, а не желают изучать и понимать. Даже мои собственные племянники.

— Ну, — говорю, — коли вы такие лодыри и лень вам личный раз мозгами шевельнуть, ничего не поделаешь. Поедем гулять. Хотел вас сvezти в хороший лес, да долго туда ехать. Ради простой гулянки я не согласен толкаться в переполненных поездах. Выберем место поближе. Наливайте в термос чаю, собирайте в сумку еду!

Через полчаса автобус подвез нас к ограде с вывеской: «Лесная опытная дача Тимирязевской сельскохозяйственной академии».

Слово «дача» употребляется в разных значениях. Так называют не только летние загородные дома, но и лесные участки без всякого жилья.

Мы вошли в ворота. Оттуда начинается аллея. Стоят на ней березы, очень высокие и прямые, как белые струны, натянутые от земли к густому зеленому облаку листвы, закрывшему небо. Полюбовались мы на них, пошли дальше и очутились в лабиринте узких прямых дорожек между зелеными стенами густого леса.

По бокам дорожек идут металлические сетки или деревянные плетни, а местами натянута колючая проволока. Деревья стоят в загородках, как животные в зоопарке.

Ходить разрешается только по дорожкам. Перелезть через загородку и приблизиться к деревьям нельзя.

Совсем недавно, лет пять назад, всюду дежурили лесники в форменных тужурках с зелеными кантами. Они следили за поведением гуляющих, не позволяли сворачивать с дорожек, перелезть через плетни и соваться куда не следует. Сейчас лесников в форменной одежде не видно, но публика уже приучена и держится в рамках: в лес не вторгается и землю под деревьями не топчет.

Гуляющая публика сама по себе, лес сам по себе. Живет он без помех и стоит во всей богатой силе. Он многоярусный: под высокими лиственницами и соснами расположились деревья меньшего роста — липы, местами дубы, а еще ниже идут этажи всякой мелочи и древесного молодняка, и все пространство от макушек лиственниц до самой земли наполнено листвой и хвоей. Если человек войдет в такую чащу, через пять шагов скроется из ваших глаз.

Солнечные лучи не пробиваются сквозь густую листву; под деревьями царит сумрак, там прохладно и влажно. На земле видны мхи, кислица, ландыши, грибы. Словом, перед нами настоящий лес, и вся обстановка тут подлинно лесная, не такая, как на городских бульварах.

Этот лес создан искусственно для научных и учебных целей. Наибольшее число посадок сделано в восьмидесятых и девяностых годах прошлого столетия выдающимся ученым Митрофаном Кузьмичом Турским. Ему сооружен памятник. Конечно, не за посадку этого леса, а вообще за крупные заслуги перед наукой. Стоит памятник не в лесу, а дальше, у здания Тимирязевской академии.

Посадки продолжались преемником Турского, тоже крупным ученым-лесоводом Н. С. Нестеровым, чья могила находится здесь, в лесу. А сейчас хозяин леса — профессор Владимир Петрович Тимофеев, с которым мы уже встречались.

Во время посадок эта местность была загородной; ее окружали просторные поля. Но непомерно разросшийся город давно уже вобрал ее в свои пределы. Со всех сторон выросли застроенные кварталы. Лес остался среди них островом.

Тимирязевский лесной заповедник — редкий случай, когда полнокровный, свободно растущий лес существует внутри города. Парков, скверов, бульваров много. Но чтобы настоящий лес, с грибами? Я лично других таких мест не знаю.

Ходили мы, ходили по узким, оплетенным проволокой дорожкам, среди плотных стен зеленой листвы и хвои. Глядели и восторгались. Наконец мои племянники заявляют:

— Хорошо-то тут хорошо. А где бы посидеть? Скамеек мало, и все они заняты. Утомительно ходить, вытянувшись в струнку.

Да, действительно, пора отдохнуть. А скамеек поблизости нет. И загородки, оберегающие покой леса, не позволяют людям свернуть с дорожки и приискать местечко на траве под деревьями.

Я ответил, что есть участок леса, издавна стихийно занятый людьми для отдыха. Там нет ни оград, ни прямых дорожек, всюду разрешается ходить, и можно делать все, что кому захочется.

Туда мы и направились. Кончились изгороди, дорожка потеряла прямизну и стала петлять свободно и прихотливо. Стены леса раздвинулись и сделались ажурными. Наверху кроны еще сохранили свою густоту, но внизу меньше становилось всякой молодой древесной мелочи.

А потом стены исчезли вовсе. Перед взором развернулось пространство на целый километр. Но это не поляна, не прогалина. Всюду стоят дубы и изредка сосны, но между ними нет никакого подлеска. Да и сами деревья поредели. Потому и видно так далеко сквозь стволы. По сравнению с тем лесом, откуда мы пришли, здесь как-то пустошаво.

На траве под деревьями расположились кучки отдыхающих; многие лежат на одеялах. Группа молодежи, построившись в круг, играет в мяч; слышатся хлесткие удары, и высоко взлетает черный шарик.

Старшая моя племянница огляделась и иронически заметила:

— Лесок для отдыхающих отвели пореже. Здесь не так красиво, как там.

Я ответил, что иначе не может быть, что ни у кого не было намерения «отводить лесок пореже». Эти деревья — ровесники тем, что стоят в огороженных квадратах, и вначале были точно такими же, а потом получилась разница, и произошла она сама собою, и это неизбежно.

— Почему получилась разница? Почему она неизбежна?

— Вы же наотрез отказались изучать жизнь леса, а теперь спрашиваете.

— Можно немного порассуждать. Тем более, что вопрос сам вырос из наблюдаемого факта.

Я побурчал, что вот-де некоторые недоросли, да и взрослые дяди, подобно фонвизинской госпоже Простаковой, не хотят понимать, что творится у них под самым носом. Пусть, мол, этим делом занимаются специалисты. «Зачем знать географию, когда извозчики довезут». Но жизнь-то ставит вопросы, и надо понимать окружающую действительность. Не вслепую же по ней брести!

Беседа все же состоялась. Пришлось объяснить, в чем тут дело. Хотя вопрос настолько ясен, что молодежь могла бы и сама догадаться.

Я показал на сосновые шишки, валявшиеся в траве, и на желуди, висевшие на дубовых ветках. И те деревья, что стоят в огороженных проволокой кварталах, и эти, под которыми люди лежат на одеялах, одинаково разбрасывают семена. В огороженных кварталах из них вырастают молодые деревца. А на здешнем участке, захваченном отдыхающими людьми, не видно ни одного кустика, ни одной веточки. Все ростки погибают под ногами гуляющих людей.

Лес не любит, чтобы его топтали. А когда его топчут, он перестает быть лесом.

Сохранить Тимирязевский массив от вытаптывания помогают только проволочные загородки. Уберите изгороди, пустите всюду гуляющих — весь молодняк и подлесок на всем пространстве массива будет вытоптан, деревья останутся бездетными, и лес перестанет быть лесом, превратившись в парк для гуляния.

Основная часть Тимирязевского массива, охраняемая загородками, существует в форме леса; а два окраинных участка, отданных в полное распоряжение отдыхающих, переродились в парк, хотя и неблагоустроенный.

А сами взрослые деревья на вытаптываемых участках не пострадали или пострадали очень мало. Им прогулки не вредят или почти не вредят. Они простоят еще полсотни или даже сотню лет, так же как их ровесники в огороженных кварталах, куда людей не пускают и где деревья существуют в форме леса.

Но через пятьдесят лет судьба паркового и лесного участков будет различна

— В чем же различие? — спросила молодежь.

— Завтра увидите собственными глазами.

— Но ведь до завтра пятидесяти лет не пройдет! — изумился мой младший племянник.

— Вы увидите другой лес и другой парк, очень похожие на здешние, но на пятьдесят лет старше. Там сейчас происходит то, что здесь будет через пятьдесят лет.

УМЕЛЫЕ РУКИ СИЛЬНЕЕ СЛЕПЫХ НОГ

На восточном конце Москвы находится Измайловский парк культуры и отдыха с павильонами, киосками, аттракционами и всякими развлечениями. О нем все знают.

А дальше есть просто лес в тысячу гектаров. Одной опушкой он примыкает к новому Измайловскому поселку, другой — к шоссе Энтузиастов.

Я видал этот лес сорок лет назад, и он поразил меня тогда своим величием.

Роскошный был лес. Трехъярусный. В верхнем этаже — макушки сосен. Под ними либо липы, либо березы, либо дубы, а местами вяз. И еще ниже — остролистые клены с листьями в форме пятиконечной звезды.

В принципе то же самое, что и на лесной даче Тимирязевской академии. Но в Измайлове все крупнее, значительнее. В Тимирязевке сосны сажал Турский, им сейчас по семьдесят лет. А в Измайлове соснам по двести лет, они в два обхвата. Да и тянется Измайловский лес на несколько километров. В Тимирязевке двести сорок восемь гектаров, в Измайлове — тысяча сто восемьдесят.

Ведь в чем очарование смешанного древостоя? Он радует глаз разнообразием сочетаний, густотой, наполненностью. В нем всего много: стволов и веток, листвы и хвои, свежего аромата и птичьих голосов. Прекрасен он летом и еще краше становится в пору листопада, когда весь расцвечивается переливами и нежных и ярких тонов. Березы становятся золотыми, дубы бронзовыми, кленовые листья бывают и бледно-лимонными, и темно-желтыми, и розовыми, и красными, и оранжевыми, и лиловыми. Богатство красок осеннего леса бесконечно и меняется с каждым днем, потому что у одних пород деревьев увядание листьев начинается раньше, у других позже.

И над всем этим красочным буйством возвышается спокойный зеленый потолок сосновой хвои. Он не меняется, не увядает. Он вечно зелен и кажется живым даже в осеннюю хмурь и под скучным зимним солнцем. Потому смешанный лес с сосной остается красивым во все времена года.

Таким он запомнился, таким был, когда час пешей ходьбы отделял его от конечной остановки трамвая на Большой Семеновской улице.

Но теперь к нему вплотную подошел метрополитен, на опушке построен новый поселок с населением в двести тысяч. Да еще больше того народу приезжает в выходной день из центра Москвы, пользуясь самым скорым и удобным видом транспорта.

Приезжать-то приезжают, гулять гуляют, да вот в чем загвоздка: через лес протекают две речки — Измайловка и Серебрянка. Они пересекают массив на три части, и переход из одной в другую затруднен до чрезвычайности, потому что мостиков через речки нет, а в трех местах устроены примитивные переправы — где брошена доска, где жердь. Нужна большая смелость и ловкость, чтобы пройти над речкой по жерди, не шлепнувшись в воду или в прибрежную тину. И, конечно, далеко не всякий на такое дело решается.

Лесники, оберегающие Измайловский массив, — народ себе на уме. Лучших переправ не устраивают. Да это и понятно. Речка Серебрянка хранит лес не хуже, чем загородки в Тимирязевском заповеднике. Участок, примыкающий к Измайловскому поселку, вытаптывается сотнями тысяч ног, он давно переродился в парк, а в заречном участке народу совсем мало, и там полностью сохранился лесной характер. Что из этого получилось — увидим дальше.

За недосугом я давно не бывал в тех местах. А теперь, раз выпадает такой подходящий случай, двинулся туда со всем составом своих племянников. Мне самому было любопытно взглянуть, что случилось с прекрасным лесным массивом.

Поезд метро поднялся из темного подземелья и остаток пути пробежал под солнцем, как обыкновенная электричка. На станции «Первомайская» конец пути. Справа виден лес, но дорога туда преграждена рельсовыми путями, станционными зданиями, забором какой-то стройки. Перулок ведет в противоположную сторону. На вопрос, как пройти к лесу, мне ответили:

— Можно через проходной двор выйти на Первую Парковую улицу, а там и лес. Очень близко. Да только здесь теперь неинтересно, а в красивые места отсюда не пустит речка. Поезжайте лучше на любом трамвае или троллейбусе до Тринадцатой Парковой. Ближе не сходите: тут всюду упрутся в речку.

Влезли в троллейбус, поехали вдоль леса. Измайловский поселок, вернее, новый крупный населенный район столицы, протянулся во всю длину лесной опушки. Все поперечные улицы, которые мы пересекаем, едучи в троллейбусе, упираются в лес — входи туда по любой. Но раз посоветовали ближе Тринадцатой не сходить, стало быть, есть резон ехать туда.

Совет оказался правильным. От Тринадцатой улицы легко попасть в один из заречных участков и найти «красивые места».

Но мы никуда не пошли и не стали разыскивать красоты. То, что мы увидели в самом начале, подавило своим безобразием. Нашим вниманием овладел невообразим, презренный древостой. Сосна от сосны, дуб от дуба стоят чуть ли не за полкилометра. А весь оголившийся от деревьев пустырь заставлен изумляющим скопищем исполинских сосновых пней. На один из них мы уселись шестгером, расположившись звездочкой, спинами друг к другу, и настолько обширен пень, что нам не тесно — еще можем нескольких человек приютить.

Я сказал племянникам, что вот попираю задом остатки роскошного леса, которым любовался в молодости. Ничто не вечно под луной. Был лес — остались пни, а деревья изрядно поредели.

Моя молодежь никогда прежде не видала таких громадных пней и в таком изобилии. Читали только в романах. Ребята потрясены, кипят негодованием, высказывают самые нелестные замечания в адрес злостных истребителей леса и нерадивых его охранителей. Я им отвечаю, что нельзя так судить с кондачка, надо разобраться в каждом отдельном случае. Пень пню рознь. Случается так, что и пни бывают неизбежны. Я предложил поговорить со здешними лесниками.

Домик лесной охраны оказался недалеко, напротив Пятнадцатой улицы. Мы познакомились с лесниками, в том числе со старейшим из них — Григорием Суржаниновым, которого все здешние работники называют дядей Гришей. Он рассказал, что работает со дня передачи массива из Гослесфонда городу Москве. В самом начале тридцатых годов ближняя часть леса, примыкавшая к Окружной железной дороге, была обнесена оградой и названа парком культуры и отдыха; там построили всякие качели и аттракционы, на пруд спустили лодки для катания, установили продажу входных билетов. А здешняя отдаленная часть оставлена в резерве, но по сути дела впоследствии тоже превратилась в парк, только без ограды и входных билетов. В начале тридцатых годов больше народу ходило в огороженный парк культуры, потому что туда ближе было от трамвая. А когда построили метро да протянули до Первомайской, народ бросился в отдаленную часть, потому что парк культуры оказался в стороне от метро, а здесь Первомайская станция расположена прямо на опушке. Да еще поселок построили на двести тысяч. Ну, однако, есть участки, куда речка Серебрянка народ не пускает; там дровостой сохранился лучше.

Тут в беседу вмешалась моя молодежь:

— Опять начнете про многолюдье да топчущие ноги. Про это мы слыхали. Скажите лучше, почему у вас такие безобразия творятся!

Дядя Гриша опешил.

— Хвастать не можем, что все у нас «на отлично». Бывают промашки. Но чтобы вопиющие безобразия творились — этого нет. Преувеличиваете, молодые люди. Говорите, что такое страшное увидели?

— Все деревья срублены, одни пни остались. Почему позволяете? Где у вас глаза?

— Да мы сами спиливаем! И давно уже. А начиная с тысяча девятьсот пятьдесят второго года по пять, по шесть тысяч деревьев в год.

— Сами? — изумились мои племянники. — Так ведь вы поставлены хранить лес, а не пилить.

— И храним и пилим, — ответил дядя Гриша. — Э, да вы, я вижу, ничего не понимаете. Тогда могу показать. Я на хоббю не ленивый. Пройдемте со мной чуток.

Дядя Гриша подвел к сосне и указал:

— Вот. Видите затески на стволе и номерки? Предназначена в рубку. А вот рядом другая, тоже затески, тоже в рубку.

— Но почему же? — удивились мои племянники. — Зачем же их рубить?

— Поглядите наверх. Сосны — мертвые, нет на них ни одной хвоинки.

И в самом деле, торчат у сосен сухие голые сучья. Ребята задирают головы, внимательно рассматривают. Заметив их смущение, лесник с иронией в голосе начинает отчитывать:

— Так где же, молодые люди, вы увидели безобразис? По-вашему, надо такие деревья хранить, а не пилить? А знаете ли вы, что оставлять умершее дерево в живом лесу так же недопустимо, как покойника гноить в его постели без погребения. На мертвом дереве разводятся жуки-короеды да черные усачи, и происходит всякая зараза. Его обязательно надо спилить и увезти из лесу.

— Почему они умерли? — растерянно спрашивают ребята.

— От старости. А в нашем лесопарке хвойные деревья умирают и преждевременно. Конец им приходит, последние спиливаем. Мы находимся на восточной окраине Москвы. Ветры чаще всего дуют с запада, наносят к нам дым со всякими ядовитыми приме-

сями. Лиственные деревья переносят копать почти безболезненно, а хвойным трудно. Каменноугольная зола да сернистый газ для них губительны.

— Почему лиственные переносят легче?

— Береза, липа, дуб, клен, вяз каждый год выбрасывают свежий лист. А у сосны и ели хвоннка в нормальных условиях при чистом воздухе способна прожить до семи лет, но в нашем лесопарке успевает прокоптиться в два года. Дерево принуждено часто выращивать новую хвою, тратит на это силы и быстрее старится. Елка засыхает у нас в шестьдесят — семьдесят лет. Ее уже не осталось. Сосна крепче. Много спилили в прошлые годы таких, которые прожили больше двухсот лет. Теперь и сосна кончается. Из хвойных у нас хорошо живет одна только лиственница, она каждый год меняет хвою, и ей никакой дым нипочем. Мы сейчас налегаем на посадки лиственницы. Очень красивое дерево, светлое, радостное.

Я спросил:

— Вы ведете посадки?

— А как же! Сажаем двенадцать тысяч в год. Шесть тысяч вырубам, двенадцать тысяч сажаем. Да разве вы не видали?

Я сказал, что мы пришли через Тринадцатую улицу и ничего пока не видали, и спросил, есть ли естественное возобновление молодняка от самосева.

— Естественного самосева бывает много, особенно дубочков, да ведь ничего от него не остается, весь вытаптывают. Народу — сила. Если какой дубочек летом уцелет — зимой лыжники прикончат.

— Но как же в таком случае сохраняются ваши посадки?

— Огораживаем, строим заборы вокруг площадок молодняка. Но, однако, лезут и через заборы. Бывает иногда хулиганство, озоруют мальчишки. Уши им за это следует драть. А все-таки молодые наши посадки сохраняются. Кто самые злые враги молодняка? Лыжники! А с лыжами через изгородь не перелезешь. Первые наши кварталы, от Первой до Пятой улицы, засадили сразу же после войны. Там молодняк настолько вырос, что в тысяча девятьсот пятьдесят восьмом году ограды сняли; ему не страшна уже гуляющая публика и даже лыжники.

— Значит, будет ваш парк существовать?

— Какие могут быть сомнения! — оживился дядя Гриша. — Красивый будет парк, разнообразный, составленный из устойчивых против дыма пород. Ну, конечно, сейчас такой момент: смена древостоя. Старый отмирает, надо заменять новым, а тут публика толчется, мешает рождению нового поколения своими ногами. А мы это дело руками исправляем. Руки оказываются сильнее ног. Да вы сами посмотрите! А мне пора.

Мы поблагодарили за беседу и пошли по парку. Все оказалось в точности так, как рассказывал лесник. Посадки молодняка произведены на большой площади. Они начаты в 1946 году — нет необходимости объяснять эту послевоенную дату — и велись в строгой последовательности. Сажали сначала там, где нужнее, где древостой наиболее изрежен.

В первую очередь за Шестнадцатой улицей был засажен сосной и березой квадратный километр совершенно оголившейся поляны, которая когда-то была под лесом, а в военные годы превратилась в картофельный огород. Теперь там стоят вполне окрепшие молодые деревца четырнадцати лет, а когда подрастут еще больше, будет прекрасный парк.

Измайловский старожил, объяснивший мне все это дело, смотрит на березки и сосны с восхищением и старается заразить меня своим настроением:

— Бессилен выразить, но вы только подумайте: сажали картошку, а теперь вырос лес!

Я оборачиваюсь к племянникам и говорю:

— Запомните: был лес, потом сажали картошку, теперь снова стоит лес. А вы испугались пней. Надо же отличать полезные рубки от браконьерских краж.

Молодняк посажен на всем изреженном пространстве парка. Более поздние посадки еще окружены изгородями, с ранних заборы убраны. Там стоят рядами березы, липы, остролистые клены, тополя, лиственницы, вязы, яблони, груши. Стволы молодняка толще руки взрослого человека. Теперь они уже ничего не боятся. Если лыжник нале-

тит с размаху на такое молодое дерево — ломает свои лыжи и сам клюнет носом в снег. Поэтому он поостережется и обойдет стороной.

У молодняка, только бы он уцелел, блестящее будущее. С каждым годом он поднимается все выше и хорошеет. И простоят сотню лет. Гуляй по нему, и долго не надо иметь никакой заботы о новых посадках, потому что молодым деревьям обеспечена большая жизнь.

А старых деревьев осталось немного, и все они внушают серьезные опасения. Стоят пока, но стоять им осталось недолго. На немногочисленных уцелевших соснах совсем мало хвои, и она не зеленая, а порывевшая. На последнем издыхании держатся дряхлые березы. Скоро умрут, придется их спилить.

Больше всего уцелело дубов. Они крепче и долговечнее других древесных пород. Но и дубы тоже обнаруживают признаки старческого увядания. Многие суховершинят. Тоже недолог их век.

Искусственные посадки молодняка ведутся только по эту сторону речки Серебрянки, то есть на территории, где топчутся десятки и сотни тысяч ног.

В заречной части они совершенно не нужны. Там тоже происходит отмирание старых деревьев. Сосны уже много спилено. Некоторые липы, дубы и березы суховершинят. Но их смерть не прекратит существования леса. Из падающих с деревьев семян выросло множество самородных дубков и липок. Молодой кленовик местами образует непролазные заросли. Народу бывает мало, вытаптывать некому. На смену умершим деревьям встают новые самородные поколения. Благодаря смене поколений жизнь в лесах непрерывна.

А в парке, где люди гуляют и топчут землю, надо обязательно делать посадки да их огораживать, иначе после смерти старых деревьев останется голый пустырь.

СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ

Понаблюдали. Теперь станем рассуждать.

Картина как будто бы ясная. Но чтобы сделать наши наблюдения бесспорными, надо закрепить их в теоретических выводах, перевести на язык общих законов, иначе нам скажут: «Мало ли что бывает, в другом месте вовсе не так».

Да и на самом деле в другом месте многое может выглядеть по-иному. Надо разобратся, какие из наблюдаемых нами явлений настолько всеобщи и присущи всем деревьям, что их можно одинаково встретить и в Подмоскowie и в сибирской тайге, и какие вызваны местными особенностями Подмоскowie, и как широко распространяются эти особенности.

Прежде всего остановимся на истине самой элементарной. Ее считают настолько ясной, что обычно о ней не говорят: излишне — она и так всем понятна без всяких разговоров. Но именно из-за того, что о ней никогда не говорят, истина эта оказалась прочно забытой. И вот теперь является необходимость почаще ее напоминать.

Каждое дерево смертно. Забывать об этом не следует. Отсюда вытекает вся наша работа по сохранению древостоев, вся система действий в лесу, все методы нашего лесного хозяйства.

На московских бульварах и скверах мы видим много лип и дубов с наложенным на трещины коры пластырем, с заломбированными дуплами и другими следами лечебной и хирургической помощи. Лечение больных и старых деревьев можно во многих случаях продлить их жизнь на десятки лет, но нельзя сохранить навсегда.

Ведь вот даже на Тверском бульваре и в Александровском саду, у стены Московского Кремля, пришлось в советское время срубить девяносто процентов всех деревьев. Их бережно хранили, потому что посадки в городе страшно дорого стоят, но время пошло, они отстояли свой век, рассыпались в прах, и никакими средствами остановить это невозможно.

Хранить лес или парк можно только путем обновления древостоя, замены умирающих деревьев молодыми.

Как происходит смена поколений в естественных лесах?

Центральная часть Главного ботанического сада Академии наук СССР в Останкине обращена в лесной заповедник. Там сохранилась естественная дубрава.

В 1959 году был богатейший урожай желудей. Висели они на дубах, как гроздь винограда «дамские пальчики», и казалось даже, что самые ветки словно бы склонились под обилием плодов.

В 1960 году вся земля сплошь покрылась зеленым ковром листиков. На каждом квадратном метре выросло по сотне, а то и по две сотни юных дубочков.

Но живут молодые всходы года два. Для дальнейшего роста нужен солнечный свет, а под густым лесным пологом его нет, и вся масса светолюбивых дубков, за редчайшим исключением, должна погибнуть.

Через несколько лет история повторится: снова будет богатый урожай семян, они упадут на землю, прорастут, дадут всходы и, если не будет света, опять погибнут. Так природа постоянно готовится новые поколения. Они всегда наготове, но вступить в свои права могут только после удаления или сильного изреживания взрослого древостоя и тогда встают на место павших отцов.

У теньвыносливых древесных пород, например у ели и остролистого клена, самосев не погибает, существует под пологом взрослого леса десятками лет, но очень слабо растет или даже останавливается в росте.

Вообще древесный молодняк никогда не вытесняет стариков, он скромно ждет своей очереди.

Такие подготовленные природой резервы, существующие под пологом старого леса и ждущие выхода на сцену, называются подростом.

В безлюдных лесах Севера и Сибири смена древесных поколений происходит без рубки: умершие деревья сами валятся и сгнивают, и тогда на освободившейся жилплощади под ярким солнцем начинает быстро расти молодняк.

Но такая смена поколений невыгодна и для человека и для самого леса: пропадает без пользы древесина, лес захламляется, масса гниющего валежника дает пищу пожарам и создает опасные рассадники заразных болезней и очаги для размножения вредных насекомых. Недаром тайга так часто горит и выедается всякими гусеницами. В тайге даже воздух несвежий: всегда пахнет прелью.

В населенных местностях, где лес доступен человеку, такой беспорядок недопустим. Лучше не дожидаться, когда деревья сами свалятся да сгниют, разумнее срубить их да вывезти. Правильная рубка спелого леса облегчает и ускоряет смену древесных поколений. При этом неизбежны пни. Никуда от них не денешься. Выдающийся деятель лесной науки Г. Ф. Морозов писал: «Рубка и возобновление — синонимы».

И рубка дерева должна произойти в час, установленный принципом целесообразности и выгоды.

Живая липа на улице Горького стоит сто рублей, а если ее спилить, получится на пятак плохих дров да хвороста. Простая арифметика заставляет старательно ухаживать за липой, чтобы как можно дольше продлить ее жизнь. Ну, а если засохнет, ничего тогда не сделаешь, придется спилить.

В парках и скверах допустимо спиливать только умершие деревья. В пригородных и других защитных лесах первой группы до сих пор действует тот же закон: разрешается рубить только мертвые стволы, хотя в некоторых случаях, как это мы увидим в дальнейшем, такой порядок нецелесообразен и невыгоден.

В эксплуатационных лесах, не имеющих защитного значения, разрешается рубить спелые деревья до наступления болезней, смерти и начала разрушения ствола. В этом случае получается двойная выгода: и древостой обновляется и добывается нужная в народном хозяйстве древесина.

Возраст, с которого можно начинать рубку, определен законом. Он различен для разных пород деревьев и разных географических зон. Да это и понятно: сосна с дубом живут дольше, чем береза и осина, а на юге деревья скорее старятся, чем на севере.

Тех, кто заинтересуется этим вопросом, отсылаю к толковой книге профессора Н. П. Анучина «Оптимальный возраст рубки», выпущенной в 1960 году. Важно отметить, что возраст рубки устанавливается не с кондачка, а на основе вдумчивых исследований.

У нас сейчас в большой моде протесты против всяких рубок вообще. Об этом пишут и в газетах и в романах. На самом же деле призывы «бросить топор» неправильны. Они несут путаницу понятий и, следовательно, приносят вред.

Задача сохранения древостоев равнозначна задаче выращивания молодняка. Сюда и должны быть направлены наши усилия, а вовсе не на прекращение рубки.

Всякое дело можно делать и хорошо и плохо. Если какой-либо неумелый музыкант извлекает из скрипки дикие, режущие слух звуки, это не значит, что скрипка плохой инструмент и игра на ней никчемное занятие.

Разумеется, рубки должны вестись с толком. Если мы замечаем какую-либо бесположность, то должны критиковать качество выполнения, но отнюдь не порицать самую суть дела. А у нас это частенько теперь случается. Никогда не следует забывать, что сами по себе рубки — дело в принципе хорошее, нужное и совершенно неизбежное.

Продолжительность жизни деревьев зависит от сочетания многих условий. Отдельным экземплярам удается прожить очень долго.

В селе Коломенском под Москвой стоит десяток дубов. Почва там исключительно хорошая, условия здоровые. Дубы стоят со времен царя Алексея Михайловича; им уже по триста лет. У всех громадные дупла, человеку можно войти туда, как в будку телефона-автомата. Но вся гниль в каждом дупле соскоблена, а здоровый слой древесины покрыт черной смоляной замазкой, предохраняющей от распространения гнилостного грибка. И вот дубы живы, имеют раскидистые кроны с массой зеленых листьев. А нам от них ничего другого и не надобно.

Дубы старше двухсот лет встречаются довольно часто. Несколько таких дубов можно видеть в Останкинской дубраве, превращенной ныне в Главный ботанический сад Академии наук СССР.

Мне лично случалось видеть на Украине бережно охраняемые знаменитые дубы, достигшие пятисот лет. Украинский народ посвятил их памяти своих наиболее чтимых соотечественников — поэта Тараса Шевченко, писателя Ивана Франко, философа Григория Сковороды — и создал о них красивые легенды.

И это на самом деле легендарные дубы. Они своим долголетием так же отличаются от рядовых деревьев, как перевалившие за сто лет старики из абхазских селений — от человека обычного долголетия.

Тот факт, что мы встречаем исключительно долговечные деревья, вовсе не означает, что такое долголетие присуще всем экземплярам данной породы, что любой дуб и любая сосна обязательно проживут двести с лишним лет. Нет, средний возраст меньше. Долговечные деревья — счастливые одиночки; они так же редки, как престарелые люди, помнящие крепостное право и знавшие лично Тургенева, Некрасова и Чернышевского.

Сосновые леса в хороших условиях надежно живут полтора-два столетия. Пока они не перешагнули через этот возраст, об их судьбе можно еще не беспокоиться. А позже начинаются старческие болезни и приближается смерть. Часть деревьев отмирает, часть продолжает жить, лес изреживается. Распад древостоев становится очень заметным в сто шестьдесят — сто восемьдесят лет.

Но так происходит в хороших условиях. В соседстве же с городом распад сосновых лесов начинается в сто тридцать лет.

Дубовые леса живут примерно столько же. А береза и осина не обладают такой долговечностью. Они умирают значительно раньше.

Всякий понимает, что недопустима преждевременная рубка. Но нельзя также и запаздывать. Зачем зря гнить добро? В лесу зевать не годится, а то плод переспевает. В эксплуатационных лесах, служащих для добывания древесины, рубка должна производиться до наступления рокового возраста.

Н. П. Анучин считает наиболее целесообразным в Московской области срубить дуб в сто десять лет, сосну — в девяносто пять, ель — в девяносто, березу — в шестьдесят пять лет.

В Архангельской области, где деревья растут медленнее, оптимальный возраст рубки определяется для сосны в сто тридцать пять лет, ели — в сто двадцать, березы — в семьдесят лет.

Чтобы читатели не сочли Н. П. Анучина за пропагандиста истребления лесов, должен сообщить такой факт. Когда в 1953 году был опубликован роман Леонида Леонова «Русский лес», большинство наших лесоводов было уверено, что именно Анучин и послужил прототипом для создания образа профессора Вихрова, защитника лесов, потому что Анучин давно известен своими выступлениями за сохранение лесных богатств и организацию правильного лесного хозяйства. Отсюда можно видеть, что забота о сохранении леса вполне совместима с признанием необходимости его рубки.

ЧТО ТАКОЕ ЛЕС?

Эта глава — сугубо теоретическая и, следовательно, особо скучная. После долгих колебаний решил ее включить. Что ж это в самом деле? Если из боязни наскучить читателю обходить такие элементарнейшие вещи, тогда вообще придется прекратить всякий разговор о лесах, признать его немислимым.

Нельзя пользоваться словами, не объясняя их смысла. Пора наконец сказать, что же это такое — лес. На этот вопрос первым дал правильный ответ выдающийся русский ученый Георгий Федорович Морозов (1867—1920). Его считают создателем науки о лесе.

Морозов с большой убедительностью показал, что «лес не есть простая совокупность древесных растений, а представляет собою сообщество, или такое соединение древесных растений, в котором они проявляют взаимное влияние друг на друга, порождая тем ряд новых явлений, которые не свойственны одиноко растущим растениям». И далее Морозов говорит: «Лесом мы будем называть такую совокупность древесных растений, в которой обнаруживается не только взаимное влияние их друг на друга, но и на занятую ими почву и атмосферу».

Мы не станем рассматривать всех многочисленных явлений, порождаемых совместной деятельностью деревьев, объединенных в общество. Главную тему настоящей книжки составляет вопрос о сохранении лесов, и поэтому из всех законов жизни леса для нас сейчас наиболее важен один: из взаимной поддержки и совместного влияния деревьев на почву в лесу создается обстановка, обеспечивающая деревьям потомство, продолжение рода.

Благодаря тому, что обеспечивается смена поколений, лес не прекращает своего существования, всегда остается лесом, и занятое им пространство не превращается в пустырь, в открытый луг. Морозов пишет: «Лес обладает способностью восстанавливать самого себя, если по той или другой причине было нарушено его равновесие или пострадала часть его организма». Он способен восполнять потери, происшедшие от смерти престарелых деревьев, ветровалов, рубок, лесных пожаров и других причин. Законы жизни леса «обеспечивают его устойчивость».

Надо сказать, что жизнь протекает в обстановке межвидовой борьбы и только взаимопомощь деревьев, составляющих общество, позволяет сохранить занимаемую деревьями площадь за их потомством, иначе ее захватили бы другие растения.

Противоположное лесу и враждебное ему растительное сообщество другого типа — травянистый луг. Между лугом и лесом происходит борьба за пространство. Каждый отстаивает свой рубеж и не пускает соперника на свою площадь. Но если представится возможность, каждый охотно лезет на площадь соседа.

Орудием наступления и травам и деревьям служат их семена. Равнодушный ветер одинаково заносит древесные семена на луг и семена трав — в лес. Чтобы сохранить пространство за собой, каждому из соперничающих растительных сообществ надо подавлять вражеские семена и не давать им прорасти.

Луг защищается от зарастания деревьями тем, что луговые злаковые травы (вейник, луговик извилистый, мятлик, тимофеевка, овсяница и другие) массой своих переплетающихся корешков образуют в верхнем слое почвы плотную, как войлок, дернину. Кому случалось заниматься огородничеством и вскапывать лопатой целину, тот знает, что такое дерн и как он крепок. Дерн непроницаем для древесных семян. Если древесные семена упадут на луг, их росткам трудно пробиться к почве, и они засыхают.

Лес же не пускает внутрь себя луговые травы, образующие дерн. Он губит их сплошной тенью, бросаемой на землю кронами деревьев и подлеска.

Травам необходим солнечный свет, потому что растут они тонкой соломинкой с малым числом узеньких листочков. Поверхность листочков ничтожна. Машинка для выработки питательных веществ из углекислого газа совсем маленькая. Чтобы получить достаточно сахара, крахмала, клетчатки, она долго должна работать в лучах солнца. Такое устройство растений выработалось за миллионы лет существования травы под ярким солнцем на просторных лугах. Там траве всего в меру.

А в тенистых недрах леса всегда сумрачно. Луговые злаковые травы не могут там поселиться. Жизнедеятельность их в тени нарушается. Они просто погибают от голода.

В лесу растут теневыносливые мхи да ягодники. Они не создают дерна и не мешают прорасти древесным семенам. Так деревьям обеспечено продолжение рода на занимаемой ими территории.

Но деревья образуют общество и обеспечивают себе потомство лишь в том случае, когда стоят тесным, сомкнутым строем, создающим сплошной полог листвы или хвои, затеняющий почву. Большую роль в затемнении поверхности почвы играет также древесный молодняк и подлесок — растущий в лесу кустарник: жимолость, орешник, рябина.

В нормально живущих лесах старые деревья могут отмирать, верхний полог при этом изреживается, но древесное общество не распадается, потому что чем меньше остается стариков, тем больше встает молодежи, и нижний ярус еще сильнее затемняет землю. Так происходит в заречной части Измайлова и в огороженных кварталах Тимирязевской лесной дачи.

Совсем другое мы видим на участках, где люди гуляют, играют в мяч, лежат на одеялах и вообще ведут себя как дома, без всяких стеснений. Весь древесный молодняк, весь подлесок, весь кустарник давно уничтожен подошвами и боками. Остался только изреженный древостой верхнего яруса. А он не в состоянии дать сплошную тень. Солнечный свет свободно проникает к поверхности земли под деревьями и дает жизнь злаковым травам, а с ними вместе накапливается дерн.

Теперь, если даже перестанут топтать почву, на ней все равно не сможет образоваться самородный молодняк, потому что почва прикрылась дерном, превратилась в луговую и сделалась невосприимчивой к древесным семенам.

Так постепенно произошло перерождение леса в то, что уже не есть лес. Деревья здесь не помогают друг другу, не образуют общества и не влияют совместно на почву. Это разобщенные одиночки. «Есть,— пишет Г. Ф. Морозов,— такие формы ландшафта, где деревья раскинуты в одиночном стоянии на значительной площади земли и, несмотря на свое множество, леса все же не образуют». Разумеется, такие деревья остаются бездетными; их совокупности, не образующие леса, не обладают «способностью восстанавливать себя» и восполнять потери от смерти престарелых деревьев, рубок, пожаров, ветровалов и других причин.

Перерождение леса в парк происходит обычно медленно и неравномерно по всей площади массива. Сохраняются участки менее вытопанные, и там остаются довольно густые группы деревьев. Усиленно же вытаптываемые участки вдоль дорог впоследствии, с отмиранием старого древостоя, превращаются в открытые прогалины. Так получается типично парковый ландшафт с куртинным: расположением деревьев и травянистыми лужайками.

Однажды в московских окрестностях я спросил встречного:

— Где мы находимся: в лесу или в парке?

Он огляделся, подумал и ответил:

— В лесу, потому что нет скамеек и ограды.

В благоустроенных парках мы привыкли видеть прямые дорожки, скамейки для отдыха, цветочные клумбы, киоски с газированной водой, ограды, ворота. Но не в этом отличительные признаки парка. Внешнее благоустройство, конечно, крайне желательно, но оно может быть и не быть, суть от этого не изменится. Она заключается в образе жизни деревьев.

В зеленом массиве Тимирязевской академии наблюдается обратное соотношение: участки леса благоустроены; участки, переродившиеся в парк, неблагоустроены. И это понятно. Академии важно сохранить лес для научных и учебных занятий, и совсем не ее дело организовывать отдых гуляющей публики.

ЛЕСОПАРКИ

За сорок лет население Москвы увеличилось с одного до пяти миллионов человек. Да кроме того, в окрестностях столицы осело три миллиона.

Существовали не так давно маленькие поселки: Кунцево, Тушино, Люблино, Люберцы, Перово, Мытищи, Лосиноостровская (нынешний Бабушкин). По итогам переписи 1959 года, они уже фигурировали в списке крупнейших городов страны, превосходя своим населением некоторые республиканские столицы и областные центры. А сейчас они слились в одну «Большую Москву». Десятки других подмосковных поселков превратились если не в крупнейшие, то просто в крупные города.

На узком пространстве сосредоточено восемь миллионов человек. И не сидят же они дома. От Москвы в разные стороны расходятся пятнадцать железных дорог и веток; через каждые пять—десять минут несутся по ним пригородные электрички с тысячами людей. Это ускорители перерождения древостоев.

За весь 1913 год дачные поезда перевезли туда и обратно тринадцать миллионов человек. Сейчас они перевозят сорок миллионов. Да прибавился еще автобусный транспорт, которого прежде не было.

Надо ли говорить, что не те нынче стали подмосковные леса, какими были прежде. Каждому это должно быть ясно из наших предыдущих наблюдений и выводов. Никто лесов не рубил, сами они изменились и не могли не измениться. Некого тут винить, напрасны были бы упреки.

Еще в позапрошлом и прошлом столетиях превратились в парки бывшие самородные леса в Сокольниках, Нескучном саду, Останкине, Филах, Кунцево, на склоне Ленинских гор. Сейчас этот процесс охватил широкую зону.

Мне задали вопрос:

— Значит, подмосковные леса вконец испорчены?

— Зачем произносить такие резкие слова? — сказал я.

— Надо же называть вещи своими именами!

Я ответил:

— Именно потому, что надо называть вещи своими именами, нужна точность в выражениях. А в вашем упреке она отсутствует. Точнее будет сказать, что подмосковные леса нуждаются сейчас в особых приемах ведения хозяйства. Разрушительная деятельность человеческих ног должна компенсироваться созидательной работой человеческих рук.

Поскольку в наиболее многолюдной зоне Подмосковья древостой по образу жизни приближаются к городским садам и паркам, вполне резонно, что в ближних окрестностях Москвы созданы сейчас не обычные лесхозы, а хозяйства особого типа — лесопаркхозы, и они находятся в подчинении Московского городского Совета. Управляет ими озеленительный трест «Мослесопарк».

В категорию лесопарков сейчас официально зачислено шестьдесят пять тысяч гектаров, но процесс перерождения, конечно, расширяется.

Жаль, конечно, что деревья утрачивают одно из важнейших свойств живых существ — способность оставить после себя потомство. Это большая потеря. Но перерождение леса в парк было бы неправильно называть порчей, потому что со словом «порча» связываются представления о чем-то ненормальном и уродливом, а ничего безобразного в парковой форме жизни деревьев нет. Наоборот, сады и парки сплошь и рядом бывают живописнее и красивее обыкновенных лесов. Такая форма жизни деревьев совершенно неизбежна и нам необходима. Нельзя же всюду отгонять людей от леса изгородями! Надо же им где-нибудь и погулять. Какая польза будет от леса человеку, если его не станут туда пускать? А в тесном соседстве с человеком, когда землю топчут людские ноги, деревья могут существовать только в виде парков, садов, скверов.

Поэтому правильнее считать лес и парк разными формами жизни деревьев. Обе формы законны и имеют право на существование. При одной форме смена древесных поколений происходит сама по себе в силу естественных законов, при другой форме обязательно требуются искусственные посадки. Одна форма — дикая, другая — культурная. Одна — более дешевая, другая — дорогая.

Искусственные посадки деревьев применяются с глубокой древности. Сохранились, например, предания о «висячих садах Семирамиды» в древнем Вавилоне. Сады существовали в древнем Египте, Греции, Риме. В России тоже издавна водились приусадебные сады, откуда и произошло слово «роща», означавшее рощенный лес.

Расход на посадки кажется на первый взгляд большим. Но только на первый взгляд. Ведь сажать деревья приходится не чаще чем раз в столетие, и единовременный расход ничтожен по сравнению с той пользой, которую принесут деревья в течение своей долгой жизни огромному числу людей.

Надо еще сказать, что посадки за городом значительно дешевле внутригородских. Дешевле не в пять, не в десять, а в сотню или даже в сотни раз.

ГОРОДСКОЙ ДЫМ

Я летел из Симферополя в Москву. Стоял яркий солнечный день. Воздух был на редкость прозрачен, дали виднелись ясно, зеленый круг земли четко отделялся от голубого неба. В какую сторону ни погляди — нигде нет ни малейшего намека на мглу.

Долгонько мы так летели, и вдруг впереди, где-то там, за полсотни, а может быть, и за целую сотню километров показался низкий плоский коричневатый купол, похожий на круглый каравай ржаного хлеба.

Когда приблизились, очертания купола исчезли, осталась какая-то мутная белесая пелена. Еще ближе — мгла рассеялась, и показались заводы и постройки города Харькова. Летим дальше — снова коричневатый каравай, оказавшийся по приближении городом Курском. И еще такая же коврига — город Тула.

Мне никогда не удавалось заметить дымный купол Москвы; сразу вступаешь в мутную пелену. Должно быть, так велик московский дымный каравай, что увидеть его очертания можно только с какого-то очень далекого расстояния, чему мешает недостаточная прозрачность воздуха.

Но то, что дыму над Москвой много, — факт. Зимой на бульварах свежеснеженный снег недолго остается белым; в следующие же дни он сереет от осевшей золы и сажки, потом вскоре чернеет.

Если подоконники в вашей московской квартире покрашены белилами, вы всегда замечаете на них черную пыль.

И вот эта копоть, как вы видели в Измайлове, губительна для сосны и ели. Внутри города хвойные деревья хиреют и быстро отмирают. Голубые елочки на Красной площади у мавзолея приходится время от времени менять. В последний раз они заменены новыми в октябре 1960 года.

А по окрестностям столицы копоть распространяется неравномерно, и окружающие леса страдают от нее неодинаково.

В Москве летом преобладают западные, юго-западные и северо-западные ветры (так по крайней мере было до сих пор); они относят московские дымы к востоку, юго-востоку, северо-востоку и коптят леса. Наиболее густ дым на восточных окраинах города и прилегающих к ним местностях, а дальше он постепенно редет, копоть оседает на землю, и ядовитые газы рассеиваются. Вредное влияние, постепенно ослабевающее, ощущается к востоку километров на двадцать.

Самый сильный дымный удар принимают на себя Сокольники, Измайлово, Лосиный Остров, Кууско. И понятно, почему там умерли тысячи гектаров сосновых и еловых древостоев. Распад там полностью закончился, больше отмирать нечему.

В более удаленных местах распад хвойных древостоев совершается медленнее. Он продолжается сейчас в районе Балашихи и будет продолжаться. Остановить его невозможно, он неизбежен.

Совсем другая картина наблюдается в местностях, расположенных к западу от столицы. Дым туда заносится редко, и потому хвойные деревья чувствуют себя неплохо.

На северо-западной окраине Москвы довольно хорошо держится сосняк в Покровском-Стрешневе. Если там и умирают отдельные деревья, то ни от чего другого, а только от старости. На западе город придвинулся к Хорошевскому Серебряному бору,

и особенно резких изменений в древостоях пока не произошло. От Серебряного бора рукой подать через Москву-реку до Троицкого-Лыкова и Рублева, и там спокойно и величаво стоит великолепный сосняк. А дальше идут хорошей сохранности боры в Раздорах, Барвихе, Усове. Тянутся они сплошной полосой до Звенигорода.

У нас сейчас модно критиковать лесное хозяйство и бросать всякого рода упреки в адрес администрации. Эти упреки сплошь и рядом бывают несправедливыми.

В одной из московских газет была напечатана статья о плохом состоянии пригородных лесов, и там сказано: «Ссылаются на то, что в Измайлове деревья будто бы сами умирают. Но почему же в таком случае они не умирают в Рублеве? Ответ ясен: люди работают разные. Одни берегут лес, другие не берегут и прячутся за «объективные» причины».

Эти рассуждения в корне неверны. В Рублеве действительно работают замечательные люди — там находится опытное лесничество Академии наук СССР, но все же Рублевский массив сохранился именно по объективным причинам. Он существует в хороших условиях, не страдая ни от дыма, ни от многолюдья.

В начале нынешнего века в Рублеве построена насосная станция московского водопровода. С тех пор, чтобы предохранить воду от загрязнения, на берегах Москвы-реки, выше Рублева, создана запретная зона. Там не разрешалось селиться и строить дачи; остались те же деревеньки, какие существовали шестьдесят лет назад. В последние годы запрет соблюдается менее строго, потому что Рублевский водопровод перестал быть единственным источником водоснабжения столицы, но все же район до сих пор остается малонаселенным. Из Москвы народу приезжает тоже немного, потому что электрички по Усовской железнодорожной ветке ходят редко. Леса почти не вытаптываются. И самое важное, конечно, то, что копать на них не оседают. Сейчас это лучшие боры ближнего Подмосковья.

В 1960 году через Рублевский массив прорубили широченную просеку, строят кольцевую дорогу вокруг Москвы. Как она в дальнейшем отразится на состоянии боров — неясно. А пока лес хорош, хотя уже достиг предельного возраста.

Не хуже, а даже лучше были прежде сосняки и в восточных районах по другую сторону Москвы: Сокольниках, Измайлове, Лосином Острове. Но вот видите, что с ними приключилось — остались кое-где жалкие остатки. И виноват не топор. Он только играл роль санитаря, убравшего древесные трупы.

Нельзя, конечно, допускать, чтобы в задымленной восточной части ближнего Подмосковья на месте отмирающих хвойных лесов остались голые пустыри или расплодилось малоценная ольха с осинкой. Есть же хороший выход: посадка устойчивых против дыма древесных пород. Как ни жаль сосну да ель, в некоторых местах придется с ними распрощаться. Надо сажать лиственницу, дуб, хорошее духовитое дерево — липу, остролистый клен. Неплоха для Подмосковья и белоствольная береза с повисшими и раскачивающимися на ветру гибкими ветками — гирляндами зеленых листьев. И надо добиваться живописных сочетаний разных деревьев, избегая унылого однообразия. Ведь подмосковные лесопарки существуют в первую очередь для красоты, для отдыха, на радость и любованье человеку.

В последние годы воздух над Москвой стал значительно светлее, потому что многие заводы переведены с угольного топлива на газ, не стало на железных дорогах дымящих паровозов, а ряд предприятий выселен из столицы. В 1961 году закрывается один из самых злостных губителей московского воздуха — Дорогомилловский химический завод.

Условия существования хвойных деревьев, по-видимому, улучшатся. Возможно, настанет пора, когда сосна и ель не будут испытывать угнетения даже в городе.

(Окончание следует)



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

М. СТЕБЛИН-КАМЕНСКИЙ

★

НА «КОНЕ ЗОЛОТАЯ ГРИВА» — В СТРАНУ САГ

Итак, я сижу в исландском самолете и лечу в Исландию. Очень странное чувство я испытываю. В продолжение многих лет я занимаюсь исландской литературой и исландским языком, но знаю Исландию только по книгам. И вот сейчас я впервые увижу ее. При этом по книгам я лучше всего знаю Исландию такой, какой она была более чем семьсот лет назад. Классическая исландская литература возникла семь веков назад, когда во всей остальной Европе царил мрак средневековья — схоластика и мистика. Именно эта древняя исландская литература — реалистическая проза (родовые саги) и героические и мифологические песни («Старшая Эдда») — позволяет Исландии претендовать на выдающееся место в истории мировой литературы и культуры. Древняя литература — гордость Исландии, ее национальное богатство. Нигде в средневековой Европе не было такой богатой, самобытной и подлинно народной литературы. Она до сих пор самое значительное из всего, что было создано в области литературы на скандинавском севере. И до сих пор языком Исландии остался язык ее древней литературы, то есть древнеисландский. Он очень непохож на современные скандинавские языки — норвежский, шведский, датский, — хотя и в родстве с ними. Станным образом он почти не изменился за последнюю тысячу лет в написании и грамматике и до наших дней сохранил свою архаичную метафоричность и конкретность.

И вот сейчас я буду разговаривать с потомками древних исландцев на их древнем языке. Странное ощущение! Словно предстояло встретиться с давно мне знакомыми литературными персонажами, как с живыми людьми...

В самолете ко мне подходит красивая девушка в синей форме и с приветливой улыбкой подает на подносе конфеты. Первая исландка, которую я увидел в жизни, и первая возможность разговора по-исландски в эту поездку!

Девушка-стюардесса — по-исландски «флюгфрея», то есть в буквальном переводе «Фрея полета» (Фрея — имя языческой богини, которая воспевается в древних мифологических песнях). А самолет наш называется «Гютльфахси», то есть «Конь Золотая Грива» (тоже мифологическое имя). А диктор называется по-исландски тем же словом, которым больше тысячи лет тому назад назывался мудрец-сказитель. Итак, начинается смещение временных плоскостей, древняя культура скрещивается с современной цивилизацией.

Во время вынужденной ночевки в Глазго (вернее, в городке Гурок, недалеко от Глазго) я рассматриваю спутников по самолету. Это все исландцы. Кто они? Во всяком случае, не те воинственные викинги, которые около тысячи лет назад, прельщенные рассказами об обширных пастбищах, обилии непуганых рыб и птиц, приплыли на боевых кораблях из Норвегии в Исландию, чтобы осесть на огромном пустынном острове, на котором до этого еще никто никогда не селился, и, таким образом, дали начало исландскому народу.

Может быть, это коммерсанты, может быть, профсоюзная делегация или спортсмены, возвращающиеся домой (потом оказалось, что среди них был чемпион Исландии по

шахматам Фридрих Олафссон). Запомнился старичок, который весело посматривал по сторонам. Он нюхал табак и сморкался в огромный пестрый платок. «Хатльбьерн Хальдорссон» — было написано руническими латинскими буквами на его визитной карточке. Оказалось, что он печатник, пенсионер, возвращающийся с полиграфического съезда в Мюнхене. Он предложил мне понюхать табак. По-исландски это в буквальном переводе звучит так: «Можно предложить вам в нос?» Сходя с самолета в Рейкьявике и прощаясь со мной, он сказал: «Мы еще увидимся!»

И действительно, полгода спустя мы снова встретились с Хатльбьерном в Ленинграде, куда он приехал с делегацией общества «Исландия — СССР».

Население в Исландии очень невелико. Оно начало быстро расти только в двадцатом веке — больше чем удвоилось на протяжении шести последних десятилетий. До этого народ веками вымирал от неурожаев и жестоких эпидемий, от последствий сильных извержений вулканов с землетрясениями, а также от набегов испанских и алжирских пиратов. Но, может быть, самым губительным было то, что иноземные купцы, пользуясь монополией торговли, втридорога продавали исландским крестьянам необходимые для них товары, а продукцию их и без того нищего хозяйства покупали за бесценок. Диву даешься, как, несмотря на вымирание и колониальный гнет, этот малочисленный и (до самого последнего времени) нищий народ сумел сохранить свою самобытную литературную традицию и свой родной язык; как он сумел пронести сквозь века тяжелых лишений и бесправия свою страстную любовь к родному слову.

Погода ясная, и часа через три — не внизу, а где-то на середине голубого неба, выше самолета, над облаками, — показывается снежная вершина, освещенная солнцем. Это, конечно, Ватнаёкюдль — самый большой ледник в Европе (сто километров в длину, сто километров в ширину) и самая высокая точка Исландии (2119 метров). Затем сквозь облака начинают мелькать еще какие-то горы, потом озера, реки. Самолет снижается, появляются правильные ряды маленьких домиков, красные, зеленые, синие крыши, и с трех сторон — море. Это, конечно, Рейкьявик.

Мы пробыли в Исландии пятнадцать дней. Шесть из них мы ездили по стране на легкой машине, с утра до вечера. Проехали больше двух тысяч километров, совершили пять поездок, из которых одна длилась три дня. Три раза мы ночевали в гостиницах в глухих уголках Исландии. Не были мы только на востоке страны да в центральной пустыне, куда можно проникнуть только верхом или пешком, и притом с альпинистским снаряжением. Остальное время мы жили в Рейкьявике. Здесь были встречи, вечера, концерты, пресс-конференции, конгресс общества «Исландия — СССР», обед у министра культуры, мой доклад на заседании Общества исландского языка, прием в посольстве, посещение Национальной библиотеки, Национального музея, университета, беседы с филологами и писателями — в общем, дни были загружены до отказа.

...Мы на приеме у крупнейшего исландского юриста Рагнара Оулафссона, члена общества «Исландия — СССР». Двухэтажный особняк. Весь верхний этаж — гостиная, в нижнем этаже — спальня и столовая. Гостей человек пятьдесят. В столовой три стола. На одном — скандинавские бутерброды, сласти и прочее; у другого хозяйка разливает кофе; на третьем — напитки. Надо вооружиться подносом, положить бутерброд себе на тарелку, подойти к хозяйке за чашкой кофе, взять на третьем столе бокал, потом с подносом в руке подняться по лестнице на второй этаж и там стоя есть, беседа одновременно то с исландским историком о роли Ганзы в Исландии, то с парламентарием — об уровне жизни в стране, то с группой филологов — о том, существовал ли в действительности Эгиль Скаллагримссон или это личность легендарная, вымышленная.

Да, но, видимо, следует еще пояснить, почему важно, существовал ли Эгиль Скаллагримссон — викинг и скальд, герой «Саги об Эгиле», одной из древнеисландских родовых саг. Тот, кто не читал этих саг, обычно представляет их себе как произведения поэтические и фантастические, нечто вроде сказки или легенды. Нет ничего ошибочнее такого представления. Древнеисландские родовые саги — это произведения более фактографические, чем любой современный роман. Не случайно до недавнего времени все, что в них рассказывается, принималось за непреложный исторический факт. Однако

в последнее время исландские филологи стали утверждать, что видимая историческая точность саг — это лишь результат высокой реалистичности древнего исландского искусства, и только. Определение границы между правдой художественной и правдой исторической — это, по-видимому, одна из труднейших проблем истории всякой дрезней литературы, и понятно, что каждому, кто едет в Исландию во всеоружии знакомства с древнеисландскими сагами, приходится спорить на эту тему.

Мы присутствовали на конгрессе Общества культурных связей между Исландией и СССР. По-исландски оно называется сокращенно МИР (по начальным буквам исландского названия общества; но те, кто знает русский язык, естественно, вкладывают в эти буквы другой смысл).

На конгресс съехались представители местных отделений Общества с разных концов Исландии — рабочие, рыбаки, фермеры, учителя и так далее. Всего собралось человек пятьдесят. На стол президиума были поставлены розы. Конгресс открылся речью Кристина Андерссона, виднейшего исландского критика, автора книги «Современная исландская литература», которая недавно вышла на русском языке.

Выступавшие говорили о том восхищении, которое вызывают у всего прогрессивного человечества необыкновенные успехи Советского Союза в области науки и техники. Они говорили о советском искусстве, с которым их познакомили приезжавшие в Исландию советские артисты. Могло ли бы такое искусство, говорили они, процветать в стране, если бы положение в ней было таким, каким его изображают враги Советского Союза? Они вспоминали о том, что Советский Союз был первым из государств, признавших право Исландии на двенадцатимильную зону территориальных вод вокруг острова. Этим он оказал неоценимую поддержку исландскому народу в его борьбе за свое экономическое благосостояние, союзник же Исландии по НАТО Англия послала в исландские воды не только рыболовные суда, но и военные корабли. Наш подлинный друг, говорили они, не то государство, которое устраивает военные базы на нашей земле, тем самым делая эфемерной нашу политическую самостоятельность, а то государство, которое в критическую для нас минуту бескорыстно поддержало нас в жизненно важном для нас деле и которое своими блистательными успехами в области науки и техники прокладывает новые пути человечеству.

После окончания конгресса ко мне подошла пожилая женщина в исландском национальном костюме. Как я потом узнал, это была Сигридюр Сайланд — видная активистка Общества, акушерка по профессии. Ей очень хотелось поговорить с человеком, который только что приехал из СССР. Она рассказала мне о том, что несколько лет назад она была в Москве и что встречи с советскими людьми произвели на нее незабываемое впечатление.

— Я чувствовала себя словно среди старых друзей, и мы хорошо понимали друг друга, — сказала она.

— Вы, значит, наверно, и по русски умеете разговаривать? — спросил я.

— Нет, — засмеялась она, — мы говорили на языке души!

Жили мы в гостинице «Борг», в самом центре города. Альтинг (парламент), собор, почтамт, полицейское управление — все это рядом. Прямо под моим окном рифленая крыша какого-то гаража, а направо — двор со скопищем сверкающих лаком легковых машин: их в Рейкьявике вообще гораздо больше, чем грузовых. И хотя город славится отсутствием дымовых труб, в окно все же летит бензинная гарь. Среди разноцветных крыш — красных, зеленых, серых — вывеска туристской конторы «Гимли», а неподалеку — прижизненный памятник местному пастору, которому сейчас девяносто лет. Дальше вывеска страховой компании и кинотеатра «Гамля Био». А левее, над зданием Рыбпромышленного банка, — синяя гора Эсья. Ее часто окутывают облака, а однажды утром она оказывается покрытой снегом.

В моей комнате только постель с тонкими перинами из гагачьего пуха, стол и стул. В стене шкаф для одежды, и другой, попросторней, с умывальником и душем. Горячая вода, конечно, из гейзера.

Несмотря на осень (конец сентября — начало октября), в Рейкьявике значительно теплее, чем бывает в эту пору в Ленинграде. Великое дело — Гольфстрим! В драповых пальто мы изнемогали в первый день от жары. Один исландец, снимая с вешалки мое одеяние, взвесил его на руке и преисполнился уважением к русской выносливости. Потом мы ходили без пальто и спали с открытыми окнами.

Осень и зима в Рейкьявике (но не в глубине страны) много теплее, чем в Ленинграде и Москве, а лето и весна — холоднее. Средняя температура января в Рейкьявике минус один градус, а июля — плюс одиннадцать градусов; в Ленинграде соответственно минус восемь и плюс семнадцать градусов.

Исландия — страна фантастически красивая, причем я имею в виду средний исландский пейзаж, а не экзотику (гейзеры, вулканы и т. п.). И вот почему она так красива. В Исландии всюду далеко видно — на десятки и даже на сотню километров (деревьев почти нет, только рябинки да березки около домов). И повсюду видишь горы, с любой точки, — синие, голубые, серые, лиловые, малиновые, черные, в зависимости от покрова и освещения. А освещение все время меняется — часть неба светлая, часть неба темная, разрывы в тучах, радуга, фосфоресцирующее северное сияние. Помню, я стоял на площадке перед электростанцией Лахсаурвюркюн — это на севере Исландии — и смотрел на долину Лахсаурдалюр, расстилающуюся к северу. Ясный вечер и чистейший, прозрачайший воздух. Долину видно далеко-далеко. Оба склона ее, слева и справа, темно-малиновые. На них маленькие ярко-зеленые квадратики тунов — засеваемых лугов — и кое-где белые с красными крышами игрушечные домики хуторов. Над этими малиновыми склонами поднимаются синие горы и голубая даль. Прямо передо мной ярко-синяя гладь реки Лахсау — реки в Исландии поразительно яркие — и на ней большая стая диких белых лебедей. Они вдруг взмывают вверх, и в вечерней тишине до того слышится их крик.

В Исландии вообще уйма диких водяных птиц. Один фермер жаловался нам, что лебеди губят его туны (стрелять лебедей не разрешается). Мы видели множество диких уток по дороге, на протяжении почти тридцати километров огибающей с востока Хялфьёрдюр (то есть Китовый фьорд), далеко врезающийся в глубь страны. Слева от дороги, совсем рядом, тянулся фьорд со скалистыми островками посередине, а справа поднимались крутые высокие горы. Птицы плавали совсем близко от берега и даже не подымались в воздух при приближении нашей машины. Но идиллическое впечатление от лучезарного мирного фьорда испортилось тем, что за поворотом мы вдруг увидели длинные низкие бараки из рифленого железа и людей в военной форме. Оказалось, что это американская военная база.

В продолжение тысячи лет исландцы знали только понаслышке, что такое войско и война. Но кончились времена, когда географическое положение Исландии, затерявшейся среди океана, спасало ее от иноземных вторжений. И — такова ирония судьбы! — иноземное войско обосновалось на территории Исландии как раз тогда, когда после семи веков колониального гнета страна наконец полностью отделилась от своей метрополии — Дании. Исландия была провозглашена независимой республикой 17 июня 1944 года, но с 1941 года на ее территории расположились американские войска, и вопреки торжественному обещанию они не ушли после окончания мировой войны. Демонстрации, забастовки, митинги протеста, продолжающиеся до сих пор, не подействовали на тех, кто осуществляет эту оккупацию или способствует ей.

Для исландского пейзажа характерны также и более суровые черты: черные базальтовые обрывы, черная лава, черный песок. Песок в Исландии вообще только черный. Вернее, темно-серый. Но когда он влажен, он черный. Не случайно исландский национальный костюм — его и сейчас носят старые женщины — черный с серебром. Серебро, очевидно, символизирует исландские водопады. Черны здесь и все дороги — они покрыты гравием. А камни, ограждающие дорогу, окрашены не в белый, как принято у нас, а в желтый цвет.

В один из дней мы присутствовали на торжественном открытии памятника знаменитому исландскому поэту Торстейну Эрлингссону. Это было возле хутора Хлидарендакот, на юге Исландии, где сто лет тому назад родился поэт. Моросил дождь. Строгий

бюст четко вырисовывался на фоне черного обрыва. Справа водопадом низвергался ручей. Мужской хор пел торжественно и печально. Все это было так величественно, что сжималось горло.

Типичны для исландского пейзажа знаменитые «Тингветлир» — Поля Тинга, национальный парк Исландии. Здесь с начала десятого века до середины девятнадцатого собирался альтинг (в древности — всеисландское вече, позже — парламент). В эпоху народовластия — так исландские историки называют период с десятого по тринадцатый век — альтинг был средоточием культурной жизни страны. Это была эпоха экономического и культурного расцвета Исландии. В середине лета на Поля Тинга со всех концов страны съезжались на две недели исландцы, чтобы принимать законы, участвовать в решении тяжб, обмениваться новостями, обсуждать происшедшие события, слушать саги и стихи. В туристских справочниках обычно говорится, что альтинг был древнейшим парламентом Европы. Но древнеисландское общество совсем не походило на парламентарное государство. Как доказали исландские историки-марксисты, исландское общество эпохи народовластия было особой формой родового общества; государством оно еще не было, так как не располагало никаким государственным аппаратом, не было ни канцелярий, ни чиновников, ни армии, ни полиции, ни тюрем. Потом, когда эпоха народовластия кончилась и Исландия стала сперва колонией Норвегии (с 1262 года), а потом Дании (с 1380 года), альтинг захирел, его существование стало лишь формальным. Борьба исландцев за независимость всегда была борьбой за восстановление альтинга во всех его правах. Но современный альтинг — действительно всего лишь обычный парламент. Он совсем не похож на древнеисландский сход свободных общинников. Теперь альтинг заседает в небольшом двухэтажном здании в центре Рейкьявика. Кстати, в исландском языке очень часто одно и то же слово обозначает и нечто архаичное и нечто современное, и это нередко приводит к тому, что в сознании исландцев различие между архаикой и современностью до чрезвычайности сглаживается.

Поля Тинга расположены на берегу большого озера, окруженного горами, и прорезаны каньонами, где течет прозрачная ледяная вода. Черные скалы, зеленый мох, золотой кустарник и, конечно, поблизости — водопад. Когда стоишь на «Скале закона» — возвышении, служившем в древности трибуной, — то видишь на горизонте горы, а внизу сверкающую поверхность реки Эхсарау, которая при впадении в озеро разбивается на несколько рукавов. За рекой — церквушка (когда-то на ее колокольне висел «Колокол Исландии», по которому Халлдор Лакснесс назвал свой замечательный исторический роман), и правее — маленькие домики гостиницы «Валгалла». А за «Скалой закона» возвышается скалистая стена, верхний край которой образует на фоне неба причудливые силуэты — так называемые «ладьи викингов». Поля Тинга — самое дорогое для каждого исландца место. Это символ древней национальной культуры, символ свободы и независимости Исландии. Поэтому здесь все имеет свои названия и свою тысячелетнюю историю. При въезде в национальный парк стоит указатель в виде каменного компаса на подставке. Он указывает, в каком направлении искать те или иные вершины, каньоны, скалы, долины и т. п. Летом сюда часто приезжают из Рейкьявика погулять, а то и пожить в палатках. Но, к удивлению исландцев, иностранные туристы, приезжая на Поля Тинга, обычно обращают внимание только на две достопримечательности: Пенингагау — каньон, в прозрачные омуты которого, загадав желание, принято бросать монеты, и Дрекингахилюр — омут, в котором, по преданию, топили неверных жен.

Поля Тинга расположены на границе заселенной части страны. За ними на сотни километров простирается гористая пустыня. В древние времена там скрывались объявленные вне закона. В исландских народных сказках часто говорится о блаженных долинах в глубине страны, где живут в достатке счастливые люди. И надо сказать, что когда смотришь в ясную погоду на уходящие к горизонту голубые дали, то они действительно кажутся такими манящими, что понимаешь веру исландских народных сказок в блаженную жизнь этих далеких и недоступных долин.

В Исландии, когда путешествуешь на машине, все время едешь либо по долине, окруженной горами, либо по пустынному плоскогорью, разделяющему долины. По-исландски такое плоскогорье называется «хейди». В долинах виден какой-нибудь

одинокий хуторок — домик под красной крышей и рядом зеленый квадратик туна. Хейди всегда необитаемо. На нем не увидишь ничего, кроме камней, мха, вереска. Земля здесь так же «пуста и безвидна», какой она была, если верить Библии, в первый день творения. И это чередование мира, где живут люди, и мира, где люди не живут, подчеркивается тем, что, когда въезжаешь на хейди, небо обычно скрывается в серой пелене, и клочья тумана, ползущие отовсюду, застилают даль. И камни сквозь туман начинают казаться недобрыми обитателями пустынного и безмолвного царства. Иногда посредине хейди, чаще у перевала, стоит необитаемый домик, где путники могут найти убежище в непогоду или ночью. Правда, по поверьям, в таком домике обычно водятся привидения. Когда-то герои древних саг путешествовали верхом через хейди, и тогда такой домик назывался «сайлюхус», то есть «дом, построенный для спасения души».

А вот экзотика — места, которые посещаются туристами. Озеро Миватн, то есть Комариное озеро, на севере Исландии. Причудливой формы, с островами и берегами из застывшей лавы. Под вечер мы любовались его молочно-белой гладью. Уютные островки-холмики казались будто нарочно разбросанными по озеру. С самого большого из островков доносилось бляенье овец.

А рядом с этим удивительным озером расположен знаменитый Наумаскард — карьер, где добывают серу. Дорога туда идет по неглубокой ложине. Воздух напитан запахом серы. Склоны голы, никакой растительности, только стелется пар. Вдруг открывается бескрайнее и такое же голое лавовое плато, простирающееся на сотню километров. Бьют вверх мощные струи пара. Весь склон — рыжая с белыми пятнами лава. Подходим ближе и видим кратеры. В одном бурлит черная жижа, в другом — голубовато-серая. Запах серы становится удушливым. Это не иначе, как вход в ад... В Исландии больше ста вулканов, и из них двадцать восемь действующих. Самый знаменитый, Гёкла, — по преданию, обиталище сатаны. Страна вулканов и ледников, страна огня и льда — так обычно называется Исландия в путеводителях.

Возле озера Миватн находятся и «Диммуборгир», то есть «Замки мрака». Тропинка вьется между черными лавовыми башнями высотой с двухэтажный дом. Видны ворота, окна, шпили, зубцы. Такие лавовые замки тянутся на километры. Под ними все те же стелющиеся полярные березки и крупные грибы подберезовики. Среди этих «замков» легко заблудиться — так похожи они один на другой.

Видели мы здесь еще одно чудо природы — «Годафосс» («Водопад богов»). В глубоком базальтовом ущелье течет река, бурная река с отвесными берегами. Там, где ущелье расступается, река падает шумным каскадом с широкого полукруглого уступа. Но «Водопад богов» не произвел на нас особенно сильного впечатления, потому что перед этим мы видели еще более мощный — «Золотой водопад», или «Гюльфосс». Мы приехали к нему в ветреный и солнечный день. Чуть ли не за полкилометра нас обдало облаком брызг, и мы увидели, как тремя каскадами обрушивается в страшную бездну чудовищная масса воды, а над нею переливается яркая радуга, то и дело меняя место.

Водопадов в Исландии очень много. В некоторых долинах ручьи образуют водопады буквально через каждые сто метров.

Видели мы и горячие источники — и те, которые используются для нужд человека, и совсем еще «дикие». Ездили мы, конечно, и к Гейсиру — горькому источнику, по имени которого все горячие источники мира называются гейзерами. Но Гейсир не фонтанировал. Он теперь почти никогда не фонтанирует, разве что запасливые туристы кинут в него побольше мыла, специально привезенного для этой цели.

Исландия по своей территории довольно большая страна. Хотя мы проехали больше двух тысяч километров, мы побывали далеко не всюду. Но по количеству населения Исландия страна очень маленькая — всего сто семьдесят тысяч человек, из которых семьдесят тысяч живут в Рейкьявике. И это сказывается на каждом шагу. О размерах государственного аппарата можно судить по тому, что все правительство, в том числе и министерство иностранных дел, помещается в одноэтажном особняке с мезонином. Есть в стране несколько десятков полицейских, но постовых и регулировщиков движения нет. Первое время мы принимали исландских полицейских за морских офицеров, они все очень рослые, в черной форме с серебряными пуговицами, в фуражке с белым верхом и с серебряным свистком на груди; шоферов автобусов — за сухопутных офи-

церов: они в форме цвета хаки и такого же цвета фуражках. Но, оказывается, офицеров в Исландии вообще нет; нет и армии, нет вооруженной охраны: ни в порту, ни на важнейших электростанциях, ни в высших правительственных учреждениях. Нигде не нужны никакие пропуска и вообще никакие документы. По-видимому, именно в силу своей малочисленности исландцы до сих пор обходятся совсем без фамилий, и даже в самом официальном обращении называют друг друга по имени, иногда с прибавлением имени отца (вроде как бы по имени-отчеству).

Малочисленностью исландцев, вероятно, объясняется и то, что у них часто один человек выполняет несколько дел, которые в других странах чаще делают разные люди. Ученый в Исландии — часто также и поэт или писатель, а политический деятель — также и ученый и так далее.

Исландская столица Рейкьявик — очень красивый город. Но он красив не местоположением, хотя и местоположение города, окруженного с трех сторон океаном, живописно. Рейкьявик красив как архитектурный ансамбль. Прежде всего он необычайно яркий и красочен: ярко окрашенное железо крыш, такие же пестрые стены (крашеное рифленое железо и бетон). Современная архитектура, сверкающая стеклом и металлом. И при всей ультрасовременности материалов и красок Рейкьявик чрезвычайно уютный город. Все дома в нем маленькие, одно-двухэтажные, максимум трехэтажные, больше — это уже исключение, которое к тому же не бросается в глаза. В центральной, то есть торговой и деловой, части города домики стоят вплотную друг к другу, каждый под своим шипцом, как в старой Риге. А в жилой части города каждый домик стоит отдельно, и вокруг него садик с березками, рябинами, клумбами и газоном. Благодаря тому, что дома маленькие, а расстояния между ними больше, город весь просматривается — видны окружающие его горы, в конце улицы часто видно море и корабли. Стоило взглянуть направо, выходя из гостиницы, и я видел в двухстах метрах нос огромного судна, которое как бы вливалось в улицу.

Яркие краски преобладают и в костюмах, но только у детей и молодежи. Детишки, белобрысые и румяные, всегда нарядно и ярко одеты — и дома и на улице. Яркие курточки, штанишки в крупную красную, синюю клетку. Так же ярко одевается молодежь. Девушки ходят в ярко-рыжих замшевых куртках, в брюках в крупную красную с синим клетку, в ярко-красных пальто. У иных на спине можно увидеть ярко раскрашенную карту Исландии или изображение попугая. А люди старше двадцати пяти — тридцати лет (для мужчин это правило без исключений) ходят в одноцветных серых костюмах, серых плащах, и даже президента Исландии я видел в довольно потрепанном сером плаще. Некоторые пожилые профессора носят такие старомодные костюмы, в каких ходили лет сорок—пятьдесят назад. Старые женщины часто надевают национальные костюмы, черные и длинные, до пят, такие же, какие носили их бабушки.

Мы бывали в гостях у исландцев. Квартиры обычно обставлены современно: удобная, легкая и красивая мебель, низкие столы. Сверкающие белизной и совершенно пустые кухни. Вдоль стен — белый прилавок, в котором скрыты электрическая плита, таз для мытья посуды, сушилка, сток для помоев, холодильник, посудные шкафы. Хозяйка стоит в такой кухне, как инженер у пульта электростанции, нажимает кнопки, и все жарится и варится. Гостиная и столовая часто соединены под углом и могут быть разделены раздвижной стеной. Раздвижных стен много в ресторанах, школах, квартирах. Две небольшие комнаты в случае надобности превращаются в одну большую. Рукой махнешь — и стены нет. Спальни маленькие. Вот типичная спальня: одна стена занята большим окном, другая стена раздвигается, за ней — чулан для одежды. В комнате только постель и на стене картина, больше ничего. Обоев нет нигде, но часто на стенах деревянные панели. На полу что-то похожее на пластикат. Вообще в архитектуре и обстановке в Исландии меньше старомодного и устарелого, чем в таких более богатых странах, как Англия и Дания. И это понятно: до самых последних десятилетий Исландия была такой бедной страной, что в ней нечему было сохраниться до сегодняшнего дня, все надо было строить и обставлять заново.

Квартиры часто имеют отдельный выход на улицу. Иногда весь дом — одна квартира. Исландцы большие индивидуалисты, и, хотя квартиры дороги (они поглощают около тридцати процентов бюджета среднего исландца), они готовы работать по двена-

дцати часов, работать сверхурочно — только бы жить в маленьком домике с минимальным количеством квартир, хотя строить такие домики, конечно, очень неэкономично...

Нет никакой разницы между жилищами Рейкьявика, провинциальных городков (даже и тех, что насчитывают меньше тысячи жителей) и хуторов. Мы были в шести городах: Сельфоссе, Блэндуоусе, Сёйдауркроукюре, Боргарнесе, Хапнарфьёрдюре и Акюрейри. Последний из них, пожалуй, самый красивый город, который я когда-либо видел. Правда, мы осматривали его на восходе солнца, то есть в час, когда все города обычно хорошеют. Вдоль набережной еще спали уютные разноцветные домики, а у причалов — корабли. На гладкой поверхности фьорда плавали морские птицы. Еще видна была ущербная луна, но встало и солнце, осветив на горах снег, выпавший за ночь. Часы на церкви — кстати, тоже выдержанной в конструктивистском стиле — мелодично пробили восемь раз. Казалось, мы очутились среди декораций несуществующего оперного города: сейчас выйдет лирический тенор и начнет свою арию. В городе этом живут десять тысяч человек, вдоль улиц стоят яркие современные домики, как в Рейкьявике, и такие же магазины в центре, и такие же автомобили. Акюрейри — второй после Рейкьявика город Исландии.

Исландцы очень трудолюбивы. Суровая природа и семьсот лет колониального гнета приучили их к труду. Этой привычкой они дорожат и продолжают ее культивировать. Независимо от положения родителей, все студенты и старше школьники во время летних каникул работают — на хуторах, на рыбных ли промыслах, либо на городских предприятиях. Один видный политический деятель с гордостью рассказал нам, что его дочь, восемнадцатилетняя Сольвейг, которая любит потанцевать и развлечься, работала это лето на фабрике. Многие девушки-учащиеся работают летом на засолке сельди.

Суровая природа и сезонность работ на рыболовецких промыслах вызывают текучесть населения в Исландии. Люди из самых отдаленных местностей постоянно общаются друг с другом, и поэтому здесь нет диалектов, а лучшим литературным языком считается язык провинции, испытавший меньше иностранных влияний, а не язык столичных жителей.

Привычка к труду обуславливает простоту обращения, готовность к взаимной помощи, гостеприимство. Все в этой небольшой стране друг друга знают и постоянно видят. В первый же день нашего пребывания в Исландии мы познакомились с такими выдающимися писателями Исландии, как Тоурбергюр Тоурдарссон и Халльдоур Стефаунсон. Халлдора Лакснесса не было тогда в Исландии. Мы видели и наиболее выдающегося художника Исландии — Кьярвала. Он шел по улице в штормовке и рыбачьей шапке. Из публикуемой в газете беседы журналиста с каким-либо известным деятелем нередко выясняется, что журналист и знаменитость между собою на ты. Иногда даже лидер партии, обличая в парламенте своего политического противника, обращается к нему на ты — они знают друг друга с детства и, может быть, сражались когда-то отнюдь не по парламентскому кодексу.

Основное богатство Исландии — рыба. И это накладывает отпечаток даже на городской пейзаж, не говоря уже о том, что рыбой, или, точнее, рыбной мукой, пахнет весь город. На окраинах часто можно увидеть большие рамы на козлах — это «трёнюр», то есть рамы для сушки рыбы. Местами возвышается нечто похожее на каркас недостроенного дома — это «хьятлюр», то есть сарай для сушки рыбы. Когда мы были в приморском городке Хапнарфьёрдюре, туда как раз пришли траулеры с морским окунем, и мы видели все стадии его обработки на заводе — от выгрузки рыбы с траулера до момента, когда уложенное в пакеты филе замораживается, опускается в воду и укладывается в ящики. А в приморском городке Сёйдауркроукюре обрабатывают преимущественно сельдь, но мы попали туда в неудачный день, улова не было, и у гостиницы с экзотическим названием «Вилла нуова» скучали люди. Весь городок — в нем, правда, только тысяча жителей — скучал по селедке.

Один из вечеров исландско-советской дружбы, на котором мы присутствовали, закончился танцами. Танцевать пошли все, хотя места между столиками было очень

мало — вечер происходил в ресторане гостиницы «Борг». Танцевали седобородые старики и семидесятилетние старухи. Исландские танцы веселые: все приплясывают и поют. Даже вальс там принято перемежать веселой музыкой в быстром темпе, под которую все топчутся и поют исландские римы.

В характере исландцев есть элемент детской непосредственности. Вспоминаю одного исландского фермера, с которым мы беседовали о сенокосе и о погоде во время поездки по северу Исландии. Это был здоровенный детина с круглыми румяными щеками и совершенно детским выражением голубых глаз. Его звали Гардар Якобссон. Разговор с ним запомнился тем, что это был один из немногих разговоров целиком на исландском языке. Говоря с иностранцем, исландцы обычно переходят на какой-либо более распространенный европейский язык: английский, датский, норвежский, шведский (немецкий менее популярен в Исландии). С Гардаром мы говорили по-исландски. «Первый покос был хорош», — сообщил мне он, в частности. Так я узнал, что в Исландии косят траву дважды в год.

Можно бы подумать, что потомки викингов должны быть высоки ростом, белокуры и суровы лицом. Но на самом деле высокий рост вовсе не характерен для исландцев. Может быть, это результат вековой нищеты. Встречаются среди них и темноволосые, а у очень многих исландцев мягкие черты лица. Но, может быть, и викингов мы неправильно себе представляем?

Во что исландцы верят? Я зашел в рейкьявикский собор в воскресенье и поразился — так мало там было народу! В разговорах с исландцами мне часто приходилось слышать, как они подшучивают над церковью и над пасторами. Они говорят, что обращаются к пастору только тогда, когда нужно креститься или жениться. «Во что верить, — говорят они, — мы сами знаем лучше, чем наши пасторы».

Исландцы мало религиозны, но очень суеверны. Особенно сильна вера в привидения.

Едем мы по плоскогорью Хольтавёрдхейди — поразительно дикому и пустынному. Опять туман, опять мох и камни, и опять сумерки. Зная, как доставить удовольствие собеседнику, я спрашиваю шофера, Иоунаса Сигюрдссона, не случалось ли у него каких-либо историй с привидениями. «Со мной нет, — говорит он, радостно улыбаясь. — Но вот один мой товарищ по таксомоторной станции постоянно возит привидения». И он рассказал мне, как в машину его приятеля села женщина в черном, сказав, что ей надо заехать за какой-то девушкой. Отправились. Подъезжают к Рейкьявику, шофер оборачивается — женщины в машине нет... Другой случай. В такси садится девушка. Она хочет сесть сзади; шофер удивляется — он-то знает, что у него там все места заняты. Он говорит об этом девушке, приглашая ее вперед. Но та видит позади совершенно пустое сиденье и в ужасе убегает...

Рассказал он еще несколько историй в таком же духе. Обычно их рассказывают очень подробно, с точным указанием имен и мест и с тем своеобразным юмором, который можно назвать «замогильным». Большой мастер рассказывать их — Тоурбергю Тоурдарссон, «наиболее исландский» из современных исландских писателей. Этот голубоглазый и светловолосый человек, небольшого роста, очень моложавый для своих семидесяти лет, парадоксально сочетает в себе ребяческую наивность с тонкой иронией и обличительный пафос передового политического деятеля с суеверностью человека эпохи саг. Как-то, когда мы были у него в гостях, он сказал нам: «Меня спрашивают, как я, будучи коммунистом, могу верить в духов. Но как я могу не верить в них, если я три раза в жизни видел духов так ясно, как сейчас вижу вас?» И тут начался общий разговор о религии и суевериях в Исландии.

Что касается популярности суеверий в Исландии, то исторически она совершенно объяснима. Лютеранство здесь было введено в шестнадцатом веке датчанами насильно. Эпоха реформации (которая на остальном севере Европы совпала с эпохой Возрождения) в Исландии, напротив, была эпохой всестороннего регресса, новой формой иноземного политического гнета. Она привела, в частности, к разорению монастырей, которые были здесь очагами культуры и хранилищами древних рукописей. Последний исландский католический епископ Иоун Арассон, который сопротивлялся введению лютеранства и был казнен, — национальный герой Исландии. Лютеранство до сих пор остает-

ся чужой для исландцев религией. Другое дело суеверия, связывающие исландцев с их древностью и ее литературной традицией. Исландия знает два периода расцвета и независимости: эпоха народовластия (десятый — тринадцатый века) и последние десятилетия. Их разделяют семьсот лет угнетения и нищеты. Поэтому Исландия древняя эпоха дорога и близка и так же дорого и близко все связанное с этой эпохой, в том числе древние языческие верования и мифы.

Имена древних богов, имена героев древних исландских саг встречаются всюду. Лучший ресторан в Рейкьявике — он называется «Нейст», то есть «Корабельный сарай» (и с виду действительно похож на корабельный сарай, а вместо вывески над его дверью висит дракон), — убран в духе древнескандинавской прирешенной палаты, сложенной из бревен, и на его стенах имена разных мифологических существ. Мы видели велосипедную мастерскую «Бальдур», пили лимонад «Эгиль Скаллаgrimссон», ходили по улице Тора, улице Ньяля, переулку Локи и т. д. и т. п. Бальдур, Тор и Локи — языческие боги, Эгиль и Ньяль — герои древних саг. Всюду, начиная с самолета «Конь Золотая Грива», мы встречали такие названия. Именами героев древних саг названы в Рейкьявике все улицы района Нордмири, то есть Северного болота. Зато в Исландии не найдешь ни «Покрова», ни «Иоанна» — ни одного названия, связанного с христианской религией. Всюду все напоминает эпизоды древней истории Исландии. О ней рассказывают как о самом недавнем прошлом, настолько она близка исландцам.

Но об исторических местах Исландии следует рассказать особо. Они очень своеобразны. Дело в том, что в Исландии от древней эпохи не сохранилось никаких материальных памятников (если не считать, впрочем, древних рукописей, но и те в большинстве хранятся не в Исландии, а в Копенгагене). Старейшее здание Исландии — церковь в Хоуляре, древней епископской резиденции. Выстроена она в восемнадцатом веке, то есть совсем не древняя. В ней портреты епископов и их могилы. Рядом с церковью высокая колокольня. Ее построили в 1950 году, когда сюда были перевезены останки епископа Иоуна Арассона, исландского национального героя, казненного в 1550 году. В средние века в Хоуляре был культурный центр севера Исландии. Сейчас здесь хутор с церковью и школой. Белая церковка с высокой колокольней резко выделяется на фоне огромной темной горы.

А вот хутор Борг, который тысячу лет назад принадлежал легендарному исландскому скальду Эгилю Скаллаgrimссону. При сыне Эгиля (сам Эгиль был еще язычником) на хуторе построили церковь, от которой не осталось и следа. Теперь тут есть небольшой двухэтажный дом и церковка середины девятнадцатого века — исландские сельские церкви очень маленькие, иногда совсем игрушечные. Пастору этой церкви принадлежит хутор. Он еще совсем молодой, но успел усвоить пасторскую манеру говорить с особой прочувзованностью. Он показал нам древние могилы. По преданию, в одной из них похоронен Кьяртан, герой «Саги о людях из Лаксдала». Но и на могилках в Борге нет никаких древних памятников. Древнее здесь только то, что, как и тысячу лет назад, хутор с церковью принадлежит одному человеку. Ну и, конечно, то, что позади хутора стоит невысокий холм с плоским верхом и обрывистыми скалистыми боками (такой холм по-исландски называется «борг», он-то и дал тысячу лет назад название хутору), и перед хутором простирается низина, местами поросшая низким ивовым кустарником, и дальше виднеется фьрд, и за ним высокие горы с голыми черными вершинами — трава с них сдута ветром.

Были мы и на хуторе Хлидаренди, где жил знаменитый герой «Саги о Ньяле» Гуннар из Хлидаренди. Ничего древнего там не сохранилось. Но живущий в Хлидаренди хуторянин считает себя потомком Гуннара. Он говорит «мой родич Гуннар», показывает вокруг хутора места, связанные с жизнью Гуннара, и знает о «своем родиче» все до самой мелочи, хотя их разделяет без малого тысяча лет. Хутор стоит на склоне высокой гряды. Если по черному песку дороги подняться к нему — откроется вид, который и в дождливый день величествен. Прямо под склоном растекается по черному песку река Тверау. За ней до самого океана тянется пустынная низина, на которой одиноко торчит гора Димон. Она не раз — под другим, правда, названием — упоминается в «Саге о Ньяле». А слева на горизонте виднеется в тумане огромный ледник Эйяфьятляёкютль, белыми языками сползающий вниз. Тысячу лет назад все это было таким же...

Таких хуторов с тысячелетней историей в Исландии множество. Но единственный материальный памятник в них — сама природа. Для того чтобы перенестись в прошлое, достаточно оглянуться вокруг. Вся Исландия — огромный исторический памятник.

Жива в Исландии и древняя поэтическая традиция. Исландия всегда была страной поэтов; она и осталась ею. И сейчас здесь много поэтов, притом среди них немало фермеров, живущих далеко от столицы, в глухих углах. Здесь любят рифмовать. Рифмуется все, даже правила, словари и счета. В каждом доме есть многотомное собрание древних саг и вообще много книг. Говорят, что в Исландии самое большое количество печатной продукции на душу населения. Это очень правдоподобно, судя по количеству книг в исландских домах. Тиражи, которыми издавались древнеисландские саги, иногда чуть ли не превосходили общее количество населения в стране. О том, что Исландия — страна поэтов, свидетельствует также и обилие памятников поэтам не только в городах, но и там, где эти поэты жили или бывали, иногда в совсем пустынных местах. Об открытии памятника Торстейну Эрлингссону я уже рассказывал. В одной широкой долине на севере Исландии, около хутора Боуля, где прожил свою жизнь поэт по прозвищу Боулю-Хьяульмар, мы тоже видели памятник: лира на высоком постаменте и выбитое в камне четверостишие этого поэта-крестьянина. Дальше, на пустынном перевале между этой долиной и соседней, высится памятник поэту Стефауну Стефаунссону, стилизованный под высокую придорожную кучу камней, — зимой такие камни указывают, где проходит дорога. Памятник знаменитому Снорри Стурлуссону тоже стоит не в столице Исландии, а на хуторе Рейкхольт, где Снорри был убит девятьсот лет назад.

Я не раз подмечал в исландцах неуверенность в том, что иностранцу понравится их страна, или опасение, что иностранец хвалит их страну из любезности. Но трудно представить себе более непосредственную радость, чем та, которую проявляет исландец, когда он видит, что его страна искренне понравилась гостю. Иногда в беседе с исландцем можно ощутить некоторую обиду на то, что прославленная древняя литература страны заслоняет современную Исландию. Им как бы хочется сказать, что Исландия не только существовала в прошлом, но существует и сейчас.

Нет в исландском патриотизме, я бы сказал, «бравурности». Когда я слушал, как на открытии памятника Торстейну Эрлингссону в присутствии президента Исландии исполнялись патриотические произведения, меня поразило, что господствующим настроением была какая-то торжественная печаль. Как будто, думая о родине, исландец вспоминает бедствия, лишения и притеснения, которые испытала его страна за последние семьсот лет.

В Исландии я много встречался с коллегами филологами. Особенно интересной была для меня встреча с Сигюрдюром Нордалем, признанным главой исландской школы филологов. Он пришел на мой доклад на заседании Общества исландского языка, и мы вместе поехали к Якобу Бенедиктссону, одному из активистов МИРа, который устроил у себя встречу филологов.

В другой вечер Сигюрдюр Нордаль был моим соседом за столом у писателя Торбергюра Тордарссона. Одно дело — читать работы ученого, другое — беседовать с ним. Два вечера я провел в обществе Нордаля, слушая, как он с мягкой улыбкой вставлял в разговор тонкие и веские замечания, и мне стало понятным влияние, которое он оказал на своих учеников и последователей.

Нордаль — ученый с очень широкой эрудицией, и, как это часто бывает в Исландии, не только ученый, но и писатель. Его сборник новелл сыграл в свое время большую роль в развитии исландской литературы. Нордаль — основоположник нового направления в изучении классической исландской литературы. В противоположность «исландистам» старого направления (как правило, неисландцам), старавшимся вскрыть в исландских памятниках слои более древние, чем эпоха написания этих памятников, то есть вскрыть в них не исландское (а общегерманское и пр.), Нордаль и его последователи рассматривают эти памятники как цельные художественные произведения, порожденные исландской действительностью той эпохи, когда они возникли.

Особенно большую роль в борьбе Исландии за свое культурное наследие и свою культурную самостоятельность сыграла работа Сигюрдюра Нордаля «Культура Исландии», первый том которой вышел уже довольно давно. «Культура Исландии» — труд всей жизни Нордаля. Второй том этой работы должен, по замыслу автора, довести историю исландской литературы до современности. Поэтому, беседуя с Нордалем, я выразил надежду, что мне удастся прочесть и второй том его «Культуры Исландии». Нордаль задумался и ничего мне не ответил.

Конечно, закончить свою работу ему сейчас нелегко.

И он, очевидно, понимает, что в борьбе Исландии за свою культурную самостоятельность решающую роль играют сейчас не ученые. Трудно маленькому народу сохранить свою культурную самостоятельность, когда большая и богатая страна устраивает на его территории свои военные базы, подкупает его займами, ведет пропаганду. Удастся ли Исландии сохранить свою самостоятельность — вот что сейчас занимает тех, кому дорога исландская культура.

Последняя прогулка по городу накануне отъезда. Центральная площадь. Покрытый зеленой паутиной памятник Йоуну Сигюрдссону, знаменитому борцу за национальное освобождение Исландии. Здание альтинга с рельефными изображениями духов — покровителей страны: орла, дракона, великана и быка. Тьетнин — озерко, окруженное рядными, яркими домиками. На набережной вокруг него светленькие ребятишки в ярких курточках играют, катаются на велосипедах, кормят уток, плавающих в зеленой воде. Отсюда через квартал — кладбище. Надгробные памятники в виде стоячих каменных плит, как древнескандинавские рунические камни. Никаких надписей, кроме имен и дат. Много рябин с красными ягодами.

Дальше, мимо стоящего на юру серого здания университета и единственного оставшегося в Рейкьявике дома с дерновой крышей, — на юго-западную окраину города. Здесь океан образует широкий фьорд, за которым на низком берегу виднеются белые домики Бессастира, резиденции президента Исландии, а за ними — гряда синих гор.

Отсюда — на северо-западную окраину города. Тут открытый океан. Прилив. Волны подступают к черным камням берега. Над океаном множество чаек. Налево, на мысу, — маяки. Накапывает дождь.

Отсюда — на северо-восточную окраину города, мимо ресторана «Нейст» с его драконом вместо вывески. Рядом — порт. На кораблях зажигаются огни. Уже сумерки. За фьордом возвышается темно-синяя Эсья. Рядом и центр города. А на зеленом холмике, с копьём в руке, на носу своей ладьи, — Ингоульвюр Атнарссон, первый поселенец в Исландии, высадившийся здесь тысячу лет назад. Ингоульвюр тоже покрыт зеленой паутиной, как все памятники в Рейкьявике.

Утром следующего дня мы прощаемся с друзьями у самолета «Конь Золотая Грива». В последний раз смотрим на Рейкьявик с воздуха, летим над пустынным плоскогорьем Хетлискейди, уже хорошо нам знакомым, видим черные вершины горы Ингоульвсфьятль, видим вдали гладь озера Тингватляватн, пролетаем над большими реками южной равнины — Эльвюсау, Тьорсау, Раунгау, и тут все скрывается за облаками. Но вдруг высоко в небе, над облаками, выше самолета, появляется огромная, освещенная солнцем вершина ледника Ватнаёкютль, и мы долго смотрим на нее, пока самолет не поворачивает круто к югу и гора тает в облачной белизне.



ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

АБСТРАКЦИИ И РЕАЛЬНОСТЬ

Турция

«Еди тепе» («Семь холмов»), литературно-художественный двухнедельник. №№ 26—31. 1960. Год издания 11-й. Стамбул. Владелец и главный редактор Хюсаметтин Бозок.

★

Когда двадцать седьмого мая прошлого года в результате военного переворота было свергнуто правительство Мендереса и арестовано большинство депутатов Великого национального собрания, не было, пожалуй, такого литературного журнала, такой газеты в Турции, где не появилось бы восторженной статьи, праздничного репортажа или приветственных стихов.

Здравствуй, Свобода!
Здравствуй, Армия, Юность, Народ!

Свобода — от Африки до Европы!
Песня свободы зовет нас вперед! —

воскликнул поэт Кемаледдин Коч.

«У нас национальный праздник, — писал редактор стамбульского журнала «Варлык» Яшар Наби. — Мы выиграли еще одну войну за независимость».

Десять лет подряд правительство «демократов», как именовали себя мендересовцы, под грохот турецких барабанов и плясовые мелодии зурны сулило стране невиданный расцвет и благоденствие. И хотя эти посулы были весьма абстрактны, каждому, кто был заподозрен не то чтобы в инакомыслии — упаси аллах! — а лишь в отсутствии надлежащего энтузиазма, немедленно предоставлялась возможность приобрести его в тюремном уединении.

И вот весной 1960 года миру предстала реальность, которая при правительстве Мендереса была объявлена государственной тайной: самый низкий в Европе жизненный уровень; массовая безработица и два с половиной миллиарда лир одних только внешних долгов, по которым придется расплачиваться и в двадцать первом веке; недостроенные предприятия, под которые брались иностранные займы, и нужные лишь американским генералам стратегические дороги, базы, аэродромы; десяток новых миллионеров и разворованные валютные фонды и золотой запас. «Не подоспей переворот, связавший руки бывшим правителям, — писал в передовице журнал «Варлык», — наша страна пошла бы ко дну».

Мендересовцы грозились взяться и за создание «истинно турецкой» культуры. Перейдя здесь от абстрактных заверений к конкретным делам, они ввели в школах обязательное обучение «закону божьему» — конечно, по-арабски (ведь по-арабски написан коран) и переименовали «русский салат» — так исстари назывался в Турции винегрет — в «салат по-американски». Затем было ликвидировано университетское самоуправление, закрыты все народные дома и, наконец, принят закон о печати, который среди журналистов называли «законом против печати», — по этому закону даже такой завзятый реакционер, как недоброй памяти Хюсейн Ялчин, и тот угодил в тюрьму.

Не была забыта и литература. «В годы правления демократической партии, — говорит поэт Шюкран Курдакул, — перед каждым писателем был поставлен выбор: замолчать, бороться или продаться».

К чести турецкой литературы надо сказать, что последнюю из трех возможностей, предоставленных мендересовцами, избрало ничтожное меньшинство писателей. Чтобы в этом убедиться, достаточно хотя бы взглянуть в список поэтических сборников, составленный профессорами Стамбульского университета. В него вошли книги, авторы которых подвергались за их выпуск в свет судебным преследованиям. Поэта Суада Ташера судили за книгу «Прежде и теперь» (1951), Сабиха Шендиля — за сборник «Не то» (1951), Рифата Ильгаса — за сборник «Продолжение» (1953), Ильхана Берка — за стихи «Здравствуй, шар земной!» (1954), Арифа Данура — за книгу «День за днем» (1956), Шюкрана Курдакула — за поэму «Национально-освободительная война» (1951) и сборник «На прощанье» (1956), Мелиха Джеветта Андая — за книгу «Бок о бок» (1956) и многих других, именитых и начинающих, прогрессивных и либеральных, пацифистов и националистов, реалистов и романтиков — всех не перечислить.

Иные из них продолжали отстаивать свои взгляды, иные после суда умолкли. А Ильхан Берк выпустил книгу «Галилейское море». Если в некоторых стихотворениях его предыдущего сборника «Здравствуй, шар земной!» звучали симпатии к людям труда, за что он и попал в приведенный выше почетный список, то «Галилейское море» сплошь состояло из стихов, совершенно лишенных смысла.

Что ж, не у каждого достанет мужества еще раз предстать перед турецким судом, куда легче показать кукиш в кармане. Однако Ильхан Берк провозгласил свои бессмысленные стихи «величайшей революцией в турецкой поэзии». С его нележкой руки обеспеченные молодые люди принялись один за другим выпускать на собственные деньги книжицы стихов, главным предметом которых, по их собственным словам, «является абстракция, а основным достоинством — отсутствие смысла». Так возникло «Второе новое» направление в турецкой поэзии, которое сыграло видную роль в генеральном наступлении турецкой реакции на здравый смысл народа.

Не удивительно, что, когда настал черед активного действия — во время студенческих демонстраций и столкновений с мендересовской полицией, — на устах молодежи были патриотические стихи не современных турецких поэтов, а давно умерших писателей — Намыка Кемале (1842—1888) и Тевфика Фикрета (1867—1915). Абстрактные бессмыслицы Ильхана Берка и его последователей успели к тому времени порядком скомпрометировать современную поэзию в глазах истинно демократического читателя.

Когда Мендерес и члены его правительства сели наконец на скамью подсудимых и улеглись первые восторги, перед каждым мыслящим человеком в Турции встал вопрос: что же дальше? Явно обеспокоенная дальнейшими судьбами турецкой литературы, редакция «Еди тепе» в анкете, проведенной среди писателей самых различных направлений, сформулировала этот вопрос так: «После двадцать седьмого мая в некоторых литературных журналах появились заслуживающие обсуждения статьи, в которых высказывается мысль, что ныне, когда ликвидирован режим террора и восстановлена законность, писателям следует избегать абстракций и бессмыслицы и, устремив свои усилия в более плодотворном направлении, создавать реалистические национальные произведения. Что вы об этом думаете и какова, по вашему мнению, связь между политикой и искусством?»

Несмотря на некоторую отвлеченность такой постановки вопроса — к этому турецкую печать приучили долгие годы мендересовщины, — анкета «Еди тепе» выявила почти полное единодушие крупнейших турецких писателей как в оценке реальной действительности, так и в отношении к абстрактному искусству.

«Когда речь идет о гнете и о свободе, — сказал новеллист и романист Орхан Кемаль, известный советскому читателю по книге «Борьба за хлеб», — то прежде всего нужно задаться вопросами: чей гнет и против кого он направлен? Какая свобода и для кого? Каждый переворот приносит свободу, которая вытекает из его характера. Я не знаю, что намерены делать приверженцы абстрактного и бессмысленного искусства, собираются ли они создавать «полезные, реалистические, национальные произведения», освободились они от гнета или нет... Писатель может бороться за подлинную свободу. А может и не бороться. Тогда-то и выясняется связь его воззрений на искусство с политикой».

То же самое, но в иных выражениях повторил прозаик Самим Коджагез: «Писатель — это политик добра, красоты и прогресса. Если текущая политика дает ему надежды на осуществление его идеалов, он шагает с ней в ногу. Если нет, ему с такой политикой не по пути».

Орхан Кемаль и Самим Коджагез — писатели старшего поколения. Может быть, литературная молодежь рассуждает иначе?

Послушаем новеллиста Факира Байкурта, чья первая книга «Мечь змей» получила недавно высшую в Турции литературную премию. «Некоторые литераторы, — говорит Факир Байкурт, — поддались западной моде на бессмыслицу. На Западе бессмыслица, может быть, и закономерна, так как рождена пресыщением. Ну а мы-то чем пресыщены? У нас эта мода будет недолговечной. Воззрения на искусство всегда связаны с политическими, культурными и экономическими реальностями».

Факир Байкурт, которого турецкая критика называет надеждой турецкой литературы, отлично знает «реальности» турецкой жизни. Он родился в деревне, окончил учительский институт и теперь учит детей в той самой деревне, где крестьянствуют его родители. Жизненные истории его односельчан и легли в основу романа «Мечь змей».

«До тех пор, пока страна по-прежнему страдает от всех старых бед, — продолжает Факир Байкурт, — кто может сказать, что обществу на сто процентов гарантирована свобода? Откуда такой оптимизм? Народ нищ, неграмотен. Деревни без школ, без врачей. Большинство крестьян без земли. Гнет ага (кулаков — Р. Ф.) и шейхов продолжается. Может ли в этих условиях общество быть свободным?.. Писатель волен, конечно, писать, как ему заблагорассудится, может и вообще не писать. Если нет смысла в его словах — значит, нет и его слова. Но если бы он знал и понимал реальную действительность, он, может быть, писал бы лучше».

«Рост возмущения литераторами, которые с головокружительной быстротой тянут нашу литературу в пропасть абстракции и бессмыслицы, увеличивая разрыв между действительностью и литературой, — заявил писатель Кемаль Бильбашар, — это самое значительное событие в культурной жизни страны за последний год».

Что же думает по этому поводу Ильхан Берк? Не образумила ли его хотя бы эта реальность?

«Кое-кто полагает, — ответил Берк корреспонденту «Еди тепе», — что поэзия и взгляды на искусство зависят от фактов жизни. На мои стихи факты никакого влияния не оказывают».

— Да неужто? — может удивиться читатель. — Разве не такой жизненный факт, как судебный процесс, вышиб из творений Ильхана Берка всякий смысл?

Оказывается, нет.

«Так же, как во времена террора я воспевал абстракцию, — заявляет Ильхан Берк, — так и в день двадцать седьмого мая я послал в редакцию «Еди тепе» до сих пор не напечатанную статью «Хвала абстракции!». Этим я хочу лишь сказать, что на мое понимание искусства террор никак не повлиял».

Когда человек, боясь вовсе лишиться языка на все вопросы отвечает «абракадабра», это еще можно понять. Но что сказать о поэте, который превозносит свою абракадабру, когда на улицах его родного города льется кровь молодежи — школьников, студентов, рабочих? Видно, даже журналу «Еди тепе» при всем пиетете по отношению к лидеру «бессмысленной поэзии» статья показалась настолько кошунственной, что он так и не решился ее опубликовать на своих страницах.

Если раньше кое-кто и видел в Ильхане Берке новатора, пусть нелепо, но протестующего против казенного, общеобязательного смысла, то теперь этот поэтический «бобстиль» (так называют в Турции американизированных стилей) ни литературную молодежь, ни демократического читателя уже не может ввести в заблуждение относительно «независимости» бессмысленной поэзии от реакции.

Анкета, проведенная журналом «Еди тепе», говорит о том, что большинство турецких писателей не питает излишних иллюзий, но, сознавая свою ответственность перед национальной культурой, желает в своих произведениях рассказывать о реальностях турецкой жизни, чтобы освободить головы читателей от дурных абстракций во имя на-

родного здравого смысла. Как это им удастся, в каком направлении будет развиваться политическая и культурная жизнь страны, покажет будущее.

Этот обзор был уже написан, когда почта принесла нам последнюю книгу сатирических стихов известного турецкого юмориста Азиза Несина «Азиз-наме» («Послание Азиза»). В предисловии автор пишет, что первую книгу стихов под таким же названием, где высмеивался режим народно-республиканской партии, он выпустил двенадцать лет назад (эта партия правила страной до 1950 года). За эту книгу он был посажен в тюрьму. Тогда многие голосовали за «демократов», наивно полагая, что хуже, чем было, быть не может. Но прошло несколько лет, и о правлении народно-республиканской партии стали вспоминать как о благословенных временах. Выпуская книгу стихов, высмеивающих «демократов», Азиз Несин молит аллаха, чтобы «не пришлось поминать их добрым словом».

Как говорится, помогай бог!

Р. ФИШ.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ

★

О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

(Глеб Успенский. Из переписки)

В марте 1961 года исполнилось девяносто лет со дня рождения Розы Люксембург, замечательного деятеля международного рабочего движения, одного из организаторов польской социал-демократии и Коммунистической партии Германии.

В «Заметках публициста» — уже почти сорок лет тому назад — В. И. Ленин писал о Р. Люксембург: «...не только память об ней будет всегда ценна для коммунистов всего мира, но ее биография и полное собрание ее сочинений (с которыми невозможно опаздывают немецкие коммунисты, извиняемые лишь отчасти неслыханным количеством жертв в их тяжелой борьбе) будут полезнейшим уроком для воспитания многих поколений коммунистов всего мира».

До сих пор, однако, наследие Р. Люксембург полностью не опубликовано и далеко не изучено. В частности, это относится к ее статьям об искусстве и переписке.

Ниже публикуется еще не переводившийся на русский язык некролог Розы Люксембург о Глебе Успенском и отрывки из ее писем, посвященных искусству. Переписка с Кларой Цеткин публикуется впервые по архивным материалам, хранящимся в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, переписка с Гансом Дифенбахом, Мартой Розенбаум, Матильдой Вурм впервые была опубликована в 1950 году (R. Luxemburg. „Briefe an Freunde“. Hamburg). Эти письма дополняют изданные в двадцатых годах письма Р. Люксембург к Софье Либкнехт и Карлу и Луизе Каутским.

Среди собственно эстетических интересов Розы Люксембург преобладающим является интерес к литературе, причем прежде всего к литературе русской. В 1906 году на собрании в Мюнхгейме Роза Люксембург говорила о радости, пережитой ею в России в период революции: «Могу без всякого преувеличения заверить вас, что те месяцы, которые я провела в России, были самыми счастливыми в моей жизни». В марте 1907 года, одоблив занятия одного из своих корреспондентов полтэкономией, она замечает: «Столь же важен и русский язык». И далее: «Прилежно изучай русский — скоро он будет языком жизни». Символом жизни, вестником приближающейся революции была для Розы Люксембург русская литература.

Содержащиеся в письмах отзывы о русских писателях, так же как и некролог о Глебе Успенском, великолепно оттеняют основную идею уже известных статей Р. Люксембург о Толстом и Короленко, статей, в которых она воспела героическую русскую литературу, возникшую «из оппозиции к существующему режиму», из «духа борьбы» и никогда не отрекавшуюся от «высокого чувства социальной ответственности».

В переписке немало высказываний о произведениях немецкой, французской, английской литературы, позволяющих сделать вывод, что для Розы Люксембург отношение художника к революционно-демократической борьбе своего века — важнейший критерий эстетической оценки.

Идейность и художественность для Розы Люксембург неразделимы, она ценит именно «сплав» искусства и тенденции. Поэтому в письме к Софье Либкнехт Роза Люксембург, касаясь творчества декадентских поэтов, писала: «Я немного боюсь у них всех мастерского, совершенного владения формой, средствами поэтического выражения и отсутствия при этом великого благородного мировоззрения. Этот разлад отзывается в моей душе такой пустотой, что красивая форма превращается для меня в гримасу».

Защита реалистического искусства, видящего свою задачу в служении гражданскому, общественному благу,— несомненно важнейший эстетический итог переписки. Едва ли здесь следует оговаривать спорные места и детали. Совершенно ясно, что в письмах, где лаконичная оценка и намек, брошенный другу, подменяют аргументированный вывод, важны не отдельные утверждения, а, как говорил Антонио Грамши, «лейтмотив и ритм развития мысли». Если и есть в переписке Р. Люксембург и ее статье об Успенском вызывающие возражения частности, то оценивать их следует с позиций самой Р. Люксембург. «Меня интересует только целое,— подчеркивала она,— а не случайно вырванная подробность». В целом же публикуемый материал несомненно представляет собой яркую страницу из истории марксистской критики и эстетики.

ГЛЕБ УСПЕНСКИЙ¹

«Вчера в Стрельне, близ Петербурга, умер писатель Глеб Успенский, писавший о русской народной жизни».

7 апреля.

„Berliner Tageblatt“.

Из сообщений в отделе фельетона.

«Писатель, писавший о русской народной жизни...» — это все, что в состоянии сказать так называемая «интеллигентная», привыкшая выносить приговор искусству и науке обоих полушарий газета имперской столицы о человеке, имя которого составляет эпоху в духовной жизни России и в тени которого весь немецкий «модерн» может уместиться, как стая воробьев в тени пирамиды. С именем Успенского в России связаны воспоминания о жесточайших идейных боях в жизни ее интеллигенции, об эпохе нового формирования ее литературы и публицистики, о расцвете и упадке знаменитого народничества, коротко говоря — обо всем социальном, политическом и духовном кризисе, вызванном в царской империи севастопольской войной.

Эпоха шестидесяти годов, в начале которой Успенский выступил в литературу во главе целого отряда молодых писателей, была поистине эпохой тяжелого и всестороннего кризиса, эпохой крушения всех традиционных форм существования, обычаев и понятий старой России. Уничтожение крепостного права и предоставление личной свободы миллионным массам крестьянства, введение суда присяжных, гибель старых, созданных подневольным трудом дворянских гнезд, реформа школьного дела, женское образование, финансовая реформа и введение денежного хозяйства — все это в результате должно было при-

вести к перевороту в старых формах семейной жизни, нравах и образе мыслей, создать новый мир идей, новое представление о долге, новое чувство личной чести и достоинства. Россия того времени представляла собой совершенно своеобразное, в высшей степени пестрое, внутренне противоречивое, причудливое, полное контрастов целое. Как и во всех глубоких исторических кризисах, здесь остатки старого на каждом шагу переплетались с ростками нового, давние психологические традиции должны были приспособливаться к современным обстоятельствам и новые духовные формы зачастую прививались к старым социальным основам.

Совершенно ясно, что столь своеобразная эпоха должна была обрести свое адекватное литературное выражение, и оно было найдено именно Успенским и его сподвижниками. Они-то и были тем новым поколением писателей, которое появилось тогда в России. В шестидесятые годы на смену широко образованному, обеспеченному дворянству, создавшему в сороковых годах блестящую литературу, учившемуся в немецких университетах и знавшему Гегеля лучше, чем иные профессиональные философы Германии, на смену дворянству, писавшему не из нужды, а только по внутреннему побуждению, пришел образовавшийся тогда слой деклассированной, большей частью бедной и только в жестокой борьбе с нуждой прокладывавшей себе путь «интеллигенции», которой предстояло позднее сыграть столь значительную роль в судьбах родины. Истинные дети юной

¹ Статья была опубликована в «Leipziger Volkszeitung» 9 апреля 1902 года и является первым из выступлений Р. Люксембург, посвященных русским писателям.

«реформированной» России, вынужденные уже в ранней молодости бороться за кусок хлеба и лишь поверхностно знакомые с духовной жизнью Запада, они столкнулись со множеством поразительных общественных явлений, кричащих противоречий и труднейших социальных проблем.

Своими отличительными чертами творчество тех писателей, во главе которых стоял Успенский, вполне соответствовало как особенностям их социальной среды, так и их происхождению. Литературная форма, которой они большей частью пользовались, не отвечала канонам, установленным школьными учебниками словесности. Это были не романы, не новеллы, не очерки, а, как правило, довольно бесформенные, не очень связанные повествования, запись путевых впечатлений, случайно подслушанных разговоров, заметки из дневников — и все это без малейшей заботы о форме, без мелочных описаний природы, характеристик среды, большей частью даже без всякой фабулы.

Но в этой внешней бессвязности, в небрежности формы, в лихорадочной поспешности, с которой набрасывались на бумагу силуэты, положения и события, во всей внешней дисгармоничности литературы, созданной кругом Успенского, как раз и отразилось с художественной достоверностью своеобразие России шестидесятых и семидесятых годов. И эта форма лучше всего соответствовала совершенно новому содержанию, которое Успенский впервые в русской литературе сделал предметом искусства. Из уютных, осененных липами дворянских гнезд, из интеллектуально изысканных салонов, в которых обитала литература сороковых—пятидесятых годов,— в шестидесятые годы нас неожиданно повели в торговые ряды, в жалкие лавчонки, в разрушенные бараки предместий, в шумные и чадные кабаки, на волжские баржи, в рыбацьи хижины, на проселочные дороги, повели, чтобы познакомиться с самым пестрым обществом безвестных людей: отставными солдатами, нищими старухами, глубоко-мысленными мастеровыми, мелкими служащими, но прежде всего — с настоящими русскими крестьянами.

Разумеется, иногда такие неуместные в салонах фигуры появлялись и в прежней «эстетической» литературе России. Однако это было или слезное изображение бедных людей, или описание общечеловече-

ского в народной психологии, встречающееся, например, в современных французских новеллах из крестьянской жизни. Успенский же раскрывал в народных типах не черты общечеловеческой психологии, не всеобщее и абстрактное. Он показывал их именно в их социальном бытии, в тех особенных условиях, в которые их поставил кризис шестидесятых годов. Показать дисгармоничность реформированной Руси, столкновение старого с новым, противоречия и конфликты в жизни трудовой и бедствующей России, ее «больную душу, больную совесть» — вот в чем была задача Успенского. Что удивительного, что он не находил ни времени, ни охоты тщательно шлифовать свои творения и перерабатывать их по семи-восми раз, как советовал еще в сороковых годах Гоголь; что он не замечал ни восхода, ни захода солнца, не слышал, как шумят колосающиеся нивы, которые с такой любовью описывал еще Тургенев. В России тех лет всякое равновесие — даже относительное равновесие крепостного времени — безвозвратно исчезло, и Успенский, подлинный художник, настоящий сын своего века, не мог больше добиваться гармонии в своих произведениях, но именно потому он и стал любимцем молодой русской интеллигенции, потому и оказался духовным центром своей эпохи.

Ответом, который то поколение дало на возникшие в России социальные и политические вопросы, было учение «народников». Его основные черты известны. Выросшее из идеалистического восприятия истории, скованное верой в то, что развитию страны можно придать любое направление, признанное «лучшим», это учение рассматривало западноевропейский капитализм как «грехопадение» общества и было проникнуто надеждой, что, отталкиваясь от «более высокой» формы — старинной крестьянской коммунистической общины, еще сохранившейся в России, — можно сделать прыжок в социализм, минуя капиталистическую стадию. По этому учению, государство, или, говоря конкретно, царское правительство, оказывалось призванным спасать сельскую общину от всех опасностей, охранять ее и, опираясь на крестьянскую массу, вести к более высокому социальному строю. Само собой разумеется, что рассматриваемый с этих позиций крестьянин становился центром общественных интересов и все внимание было обращено на него. Поэтому чем

далее, тем чаще крестьянин занимает центральное место в художественной литературе вообще и в произведениях Успенского в частности. Написанные с высшей художественной правдой, эти беллетристические исследования — так было бы, вернее всего назвать произведения Успенского — составляют незаменимый источник для всякого, кто серьезно изучает общественные условия России того времени. Русский крестьянин со всей его религиозной и политической настроенностью, сельская община в ее внутренней сущности — все это отразилось в творчестве Успенского и близких ему по духу писателей вернее и конкретнее, чем в ином чисто научном труде. Но как раз поэтому, что Успенский был большим и неподкупным художником, его произведения превратились в зеркало тех фактов и явлений крестьянской жизни, которые вышли за пределы его собственных теорий и теорий его поколения и столкнувшись с которыми десятилетием позднее должно было рассыпаться в прах учение народников.

Прошло очень немного лет со времени реформ, и теория «особого пути» социального развития России, отличного от развития «гнилого Запада», а также иллюзии в отношении русской крестьянской общины начали в ходе событий получать один удар за другим. Жестокой ревизии подверг это учение прежде всего царизм. Он не только отклонил предназначенную ему народниками роль защитника крестьянства, но, наоборот, стал на путь бешеной реакции и ограбления крестьянских масс. Это первое жестокое разочарование и заставило народничество сделать следующий шаг в своем политическом развитии. Оно направило свое острие против царизма и стало революционной партией, которая, прибегая к голой силе, пыталась превратить крестьянскую общину в отправной пункт политического и социального переворота в России. Террористическая деятельность знаменитой «Народной Воли» была лишь попыткой осуществления мирных идеалов писателей, принадлежавших к направлению Успенского. Здесь, однако, народников ожидало новое Ватерлоо. Царизм восторжествовал над героическим отрядом «Народной Воли», революционное движение ослабело, абсолютистский хищник выжил.

Но самое жестокое поражение, которое потерпело учение, господствовавшее в те-

чение трех десятилетий над всей мыслящей Россией, было подготовлено тихим и незаметным хозяйственным развитием в недрах самой общины. Ее разложение под влиянием денежного хозяйства, образование двух классов — сельского пролетариата и зажиточного кулачества внутри крестьянства, — исчезновение того, что казалось народникам почвой для «особого» исторического развития России, — все это уже в восьмидесятих годах обнаружилось с такой ясностью, что литературные полотна Успенского все больше и больше приобретали характер произвольной критики и народнических иллюзий.

В это время и появился новый и еще более сильный критик этого учения — русский марксизм. Быть может, ничто так не доказывает универсальную мощь и всеобъемлющее значение теории Маркса, как действенность оружия, которым он снабдил русских социал-демократов для их борьбы против русской «народнической» идеологии. Под строгим мечом марксистской критики потерпели поражение глубоко своеобразные теории, которые свыше чем четверть века держали под своей властью всю духовную жизнь России и ради которых шли в бой такие блестящие литературные таланты, как Глеб Успенский, как Михайловский.

Уже в начале девяностых годов вера в особое историческое развитие России исчезла, наступление периода капиталистического развития стало общепризнанным фактом и на смену крестьянину выступил на первый план, привлекая к себе интерес всех социалистических направлений, индустриальный русский рабочий. Возвращение к духовному единству с Западом, которое когда-то пытались установить русские гегельянцы сороковых годов, теперь благодаря революционному учению Маркса оказалось осуществленным.

Глеб Успенский умолк в девяностые годы. Постичь мир новых идей он был уже не в состоянии. И вот ныне, усталый, вечно ищущий, вопрошающий, сомневающийся, не знающий покоя, он обрел вечный покой — в тот самый момент, когда русский пролетарий вышел на улицу с красным стягом, чтобы осуществить идеалы, во имя которых Успенский писал кровью сердца, — правда, осуществить иначе, чем думал писатель.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ

Неизвестному

Берлин, Барнимштрассе,
женская тюрьма.
Пятница, 4 апреля 1915 г.

...Портрет леди Гамильтон¹ я видела на выставке французской живописи XVIII века; я уже не помню имени художника и сохранила только воспоминания о его сильной и резкой манере и о грубоватой, вызывающей красоте, которая оставила меня холодной. Я отдаю предпочтение несколько более тонким женским типам. И сейчас еще я хорошо вижу перед собой выставленный там же портрет мадемуазель де Лавальер, написанный Лебреном² в серебристо-серых тонах, что поразительно сочетается с прозрачным лицом, голубыми глазами и светлым платьем. Я едва могла оторваться от картины, в которой воплотилась вся утонченность предреволюционной Франции, истинно аристократическая культура с легким налетом тления. Хорошо, что Вы читаете «Крестьянскую войну» Энгельса. Прочли ли Вы уже Циммермана?³ Энгельс дает, собственно, не историю, а критическую философию крестьянской войны, Циммерман дает плоть фактов, не освещенных мыслью. Для отдыха я читаю геологическую историю Германии. Представьте себе, что в глиняных пластах алгонкского периода — то есть с древнейших времен истории земли, еще прежде, чем появился какой-нибудь след органической жизни, и, следовательно, несчетные миллионы лет тому назад — в этих пластах в Швеции были найдены отпечатки капель короткого ливня. Не могу Вам передать, как магически действует на меня этот далекий привет от древнейших времен.

Между прочим, что касается госпожи фон Штейн, то, при всем моем пиетете к ее психологическим выкрутасам, она корова, и пускай господь меня покарает.

Когда Гёте дал ей отставку, она вела себя, как сварливая, горластая, крикливая прачка, а я настаиваю на том, что характер женщи-

ны проявляется не в то время, когда любовь начинается, а когда она заканчивается. Из всех гётевских Дульсиной мне нравится лишь нежная, сдержанная Марианна фон Виллемер — Зулейка «Западно-восточного дивана».

*Марте Розенбаум*¹

6.4.15.

...Вчера вечером, перед сном, чтобы отдохнуть, я рассматривала альбом «Этюдов» Тернера (не знаю, знаком ли он Вам: это величайший, единственный мастер пейзажа среди акварелистов); как всегда, божественная красота этих картин потрясла меня. Для меня почти непостижимо, как возможно подобное творение; кажется, будто стоишь перед произведениями Толстого...

Кларе Цеткин

18.10.15.

...Быть может, ты сумеешь разыскать и послать мне тот номер «Gleichheit»², в котором были опубликованы стихи Людвига Пфау о трех сестрах³. Стихи мне очень нравятся, но сейчас не могу их найти.

Не хочешь ли ты, чтобы из романа Франса «Боги жаждут» я перевела сцену, где рассказывается, как парижане ночь напролет стоят в очереди перед булочной? Это было бы довольно актуально и подошло бы в раздел фельетона.

Ей же

10.3.16.

...Что касается перевода, то у меня больше трудностей, чем я могла предположить по воспоминаниям о книге.

Верный своей манере, Франс вставил в самую середину сцены перед булочной длинный философский разговор между героями, который уместен в «Gleichheit» и в отдельном отрывке примерно так же, как бревно в глазу. Теперь я в разладе со своей литературной совестью, потому что не знаю, могу ли

¹ Марта Розенбаум (1867—1940) — друг Р. Люксембург в предвоенные и военные годы.

² „Gleichheit“ («Равенство») — социал-демократическая газета для женщин, которую в течение четверти века (с 1891 по май 1917 г.) редактировала К. Цеткин и где печаталась Р. Люксембург.

³ Людвиг Пфау (1821—1894) — немецкий поэт и художественный критик. Установить, о каком стихотворении идет речь, не удалось.

¹ Возможно, Р. Люксембург имеет в виду портрет леди Гамильтон кисти Вилле-Лебрен.

² Лебрен Шарль (1619—1690) — известный французский живописец.

³ Циммерман (1807—1878) — немецкий историк и поэт. Главный труд — «История великой крестьянской войны».

позволить себе попросту опустить этот разговор или должна из-за него отказаться от всего отрывка. Как твоё мнение?

Так или иначе, но тебе придется проявить еще немного терпения с этим переводом, потому что прежде всего я должна рассчитаться с несколькими старыми долгами, а затем написать статью для тебя же. Лишь после этого настанет очередь перевода и других вещей, предназначенных для «Детского приложения»¹. Для этого приложения я держу в голове уже совсем готовыми несколько милых статей — скромные плоды моей одинокой музыки, выращенные на Барнимштрассе.

Ей же

3.8.16

...Если ты еще испытываешь нужду в материале для фельетона, то мне хотелось бы посоветовать тебе также главу из келлермановского «Туннеля»: история маленького коногона превосходна. Если хочешь, я могу разыскать и послать тебе книгу.

*Матильде Вурм*²

Вронке³, 28.12.16.

Моя дорогая Тильда! Я хочу тебе сразу ответить на твоё рождественское письмо, пока во мне еще не остыл гнев, который оно возбудило. Да, твоё письмо чертовски разъярило меня, потому что при всей его лаконичности оно каждой своей строкой показывает, как глубоко ты снова погрязла в своем окружении. Этот плаксивый тон, эти ахи и охи по поводу «разочарований», которые вы пережили — будто бы из-за других, хотя достаточно только взглянуть в зеркало, чтобы увидеть в превосходнейшем изображении все слабости человечества! И «мы» означает теперь в твоих устах ваше болотное, лягушачье общество, в то время как прежде, когда ты была вместе со мной, это означало мое общество. Но погоди, сейчас я расплачусь с тобой за это «мы».

«В них, по-моему, слишком мало полета», — замечаешь ты меланхолично. «Слишком мало» — это великолепно! Да вы вообще не летааете, а ползаете. Здесь раз-

¹ Редакция „Gleichheit“ выпускала специальное приложение для детей.

² Матильда Вурм (1874—1935) — жена Эммануила Вурма, одного из редакторов «*Neu Zeit*», ближайшего помощника К. Каутского.

³ Вронке — крепость, в которой находилась в заключении Р. Люксембург.

ница не в степени, а в сущности. «Вы» вообще другой зоологической породы, чем я, и все ваше брюзгливое, угрюмое, грусливое, половинчатое «существо» никогда не было мне так чуждо, так ненавистно, как теперь. Ты полагаешь, вы согласились бы пойти против течения, но ведь за это сажают в каталажку, а уж это «никакой пользы не приносит». Эх вы, убогие торговские души, вы были бы, вероятно, готовы предложить даже малую толику «героизма», — но только «за наличные», и пусть это будут три позеленевших медных гроша, но «пользу» надо видеть на прилавке немедленно! Не для вас, видно, сказано простое слово честного и прямого человека: «На том я стою и не могу иначе, господи, помоги мне»¹.

Это счастье, что не вам подобные делали до сих пор мировую историю, иначе мы еще не имели бы Реформации и не выбрались бы еще из «ancien régime»².

Что касается меня, то в последнее время я обрела твердость закаленной стали (впрочем, я и прежде никогда не была мягкой). Теперь ни в политической, ни в личной жизни я не буду делать ни малейших уступок. Как только я вспоминаю о галерее твоих героев, меня начинает воротить: сладкий Гаазе; Дитманн с расчудесным Бартом и красивыми речами в рейхстаге; ненадежный пастырь Каутский, за которым твоя Эммо, разумеется, вечно следует по всем низинам и взгорьям; сладчайший Артур³ — ах, je n'ep finiga!⁴. Клянусь тебе: лучше я буду сидеть годами — и не здесь, где я при всем при том как в раю, — нет, лучше в грязной дыре на Александерплац, в камере, где только 11 куб. м воздуха и где, лишенная света по утрам и вечерам, зажата между «С» (но без «W») и железными нарами,

¹ Слова Мартина Лютера.

² «Старый режим» (франц.).

³ Гаазе Гуго — центрист; с 1911 г. председатель социал-демократической партии, враг левых. Дитманн Вильгельм — социал-демократ, во время войны примыкал к центру, позднее к правым. Барт Эмиль — немецкий рабочий-металлист; принимал участие в ноябрьской революции 1918 г. Эммо — Эммануил Вурм. Штадтхаген Артур — социал-демократ, принадлежавший к левому крылу партии, но затем примкнувший к «центру».

⁴ «Несть им числа» (франц.).

⁵ «С» и «W» — Water-Closet (англ.) — ватер-клозет; «С» без «W» означает, следовательно, что параша находилась в камере арестованного и что водопровод в камеру проведен не был.

я декламировала своего Мёрике¹, — чем вместе с вашими героями, с позволения сказать, «бороться» или вообще что-нибудь делать! Тогда уж лучше граф Вестарп² — и не потому, что он говорил о моих «миндалевидных бархатных глазах» в рейхстаге, но потому, что он мужчина. Заверяю тебя, как только я снова сумею высунуть нос, я буду гнать и травить вашу лягушачью компанию под трубный рев, свист бичей и вой собак — как Пентезилея³, хотела я сказать, но вы, ей-богу, не Ахиллы. Достаточно ли тебе для новогоднего привета? Тогда помни, ты должна остаться человеком. Главное — быть человеком. А это значит: быть твердым, ясным и радостным, да, радостным, вопреки всему и вся, ибо вопли — удел слабых. Быть человеком — значит всю свою жизнь, не колеблясь, бросить «на великие веса судьбы», если это необходимо, и одновременно наслаждаться каждым светлым днем и каждым прекрасным облаком. Увы, я не умею писать рецепты на тему, как быть человеком, я только знаю, каким он должен быть, и ты тоже знала это, когда мы бродили вместе в Зюденде по полям, озаренным красными лучами заката. Мир так прекрасен, несмотря на все ужасное, что в нем творится, и он был бы еще прекраснее, если бы в нем не было трусов и слабых. Приезжай, ты все же получишь еще один поцелуй, потому что — при всем при том — ты славный паренек. С Новым годом!

P.

Кларе Цеткин

29.12.16.

...Пойму ли я Уолта Уитмена, не знаю, моя фантазия не забирается так далеко...

Сердечное спасибо тебе за Верхарна и особенно — де Костера, на которого я уже сегодня жадно накинулась⁴. Жду высшей радости — судя по «Тилю Уленшпигелю», мне предстоит большое удовольствие. Тебе я на этот раз, к сожалению, не могу послать

¹ Мёрике Эдуард (1804—1875) — немецкий поэт-романтик.

² Граф Вестарп Куно — один из вождей фракции консерваторов в рейхстаге в 1913—1918 гг.

³ Пентезилея (Пенфесилея) — как повествует Гомер в «Илиаде», царица амазонок, во время Троянской войны явившаяся на помощь жителям Трои и убитая Ахиллом.

⁴ Речь идет о романе «Свадебное путешествие».

ничего, кроме «Человека-собственника»¹, но его почти обязательно и тотчас напиши о своем мнении. Книга меня глубоко взволновала.

*Гансу Дифенбаху*²

Вронке в Познани, 7.1.17.

...«Троны трещат, царства рушатся»³ — мир стоит на голове, — а в конце концов я не выхожу из «порочного круга» одного или двух десятков человек *et plus ça change — plus ça reste tout à fait la même chose*⁴. И так, будьте ко всему готовы! Я еще совершенно не представляю, что со мной случится; ведь я, как Вы знаете, страна неограниченных возможностей, но для Вас, однако, я нашла истинную профессию. Это означает — *entendons nous*⁵ — по бо ч н ю п р о ф е с с и ю! Ваша главная профессия остается такой же, как прежде: вносить в мое земное существование красоту и блеск, или, как Вы это галантно называете в последнем из полученных писем: быть моим придворным шутком. Но наряду с этим Вы должны создать нам еще не встречающийся в немецкой литературе жанр: литературный и исторический эссе. Эссе как раз не то, что воображает о нем какой-нибудь Франц Блей⁶, усматривая в этом жанре подходящее убежище для тех, кто духовно бесплоден во всех других областях; эссе столь же строгая и законная форма, как песнь в музыке. Спрашивается, почему эссе, так блестяще представленный во Франции и Англии, совершенно отсутствует в Германии? Думаю, это объясняется тем, что немцы обладают избытком педантической основательности и недостатком духовной грации; если они

¹ «Человек-собственник» — роман Голсуорси.

² Ганс Дифенбах (1884—1917) — медик по профессии, иногда публиковавший статьи об искусстве в социал-демократической прессе: один из самых близких друзей Р. Люксембург. Узнав о его смерти, Р. Люксембург писала: «С его гибелью я потеряла самого дорогого друга, понимавшего, как никто другой, все мои настроения и чувства и разделявшего их. В музыке, в живописи, в литературе, которые и ему и мне были необходимы, как воздух, мы поклонялись одним и тем же богам и делали общие открытия».

³ Начало «Западно-восточного дивана» Гёте.

⁴ «И чем больше все меняется, тем больше все остается по-прежнему» (франц.).

⁵ Здесь: «поймите меня верно» (франц.).

⁶ Блей Франц (1871—1942) — немецкий писатель, автор комедий, критик и эссеист.

что-либо знают, то предпочитают писать тяжеловесную диссертацию с целым ворохом цитат, а не легкий набросок. А так как у Вас, Гансхен, изящества, к сожалению, несравненно больше, чем знаний, то Вы как будто созданы, чтобы с блеском ввести эссе в Германии. Впрочем, я говорю это совершенно серьезно! После войны, сударь мой, надо бы прекратить порхать как мотылек по всем цветочным клумбам. Пожалуйста, достаньте Маколея¹ в издании Таухница («Historical and critical Essais») и читайте его внимательно.

Матильде Вурм

Вронке, 16.2.17.

...То, что все твоё время и все твои мысли заняты теперь «одним вопросом», а именно вырождением партии,— роковая ошибка, потому что подобная односторонность мысли мешает ясности политических оценок и потому что прежде всего и всегда надо жить полной жизнью. Но учти, девочка, если уж тебе так редко удастся взять в руки книгу, то по крайней мере читай только хорошее, а не макулатуру вроде романа о Спинозе², который ты мне послала.

Что ты носишься с какой-то особой иудейской скорбью? Мне столь же близки несчастные жертвы каучуковых плантаций в Путумайо и негры в Африке, жизнь которых европейцы играют, как мячиком. Известна ли тебе фраза из творения Генерального штаба, изреченная в связи с походом генерала Трота³ в Калахари: «...И хрипы умирающих, безумные вопли гибнущих от жажды тонули в возвышенном покое бесконечности». О, этот «возвышенный покой бесконечности», в котором столько воплей замирают, так и оставшись не услышанными; они звучат в моей душе с такой силой, что у ме-

ня в сердце не остается особого уголка для гетто: я чувствую себя дома во всем мире, где есть облака, птицы и человеческие слезы.

Гансу Дифенбаху

Вронке, 5.3.17.
(в торжественный день)¹.

...Необыкновенное удовольствие доставило мне письмо, в котором Вы столь искусно соблазнили меня хотя бы раз прочесть Геббеля² и заранее наслаждались тем, как поразите мою необразованность! Меня так радует, что Вы все тот же несокрушимый Гансхен, который не в состоянии допустить, что я что-нибудь умею и знаю, если я не получила это знание из его милых менторских рук! О Ганнслейн, я познакомилась с Геббелем прежде, чем с Вами. Я одалживала его еще у Меринга в то время, когда наша дружба была в самой горячей поре и местность между Штеглицем и Фриденау³ (где я тогда жила) представляла собой тропический ландшафт, на котором мирно пасся *Elephas primigenius*⁴, а стройный жираф обрывал зеленую крону пальмы-феникс. Тогда,—когда Вы, Гансхен, еще даже теоретически не существовали в Берлине,—я читала «Агнессу Бернауэр», «Марию Магдалину», «Юдифь», «Ирода и Мариамну». Правда, дальше я не пошла, так как тропический климат должен был внезапно отступить перед первым великим ледниковым периодом и моя толстая Гертруда должна была поэтому отправиться в Штеглиц с бельевой корзиной, полной полученных прежде подарков и одолженных книг,—в ответ на точно такой же груз, который прибыл в Фриденау: такой обмен был у нас принят при каждой размолвке.

Итак, с Геббелем я знакома и испытываю к нему большое, хотя и холодное, уважение. Я ставлю его значительно ниже Грильпар-

¹ Маколей Томас Бабингтон (1800—1859)—английский историк и политический деятель; автор «Исторических и критических этюдов» и других трудов.

² «Спиноза» — роман Вертольда Ауэрбаха (1812—1882) из цикла его романов «Гетто».

³ Фон Трота Лотар — прусский генерал, командовавший в 1904—1907 гг. немецкими войсками, которые вели бои в Юго-Западной Африке против восставшего местного населения.

¹ Пятое марта — день рождения Розы Люксембург.

² Геббель Фридрих (1813—1863) — крупнейший немецкий драматург середины прошлого века.

³ Штеглиц и Фриденау — окрестности Берлина. В Штеглице жил Франц Меринг, в Фриденау — Р. Люксембург.

⁴ Порода слонов (лат.).

цера¹ или Клейста². У него много мыслей и прекрасная форма, но в его героях слишком мало крови и жизни, они чересчур абстрактны и кажутся голыми символами надуманных проблем. Коль скоро Вы хотите мне преподнести именно Геббеля, смею ли я просить об обмене его на Грильпарцера? Грильпарцера я люблю по-настоящему. Знаете ли Вы его и достаточно ли Вы его цените? Если Вам хочется прочесть нечто превосходное, возьмите небольшой фрагмент «Юдифь»³. Это истинный Шекспир по насыщенности, меткости и народному юмору, обладающий к тому же нежным, поэтическим дыханием, чего нет и у Шекспира.

Ну не смешно ли, что Грильпарцер был нудным чиновником и скучным патроном (см. его автобиографию, которая почти так же постна, как автобиография Бебеля).

Как обстоит дело с Вашим чтением? Достаточно ли Вы обеспечены? Именно в последнее время я прочла несколько новых хороших книг и очень хотела бы рекомендовать Вам их. В первую очередь — если Вы его еще не читали — это «Эммануэль Квинт», роман Гергардта Гауптмана⁴. Помните ли Вы изображение Христа у Ганса Тома?⁵ В этой книге Вы переживаете явление Христа: вот он, худой, залитый багровым светом, идет по колосющимся нивам, а справа и слева от его темной на фоне серебряных колосьев фигуры бегут мягкие лиловые волны. Среди бесчисленных меня захватила в романе одна проблема, раскрытия которой я еще нигде прежде не находила и которую воспринимаю так остро в связи с опытом собственной жизни: трагедия человека, который проповедует толпе и чувствует, как каждое слово в то самое мгновение, когда оно слетает с уст, грубеет, застывает и, дойдя до сознания слушателей, превращается в карикатуру; я

так и вижу перед собой проповедника, пригвожденного отныне к этой карикатуре; ученики осаждают его со всех сторон, грубо требуя: «Покажи нам чудо! Ты так учи нас! Где твоё чудо?» Гауптман рисует это попросту гениально. Гансхен, вынося свой приговор людям, никогда нельзя считать его окончательным: они всегда могут нас поразить не только плохим, но, слава богу, и хорошим. Я считала Гауптмана безнадежным шалопаем, а теперь этот парень отмахнул нам книгу такой глубины и величия, что больше всего мне сейчас хотелось бы написать ему самое пылкое письмо. Я знаю, Вы бы охотно меня на это подбили, ведь Вы хотели, чтобы я писала и Рикарде Гух¹. Но я к таким экстравагантным исповедям отношусь с большой опаской и осторожностью. С меня достаточно, если я исповедуюсь Вам.

Ему же

Вронке, 8.3.17.

...Эта работа² и в самом деле достижение, которым я немного горжусь и которая меня, наверное, переживет. Она мне кажется значительно более зрелой, чем само «накопление»: форма в ней доведена до высшей простоты, в ней нет никаких прикрас, никакого кокетства и блеска. В ней все просто и сведено к крупным линиям, — мне хотелось оказать — «голо», как глыба мрамора. Теперь это вообще мой вкус, и он побуждает меня ценить в научной работе, так же как в искусстве, только простое, спокойное и величественное...

Ему же

Вронке, 30.3.17.

...Я чрезвычайно благодарна Вам за маленькую книжку Рикарды Гух о Келлере³. На прошлой неделе, когда на душе у меня было очень скверно, я прочла ее с удовольствием. Рикарда действительно в высшей степени умна и интеллигентна. Но ее столь отработанный, дисциплинированный, сдер-

¹ Грильпарцер Франц (1791—1872) — крупнейший австрийский драматург, сломавший традиции придворной классицистской драмы.

² Клейст Генрих (1776—1811) — один из самых талантливых немецких романтиков.

³ Р. Люксембург, по-видимому, имеет в виду «Эстер».

⁴ «Эммануэль Квинт» — появившийся в 1910 г. роман Гергардта Гауптмана (1862—1946), крупнейшего немецкого писателя и драматурга.

⁵ Тома Ганс (1839—1924) — немецкий живописец и график.

¹ Гух Рикарда (1864—1947) — немецкая писательница, автор многих исторических романов, жизнеописаний знаменитых людей, литературных очерков.

² Речь идет об «Антикритике» — ответе Р. Люксембург экономистам, критиковавшим ее книгу «Накопление капитала».

³ Келлер Готфрид (1818—1890) — выдающийся швейцарский писатель-реалист.

жанный стиль представляется мне несколько искусственным, а ее классичность кажется несколько нарочитой, псевдоклассической. Кто внутренне действительно богат и свободен, тот в состоянии всегда быть естественным и отдаваться своей страсти, не изменяя самому себе. Я снова перечитала Готфрида Келлера — «Цюрихские новеллы» и «Мартина Заландера». Пожалуйста, не подымайтесь на дыбы, но Келлер решительно не может писать ни романов, ни новелл. То, что он создает, это всегда лишь повествование о давно прошедших, уже мертвых делах и людях; если у него что-нибудь и случается, я никогда не присутствую при этом — я всегда вижу только рассказчика, который ворошит свои прекрасные воспоминания, извлекая их на свет божий, как это охотно делают старые люди. Только первая часть «Зеленого Генриха» действительно живёт. И все же Келлер всегда доставляет мне радость, потому что он чудесный парень, а кого любишь, с тем охотно сидишь и болтаешь о самых ничтожных вещах и мельчайших пустяках...

Ему же

Вронке, 5.4.17.

...Я кончила «Нибелунгов» Геббеля, которая приобрела в Познани и — пожалуйста, не ставьте мне это в вину — глубоко разочарована. Я считаю «Нибелунгов» самым слабым его произведением; по завершенности и слаженности их даже сравнить нельзя с «Юдифью», «Иродом», «Гигом». Чувствуется, что Геббель не сумел справиться с большой темой, он дробит ее, блуждает по случайным тропинкам и потому не оказывает никакого воздействия, по крайней мере на меня. Но его главный недостаток в том, что он пережевывает вечно одну и ту же проблему — единоборство между мужчиной и женщиной. Это чисто академическая, вымученная проблема, которой на самом деле не существует. Ведь одно из двух: или женщина — личность (я имею в виду не так называемую «выдающуюся женщину», а сердце, полное добра и внутренней твердости, найти которое можно с одинаковым успехом и в крестьянской хижине и в бюргерской семье), тогда она берет верх и морально остается победительницей, даже если уступает в мелочах. Или же как личность она ничто, тогда опять-таки нет никакой проблемы...

Кларе Цеткин

13.4.17.

...Сейчас я чувствую себя очень хорошо. В течение двух последних месяцев нервное утомление действительно доставляло мне довольно много забот, так же как год тому назад на Барнимштрассе, но теперь я снова в форме и надеюсь, что в ближайшее время смогу прилежно трудиться. Известия из России и весна также чрезвычайно помогают стать бодрым и радостным. Русские события имеют неисчислимые, великие последствия, и все, что там происходит, я считаю лишь маленькой увертюрой. Дела должны там принять грандиозный размах, это заложено в природе вещей. И эхо во всем мире неизбежно...

«Свадебное путешествие» де Костера, конечно, намного слабее, чем «Тиль Уленшпигель», но я тебе очень благодарна за то, что познакомилась с этой книгой. Может быть, ты заодно быстро прочтешь и Бродкоренса¹, которого я послала Косте?² Это отличная вещь.

Гансу Дифенбаху

Вронке, 16.4.17.

...Мне очень жаль, что теперь Вы не можете почитать мне вслух Шекспира, как прежде мы это проделали со всем «Валленштейном». Моего Вильяма мне принесли сюда...

Помните ли Вы у Гёте:

Чувством я к одной привязан,
Одному доверил разум,
В том единстве жизнь моя!
Лида! образ, сердцу милый,
Вильям! высшее светило,
Вам собой обязан я³.

Пробуждением моего интереса к Шекспиру я обязана — Вас удивит это — театральному критику «Leipziger Volkszeitung». Он пишет очень умно и увлекательно. Вот, например, его характеристика одного из женских образов в «Как вам это понравится».

«Розалинда — женщина, близкая сердцу поэта. Она дама и дитя природы, она умеет быть приличной и издевается над всеми

¹ Бродкоренс Пьер (1885—1924) — находившийся под влиянием Верхарна бельгийский поэт и романист, писавший по-французски.

² Константину Цеткину — сыну Клары Цеткин.

³ Стихотворение Гёте «Между двумя мирами». Дается в переводе М. Обручева.

приличиями, она ничему не училась и способна говорить умнейшие вещи, она полна задора и совершенной скромности. Она в состоянии быть кем угодно, потому что у нее безошибочный инстинкт, и, веря в него, она танцует, прыгает и прогуливается по всему свету, как будто опасность никогда не может грозить ей всерьез. И, пожалуй, это не единственный случай, когда Шекспир рисует юную героиню, столь уверенную в себе; в его произведениях не раз встречаются подобные создания. Нам неизвестно, знал ли он когда-нибудь женщину, которая была такой, как Розалинда, Беатриче, Порция, неизвестно, писал ли он с натуры или воплощал в этих образах свою мечту, но одно нам известно наверняка: образы эти говорят о его собственной вере в женщину. Шекспир убежден, что женщина может быть прекрасна, ведь ее существо — особенное! Как никакой другой поэт, Шекспир был певцом женщины — по крайней мере часть своей жизни. В женщине он видел воплощенной творческую силу природы, которой не может повредить никакая культура. Он видел, что женщина, вбирая в себя все, что дает культура, перерабатывает это, в то же время не позволяя сбить себя с пути, предписанного ей природой».

Разве это не тонкий анализ? Но если бы Вы только знали, что за пресный, сухой субъект этот доктор Моргенштерн в обычной жизни! И все же его психологическую чуткость я хотела бы видеть у будущего создателя немецкого эссе... А прогос: Вы, следовательно, ведете свой род от Юстинуса Кернера? ¹ Видит бог, это почтенный предок, хотя я о нем ничего не знаю и сохранила только смутное воспоминание о его железных ритмах, могучем пафосе, революционном порыве. Впрочем, уже самое имя его для меня точно сказка. Не правда ли, существуют такие созданные для вечности имена, которые звучат словно музыка с Олимпа, если даже тебе о них толком ничего не известно. Кто помнит сегодня хоть одну строчку из Сафо? Кто (кроме меня) читает Маккиавелли? Кто слышал оперу Чимарозы?

¹ Кернер Юстинус (1786—1862) — немецкий поэт, примыкавший к так называемой «швабской» школе романтиков. Вероятно все же, Р. Люксембург имеет в виду Теодора Кернера, творчеству которого ближе перечисленные его черты.

И все же для каждого человека в таком имени — сияние вечности, и он почтительно обнажает перед ним голову. Кстати, *pollesse oblige* ¹, Гансхен, Вы должны свершить что-нибудь стоящее, Вас обязывает к этому Юстинус Кернер.

Ему же

Вронке, 28.4.17.

...«Валленштейна» Рикарды Гух я уже закончила. Сначала книга меня очень заинтересовала и увлекла, но к концу картина совершенно распалась и превратилась в ничто. Из одних деталей, штрихов и мазков целое не возникает. По книге Вы можете форменным образом изучать, как нельзя писать эссе и как Вы должны это сделать лучше. Я остаюсь при своем мнении: именно основательность мешает немцам создавать набросанные легкими штрихами картины жизни или эпохи, которые одновременно доставляли бы подлинное высокое наслаждение. Рикарде — хотя она и женщина — тоже недостает той духовной грации, которая могла бы внушить ей, что попытка исчерпать все подробности действует утомляюще и оскорбительно на способного тонко чувствовать человека, тогда как несколько художественно отобранных деталей возбуждают фантазию читателя и он сам придает картине завершенность и законченность. То же самое происходит, когда беседует остроумные люди: легкий намек доставляет несравненно большее удовольствие, чем грубая определенность.

Мне хотелось бы в ближайшее время послать Вам комедию Бернарда Шоу «Потерянный отец» ². Когда меня уже начали выводить из терпения кричащие парадоксы и нелепые выходки всех действующих лиц, я натолкнулась на несколько серьезных мест, которые прочла одновременно с чувством облегчения — наконец-то узнала истинные взгляды и намерения автора! — и некоторого страха перед безвкусицей морализующих сентенций. Лишь в конце пьесы я обнаружила, что как раз эти «серьезные места» и были самыми шутковскими и что Шоу просто потешается над всем миром, читателем и самим собой, следуя правилу: в жизни вообще нет ничего, что стоило бы принимать

¹ «Положение обязывает» (франц.).

² «Потерянный отец» — второе название комедии «Вы никогда не можете сказать».

трагически. Заключительная сцена, где смертельно скучное юридическое совещание двух поверенных вдруг переходит в бал-маскарад и оба поверенных, вальсируя, исчезают, действует уже с шекспировской силой, в ней слышатся мотивы «Сна в летнюю ночь» и коварный смешок кобольда. Добравшись до заключительной сцены, я не могла удержаться от громкого хохота — Вы знаете, со мной это бывает, — между тем наступила полночь, и я в одиночестве сидела в своей камере.

Это было как раз после маленького припадка отчаяния, который снова со мной случился, и потому взбалмошная книжка принесла мне большое облегчение.

Поскольку уж я коснулась литературы, послушайте, не можете ли Вы мне сказать, откуда я взяла эти строчки:

Походка, стан,
Улыбка, взгляд.
Как галисман, к себе манят
Его речей волшебный звук,
Огонь очей,
Пожатье рук!¹

Дальше я не помню. Я могла бы поклясться, что это песенка Гретхен, которую она поет за прялкой. Но я могла бы также поклясться, что Гретхен за прялкой поет нечто совершенно иное, а именно: «Фульский король»². Здесь у меня только маленькое гарнаковское издание Гёте, без «Фауста», и я не могу проверить. Рифмы эти вертятся у меня в голове уже с самой пасхи, так что я скоро поверю, что прялка жужжит во мне самой. Знакомо ли Вам это мучительное чувство, когда не можешь вспомнить, откуда взялся какой-нибудь обрывок стихотворения или мелодии?

Ему же

12.5.17.

...Ваша мысль, что я должна написать книгу о Толстом, ничего не говорит моей душе. Для кого? Зачем, Гансхен? Каждый может прочесть книги Толстого, и кому сами эти книги не дают могучего импульса к жизни, тому я ничего не втолкую комментариями. Можно ли кому-нибудь «объяснить», что такое музыка Моцарта? Можно

¹ «Фауст», ч. I, песенка Гретхен, дана в переводе Н. Холодковского.

² Песенку «Жил в Фуле король» Гретхен поет в другой сцене, не за прялкой.

ли «объяснить», в чем волшебство жизни, если человек не способен сам ощутить его в мельчайших и будничных вещах или, вернее, не несет в себе самом. Всю громадную гётевскую литературу (то есть литературу о Гёте) я, например, считаю бесполезной и вообще придерживаюсь мнения, что написано уже слишком много книг; зарывшись в них, люди забывают взглянуть на прекрасный мир.

С начала мая начались солнечные дни, а так как мои окна выходят на восток, то уже при пробуждении меня приветствуют первые утренние лучи.

Ему же

Вронке, 14.5.17.

...Не могу выразить, как грустно мне было сегодня вечером. Чтобы утешиться, я немного полистала «Западно-восточный диван». Я бесконечно люблю это произведение и не только за негаснувший любовный пламень, который горит в нем, но за Зулейку-Марианну — единственный симпатичный мне женский образ у Гёте. Я нахожу ее собственные песни действительно достойными гётевских по задушевности и простоте. Помните, как трогательно дает она поручения своему посланцу:

Ты шепни ему нежнее:
Жизнь моя в его любви ведь;
Только близостью своею
Мог меня б он осчастливить!¹

К сожалению, в гарнаковское издание ее песни включены лишь частично. Из серьезных вещей я уже в который раз перечитываю «Легенду о Лессинге»². Знакома ли она Вам? Она пробуждает так много мыслей и чувств.

Ему же

Вронке, 20.6.17.

...Послушайте, я поймала тайного советника фон Гёте на попытке исказить историю. Вы знаете, конечно, в «Могиле Анакреона» (ах, я умираю каждый раз от блаженства, когда Файст³ пел мне эту песню) конец звучит приблизительно так: весна,

¹ Дается в переводе М. Обручева.

² «Легенда о Лессинге» — одно из произведений Франца Меринга.

³ Файст — исполнитель песен Гуго Вольфа, австрийского композитора, знаменитого своими романсами на слова Гете, Мёрнке и других.

лето и осень¹. Из этого можно было бы заключить, что Анакреон умер приблизительно пятьдесят лет, в расцвете своих сил. Теперь я снова перечитала песни Анакреона, и в них он рисует себя глубоким стариком, горьким пьяницей и волокитей, который все вновь и вновь хочет убедить своих Дорид, Филлид или Хлой, что его «белые кудри» так же подходят к их розовым щечкам, как белые лилии к розе в венке. Собственно говоря, его стихи только бесконечные вариации одной и той же темы.

Марте Розенбаум

26.6.17.

...Из книг Ромена Роллана я лишь недавно прочла «Жан-Кристоф в Париже». Это мужественная книга с внутренней близкой мне тенденцией. Но, как все социальные тенденционные романы, это, собственно, не художественное произведение, а скорее памфлет в беллетристической форме...

Гансу Дифенбаху

Пятница, вечером. 6.7.17.

...У Киплинга в какой-то из его индийских новелл рассказывается, как каждый день в обеденный час из деревни гнали стадо буйволов. Огромные животные, которые своими копытами могли бы в несколько минут растоптать всю деревню, покорно подчинялись двум одетым в рубашонки темно-коричневым крестьянским мальчикам, прутиками гнавшим стадо к отдаленному болоту. Там с громким шумом и плеском животные лезли в грязь, в которой они с наслаждением валялись, погруженные по самую морду. Дети же спасались от немилосердно палящего солнца в тени какого-нибудь низкорослого куста акации, медленно ели принесенную с собой лепешку из рисовой муки, наблюдали за спящей на самом пекле ящерицей и молча смотрели в сверкающую даль. «И такой послеобеденный час казался им длиннее, чем многим людям вся их жизнь», — так, если мне память не изменяет, говорится у Киплинга. Как чудесно это сказано, не правда ли? Я чувствую то же самое, что те ребятишки из индийской дерев-

¹ «Могилы Анакреона» заканчивается следующими строками:

«Все счастливый вкусил: весну, и лето,
и осень;
Но от зимы наконец этот укрыл его холм».
(Перевод Д. Усова).

ни, когда переживаю такое утро, как сегодня.

Лишь одно меня мучит: что я одна должна наслаждаться такой красотой. Мне хочется громко крикнуть сквозь стену: о, пожалуйста, обратите внимание на этот прекрасный день! Как бы вы ни были заняты, даже если вы совершенно поглощены заботами, не забудьте поднять на мгновение голову и бросьте взгляд на эти огромные серебряные облака и на тихий голубой океан, в котором они плывут...

Ему же

27.8.17.

...Ромен Роллан для меня отнюдь не незнакомец, Гансхен. Ведь он словно белая ворона «*intra et extra muros*»¹: во время войны Роллан не возвратился вместе со всеми к психологии неандертальской эпохи. Я прочла его «Жан-Кристоф в Париже» в немецком переводе. Боюсь причинить Вам боль, но хочу, как всегда, быть до конца честной: я нахожу книгу очень мужественной, и она мне близка, но это больше памфлет, чем роман, это не истинно художественное произведение. Тут уж я неумолимо строга и так чувствительна, что прекраснейшая тенденция не может заменить мне самого обычного гения божьей милостью. Но я буду и дальше очень охотно читать Роллана, особенно по-французски, что для меня само по себе наслаждение и, быть может, в других томах я найду больше, чем в этом.

Кларе Цеткин

Бреславль, 27.8.17.

...С огромным интересом узнала, что ты читаешь «Обломова» и в восторге от него; бог ты мой, какие старые воспоминания он во мне пробуждает! Уже в восьмидесятих годах роман входил в железный фонд «радикальной» молодежи России и теперь, наверное, совершенно забыт там. Во всяком случае, я прочла бы его снова с удовольствием, хотя бы для того, чтобы проверить давнее впечатление. Я совершенно не помню содержания и сохранила лишь общее представление о герсе, человеке, прожившем жизнь без надежд, лишенном всякой способности чего-либо добиться. Если мо-

¹ Буквально — «внутри и вне стен», то есть — у нас и за границей, по ту сторону фронта (лат.).

жешь, пришли мне, пожалуйста, книгу на несколько дней.

Как радуется меня, что ты теперь собираешься прочесть Родена¹. Жду с нетерпением твоей оценки. В прошлом году чтение этой книги на Александерплац — в той дыре, где по вечерам мою камеру не освещали и где мне приходилось, высоко подняв книгу (из-за этого я должна была читать стоя), ловить тусклый свет, проникавший из коридора через верхнее стекло двери, — в прошлом году книга эта меня очень заинтересовала и увлекла. Мне казалось, что Роден стоит передо мною как живой; он совершенно напоминал мне Жореса своей любезностью и добродушием, живым темпераментом и громким голосом...

Матильде Вурм

15.11.17.

...Мой здешний образ жизни тебе известен: я всегда погружена в книги, предпочтительно в те, которые уводят меня подальше от современности и от породы homo sapiens: я подразумеваю — в мои научные книги. Беллетристику я могу читать только редко и только очень хорошую. Прости меня, дорогая, но я все еще не в состоянии вжиться в «Гипериона». Гельдерлин² мне вообще чужд по натуре. Может, однако, случиться, что я вдруг найду к нему дорогу. Нечто подобное происходило со мной уже не раз. Сегодня я, например, закончила «Симплиция Симплициссимуса» Гриммельсгаузена, который имеется у меня в прекрасном издании Альберта[?] Лангена уже несколько лет и в котором я до сих пор все же не находила вкуса. Это большое полотно эпохи Тридцатилетней войны, потрясающая картина тогдашнего одичания немецкого общества. Не советую, однако, читать роман теперь: он, вероятно, приведет на тебя очень угнетающее впечатление. Я прочла его сейчас в один присест, только чтобы оглушить себя и отвлечь, так

¹ Роден Огюст (1840—1917) — знаменитый французский скульптор. Речь идет о его книге «Искусство» (беседы, записанные П. Гэллемом).

² Гельдерлин Иоганн Христиан Фридрих (1770—1843) — немецкий писатель предромантического этапа.

как меня постиг тяжелый удар: погиб Ганс Дифенбах. Я знаю, что жизнь идет дальше, что надо оставаться твердым и мужественным и даже радостным, я знаю все это — и сама со всем справлюсь, но говорить об этом не могу...

Марте Розенбаум

Бреславль, 1.2.18.

...Мне было очень приятно слышать, что Вы получили удовольствие от «Тили Уленшпигеля» и, особенно, что Вы хвалите язык романа. Я читаю этот перевод большим художественным творением. Со своей стороны я хочу Вас сердечно поблагодарить за Горького, которого я прочла недавно во второй раз и который меня глубоко потряс¹.

Ей же

28.2.18.

...Вы, следовательно, много теперь читаете по-французски Мопассана и Бальзака. Я с ними давно знакома, но должна, к сожалению, признаться, что они не совсем в моем вкусе. Однако читать их, разумеется, необходимо. Что особенно достойно высокой оценки, так это «Жермини Ласерте»². Попросите ее у Сони. Достаньте при случае «Незавершенные истории» Ганса Барча³, в них есть прекрасный рассказ о Бетховене. Недавно я случайно прочла его...

Кларе Цеткин

15.4.18.

...«Вильгельма Мейстера» я тоже наметила прочесть, но... c'est plus fort, que moi⁴. «Художника Нольтена»⁵ я также была не в состоянии осилить. Зато вновь отдохнула за «Кандидом» Вольтера.

¹ По-видимому, речь идет о первых двух частях автобиографической трилогии Горького.

² «Жермини Ласерте» — роман французских писателей братьев Гонкур, Эдмона (1822—1896) и Жюля (1830—1870).

³ Барч Ганс (род. 1873) — австрийский писатель, автор романа о Шуберте и других историко-биографических произведений с музыкантах.

⁴ «Это сильнее меня» (франц.).

⁵ «Художник Нольтен» — роман Эдуарда Мерике.

Матильде Вурм

22.4.18.

...Ты даже не знаешь, какое сокровище ты мне прислала. «Театральное призвание Вильгельма Мейстера» — это первоначальный вариант «Годов учения», который долго разыскивался гётеведами и потом считался утерянным — до тех пор, пока совершенно случайно, семь лет тому назад, не был найден в Цюрихе, в рукописной копии старой приятельницы Гёте из лафатеровского круга, Барбары Шультес. находка в свое время произвела фурор; ведь это

произведение Гёте создано до итальянского путешествия, тогда как «Годы учения» — после него, да к тому же после продолжавшейся двадцать лет переработки. Можешь себе поэтому представить, насколько эта книга меня заинтересовала. Какой вывод ты должна сделать из факта, что купить «Вильгельма Мейстера» совершенно невозможно? Да очень простой: он совсем не читается публикой и поэтому отдельно не издается; только библиофилы и гётеведы могут его еще осилить. Мне тоже основательно действует на нервы все, что есть в Гёте от «тайного советника»...

Публикация, примечания и переводы М. Кораллова.



А. ТУРКОВ

★

ЗАМЕТКИ О КРИТИКЕ

Почти на любом собрании есть злополучный оратор. Стоит ему появиться на трибуне, слушатели устремляются в буфет.

— Этот ничего нового не скажет...

Похоже, критика находится в таком же положении. От нее не ждут откровений. И, видя полупустой зал, она как бы начинает стесняться самой себя, заранее усваивает извиняющийся тон.

«В истинном художественном произведении, в судьбах его героев различные общественные проблемы предстают, как и в жизни, во взаимном переплетении и пересечении. Критику волей-неволей приходится эти проблемы расчленять — такова одна не из самых приятных, но неизбежных особенностей критического разбора», — виновато оправдывается Б. Костелянец в книжке «Творческая индивидуальность писателя» («Советский писатель». Л. 1960).

В том же смысле пишет о «печальной обязанности критика и литературоведа» А. Македонов в «Очерках советской поэзии» (Смоленск. 1960).

Полно же, да впрямь ли так уж обречен критик на унылое препарирование живого и прекрасного тела литературного произведения? Припоминается, что так было далеко не всегда.

«Белинский как критик-художник являлся действительно человеком власти и могущества, подчиняющим себе, — писал П. В. Анненков. — Достаточно вспомнить для объяснения обаятельного действия всех его рецензий 1840 года, после «Менцеля», что в каждой из них происходила, так сказать, художническая анатомия данного произведения, открывалось его внутреннее строение с очевидностью и осязаемостью, дававшими иногда совершенно

одинаковое, а иногда еще и большее наслаждение, чем чтение самого оригинала. Это было восстановление произведения, только уже проведенного, так сказать, через душу и эстетическое чувство критика и получившего от соприкосновения с ним новую жизнь, большую свежесть и более глубокое выражение».

Итак, даже холодноватое слово «анатомия», немедленно приводящее на память слова пушкинского Сальери о разъятой, как труп, музыке, — не помеха ни эстетическому обаянию искусства, ни тому, что критик может увеличить притягательность книги.

Все дело в том, кто и как производит подобную операцию.

Случается, что критик (применяем здесь этот термин лишь условно) приступает к делу точь-в-точь как щедринский лекарь, прибывший в деревню вскрывать «мертвое тело» и лихо покрикивающий:

— А ну-ка ты, Гришуха, держи-ко покойника-то за нос, чтоб мне тут ловчей резать было!

Естественно, что если подобное зрелище и вызовет скопление любопытных, то только известного сорта, глазующих на всякое уличное, особенно кровавое, происшествие. При всей непопулярности критики избави бог от такой «аудитории»!

В последнее время много говорится и пишется о стиле критических работ. Обычный упрек — это «недостаток живости».

Что ж, в общей форме это верно.

Многие читатели имеют обыкновение, прежде чем купить или взять в библиотеке книгу, хотя бы бегло просматривать ее. Представьте себе, что при этом они наткнутся на следующие фразы.

«...Первыми свидетелями этого созревания были уже такие стихотворения, как...»;

«...Глаз с прищуром, помноженный (!) на опыт грандиозной, напряженнейшей борьбы народной...».

Пугливо отложив эту книгу, читатель возьмет другую и обнаружит новый озадачивающий его оборот речи:

«На фоне этого гимна родной речке, неустанно приносящей «радость и пользу людям», ядовитые отходы производства, преступно отравляющие воду, выглядят особенно зловеще»;

«...Автор... старается выжать из современного колхозного сена преимущественно «вечные запахи».

Едва ли труды, написанные таким языком, подействуют на читателя магнетически. Эта сторона дела многое объясняет нам в непопулярности критики.

Многое, но не все. И даже не главное.

«...Если учитель твердит зады, то и ему и ученикам очень скучно»,— сказал однажды С. Я. Маршак.

Учитель может излагать эти «зады» гнусавым или прекрасно поставленным голосом, откровенно заглядывая в книгу или артистически прикидываться, будто его только что озарила догадка насчет неизменности суммы, как ни меняйся местами слагаемые... Все равно это будет скучно. И требование «живости изложения» не должно повести критику к попытке прикрыть по-прежнему бедное содержание яркой этикеткой.

В открывающей книгу Б. Костелянца статье «Горький и проблема творческой индивидуальности писателя» автор размышляет над горьковским противопоставлением истинной оригинальности, являющейся следствием «широкой концепции» жизни,— и одной лишь «манеры писать».

Современную критику чаще журят за «манеру писать», в то время как куда большую тревогу внушает отсутствие у нее «широких концепций».

«...Занимательность должна быть достигнута не посторонними средствами, не развлекательными интермедиями, а самой сущностью книги, ее темпераментом, ее идейным богатством»— это снова сказано Маршаком по поводу детской литературы, но совершенно применимо ко всей литературе и в том числе к критике.

Один из ходячих упреков критикам таков: вы забываете, что пишете не только для

писателей, но главным образом для читателей и сводите дело к узкопрофессиональным темам, не интересным массовому читателю.

Самое удивительное, что одновременно критиков упрекают за то, что они недостаточно занимаются эстетическим воспитанием читателя, зрителя, слушателя!

Разумеется, очень важно раскрыть перед ними красоту классических произведений,— и этим, кстати, в последние годы критика занималась отнюдь не мало.

Но едва ли можно счесть менее существенным эстетическую оценку современных произведений искусства!

Именно здесь наитеснейшим образом смыкаются задачи эстетического и этического воспитания.

Именно здесь поверяется: научились ли читатели и зрители верно подходить к искусству?

Не кинется ли вчерашний восторженный почитатель Пушкина в объятия современному Бенедиктову?

Не будет ли он с одинаковым восторгом читать и чеховскую «Чайку» и новейший роман, автор которого живописует своих героев такими средствами, которые казались бездарными уже Треплеву: «моложавое лицо, обрамленное светлорусыми... волосами» и снова «розовошеекое лицо, обрамленное светлыми выщипанными волосами»?

И разве, молча пройдя мимо этой «узкопрофессиональной» детали, критик не уронит безнадежно свой авторитет в глазах читателя, хотя бы тот и разобрался в прочитанном без посторонней помощи?

Наконец, не этой ли боязни «узкопрофессионального подхода» обязаны мы тем, что до сих пор часто не умеем отделить, по меткому выражению А. Македонова, достижения социалистического реализма от подделок и полуфабрикатов; что в наших похвалах и осуждениях вместо конкретных замечаний часто фигурируют беспредметные общие места?

Уж что, кажется, «специальнее», чем вопрос о работе редактора!

И однако, это отнюдь не делает книгу Лидии Чуковской «В лаборатории редактора» («Искусство», 1960) адресованной только редакторам или даже только писателям.

Книга Лидии Чуковской посвящена литературе вообще как искусству высокой,

микронной точности, где не существует мелочей, где безразличие к слову нетерпимо.

Автор иногда выглядит максималистом в своих требованиях. Стремясь к тому, чтобы даже корректор заботился о сохранении авторской интонации, и ссылаясь при этом на Достоевского, Лидия Чуковская, на наш взгляд, не принимает в расчет неизмеримо выросшие с тех пор масштабы издательской деятельности.

Точно так же и трогательный рассказ, как С. Я. Маршак негодовал на машинистку, сделавшую лишний абзац, скорее является штрихом мемуариста, и присоединяться к запальчивому выводу, что «подобная небрежность... оскорбление литературы и труда», не хочется.

Но при всей чрезмерности подобных требований «максимализм» Лидии Чуковской несравненно привлекательнее, чем тот «минимализм», который часто процветает в наших разговорах о литературе, когда мы с легким сердцем прощаем писателю вопиющие промахи.

«Лоскуток бросил не на месте, и он покажется ростом с верблюда», — говорит туркменская пословица. И критик со всей страстью утверждает, что «ошибка стилистическая никогда не проходит бесследно для содержания».

Уже в первых главах книги возникает образ К. С. Станиславского с его высокой требовательностью к актеру, к правдивости интонации и сценического поведения вообще.

Аналогии между работой Станиславского и литературным трудом проводились не раз. Напомню, например, статью Веры Смирновой по поводу книги Н. Горчакова «Режиссерские уроки Станиславского».

Лидия Чуковская усматривает черточки, сближающие искусство режиссера с задачами редактора.

«Редактор должен с особой тщательностью воспитывать в себе чуткость, слух к нарушению жизненной и вместе с ней художественной правды, ко всякой фальшивости — в описываемой обстановке, в психологии действующих лиц, в их интонации. Ведь каждое нарушение ослабляет идейный заряд — силу воздействия литературы на читателя», — пишет она и делает заголовком одной из глав знаменитый возглас «Не верю!», часто звучавший на репетициях, которые вел Константин Сергеевич.

Со своей стороны добавлю, что эта чут-

кость — обязательное свойство для критика. Без нее он попросту не существует как критик.

Почти треть книги Лидии Чуковской занимает глава «Маршак-редактор», посвященная деятельности руководимого им детского отдела Госиздата в начале тридцатых годов.

Здесь, казалось бы, происходит дальнейшее «суживание», «профессионализация» разговора, поскольку речь идет о создании советской литературы для детей, о борьбе с «педологами», с людьми, которые, по выражению Маршака, смотрели на литературу для детей как на исполнительницу мелких педагогических поручений утилитарного характера.

Но поскольку, с одной стороны, Маршак никак не отделял литературу для детей от «большой» литературы, а с другой — узкоутилитарный подход к искусству, увы, не является достоянием одних «педологов», читатель и здесь почерпнет для себя много поучительного.

А главное, он и в этой главе, отличающейся от предыдущих несколько мемуарным характером, ощутит любовь к искусству и как вывод из всей книги воспримет приведенные на ее последних страницах слова Л. Толстого:

«Как ни странно это сказать, а искусство требует еще гораздо больше точности, прѳѳcision, чем наука...»

Если в книге, о которой мы говорили, привлекают и «заинтриговывают» уже самые названия глав — «Новооткрытая сила», «Не верю!», «Расфасованные слова», «Будылья татарника», «Редакционный оркестр», — то в этом отношении автор книги «Творческая индивидуальность писателя» Б. Костелянец совершенно не оригинален. В оглавлении книги не найдешь ничего броского:

«Горький и проблема творческой индивидуальности писателя».

«Духовный облик героя».

«Художник и история».

«Живое единство».

«Традиции боевого жанра».

Да и самый стиль первых страниц книги вызывает представление о серьезном, но несколько педантичном исследователе, затянутом в академический черный сюртук.

Книготорг и встретил эту книгу «по одеж

ке», определив ей тираж в четыре тысячи экземпляров.

Но чем дальше читаешь книгу Б. Костелянца, тем явственнее ощущаешь единый пафос, ее пронизывающий.

Автор видит в литературе «не скопление или случайное нагромождение индивидуальностей, как это кажется теоретикам модернистского толка, а объективный процесс, определяемый развитием жизни».

Напоминая слова В. И. Ленина о необходимости требования всесторонне изучать предмет, критик пишет:

«Литература движется к этой всесторонности охвата жизни, но каждому художнику в отдельности не под силу постигнуть все связи и опосредствования, в которых находится предмет его изображения. Он берет этот предмет в тех «соприкосновениях» и «сцеплениях», которые ему кажутся наиболее решающими и существенными. Другой художник подойдет к предмету с той его стороны, которой первый не заметил, увидит смысл тех его «сцеплений», которым первый, в соответствии с направленностью своего таланта, не придавал значения. Вот в этой неисчерпаемой многосторонности жизни, в этом многообразии связей и отношений, отличающих каждый «предмет», каждый «факт», каждое ее «явление», — объективная основа, объективные истоки многообразия художественных индивидуальностей. И если эксплуататорские классы всегда были заинтересованы в том, чтобы «закрывать глаза» на какие-то стороны действительности, то одна из самых решающих особенностей нашего мировоззрения заключается в том именно, что оно безбоязненно идет «прямо на предмет», стремится — и обладает необходимой для этого силой — исследовать все заключенное в нем содержание».

Позиция Б. Костелянца представляется нам глубоко верной. Высказанное им мнение перекликается с мыслью, к которой постоянно возвращался выдающийся немецкий писатель и общественный деятель Иоганнес Бехер в своих заметках о литературе, вышедших на русском языке под названием «В защиту поэзии».

«У каждого писателя свой особый, ему одному присущий дар вносить свой вклад в решение великих задач истории, и было бы нелепо требовать, чтобы все писатели

одновременно и в унисон откликались на решающие события..»

Чаше речь идет не об ультимативном «или... или», а о «как... так и...» и о «с одной стороны... с другой стороны». Но мы все время склонны предаваться доктринерскому образу мышления и, например, если говорить о литературе, допускать существование только одного творческого направления, а именно: своего собственного».

К сожалению, далеко не все придерживаются подобных взглядов. Больше того, в критике еще нередко встречается активное неприятие тех произведений, где предстают новые, не освоенные еще литературой явления, не уместающиеся в рамках критических доктрин.

В полемике, завязавшейся вокруг повести В. Тендрякова «Тройка, семерка, туз», критик Д. Стариков прямо обвинил писателя в отрыве от жизни, от ее магистральных путей и даже привел ему в назидание известное письмо В. И. Ленина А. М. Горькому от 31 июля 1919 года, хотя в письме этом имелись в виду совсем другие, весьма специфические исторические условия.

Нельзя не согласиться с очеркистом Г. Радовым, заметившим в одном из своих выступлений, что молодому столичному критику не совсем к лицу поучать автора «Не ко двору» и «Тугого узла» необходимости знать жизнь.

Куда как удобно крыть писательские жизненные наблюдения «kozyрной» критической картой: автор, мол, принял видимость явления за его сущность, запечатлел лишь пену на поверхности жизни, не проник вглубь!

Но не таится ли порой за этим самоуверенным утверждением боязнь и непонимание подлинной, сложной действительности, в которой, кстати сказать, соотношение между «видимостью» и «сущностью» — диалектическое?

Да, видимость нельзя отождествлять с сущностью. Но, говоря об этом, В. И. Ленин замечал:

«...несущественное, кажущееся, поверхностное чаще исчезает, не так «плотно» держится, не так «крепко сидит», как «сущность». Например: движение реки — пена сверху и глубокие течения внизу. Но и пена есть выражение сущности!»

Тут есть над чем подумать. И во всяком случае, каждый раз искать конкретное, диалектически сложное соотношение между

«пенной» и «сущностью», как того требует марксизм, куда труднее, но и куда интереснее, чем просто снять «пену» критической шумовкой и заявить, что ей место в помойном ведре!

«Проникновения в реальный процесс жизни, а не подгонки ее под желанную схему» ждет от литературы Б. Костелянец и сам как критик стремится рассматривать литературу с этих же позиций.

Так рождаются одни из лучших страниц книги, посвященные полемике вокруг «Сентиментального романа» В. Пановой и истолкованию образа Кушли. Истоки противоречивости характера Кушли критик справедливо усматривает не в авторском произволе, а в реальных исторических процессах, которые происходили в те годы.

«...Превращение миллионов эксплуатируемых в хозяев жизни — не столь простая «метаморфоза», как кажется и самому Кушле, и иным современным критикам», — пишет Б. Костелянец.

И мне, читателю, вспоминаются известные ленинские слова, которые обуславливают позицию критика:

«Мы можем (и должны) начать строить социализм не из фантастического и не из специально нами созданного человеческого материала, а из того, который оставлен нам в наследство капитализмом. Это очень «трудно», слов нет, но всякий иной подход к задаче так не серьезен, что о нем не стоит и говорить».

Не со всем можно согласиться в оценке, которую дает Б. Костелянец творчеству В. Пановой вообще, не всегда он убеждает в своей правоте, особенно тогда, когда защищает писательницу от всяких упреков в «пасторальности».

К сожалению, некоторое сглаживание остро намеченных вначале конфликтов было у Пановой.

В «Кружилихе» сцене ночного разговора Листопада с Уздечкиным не хватает разве что сверчка за печкой, чтобы стать совершенно диккенсовской!

«...Уздечкин и Листопад — фигуры взаимосвязанные, — верно пишет критик. — ...приниженность Уздечкина является следствием чрезмерной «самовитости» Листопада...»

И вдруг следует вывод: Уздечкин может стать иным лишь тогда, когда иным станет Листопад, «когда Листопад подвергнет суровой переоценке свой жизненный путь, стиль своей жизни и работы...»

Вот как? Значит, все дело в Листопаде? Тогда стоит ли, споря с противниками «Сентиментального романа», насмешничать по поводу того, что они тянут «писательницу, стремящуюся видеть реальные корни, общественные истоки конфликтов нашей действительности, к несостоятельным и неплодотворным ни для жизни, ни для искусства схемам, к сюжетам о «плохих» и «хороших» начальниках»?

Не вернее ли будет предположить, что время досказало историю Листопада в романе Галины Николаевой «Битва в пути», где он воскресает для читателя под фамилией Вальган и не подает заметных надежд на исправление в своем последнем, также ночном, разговоре с Бахиревым?

Соотношение между этими образами заметно напоминает ту любопытную аналогию, которую проводит сам Б. Костелянец между Бабченко («Дни и ночи» К. Симонова) и Абросимовым («В окопах Сталинграда» В. Некрасова).

И Бабченко и Абросимов требуют бессмысленной атаки. Но Бабченко сам гибнет в этой атаке, а Абросимов уже не получает подобного «отпущения грехов» и оказывается не только перед офицерским судом чести, но и перед ничем не смягченным читательским гневом как человек, способный пренебречь величайшей ценностью — человеческими жизнями — во имя слепого выполнения своего собственного решения.

И поскольку мы помним, что литература есть «объективный процесс, определяемый развитием жизни», то и видим в приведенных примерах не просто разницу писательских манер.

Стремление уяснить себе характер всей литературы и творчества отдельных писателей в развитии, совершающемся в конкретных общественно-исторических условиях, — очень привлекательная особенность книги Б. Костелянца. И ощутив эту «ось» ее, читатель уже не будет требовать от критика беллетризации или введения диалогов между мифическими собеседниками, что на взгляд некоторых и придает критике «оригинальность».

Книга Б. Костелянца оригинальна, своеобразна по самой своей сути, по концепциям, которые в ней заключаются, а не по одежке.

Но именно потому, что так радуют достоинства этой книги, нельзя не возразить автору, когда он изменяет себе и стано-

вится на путь отвлеченной схемы, анализируя повесть Э. Казакевича «Звезда».

Критик упрямо выискивает по всей повести доказательства владеющей им мысли, будто автор «Звезды» переселяет нас в некий абстрактный космос, где все угрожает человеку.

«...Мы узнаем,— пишет, например, Б. Костелянец,— что от дивизии отстали тылы и артиллерия, но что «пехота, одна-одинешенька, все-таки продолжала двигаться вперед». Почему к целой стрелковой дивизии применяется это определение «одна-одинешенька»? Так можно сказать про сказочную девочку, заблудившуюся в темном лесу. Но про стрелковую дивизию?!»

Но ведь погорев соприкосновение с противником, оказавшись без поддержки именно в тот самый момент, когда легко попасть под неожиданный контрудар врага, пехота может испытать чувство настороженного одиночества, что и выразилось в словах, смутивших критика.

«Пятнадцать тысяч немцев идут по лесным дорогам прямо к своей гибели, и смерть опускает уже на все эти пятнадцать тысяч голов свою карающую руку»,— пишет Э. Казакевич.

И снова критик недоволен.

«Быть может, немцам и казалось, что карающую руку опустила на них сама смерть; советский писатель мог бы внести в этот вопрос большую конкретность»,— делает он автору выговор, при котором читателю вдруг припоминаются «лишенные юмора глаза» армейского следователя, выведенного в той же повести.

Разведчик Мамочкин обманул местных крестьян, на время — и не без выгоды для себя — ссудив их лошадей на другой хутор. Когда же над группой Травкина, идущей по немецким тылам, нависает смертельная опасность (ох, не надо ли и мне «внести в этот вопрос большую конкретность?!»), Мамочкин суеверно усматривает в происшедшем кару за свой поступок. В ответ на его истеричные покаяния Травкин отвечает: «...пойдешь в штрафную роту».

Он говорит об этом как о чем-то само собой разумеющемся, будто возвращение разведчиков к своим непременно состоится. Это лучший способ привести в себя Мамочкина и поддержать дух остальных бойцов.

Не поняв этого, Б. Костелянец побиделся за Мамочкина:

«Какая еще нужна штрафная рота в до-

полнение к тому, что переживает и совершает Мамочкин в эти дни и часы... Но Травкин думает здесь не столько об исправлении реального Мамочкина, шагающего рядом, не столько о существовании дела, сколько о соблюдении каких-то формальных требований».

Поразительно, но здесь в критика вселился тот злой дух недоверия к языку искусства или нарочитого его непонимания, который порой бывает так ощутим в нашей критической литературе.

«Вместо того чтобы сказать читателю: как пуст, смешон и ничтожен мой Онегин, убивающий своего друга в угоду дуракам и негодаям, Пушкин говорит: «и вот на чем вертится мир», точно будто бы отказаться от бессмысленного вызова — значит нарушить мировой закон... Как вам нравится это наивное признание Пушкина, что для него весь мир сосредоточивается в тех малочисленных кружках фешенебельного общества, в которых люди, обожающие «пружину чести», из благоговения к этой пружине стреляются с своими друзьями, против собственного желания и против собственного убеждения?»

Парадоксальность этой писаревской филиппики в том, что на самом деле саркастическое восклицание поэта «И вот на чем вертится мир!» заключает совершенно ясную оценку могивов, сделавших для Онегина «невозможным» отказ от дуэли.

Требовать от поэзии дополнительных разъяснений так же бессмысленно, как заставлять танцующую Уланову попутно говорить о значении совершаемых ею движений.

Разумеется, никто из современных критиков не сделает уже подобного промаха в оценке «Онегина». Перед классиками мы почтительно шаркаем ножкой и... нередко хвалим их по той же методике, по какой Писарев низвергал Пушкина.

Не так давно во Владимире вышла книга Е. Аксеновой «Художественное выражение позиции писателя», привлекаящая разнообразием тематики, хорошим знанием материала и несомненными полемическими способностями. Однако, читая эту книгу, мы с удивлением узнаем, что «Блок впервые в советской литературе показал не только «человека с ружьем», но и процесс превращения массы народных низов в закаленных бойцов революции» и что «особенно подроб-

но этот процесс формирования нового человека раскрывается в образе Петра».

«Все, что было у них от старого мира, они преодолели в себе, «отряхнули» его прах со своих ног», — вот каковы блоковские «двенадцать», по убеждению Аксеновой! Даже Петруха «уже избавился от колебаний»! Видимо, в последнем Е. Аксенова убедилась, читая строки:

И Петруха замедляет
Торопливые шаги...

Он головку вскидывает,
Он опять повеселел...

Эх, эх!
Позабавиться не грех!

Запирайте этажи,
Нынче будут грабежи!

Уже в следующей главке — «Ох, ты, горькое!» — видно, что это за отчаянное «веселье» и какова цена заверениям Е. Аксеновой, будто Блок «подчеркивает, как мужественно преодолевает политически зреющий (!) парень свою печаль».

«Буквализм» в толковании поэтических образов, приводящий Е. Аксенову к явному упрощению блоковской поэмы, свойствен и ряду других ее статей.

«...Герой заходит в кафе... Здесь нет друзей, нет людей, которые «всех дороже и ближе»... Герой покидает кафе: он не найдет общего языка с теми, кто «обеспокоен мыслью одной»: «изящно пляшу ли». Юноша вновь идет на улицу. Вечереет. Он снова обращается с призывом, на этот раз к вечерней уличной публике... И опять без отклика... Ночь. Герой заходит в трактир».

В этом изложении, стиль которого более уместен в пояснениях к опере или балету, разве что цитаты помогут узнать «Облако в штанах».

По мнению Е. Аксеновой, встреча Маяковского с Северяниным произошла в кафе, куда зашел автор «Облака»! Иначе откуда бы, мол, взяты строки:

...из сигарного дыма
ликерною рюмкой
вытягивалось пропитое лицо Северянина

Однако сравнение с ликерной рюмкой, возникающей из сигарного дыма, порождено не мнимой встречей в кафе, а яростным стремлением изобличить этого певца «красивых уютов», уподобив его самого

миниатюрной детали буржуазного комфорта.

В «Очерках советской поэзии» А. Македонова немало тонких и верных суждений. Широта кругозора, стремление всесторонне рассмотреть интересующие критика литературные явления, последовательность и убежденность, с какими он развивает и отстаивает свои взгляды, — ценные качества этой книги.

Стиль А. Македонова несколько тяжеловесен, но иногда в книге встречаешь и такие суждения, отточенности которых можно позавидовать: «По существу, ведь все вечные темы тем и вечны, что вечно обновляются вместе с нами».

Надо отдать справедливость и полемической умелости автора, которая сказывается и в разборе некоторых стихов Леонида Мартынова, вызывающих неодобрение критика, и в его споре с А. Макаровым, несправедливо отдавшим предпочтение «Огоньку» М. Исаковского перед стихами «В прифронтовом лесу», и в возражениях тем, кто, даже весьма положительно оценивая творчество М. Исаковского, сводит все его обаяние к пресловутым «простоте» и «бесхитростности» и к непосредственным заимствованиям из фольклора.

И все же даже автор этой интересной книжки временами подходит к явлениям литературы с заведомо спорных позиций.

Разбирая «Балладу о портрете» Николая Рыленкова, рассказывающую о том, как партизаны вырезали на березе портрет вождя и как этот портрет затем попал в музей, автор пишет:

«...Образ Ленина дан через отражение его в образах партизанской борьбы, родной природы, своеобразной эстетической деятельности советского человека».

Небольшое стихотворение здесь опять-таки механически расчленяется, и отдельным его деталям присваиваются не свойственные им функции. Только при подобном подходе можно так оглечься от реально происходящего в стихотворении, чтобы окрестить работу неведомого партизана «своеобразной эстетической деятельностью советского человека», а само изображение Ленина на березовой коре — «отражением его в образах... родной природы».

Примечательно и то сравнение, которое делает А. Македонов между стихами М. Светлова «Рабфакове» и М. Исаковского «Русской женщине»:

«Широта и высота ее героизма (героини стихотворения М. Исаковского.— А. Т.)— это высота конкретного, простого, повседневного труда и «писем на фронт», а не «высоких костров», и аналогия с Жанной д'Арк кажется бедной и ненужной по сравнению с этой простой лирической историей о том, как женщина «от моря и до моря» «одна» кормила огромную армию, несла «безмерную тяжесть»... И мы видим: это та же женщина, которая не только шила шинели, но и совершала подвиги Зои Космодемьянской, Ули Громовой».

Автор уверяет, что он не считает, будто стихотворение Исаковского лучше. Но волей-неволей он уже бросил тень на прекрасное романтическое стихотворение Светлова — и только потому, что оно, разумеется, не может быть обмерено той же меркой, что и совершенно иное по своему замыслу и художественному языку произведение Исаковского!

В них показаны разные стороны героизма, каждая из которых по-своему высока и требует для своего изображения особых красок.

И как странно, что критик вспомнил Зою Космодемьянскую и Улю Громову в связи со стихами Исаковского, но не уловил, что их образы сродни светловским героиням:

Наши девушки, ремешком
Подпоясывая шинели,
С песней падали под ножом,
На высоких кострах горели.

Так же колокол ровно бил,
Затихая у барабана...
В каждом братстве больших могил
Похоронена наша Жанна.

Читая эти строки сейчас, вспоминаешь уже не только Каховку и Триполье, но и Петрищево и Краснодар.

А. Македону не нравятся «авторские ассоциации и сопоставления с героическими образами женщин прошлого — с Жанной

д'Арк и даже Марией-Антуанеттой» (заметим, кстати, что последняя вовсе не выглядит в стихотворении героиней). Но ведь особый пафос стихотворения именно и состоит в том, что в «подошедших воспоминаниях» рабфаковки о пережитом таится больше красоты и героизма, чем в самых величавых страницах прошлой истории человечества.

Вознамерившись прочитать произведение вне зависимости от того «ключа», в котором оно написано, исследователь рискует совершить грубейшие ошибки.

Недавно очеркист В. Канторович, размышляя о превратностях критических оценок, напомнил характерный случай.

«Можно ли сделать подобный промах? — негодовал один рецензент.— Действие происходит громадное, а мы сидим с юношей в одном уголку картины и смотрим не на общую картину приступа, сражения и отступления — нет, мы смотрим, как чувства испуга, гордости и отчаянной храбрости меняются в душе благородного юноши».

Знакомые упреки! Но нет, это написано не о «Пяди земли» Г. Бакланова и даже не о «В окопах Сталинграда» В. Некрасова.

Так оценивали в «Отечественных записках» Краевского один из «Севастопольских рассказов» Л. Толстого. Больше ста лет назад!

«Широкая концепция» жизни, доверие к языку искусства, вдумчивый, бережный подход к нему, стремление «пользоваться искусством и наукой о прекрасном не для игры или идолопоклонства, но с радостной серьезностью для воспитания человечества» (Гердер) — вот те необходимейшие качества, с которыми критика может смело являться перед лицом читателя.

Тогда она не нуждается ни в обидном сочувствии, ни в несвязных оправданиях, ни в маскардажных костюмах.



М. ТУРОВСКАЯ

★

«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»

*И останутся, как сказка,
Как манящие огни...*

Возможно, если бы скромный герой «Баллады о солдате» мог предположить, какое всеобщее признание, какая мировая слава ожидают его, он проникся бы собственным величием, ощутил бы себя не рядовым Алешей Скворцовым, а по меньшей мере символом рядового человека; возможно, он стал бы демонстрировать свою видимую простоту и скромность с той важной многозначительностью, с той плохо скрытой претензией на «бронзы многопудье», которая — увы! — еще осталась в нашем киноискусстве и порой так портит даже самые лучшие замыслы...

К счастью, над целлулоидной киноплёнкой слава, даже мировая, не имеет обратной силы. И «Баллада о солдате» после всех похвал — справедливых, а порой преувеличенных, умных и тонких, а иногда высокопарных или сентиментальных, — расточаемых ей прессой на всем земном шаре, снова поражает своей свежестью.

Она также свободна (или почти свободна) от ухищрений киномоды, хотя ее современность — в выборе темы, в построении сюжета — несомненна и несомненно сыграла свою роль в популярности картины как среди зрителей, так и среди кинематографистов.

Наконец, фильм человечен, хотя словами «человечный», «простой» мы, пишущие люди, по правде говоря, почти так же злоупотребляем в последнее время, как еще не так давно словами «грандиозный» или «необыкновенный».

Одним словом, это действительно хорошая картина о действительно хорошем че-

ловеке. Она сделана людьми, которые знали, что они хотят сказать.

* * *

Дорога. Фильм начинается с дороги и кончается дорогой. Это пустая дорога, по которой никто не уйдет вдаль, в диафрагму, на поиски счастья, и никто не вернется назад. Это русский проселок, убегающий в поля и перелески, пыльный летом, непролазный осенью и всегда берущий за душу своей томительной бесконечностью. И это извечный для кинематографа (да и до кинематографа) мотив странствий, в которых герой познает мир и самого себя.

Может быть, не будь войны, доехал бы Алеша Скворцов по этому тракту на попутной машине всего до ближайшего городка, чтобы там поступить куда-нибудь в техникум. Но война сорвала его вместе со всеми с места, и на этом проселке он успел только обнять мать, чтобы снова добираться на фронт, откуда на шесть суток дал ему увольнительную генерал...

Эффектные (и, пожалуй, единственно эффектные в очень лирической и мягкой операторской работе В. Николаева и Э. Савельевой) кадры с танком, который преследует Алешу, — еще не начало, еще только как бы пролог к его незатейливой истории. Собственно, история начнется, когда с почти неправдоподобной увольнительной в кармане и с непонимающей улыбкой на лице он выйдет на свою «дорогу». Но уже в этом прологе режиссер и актер В. Иванов намечают главные черты своего героя: естественно присущее ему чувство долга,

до последней секунды удерживающее его у полевого телефона, в окопчике, на который прет чудище — танк; и почти детскую нескрушенность, наивность: связист Алеша Скворцов подбивает танк не с осознанной целеустремленностью ненависти, а в отчаянном наитии самозащиты. И с той же нетронутой наивностью, еще не зная законов житейской дипломатии, просит у генерала вместо награды разрешения съездить домой — перекрыть крышу. Так начинается его недолгое и фантастическое путешествие в тыл.

«Баллада о солдате» — история нескольких дней пути от передовой до родной избы, прохудившуюся крышу которой Алеша так и не успел починить. А там снова проселки, разъезды, полустанки, эшелоны — вся Россия, сдвинутая с места войной...

Надо ли удивляться, что именно в послевоенном кино такое распространение получил мотив дороги — случайных встреч и отчаянных расставаний, внезапной душевной близости и права судить почти не знакомого человека.

Внешне история Алеши Скворцова, как и многие современные картины, бессюжетна. Ведь даже встреча с Шурочкой только эпизод — может быть, более существенный, чем другие, но все же эпизод в его путешествии. Картина, как и многие современные картины, состоит как бы из ряда «новелл». Одни, как история инвалида, несмотря на свою краткость, имеют завязку, кульминацию и развязку. Другие, как знакомство с Шурочкой, кончаются ничем, обрываются, чтобы никогда не возобновиться. Действующие лица на какое-то время входят в поле зрения Алеши, потом исчезают и больше не появляются. Да и судьба самого Алеши не имеет сюжетной развязки, потому что его смерть, о которой мы узнаем в самых первых кадрах фильма, никак не связана с его путешествием.

Фильм строится, как хроника, — из почти бессвязных кусков действительности, которая встречает Алешу по пути домой сутолокой печальных и нищих военных рынков, внезапным надломом человеческих судеб, тяжким женским трудом, горем, стойкостью, надеждой. Так строятся многие военные и послевоенные фильмы, и тот, кто пережил войну, будучи уже достаточно взрослым, оценит, как много горькой и неприкрашенной правды в разрозненных эпизодах картины.

Дорога — вот то, что составляет единство и непрерывность фильма, его ритм, его движение, нечаянное сцепление эпизодов, где все случайно и все исполнено значения для зрителя и для героя.

Да, конечно, картина бессюжетна только по форме. Только внешне ее движение от платформы к платформе, в перестуке колес, в мелькании пейзажа сквозь щели теплушки, за окнами пассажирских вагонов.

Да, конечно, дорога Алеши Скворцова — это дорога познания жизни.

В разнообразии случайностей, поджидающих героя на каждом разъезде, есть своя логика — это логика его собственного характера, так счастливо проявившего себя еще на передовой (в окопчике, в генеральском блиндаже) и столь же естественно осуществляющего свою простую и ясную мораль в невеселых перипетиях тыловой жизни.

А жизнь эта — пусть ее всего-то четыре дня — каждый раз дает знать о себе какой-нибудь коллизией, какой-нибудь человеческой судьбой. То это рыбой гаер-солдат, едущий на верхней полке вагона, то тетка-шофер, устало задремывающая за рулем допотопного грузовика, то и дело глохнувшего в размыгой дождями дорожной грязи, то солдатская жена, изменившая мужу, то девушка, тайком забравшаяся где-то на полустанке в ту же теплушку, что и Алеша. И что ни человек, то вопрос.

На одни вопросы жизнь не требует от Алеши ответа, позволяя ему оставаться только свидетелем чужой судьбы или чужой беды. Что мог бы он сказать рябому солдату, скоротавшему несколько выпавших ему мирных ночей с чужой женой? Чем помочь тетке, у которой сын — вот такой же, как он, парнишка-фронтовик — не дает о себе знать?

В другие судьбы — волею случая или по доброте, чистоте и справедливости своей — Алеша вмешивается, теряя драгоценные отпускные часы и приобретая нечто, что можно было бы назвать жизненным опытом, если бы только мы не знали, что этот опыт едва успеет пригодиться ему, сложившему голову где-то у деревни с нерусским названием. Происходит то, что мы называем формированием характера, и дорога Алеши Скворцова в родную деревню становится его дорогой к самому себе.

Он мог бы оставить инвалида, которому помог поднести чемодан, одного и успеть

на свой поезд. И авторы фильма не скрывают, что промедление на первых порах сердит Алешу. Но он не уезжает, потому что бросить человека в момент, когда может пойти к черту вся его жизнь, — не в характере Алеши.

Он мог бы и не взять поручение к жене у встречного солдата, а взяв, выполнить его не более чем добросовестно. И действительно, Алеша едва не забыл отнести по адресу переданные ему два куска мыла, а отнеся, едва не оставил их у женщины, которой уже не нужна эта солдатская забота. Но он вернулся за подарком, он разыскал отца незнакомого ему солдата и оставил два куска мыла там, где они нечто большее, чем просто два куска очень дефицитного мыла, — в бывшем спортзале, где общая беда объединила и сделала близкими многих людей из разбомбленных домов и где горе и радость делятся поровну на всех. Он мог бы не сделать этого, но таков его характер.

Он мог бы не пожалеть Шурочкиной столь агрессивно оберегаемой, насмерть перепуганной чистоты. И действительно, ее близость в пустой, закрытой на засов теплушке дразнит его чувства. Но, взволнованный этой близостью, может быть впервые в жизни задетый за сердце, он откажется от всякого сближения даже тогда, когда она сама его предложит, чтобы чистой довести девушку к ее со страху выдуманному жениху.

Таков Алеша Скворцов, и таков его характер. Когда жизнь предлагает ему вопрос, он отвечает на него ясно и определенно. Не обязательно самым первым душевным движением — оно может быть у него, как у всякого, и эгоистическим и чувственным. Но с той же естественностью и простотой он отбрасывает его, чтобы поступить человечно и благородно.

Да, солдат Алеша Скворцов прошел свой короткий путь очень прямо и очень просто. Отчего же все-таки фильм оставляет такое светлое, но и такое шемящее, такое томительное чувство?

Может быть, для того чтобы понять особенную природу этого фильма, секрет его поэтичности, лучше всего сравнить его с фильмами «Летят журавли» М. Калатозова и «Судьба человека» С. Бондарчука — картинами о войне, которые так же, как «Баллада о солдате», составили в последние

годы славу нашего киноискусства на мировом экране.

Вообще тема войны приобрела в последнее время на экране, да и в литературе, такую всеобщность, какой она не знала, кажется, со времен самой войны.

То есть тема эта, конечно, не прерывалась в искусстве, но ее отодвигала современность со своими актуальными проблемами, и война присутствовала больше как далекий фон, как предыстория действия, а не как само действие.

В последние годы художники кино во всем мире снова обратились к войне уже не как к фону, не только как к предыстории действия, но и как к самому действию, как к материалу, сюжету, теме, проблематике своих картин.

Оно и понятно: угроза новой войны рождает антивоенную тему в искусстве. К этому можно прибавить: в кинематограф пришло поколение художников, для которых война была их юностью, временем формирования их человеческой личности.

Для них опыт войны (пусть совсем иной, чем это отразилось на экране) был их личным душевным опытом, их биографией, а молодые герои фильмов — их сверстниками. Недаром сценарию «Баллады о солдате» его авторы В. Ежов и Г. Чухрай предпослали слова: «Нашему сверстнику, солдату, погибшему в боях за родину, посвящается этот фильм».

Но если бы дело шло только о том, чтобы «выговорить» свои ранние и жгучие впечатления, воспроизвести увиденное, то мы имели бы в лучшем случае хорошие исторические фильмы. Ведь даже для сверстников Алеши Скворцова война — это уже история. Между тем всеобщность интереса к этим фильмам говорит об их современности. В то же время картина М. Калатозова, например, обобщила весь мир, свидетельствует, что не только для молодых кинематографистов возврат к войне — это попытка снова обратиться к истокам многих сегодняшних проблем, отыскать в жесткой и четкой действительности войны мерило человеческих поступков и душевных качеств, проверить или переосмыслить нравственные устои. Каждый художник и каждый фильм по-своему решают эту задачу. «Баллада о солдате» занимает среди современных фильмов о войне свое собственное, совсем особое место.

В самом деле, в каждой из последних картин о войне есть своя тема, свой особенный взгляд на прошедшее, своя художественная и человеческая задача.

В свое время, когда фильм «Летят журавли» только что вышел на экран, споры вокруг его формальных особенностей и приемов заслонили до некоторой степени его главную тему (так случилось и с автором этой статьи). Теперь, по прошествии времени, видно, что значение этого фильма было не только в том, что он снова напомнил о кинематографической выразительности в кинематографе (некоторые мотивы оператора С. Урусевского стали после «Журавлей» буквально навязчивой идеей на экране), но и в человеческой ноте, прозвучавшей в нем.

Может быть, впервые в эпизодах проводов на фронт кинематограф сумел охватить необъятность общенародной беды, сдвиг всей мирной, привычной жизни, слом человеческих судеб. И впервые в судьбе Вероники этот слом был показан без поверхностной нравоучительности, но и без жалостливого сюсюканья — с мужественной и пронзительной человечностью. Характер Вероники явился художественным открытием авторов фильма потому, что в самой ее слабости и житейской незащищенности они угадали скрытую энергию сопротивления, ту духовную неуступчивость, ту верность идеалу, которую житейский компромисс, видимая податливость обстоятельствам не подавляют, а, напротив, вызывают к жизни и укрепляют.

Война — бедствие, и война — испытание. Так показали войну создатели фильма «Летят журавли».

«Судьба человека» мало чем похожа на «Журавлей», хотя и здесь война неумолимо вторгается в человеческую жизнь разрушением и смертью близких; и здесь человеческая судьба складывается неблагоприятно и непрямой (если вообще можно говорить о чьей-нибудь «благополучной» судьбе в войну); и здесь личное горе — только частица общенародного, общечеловеческого горя. И здесь из отчаяния рождается стойкость. Но в «Судьбе человека» акцент на другом.

Эшелоны военнопленных и безмятежный мотивчик «О донна Клара!», под который детей деловито отрывают от матерей (благо музыка заглушает истощные крики),

расчерченная правильность планировки концлагеря, черно дымящая труба крематория, вся эта налаженная, выверенная, аккуратно работающая машина человекоуничтожения — и человек, униженный, пригнетенный и все же не сломленный, борющийся за свою жизнь, — вот, пожалуй, самое сильное в этом фильме. Живое, теплое, индивидуальное, человеческое, способное страдать и сопротивляться, желать, надеяться, любить — и бездушное, разрушительное, обезличивающее, нечеловеческое: фашизм. И там, где он затрагивает это живое, органическое — дом и скворечню во дворе, жену, детей, — человеческое сопротивляется, становится народным и всенародным.

Таковы были новые мотивы последних фильмов о войне, которые принесли этим картинам невиданную аудиторию и мировое признание.

Достоверность в изображении голодного и сурового военного быта, усталые лица женщин, тяжелые слова военных сводок из репродукторов — все это в «Балладе о солдате» может напомнить и «Журавлей» и «Судьбу человека». Но, разделяя с этими картинами стремление к правдивости в изображении войны, «Баллада о солдате» отличается от них своей тональностью, выбором героя, всем своим строем.

В самом деле, герой «Баллады» вовсе не знает тех вынужденных компромиссов, той неумолимости выбора, которые выпадают на долю юной Вероники; не испытал он и сокрушительных потерь, изранивших сердце Андрея Соколова. Правда, он сталкивается с изменой и корыстью; правда, едва найдя свою недолгую любовь, он теряет ее и расстается с Шуручкой. Но даже печаль этого расставания светла, и, может быть, лучше, что они расстались так и Шура никогда не получит похоронную на своего Алешу...

Есть в тональности этого фильма — в светлом строе тонкоствольных березок, плывущих за окнами вагона, в юных лицах Алешки и Шуручки, просвеченных лучом солнца сквозь щели теньюшки, в чистоте и недосказанности их отношений, в плавном, немного замедленном, как будто напевном ритме, с каким один эпизод переливается в другой, — нечто, не укладываемое в рамки хроники, которая составляет его внешнюю форму; в реальности и жизненной достоверности его эпизодов — нечто идеальное. Недаром даже образ разрушения и

смерти является в нем в образе красавицы дивчины с головой в ромашках, убитой при бомбежке поезда.

Это идеальное — вторая стихия фильма, столь же равноправная в нем, как первая. И столь же правдивая, невыдуманная.

Правдивая не только потому, что чистая любовь существует и мальчики Алешиного поколения скорее всего вели бы себя именно так, как Алеша, но оттого, что это правда отношения создателей фильма к своему прошлому, к своей фронтовой юности.

Хроника и сказка, легенда. Во всех событиях фильма есть невыдуманность хроники, но есть и непреложность нравственного закона сказки, где хорошее равно счастливому, а дурное несчастливо, где герой никогда никого не оставит без помощи и никогда не ошибется именно благодаря своей наивности. Вот почему, вероятно, Ежов и Чухрай назвали картину не «повесть об Алеше Скворцове», не «история», а баллада — «Баллада о солдате». В этом сочетании хроники и сказки — неповторимость, в этом своеобразии и обаянии картины, особенно благодаря поэтической высоте и свежести исполнения ролей Алеши (Володя Ивашов) и Шуры (Жанна Прохоренко).

Алеша нечаянно вмешивается в судьбу инвалида, мучающегося сомнениями, ехать ли ему домой, к жене, которую и прежде он ревновал, а теперь?.. Здесь все верно — и то, что инвалид (артист Е. Урбанский) сильный мужчина: такие тяжелее переносят физическую неполноценность; и то, что жена его (Э. Леждей), молодая и красивая, тоже не из тех, кто жалеет, кто охотно и с радостью жертвует собой. И то, что встреча их не растроганная, а страстная, надрывная, за которой они совсем забывают Алешу. И такая простая и точная житейская деталь: удаляясь по перрону, она все время хочет взять его под руку — и все время мешает ему идти на костылях, пока они оба не понимают, что идти рядом и жить вместе им придется переучиваться заново...

Мог бы быть у этой истории и несчастный конец, но — сильные характеры — они заслужили свое горькое счастье.

А женщина, которой встречный солдат в самом начале Алешиной «дороги» просил передать свою любовь да два куса мыла — все, что могла от души подарить счастливцу, повстречавшему земляка, вся команда?

Она не дождалась, ушла к другому. В квартире (благо, что есть квартира) по военному времени достаток, на спинке стула офицерский китель. А у женщины усталое, будто стертое лицо. Она несчастлива в своем довольстве, и Алеша не жалеет ее — он судит ее по всей солдатской совести. А солдаты, которые шли на фронт и отдали единственное свое достоинство, — они были счастливы. Счастливы, потому что правы, а она неправа и, значит, несчастлива.

И взяточник-солдат, который пускает Алешу в эшелон за банку тушенки (его, кстати, можно было сыграть и позже, в сценарии он написан не так добродушно), живет в вечном беспокойстве. Для него лейтенант — «зверь», а для Алеши — молодой и усталый, умный и добрый человек...

Все это могло бы прозвучать нравоучительно, но именно так видит мир Алеша со свойственным ему чувством справедливости и долга, с цельностью и ясностью своего взгляда на жизнь.

Нет, Алеша в исполнении Володи Ивашова вовсе не благолепный «отрок». Обычный наш девятнадцатилетний парнишка, недавний пионер, прямо из деревенской школы угодивший на передовую, немножко смешной в своей наивности, немножко лукавый, откровенно, но не шумно презирующий взяточника, взволнованный близостью девичьего тела, но органически порядочный и чистый, хороший боец, хороший сын — просто хороший человек...

Правда жизни, правда характера соблюдена, а идеальное в нем настолько естественно, что не создает никакой натяжки. Ведь «сказка» — это не всегда ложь, как мы привыкли иногда подразумевать в своем повседневном обиходе. Сказка — это также отбор лучшего в народном опыте и в народной памяти. Именно в этом смысле фильм Чухрая — сказка, как «штурмовые почи Спасска», как «манящие огни» Волочаевских дней: да, это фильм-воспоминание о погибших товарищах, о собственной юности, — надо ли удивляться, что память, сохранив все, отобрала лучшие и самые светлые черты? Да, это баллада — баллада о юноше, который был солдатом и погиб, как солдат, не успев стать ничем иным...

Не успел — в этом, может быть, и есть шемпящая нота фильма. Его герой честно воевал, он помогал тем, кто послабее, пре-

зирал ложь и жадность, он полюбил девушку хорошей и светлой любовью — и погиб в преддверии своих двадцати лет.

Он не встретился, как Вероника или Андрей Соколов, ни с одним из слишком сложных и мучительных вопросов, с которыми жизнь столкнула многих его сверстников.

Он принадлежал к поколению — или к той части военного поколения, — судьба которого оказалась и сурова не в меру и в то же время светла. Сурова, потому что, как ни говорите, обидно вот так погибнуть в свои девятнадцать мальчишеских лет и, не дождавшись счастья, отдать жизнь где-то на чужой земле. И светла, потому что, отдавая свою жизнь, он знал, за что отдает ее, знал, против чего идет в бой, и не жалел себя. Жизнь спросила с него по самому высокому счету — и он расплатился, не задумываясь, со всей самоотверженностью своей честной юности. Но жизнь никогда не спрашивала с него по тем мелким, унижительным счетам, где есть страх и отчаяние, одиночество и беззащитность перед свинством, гибель близких, предательство друга, наконец, слишком раннее знание темных сторон жизни — испытания, с которыми пришлось столкнуться той же самой Веронике или девочке с таким недетским, все

понимающим взглядом, которая стояла возле Алеши, когда отец солдага, пославшего жене мыло, говорил: «Скажите еще... Лиза, жена его... работает. Шлет привет». Отцовская ложь — святая ложь, а для нее — просто ложь, калечащая душу...

Фильм-память и фильм-преддверие. Фильм о времени жестоком и все-таки прекрасном для тех, кто, как Алеша Скворцов, шел прямым путем и отдал жизнь за правду и за свободу для всех. Фильм-хроника и фильм-баллада о счастливой и горькой солдатской доле и о том, что идти вперед «с правдой вдвоем» и есть счастье. Фильм-дорога, по которой никогда уже не вернется Алеша навстречу своей несостоявшейся любви...

Ну а Шурочка? Куда пойдет она, с размаху выбросив в придорожную канаву узелок — все свое достояние, потеряв единственного друга, и защитника, и любимого? Как сложится ее судьба? Несчастливо, как у Вероники? Или светло и высоко, как у Алеши? Что ждет ее на этой жизненной дороге и какую печать оставит в ее душе строгая и честная молодость, ее первая любовь и простая солдатская правда?

Об этом расскажут нам новые советские фильмы...



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В. Кардин. «Далеко вперед видел он...». — **Лев Озеров.** Он возвышаться не любил. — **А. Берзер.** Победа и поражение Ильаса. — **В. Шитова.** В «окончательной форме гротеска»... — **Б. Брайнина.** Живое дыхание книги.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Спасский. Ленинские страницы. — Профессор **М. Баскин.** Работа по истории русской общественной мысли. — **И. Забелин,** кандидат географических наук. Явление науки — достояние культуры. — **М. Сидоров,** кандидат философских наук. Оптимистическая книга — **Л. Ельницкий.** Роман о науке и научная романтика.

Литература и искусство

«ДАЛЕКО ВПЕРЕД ВИДЕЛ ОН...»

Владимир Михайлов. Суровое счастье. Драматические сцены.
«Звезда», № 11, 1960.

В студеный вечер лютой зимы 1921/22 года за слабо освещенным столиком человек читает журнал. Отвращение, гнев, презрение берут верх над привычной сдержанностью. Журнал отброшен. «К черту! К черту...»

Комната пуста, большая комната бывшего барского дома. За тяжелыми шторами угадываются покрытые пушистой изморозью окна, сугробы, наметенные тоскливо воющим ветром. Рассохшийся паркет скрипит под башмаками. Человек яростно спорит с журналом, отпечатанным где-то в берлинской типографии на добротной-глянцевитой бумаге. С журналом? Пожалуй, с самой «неизящной действительностью». Спор его особого рода. Действительность нельзя отбросить. Но можно постичь сокровенные закономерности ее. В сложнейшем переплетении противоречий рассмотреть недоступное не только скептикам из эмиграции, но и многим находящимся здесь, захваченным разливом неостывающих страстей. А если познать, если разглядеть, если безошибочно определить перспективу, найти архимедову

точку опоры и собрать силы для того, чтобы перевернуть весь уклад голодной, разоренной Руси, то тогда посмотрим — кто кого.

Пьеса Владимира Михайлова «Суровое счастье» могла бы называться «Кто кого». Капитализм, эгонстическая стихия собственника («Сухаревка, живущая в душе и действиях большинства из нас») — или никем никогда не виденный коммунизм, который иные, даже сочувствующие ему, почитают за благородную, но несбыточную мечту.

В монологе Владимира Ильича Ленина, открывающем пьесу, — напряжение бесстрашно ищущей мысли, сила всеокрушающего предвидения. Мы становимся свидетелями необычного, лишенного внешней живописности подвига — подвига мысли, подвига могучего интеллекта.

«Героизм его, — писал Горький о Ленине, — почти совершенно лишен внешнего блеска, его героизм — это нередкое в России скромное, аскетическое подвижничество честного русского интеллигента-революционера, непоколебимо убежденного в возмож-

ности на земле социальной справедливости... Проницателен и мудр был этот человек, а «в многоты мудрости — много печали».

Далеко вперед видел он...»

Лениниана, создаваемая советскими драматургами, пополнилась новым произведением, автор которого стремится прежде всего воссоздать силу, бесстрашие, широту и гибкость ленинского мышления, его трезвое понимание реальной действительности и его умение воздействовать на нее.

В Ленине, каким он предстает перед нами с первых фраз своего тревожно захватывающего монолога, в движении, которым он отталкивает и снова берет журнал, в его манере говорить, спорить очень много от русского интеллигента-революционера. Но интеллигентность эта помножена на гениальную прозорливость, беспримерный размах. Все помыслы и чувства пронизаны сознанием своей глубочайшей ответственности перед рабочим классом, народом, историей.

Всматриваясь и вдумываясь в судьбу страны и смысл происходящего, Ленин этим выюжным вечером ищет наиболее весомые доводы вовсе не для того, чтобы переубедить незримого противника, — бог с ним, прощателем из эмигрантской подворотни! — но для того, чтобы подтвердить свои сообщения, чтобы убедить Россию в правильности пути, по которому ведут страну большевики. В комнате со шторами и тусклой настольной лампой звучат набатные слова:

«Пятый год мы расчищаем почву под здание коммунизма... Но на расчищенной от одного поколения почве постоянно в истории являются новые, лишь бы почва была налицо, лишь бы она рожала, а рождает она буржуев сколько угодно. И может родить новых Кавеньяков и Наполеонов, именно на этой мелкособственнической почве и произрастающих... Толпы ретивых хозяйчиков уже пробудились, уже штурмуют город, рвутся в партию, в Советы, в науку — волокут, втаскивают, втискивают, сеют, как заразу, свое умоначертание, свои навыки мысли, свою вековечную премудрость алчных хапуг, стяжателей и скопидомов. И такими же будут стараться воспитать сыновей и внуков... Но вы, любезные скептики, рано торжествуете. Плуг истории пашет глубоко, и на сей раз — глубже, чем в прежних революциях...»

Ленин раздумчив и саркастичен, остер и гневен. Он не закрывает глаза на величайшие трудности, однако его целеустремлен-

ная мысль добирается до окончательного вывода, против которого ничто не устоит. «А русский народ — неграмотный, нищий — начал... уже начал строить коммунизм. Лед сломан! Путь открыт! Дорога показана!»

...Едва ли можно представить себе что-либо более сложное в творчестве, чем создание образа Ленина. Каждый из художников, работающих над образом Ильича, вряд ли ставит своей целью всестороннее воссоздание его духовного и интеллектуального облика.

Создание образа вождя требует коллективных усилий, это задача всего нашего искусства. Советские писатели, артисты, режиссеры, живописцы и ваятели с воодушевлением и стойчивостью трудятся над ее решением. Успехи их всем известны. Драматург В. Михайлов сказал свое, заслуживающее внимания читателей и театра слово в этой области художественных поисков и гражданских раздумий.

В первой сцене «Сурового счастья» мы слышим взволнованную речь Ленина, его раздумья о судьбах России, в последней — присутствуем при завершении его беседы с Машей Касьяновой, крестьянкой из голодающего Поволжья. Это Машин дробный стук в окно прервал в первой сцене напряженное течение ленинской мысли. Это ее горе (секретарь укома Авдеевко разорвал Машин партбилет, назвав ее «беспартийной гнилью») насторожило Ленина. Это Машин мучительный, вырвавшийся из глубины души вопрос: «Товарищ Ленин! Что же нам делать? Как жить?!» — раздвинул стены заснеженного подмосковного дома.

И словно эхом прозвучал этот выкрик в следующей сцене, в испепеленном засухой селе Белоярском: «Как жить? Нет нашего согласия голодную смерть принять!»

Действие перемещается не только в пространстве, но и во времени. Оно вернулось назад, к лету 1921 года, к завязке, к истокам событий, которые через беды и потрясения приведут Машу Касьянову к Ленину.

Автор «Сурового счастья» вообще не чуждается острых сюжетных поворотов. Есть в пьесе и неожиданные покушения, и тайные встречи, и ошеломляющие узнавания. Но в драме нет ничего надуманного, искусственного. Цель ее — значительная. И этой цели подчинены приемы драматургического воздействия.

В резком, контрастном переходе от первой сцены ко второй есть своя последователь-

ность. Переключающий действие вопрос «Как жить?» служит как бы звеном, соединяющим ленинские мысли с судьбами затерянного в среднерусских степях села Белоярского, с судьбами каждого из его жителей — Никиты Лыткина и Автонома Посохова, Исаея Ускова и Кирея Салазкина, Кузьмы Касьянова и Семена Букина.

По ходу пьесы крестьяне эти непосредственно не соприкасаются с Лениным. Но разве величие и народность ленинского мышления раскрываются лишь в непосредственном общении?

Пьеса В. Михайлова примечательна тем, что в ней не декларативно, не в отдельных речах и фразах, а самым развитием сценического действия, движением характеров раскрыт демократизм ленинских идей, их насущное значение для любого уезда, города, села, для каждого человека.

Маша Касьянова, единственная коммунистка в Белоярском, вдова красного бойца и молодая жена Семена Букина, Маша Касьянова, чей партийный билет в приступе ярости разорвал секретарь укома Авдеенко, не могла не прийти к Ленину. Как жить ее землякам, которым грозит новая кулацкая кабала (в страшную, голодную зиму за несколько пудов хлеба кулаки с помощью Семена Букина скупают у крестьян весь будущий урожай)? Где спасение от нужды, темноты, голода? Как быть ей самой, ожидающей ребенка от Букина, Букина — любимого мужа, Букина — врага, чей хищный оскал она внезапно увидела?

В вопросах, хватающих за горло Машу Касьянову, — сложность времени, когда новые формы отношений — экономических, общественных и, наконец, личных — еще только складывались.

Встреча Ленина и Маши — это идейный и драматический центр «Сурового счастья». Все столкновения и споры, все противоречия и борения исподволь готовят приход крестьянки к вождю. По мере того как нагнетается напряжение, усиливается драматический накал, нам все более очевидна общественная суть Машиной трагедии. Маша должна получить ответ из первых рук, от того, в ком сосредоточена мудрость и воля партии.

Маша стала коммунисткой, выполняя завещание погибшего мужа, бойца Красной Армии. И, став ею, она преисполнилась великой надежды. Коммунизм виделся ей близким и светлым царством свободы и ра-

дости. А тут — наползает голодная смерть, а тут — разбушевавшаяся стяжательская стихия, а тут — антисоветские заговоры, а тут — Авдеенко с его настороженным невзглядом в крестьянство, с его угрозами.

Вера едва знающей грамоту Маши в коммунизм — инстинктивная, она — от внутренней, свойственной людям труда потребности в правде, честности, справедливости. Невзгоды, испытания могут ее ослабить, даже разрушить, и она оставит по себе неизбывную горечь. Не исключен и иной исход. Вера в лучезарное будущее оторвется от нынешней земной реальности и на легких крыльях заоблачной мечты поднимется в туманную высь религиозности.

Ленин глубоко понимает обе опасности, нависшие над измученной, растерянной Машей. Ему, однако, ведомо и средство, предохраняющее от этих опасностей.

«М а ш а. ...Владимир Ильич! Видать, вы крепко верите, что люди построят... коммунизм?»

Л е н и н (*быстро*). Верю? (*Проникновенно, с силой*.) Нет, я знаю, я твердо знаю, что коммунизм будет построен. Жизнь... Она докажет!»

Глубокое, марксистское постижение жизни во всей ее сложности, со всеми ее предвиденными и непредвиденными изгибами превращает стихийную веру в неколебимую убежденность. Значит, надо во здесь, в этой же комнате подмосковного дома, вместе с Машей разобраться в запутанном лабиринте противоречий, отслонить преходящие трудности от длительных, порожденные субъективными ошибками — от объективно неизбежных. Ни от чего не отмахиваться, ни на что не закрывать глаза.

«Конечно, силой можно действовать скорее, чем убеждением, но результат будет обратный, — размышляет вслух Ленин. — Прошлое развратило человека собственническими привычками. Загнать болезнь внутрь — легко. А кто знает, какие обличья может принять в будущем стяжательство, стремление «выбиться в люди», желание вести праздную жизнь.

М а ш а. Не знаю.

Л е н и н (*улыбается*). И я не знаю. И сегодня никто еще этого не знает и знать не может. Практика не дает достаточного материала для выводов. Тут действовать нужно умом, а не нахрапом».

Всесторонний, всепроникающий анализ практики позволяет Ленину увидеть мно-

гообразные проявления мелкобуржуазной стихии, захлестывающей изголодавшееся село, разрушенный город. И не только это. Ленин видит опасность паники перед нэпом, растерянности перед стихией. От такой паники, от такой растерянности рождается мелкобуржуазность навыворот — неверие в трудовую душу крестьянства и упование на силу и нажим.

Маша склонна оправдать Авдеенко. Это, мол, от благородного негодования: узнав, что она любит Букина, он разорвал ее партийный билет. А Ленин уже говорит, что средства, к которым прибегают Авдеенки, «могут вызвать только недоверие к нашему делу, могут причинить нам много горя и неприятностей».

Но устремленный в будущее взгляд Ленина различал и неизбежный конец таких, как Авдеенко. Неизбежный, потому что ход истории, сама жизнь неумолимо отбросит их в сторону.

Оптимистическая, передающаяся собеседнице убежденность Ленина питалась не только трезвым анализом действительности, но и верой в созидательный энтузиазм раскрепощенных людей, верой в партию и ее кадры. Один из таких партийных работников двадцатых годов выступает героем «Сурового счастья». Это — Иван Козырев.

Поначалу мы замечаем нечто общее между Козыревым и Авдеенко. Оба они прошли школу подполья, оба беззаветно сражались в гражданскую войну, а ныне не жалеют сил в служении партии. Но драматург увидел разницу в этой беззаветности. Для Авдеенко идеи существуют независимо от людей, как некий свод безупречно сформулированных истин. Авдеенко готов денно и ночью трудиться ради того, чтобы очистить людей от скверны прошлого, в крайнем случае соскрести ее вместе с кожей; потом, умытых и чистых, повести вперед, воодушевляя пламенным словом, а при нужде — подгоняя пинком. Величие цели и собственная безупречность оправдывают, с его точки зрения, суровость обращения.

Козырев же не отделяет идеи от людей. В идеях для него сконцентрированы сегодняшние человеческие потребности и извечные мечты. Идеи эти пропахли потом и пропитаны кровью многих поколений, задушенных подневольным трудом.

Нагляднее всего разнятся Авдеенко и Ко-

зырев своими представлениями о роли и праве вожака-коммуниста.

Авдеенко рубит: «Мы — у руля, и мы командуем: смирно! Руки по швам!»

Козырев в ответ на вражеские обвинения в том, что у коммунистов, мол, особые пайки и особые права, резко бросает:

«У настоящего коммуниста есть только одно право — первым стать грудью на защиту революции, вести за собой народ. Дальше следуют обязанности».

Перед нами два партийных работника, два стиля деятельности. Для ленинского выученика Козырева (он посещал кружок, который вел сосланный Ильич) неизменно стремление найти убеждающие людей слова, способные сделать их сознательными участниками событий. Авдеенко уповает на нахрап, нажим, угрозу. Козырев — последовательный проводник ленинских идей. Авдеенко — их извратитель, хотя и не очень явный. Но он уже тревожит Ленина. Владимир Ильич, объясняя Маше сущность Авдеенко, настораживает ее против него.

Может возникнуть вопрос: а не слишком ли многое Ленин «объясняет» в пьесе?

Да, он «объясняет», «объясняет» мудро, терпеливо, с той силой проникновения, какая доступна была только ему. И именно в этом объяснении, осмыслении, убеждении раскрываются в пьесе величие Ленина и его черты вождя и идеолога народных масс, раскрываются вместе с тем его индивидуальные качества — доброжелательность, высокая культура взаимоотношений, способность внимательно выслушать собеседника и тактично, деликатно, с удивительной человечностью прийти ему на помощь.

Авдеенко взорвался, услышав, что Маша любила Букина. «Кулака?! Ненавистника советской власти? Да как ты посмела... Сюда, в комитет партии? Тварь... Встать!..»

Маша преисполняется сознанием того, что ее любовь к Букину — величайшее преступление. В этом преступлении она должна признаться Ленину.

«М а ш а. Может... я и сейчас Семена люблю.

Л е н и н. Вырвать из сердца привязанность, дружбу — куда как нелегко, а уж любовь... Но это пройдет. Не скоро, но пройдет.

М а ш а глубоко вздыхает.

Понимаю... Все понимаю... Нелегко вам будет... особенно, когда Букина выпустят.

М а ш а (встрепенувшись). Выпустят?

Ленин (*сухо*). Максимова расстреляют, а Букин... Отсидит в тюрьме и воротится домой. (*Пауза*.) Воротится.

Смотрит Маше в глаза. Она их не опускает. Так оба и стоят друг против друга.

Маша (*резко*). А что я сыну скажу, когда он меня за отца спросит? Что я ему скажу?

Ленин. Скажете правду!

Маша *снижает, сжимается*. Ленин *растерян, хочет положить ей руку на плечо, но не кладет. Беспомощно оглядывается, отходит к окну, возвращается*.

Ваша жизнь...

Маша (*перебивает*). Что моя жизнь? Конечная моя жизнь... Конечная...

Ленин. Ваша жизнь еще только начинается. Вы за Букиным не пошли, а это самое драгоценное. В этом залог нашей безусловной победы — какие бы трудности ни стояли перед народом».

И мы снова узнаем присущий ленинской мысли ход: от изломанной женской судьбы, которую он осторожно, стараясь не причинить боли, распрямляет, — к судьбе народа, страны, коммунизма; от широкой идеи — к проблемам села Белоярского. Где же спасение белоярских мужиков от голода, разрухи, кулацкой кабалы? Где? «А вы, товарищ Касьянова, попробуйте объединить усилия ваших соседей... Пусть они убедятся, что выгоднее хозяйствовать сообща...» И мысль поднимается на высоту, с которой обозримо грядущее.

На пересечении революционно-преобразующей идеи Ленина с конкретными человеческими судьбами и построена пьеса В. Михайлова. Это предполагает, с одной стороны, умение подчеркнуть в образе Ленина черты пронизательного мыслителя, а с другой — способность воссоздать пестроту и сложность социальных отношений двадцатых годов, ту самую стихию, о которой Ленин в своем начальном монологе говорит: «Либо партия подчинит эту стихию своему контролю, своей воле, сумеет организовать народное движение вокруг себя, тяжелым трудом, практическим успехом тяжелого труда докажет, что выгоднее идти новой дорогой, выгоднее жить пословицей «Один за всех, и все за одного!» Либо... некий маленький, чумазый — число ему миллион — скинет нас. И тут уж по советской власти в России — панихида».

В тревоге, голоде мечется деревня. Слепая от горя, от вида пухнувших детей, она готова поверить ложным посулам и усомниться в честном обещании. Ташкент — вот благодатный край. «За сто рублей, благодаря господу, двадцать три пуда муки и трех верблюдов дают!.. В Ташкенте народу нехватка. Рабочие руки в цене...» А городская помощь — обман, выдумка. «Слыхано ли дело, чтоб человек по своей воле от себя кусок отнял и другому отдал...»

В сценах народного потрясения мелькают люди — и те, что охвачены отчаянием, и те, что противятся ему, и те, что норовят из этого отчаяния извлечь корыстную выгоду, политический барыш. Сталкиваются характеры, страсти, устремления. Голод делается ставкой в игре, какую ведет по-волчьи ошестившийся савинковский двойник Максимов, один из организаторов заговора в Поволжье. На бурлящую, выбившуюся из берегов стихию его главная надежда. («Ты когда-нибудь видел, как переселяются крысы? Вся жизнь замирает вокруг! Их нельзя остановить! Мы организуем исход крыс! Великое переселение народов!»)

Массовые сцены — с резкой полемикой, с упреками, обличениями, с неизбежными колебаниями крестьянской толпы, с жадными поисками путей к хлебу и правде — закономерно занимают значительную часть пьесы. Лишь ненадолго освобождается площадка для малолюдных встреч и потаенных объяснений. Но и такого рода встречи и объяснения словно выхвачены из общего потока. Даже в интимнейший поначалу разговор Маши и Букина врывается время с его тревожными исканиями и непримиримыми разногласиями.

В пьесе В. Михайлова массовые сцены не многофигурные иллюстрации, толпа не хор, предназначенный для единодушного одобрения либо осуждения. Они основное русло народной жизни, русло своевольное и прихотливое, но вместе с тем неумолимо текущее в том направлении, о котором говорил Ленин в начале пьесы и которое он с такой ясностью определяет в конце. Массовые сцены тем более значительны, что автор в них — при большой концентрации действия и речевой насыщенности — сумел определить психологическую сущность каждого из крестьян. Социальная определенность образа не скрадывает его индивидуальной неповторимости.

Однако, когда дело доходит до кое-кого из вражеского лагеря, то здесь привычные маски, покоящиеся в костюмерных, к сожалению, нашли себе применение. Поэтому, надо полагать, не лишен картинного мелодраматизма Максимов, гротескно угодлив конторщик Сорокин («Революционно благодарю-с») и привычно примитивны в своем стяжательстве кулаки Сергунов и Ионов.

Традиционность Максимова особенно бросается в глаза потому, что он обычно появляется вместе с Семеном Букиным — с одним из самых примечательных и достоверных персонажей пьесы. Это враг, лишенный наружных признаков злонамеренности. Его хитрая враждебность страстна и скрытна, как страстен и скрытен он во всех своих чувствах и проявлениях, в том числе в любви к Маше. И никому, даже Маше, не дано переубедить его, поколебать его звериный эгоизм, унаследованную от прежних поколений и подкрепленную свежим житейским опытом веру в принцип: «Человек человеку — волк». Лишь одному богу молится он — чистогану. Бог этот всемогущ. «...Я по-

лагаю, что и советскую власть купить можно. Они мне порядок наведут», — самоуверенно изрекает Букин. Нет жертвы, какую он не принес бы своему богу. Даже выстраданную любовь к Маше, к ожидаемому первенцу приносит Семен на алтарь своего божества.

Сгинет Максимов, а Букин еще останется. Он-то и есть главный враг, враг цепкий, живучий, способный менять обличье применительно к обстановке.

И когда Ленин, глядя в зрительный зал, говорит о качествах коммуниста, он имеет в виду прежде всего качества, необходимые для борьбы с Букиными:

«Оставаться для народа примером в течение всего жизненного пути, а не в момент свершения подвига, как бывало на фронте, — это, пожалуй, требует самопожертвования более ценного, чем пожертвование жизнью. Должность настоящего коммуниста ответственна! трудна! опасна! Но нет на земле звания почетнее и выше».

В. КАРДИН.

★

ОН ВОЗВЫШАТЬСЯ НЕ ЛЮБИЛ

Вера Инбер. Апрель. Стихи о Ленине. Редактор М. Львов.
«Советский писатель». М. 1960. 54 стр.

К живым свидетельствам наших старших современников обратятся люди будущего, чтобы во всей полноте, во всех подробностях представить себе ленинский образ. Образ, запечатленный в воспоминаниях, раскрытый художниками. С годами все меньше остается очевидцев далеких, легендарных событий и все увеличивается долг тех, кто жив и помнит, перед теми, кто придет и захочет узнать.

Чувствуя, понимая это, Вера Инбер и пишет:

Внуки спросят о давней дали
Не отцов и матерей —
Нас, последних, что выдали
Первый из Октябрей.

Невелика по объему — всего пятьдесят четыре странички малого формата — книжка Веры Инбер «Апрель». Она целиком посвящена образу, не уместающемуся ни в какие полотна, ни в какие поэмы и выраженному в имени — Ленин. Для того чтобы передать в художественном слове жизнь, личность и деяния этого человечнейшего из людей, нужна, кроме таланта и мастерства,

особая настроенность души. Тут торжественность не должна переходить в выпренность, а разговорная речь — в бытовщину. «Прекрасное должно быть величаво», но без помпезности и ложного пафоса. Здесь всего уместнее серьезность при эмоциональном подъеме и страстность при точности и даже сдержанности письма. Ведь в Ленине сочетаются и великий деятель и великий мыслитель, человек высокого интеллектуального склада.

Первое из помещенных в книжке Веры Инбер стихотворений («Пять ночей и дней») помечено 1924 годом. Это стихотворение давно стало хрестоматийным и ассоциируется в сознании наших современников с теми днями, когда «потекли людские толпы» к Колонному залу Дома союзов, чтобы проститься с Ильичем. Читая это стихотворение, так и видишь морозное дыхание тысяч, газеты с траурной каймой, склоненные знамена, так и чувствуешь всенародную скорбь. Последнее стихотворение книжки «Мы летели в Москву» помечено 1960 годом. Итак, между этими двумя стихотво-

рениями большой исторический промежуток — почти четыре десятилетия.

В сборнике стихотворения разного накала и удачи, но все они создают впечатление цельности, все они стремятся хотя бы одной черточкой, одним небольшим штрихом дополнить наше видение ленинского образа.

Здесь и стихи, написанные поэтессой в январе 1943 года, в осажденном фашистами городе Ленина, и стихи о победе, связанной, кровно связанной с его именем. Здесь и картина апреля, который является и месяцем рождения Владимира Ульянова, и месяцем, когда Ленин — признанный вождь партии — взшел в 1917 году на броневик у Финляндского вокзала... Здесь отрывок из поэмы «Ленин в Альпах» и эскиз портрета «Предсовнаркома Ленин»...

Этому тематическому многообразию соответствует и разнообразие художественных приемов, которыми воссоздается образ Ленина. От жанровой картины — до стихотворной речи, от карандашной зарисовки — до панорамы. Акварель (в описании гор или весны) сочетается с очерком; в стих иногда входит цитата, и она не разрывает тонкой и теплой поэтической ткани.

Вере Инбер больше даются живые, непосредственные зарисовки, чем иные публицистические отступления. Автор находит убедительные детали, верно подмечает и точно передает штрихи, которые убеждают больше и лучше, чем общие слова. Так, Ленин, пишущий в комендатуру о неисправном лифте, Ленин, «среди безмерных дел своих» помнящий о людских сердцах, Ленин, обращающийся к Семашко с просьбой, «чгоб тот достал крестьянину очки», — какой это убедительный и обаятельный образ! И как быстро, почти мгновенно, без лишнего слов, без строф-довесков эти реальные штрихи сами складываются в обобщение, в живой портрет.

Сестрорецкий оружейник Константин Иванов едет в переполненном вагоне. Он сбрил бородку и усы. Хороша эта «на белых пуговках косоворотка!» Иванов с интересом слушает разговоры пассажиров, в том числе и о Ленине. И вот станция Разлив, и Ленин — это был он! — выходит из вагона.

Удостоверюсь в том, что это можно,
Он снял картуз, а заодно — парик.
И воздух дуновеньем осторожным
Ко лбу его высокому приник.

Это увидено автором, это увидели и мы. И вот мы душой следуем за Лениным, идущим

густым подлеском и слушающим пение соловья, который

...сыпал трели, щелканье и свист,
Так пел, что сердцу становилось тесно.
Ильич вздохнул: «Не до тебя, солист,
Хотя ты и поешь архичудесно».

Благодаря точно найденному слову («архичудесно») этому образу веришь. Во всяком случае, это услышано и увидено. Так могло быть...

Любопытна история стихотворения «Свет Ленина». В письме из ссылки Владимир Ильич сообщает, что начал сочинять стихотворение, первая (и единственная) строка которого гласила: «В Шуше, у подножья Саяна...» В этом зачине, в этой строке-магните Вера Инбер нашла тему для своего стихотворения.

В Шуше, у подножья Саяна,
Сугробы стоят у ворот.
Чуть след намечается санный
У дома, где слыльный живет.

Все гуще снегов оторочка,
Завьюжена рама окна,
Но лампа, как светлая точна,
Далеко отсюда видна.

Величие ленинской мысли и дела идет бок о бок с необыкновенной скромностью его как человека. К этому сближению черт величия и скромности книжка «Апрель» нас возвращает то и дело. «Он прост, как правда», — эти слова сормовского рабочего, сказанные в беседе с Горьким, автор приводит в начале одного из стихотворений для того, чтобы затем поддержать их и развить:

На вечере ли в молодежном зале,
З дневной ли встрече с ходоком седым —
В его присутствии не возникали
Дым почестей и славословий дым.

В этом смысле выразительно также стихотворение «Проект памятника». Речь в нем идет о том, каким должен быть памятник Ильичу. Среди прочих многочисленных и разнообразных проектов поэтесса предлагает и свой. Пусть — советует она — перед Большим театром, где весной цветут яблоны, «Ильич листает бронзовый блокнот», присев на «стул или на кресло». И вот поэтическое раскрытие этого проекта:

Не там, на высоте, не в отдаленье,
На фоне облаков и птичьих крыл,
А рядом с нами. Здесь... При жизни Ленина,
Мы знаем, возвышаться не любил.

Пусть будет памятник такого роста,
Чтобы уже ребенок лет пяти
Без мамы смог бы дотянуться просто
И положить у ног его цветы.

Все это человечно, понятно, естественно. И там, где стихи книги «Апрель» передают эту человеческую простоту и естественность, — они на высоте задачи. Там же, где вместо обобщения общие слова, — образ исчезает, краски меркнут. Таких строф не много, но они есть, к примеру, в стихотворениях «Овеянная славой», «Свет Ленина» и в некоторых других.

Здесь происходит известная в искусстве

вещь. Художник создает картину — и, если это талантливо, предмет изображения приближен к моим глазам. Художник вешает — и, как правило, предмет изображения удаляется, словно я смотрю в перевернутый бинокль.

Издан «Апрель» просто и с любовью. В текст стихов естественно, как бы закрепляя их выразительность, входят рисунки художника Н. Жукова. Ему же принадлежит суперобложка, на которой изображен Ильич, стоящий на резком апрельском ветру.

Лев ОЗЕРОВ.

★

ПОБЕДА И ПОРАЖЕНИЕ ИЛЬЯСА

Чингиз Айтматов. Тополек мой в красной косынке. Повесть.
«Дружба народов», № 1, 1961.

«Тополек мой в красной косынке» — в этой лирической повести Чингиза Айтматова много серьезных раздумий об ответственности человека за свою судьбу.

И много здесь разных дорог: таких, которые пролегли в горах Тянь-Шаня (там мчится на своей машине герой повести шофер Ильяс), и других дорог — прямых или скобоченных, которые пролагает сам человек по жизни.

...Шофер Ильяс и его собеседник-журналист в начале повести (по событиям это ее конец, а по построению — начало) едут в поезде по югу Киргизии. «По радио передавали музыку: исполнялась на комузе знакомая мелодия. Это был киргизский напев, который всегда представлялся мне песней одинокого всадника, едущего по предвечерней степи. Путь далек, степь широка, можно думать и петь негромко... Струны звенели вполголоса, как вода на укатанных, светлых камнях в арыке. Комуз пел о том, что скоро солнце скроется за холмами, синяя прохлада бесшумно побежит по земле, тихо закачаются, осьypая пыльцу, сизая польнь и желтый ковыль у бурой дороги. Степь будет слушать всадника и думать, и напевать вместе с ним...»

Старинная мелодия, древний национальный инструмент, звучащая в предвечерней степи песнь одинокого всадника — все это воссоздает извечную поэзию народа, устоявшуюся и как будто неизменяемую.

Но, читая это описание, мы на минутку забыли о том, что не одинокий всадник поет

старинный напев, что звучит он по радио, что несет его поезд, а навстречу бегут переезды, шлагбаумы, мальчишка в вылинявшей майке...

«Мелодия удивительно мягко вливалась в ритм идущего поезда», — пишет Айтматов. Эти слова он мог и не добавлять, все ясно и без них, они кажутся даже несколько нарочитыми. Но привести их хочется потому, что мягкость, естественность переходов от старого, традиционного айльского быта к новым временам и людям — черта, вообще весьма характерная для Чингиза Айтматова.

Айтматов — писатель молодой, он начал печататься несколько лет назад, писатель очень современный, что видно в его взгляде на жизнь, в нравственном круге поднимаемых им проблем, в оценке явлений и поступков людей.

Это особенно полно проявилось в одном из первых его рассказов — «Джамиля», — чрезвычайно изящном и поэтичном. Когда читаешь этот рассказ, то сначала может показаться, что автора не очень волнуют живущие еще и поныне черты старого быта, сложившиеся во времена кочевья обычаи родового адата. «Так повелось...» — общает юноша, герой рассказа. «Так уж заведено в аилах», — говорит он о старых привычках и нравах. «Так сложилось», что у отца его было две семьи, потому что одноплеменники когда-то велели ему жениться на вдове брата, как полагалось по древнему закону.

А в это время идет война, и в начале расказа стоит такое понятное и так много воскрешающее в нашей памяти посвящение: «Сверстникам моим, выросшим в шинелях отцов и старших братьев». Именно мироощущение одного из этих сверстников, тонкость и человечность чувств его определяют поэзию этого рассказа о любви, о такой любви, которая не считается ни с какими устоями, ни с какими традициями.

Уходят из родного аила по осенней степной дороге Джамия и полюбивший ее Данияр, все сломав, все оставив позади, не имея ни дома, ни пристанища, ничего не имея, кроме любви. Они нашли свое трудное счастье. И рядом с их любовью какой омертвевшей, бессильной и никчемной кажется сила вековых устоев, так круго сломленных жизнью. И мальчик, рассказавший об их любви, раскрывает при этом подлинное богатство души, деликатность и высокую культуру чувств.

Умение показать новую культуру чувств, новый душевный строй, свободный от рабства предрассудков, вообще отличает произведение Чингиза Айтматова. Он пишет о любви, о семье, об интимных и тонких переживаниях, о моральной ответственности человека.

По-своему эта тема преломляется и в рассказе «Лицом к лицу». Это тоже история любви киргизской женщины Сейде, но горькая, трагическая история прозрения, освобождения от пут безмолвной, покорной любви. Здесь все психологически достоверно, глубоко обнажены и мотивированы чувства и поступки героини.

Повесть «Тополек мой в красной косынке» поначалу тоже кажется повестью только о любви.

...Как будто рядом находятся автобаза на берегу Иссык-Куля, с ее современной техникой и глубоко современным укладом жизни, и лежащий в предгорье аил, где выдают против воли замуж Асель. Но шофер Ильяс увозит на машине из дому Асель в одном платье и красной косынке на голове, накинув ей на плечи свой пиджак. У них тоже, как и у героев «Джамили», нет ничего, разве что кабина машины («И детей растить там будете?..») — спрашивают их, смеясь). И вот они мчатся по горной дороге в свое свадебное путешествие.

События повести чем-то напоминают «Джамилю» — только легче, веселее, безоблачнее совершается этот уход от старого.

Может быть, потому, что веселее, беззаботнее сам герой — шофер Ильяс.

На этом рассказе с «Джамилей» заканчивается. Сюжет повести поворачивается по-новому. Круг проблем, поставленных в рассказах Чингиза Айтматова¹, расширяется в повести.

Шофер Ильяс сам рассказывает о том, что с ним произошло. Это живая, легкая разговорная интонация, с восклицаниями, лирическими отступлениями, сравнениями, как будто выхваченными из обихода народной жизни («Дорогу здесь с весны так избил, искромсали колесами, что верблюд потонет — не найдешь»). Но милая беззаботность Ильяса, которая чувствуется и в речи, приводит его к одному безответственному поступку за другим. Увлеченный какой-либо идеей, он не думает больше уже ни о чем. Не обладая достаточным мужеством и силой воли, он запутывается все больше, изменяет Асель, оставляет ее, уезжает с другой женщиной, хотя и не любит ее. А когда возвращается через несколько лет, то Асель уже замужем, и чужой человек воспитывает его сына.

Ильяс тяжело наказан за свое легкомыслие, писатель не придумывает для него никаких смягчающих вину обстоятельств. Ильяс сам несчастлив и сделал несчастными близких ему людей.

Человек должен понимать значение и смысл своих поступков, должен отвечать за них перед собой и перед людьми — вот справедливая и благородная мысль, лежащая в основе повести.

Ильяс — беспечный, безответственный, но милый и обаятельный человек; образ этот в целом удался автору. В его характере много живого чистосердечия, непосредственности; под конец он беспощадно и сурово себя осуждает. Но когда начинаются несчастья, то они сыплются на Ильяса с таким изобилием, что кажутся иной раз и специально подстроеными автором. Порой Ильяс ведет себя психологически убедительно, естественно — например, в последней встрече с Аселью или в разговорах с сыном, — а порой превращается в фигурку, передвигаемую автором в необходимом ему, автору, направлении.

¹ Я имею в виду такие рассказы, как «Джамиля» (перевод А. Дмитриевой), «Лицом к лицу» (перевод А. Дроздова), вошедшие в сборник Чингиза Айтматова «Рассказы» («Советский писатель», 1958).

Но при этом Ильяс, повторяем, наиболее интересный и, если говорить откровенно, единственный интересный образ повести. Пожалуй, только во всепрощающей Кадиче, идущей ради Ильяса на любые унижения, тоже видны живые черты. Но она занимает уж очень незначительное место в повести. Что же касается Асель, то трудно даже сравнивать ее с так удавшимися Айтматову в рассказах женскими образами — Джамилей или Сейде, полными живого страдания и живой радости. Асель так бесплотно идеальна, так отвлеченно прекрасна, что ей трудно сочувствовать. Этими же чертами ирреальной, «надзвездной» идеальности отмечен и второй муж Асель — дорожный мастер Байтемир.

И здесь следует сказать несколько слов о том, как построена эта повесть. Она состоит из рассказов двух героев — «Рассказа шофера» и «Рассказа дорожного мастера». Каждый из героев касается тех же событий со своей точки зрения. Но рассказ Ильяса читается с напряжением, в нем звучит голос героя, его интонация, за которыми большей частью угадывается характер. А рассказ Байтемира мало что прибавляет к повести — лишь несколько фактов биографии героев. Художественно все ясно и без него (правда, он и занимает не так уж много места). Из этого вялого, лишнего красок и живого человеческого тепла рассказа не встает характер Байтемира. Да и можно ли представить себе хоть какой-нибудь ха-

рактер по таким, например, словам: «Прошло около года. Строительство тракта подходило к концу. Нужны были кадры для эксплуатации дороги. Построить полдела, это можно одолеть общими силами, а вот потом следить надо за дорогой умеючи», и так далее

И вместе с тем, читая повесть, чувствуешь, что Чингиз Айтматов старается найти форму для своей повести, хочет построить ее занятнее, своеобразнее. Эти поиски сближают его с другими молодыми писателями, вступившими в литературу в последние годы. Однако поиски эти протекают и с открытиями и с потерями. И это вполне естественно.

В повести «Тополек мой в красной козынке» нет холодных, рассчитанных на эффект приемов. Это поиски содержательные, идущие от смысла произведения. Но бывают и холостые ходы. Таким холостым ходом мне представляется написанное от имени журналиста вступление и заключение к повести. Этот журналист — фигура условная, не имеющая своего лица. С таким же успехом герои могли рассказать свою жизнь любому встретившемуся им на пути человеку, а может быть, и без его посредства — прямо читателю.

Имя киргизского писателя Чингиза Айтматова совсем недавно никто не знал, теперь с этим именем связано представление о даровании свежем и поэтическом.

А. БЕРЗЕР.

★

В «ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ФОРМЕ ГРОТЕСКА»...

В. Прибытков. Андрей Рублев. Редактор В. Прокофьев. «Молодая гвардия». М. 1960. 220 стр.

«М — Посиди со мной. Одна я... Одна...»

Было или не было: тонкие серые шели, запахи сена, жадные ладони, прощально глядящие голову, плечи, грудь, и утешения:

— Мой грех... Господь простит за чистоту твою... Сразу тебя увидела и не вольна стала...

Было или не было?»

Нам прозрачно намекают: было! И не с кем-нибудь, а с великим русским живописцем Андреем Рублевым.

Да, да, не удивляйтесь — именно с ним.

Это его пленила «молодая, высокая, узкая в бедрах», смеявшаяся «зазывным смехом»,

«коротко и приглушенно, с томительным придыханием». Это его «волновали» «большие черные глаза бабы». Это он, Рублев, испытал к ней «яркое влечение». А «маята» была потом, уже с другой пережил ее великий черноризец, который, как оказалось, вообще был очень даже не чужд плотским соблазнам...

Случилось вышеописанное в книге Владимира Прибыткова «Андрей Рублев», выпущенной издательством «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» завидным тиражом — семьдесят пять тысяч экземпляров.

На свет родилось удивительное произве-

дение совершенно нового, дотоле небывалого жанра, который только и может быть определен как жанр ненаучно-фантастический. В серии «Жизнь замечательных людей» появилась книга о человеке, жизнь которого решительно неизвестна: ведь в самом юбилее Рублева есть некоторая степень условности, так как предположительно даже время его рождения.

Но здесь сразу же встает вопрос: возможно ли в принципе воссоздать биографию исторического лица, о котором молчат источники? Возможно ли реконструировать живой образ человека, от которого остались одни только его произведения?

Должно быть, такое возможно. Но подобная биография может родиться от союза ученого и поэта, на стыке глубочайшей научной основательности и проникновенных душевных прозрений. Если же всего этого не будет, то перед нами окажется то, что написал о Рублеве В. Прибытков.

«Мы попытаемся увидеть истину в самом отсутствии точных данных»,— решительно заявляет автор. Ну совсем как в анекдоте: археологи не нашли проволоку, и это значило, что в древности существовал беспроводный телеграф...

Чем темнее — тем для Прибыткова лучше. Так и кажется, что он избрал своим предметом жизнь Рублева именно потому, что в ней наблюдается максимальное отсутствие этих самых «точных данных».

Лиха беда начало: глядишь, теперь к юбилею «Илиады» тот же автор сможет порадовать читателя книгой о Гомере. Там мы прочтем, как пятилетний Гомер, играя на полу у бабушкина подола, гремел медным шлемом отца — инвалида Троянской войны, как он в образе Елены Прекрасной увековечил свое «яркое влечение» к «молодой, узкой в бедрах» соседке, как он ослеп, заразившись оспой, прививать которую человечество еще не научилось, и как в одно прекрасное весеннее утро он придумал поэтический размер, названный позже гекзаметром. А там, может, появится и биография автора «Слова о полку Игореве». Вот уж где можно будет разгуляться!..

В. Прибытков провозглашает: «Ничто не может быть страшней для художника, чем утрата общего языка с грядущими поколениями, и трагично, когда пепел души принимают за комок глины. А для многих ис-

кусство Андрея Рублева действительно комок глины». И в этом, оказывается, «повинна литература»: «Ей надо было давно открыть «тайну» Андрея Рублева, объяснив искусство художника его жизнью и его жизнь искусством». И он, В. Прибытков, берется оживить «неподвижную фигуру легендарного живописца».

Автор начинает свой удалой литературный опыт с предположения, что загадочность судьбы Рублева — следствие некоего злокозненного заговора церковников: оказывается, «церковь предпочла, чтобы никто не мог объяснить истинных дум и чувств» художника, бывшего одним из тех, кто задыхался «от фарисейства и подлости окружающего мира».

Итак, Рублев задыхался. Не беда, что мы знаем его искусство совсем другим. Не беда, что с икон, приписываемых его кисти, на нас смотрят лики, исполненные тишины и лучезарного света. Не беда, что рядом с трагедийными откровениями Феофана Грека, явленными «во грозе и буре», образы Рублева встают как высокое поэтическое проникновение в мир нравственного и физического совершенства. Для В. Прибыткова это не имеет никакого значения. Он верен своей логике: если история не донесла до нас подробностей жизни великого живописца — значит, существовал заговор, значит, Рублев был неугоден церковникам и официозным историкам, намеренно скрывшим от потомков его «улыбчивое лицо». И вот уже В. Прибытков говорит о «плежке на надгробие гения», о том, что «прах художника осквернили...».

Предвзятость, навязчивость исторических и социальных схем, художественная слепота — это те качества, которые меньше всего нужны человеку, взявшемуся писать о Рублеве. Между тем автор данной книги, к сожалению, располагает именно этими качествами.

«Страстное отрицание гнусной действительности, ее фарисейства, непреклонная вера в лучшее будущее, громогласный зов к этому лучшему будущему беспощадно ломали прокрустово ложе богословских представлений самого Рублева»,— пишет В. Прибытков о «Троице». Позволено будет спросить, а видел ли автор книги эту самую «Троицу»? А если видел, то где он нашел в ней следы ломки, громогласия и отзвуки «отрицания гнусной действительности»?

В. Прибыткову, очевидно, невдомек, что отношения художника и действительности могут быть и бывают обычно бесконечно сложными. Ему, очевидно, невдомек, что в искусстве бывает та высочайшая степень опосредования впечатлений бытия, которая позволила Рублеву стать в свой беспокойный век самым гармоническим гением русского искусства. В. Прибыткову кажется, что Рублев будет «хуже», если не придумать для него судьбу бунтаря, если не намекнуть, что он шел к отрицанию религии, что даже его «Троица» «останется навеки страшнейшей уликой против церкви и ее лживости».

Для этого он «провидит» столкновение художника с князем Юрием Звенигородским, который, увидев фрески в Успенском соборе на Городке, будто бы почувствовал, «что его нагим выставили на позорище»: оказывается, Рублев дал здесь звенигородскому владыке суровый урок государственной мудрости (в скобках заметим, что, по авторитетному мнению науки, сцены, о которых говорит автор книги, не принадлежат кисти Рублева, не говоря уже об ином их звучании).

Для этого он заставляет Рублева поднять голос против московского великого князя, который будто бы выговаривал ему за новизну росписей Успенского собора во Владимире и требовал «учиться у святых живописцев Константинополя, смиренно следовать по их стопам».

Чего уж тут удивляться, если Рублеву в книге В. Прибыткова «хочется встать посреди Красной площади, вздеть голову к небу и крикнуть: «Господи, за что? Где справедливость?..»

Вообще этот Рублев — человек бурный и склонный к излияниям. Вот, например, в каком душевном состоянии он завершал свою работу над «Троицей»: «Он стоял на лугу, давясь водой и вихрем, но не отворачиваясь, не втягивая голову в плечи, не лоя хлопаящих пол рясы».

— Ну! — кричало в нем все.— Ну же! Ну же, вали с ног, залей, брось, как лист, смешай с грязью! Ну!!

Но дождь и вихрь не могли одолеть его».

Должно быть, вы вспомнили множество подобных сцен из приснопамятных биографических фильмов — это там великие люди имели привычку подставлять распахнутую грудь порывам ветра.

Вообще отзвуки подобной, с позволения сказать, поэтики биографического кинема-

тографа густо окрашивают всю книгу о Рублеве. В каком, например, неприглядном амплуа мы видим здесь иноземца Феофана Грека. Прежде всего, как выяснил В. Прибытков, при росписи иконостаса московского Благовещенского собора «старый мастер не раз покачивал головой, и вздыхал, и недовольно покусывал губы, глядя на то, что получается благодаря московской затее...». Кроме того, Феофан «формально воспринял идею иконостаса. Его фигуры на иконах не слиты воедино, обособлены, а краски не вызывают радости». По всему по этому Феофан виноват, что иконостас храма «неудачен» (а мы-то в простоте душевной всегда почитали его одним из высочайших творений древнерусской живописи). Но — как опять же следовало ожидать — Феофан перед смертью признает свое поражение («из-под серых ресниц выкатывается одинокая слезинка») и с нежностью вспоминает Рублева..

В. Прибытков очень заботится о том, чтобы оснастить свое произведение подобием исторической достоверности. На страницах книги мелькают имена, события, бытовые аксессуары эпохи. Но автору этого мало. Он то и дело пускается в обобщения, а еще чаще «творит легенду». Он разоблачает в Сергии Радонежском искусного и холодного режиссера, поставившего пышный спектакль, чтобы поддержать Дмитрия Донского — человека, как выяснилось, крайне ненадежного, лишеного воли, подвластного настроениям минуты. Он объясняет двадцатилетнее молчание живописца (а может быть, никакого молчания не было, и просто до нас не дошло то, что было написано Рублевым между фресками Успенского собора и «Троицей») «подобием остракизма, который «сбивает с пути, подрывает силы Рублева», стремлением некоего злобного митрополита «выбивать» художника «из колеи».

Вообще настойчивость в попытках все мотивировать, все объяснить заводит В. Прибыткова в дремучие дебри всевозможного произвола.

Но кроме стремления все объяснить, им движет и неукротимое желание придумывать. придумывает Рублеву всю его жизнь — дату рождения, семью, внешность, учителя, сердечные волнения, отношения с князьями, смерть.

Всякий раз это делается очень просто. Если ничего не известно о родителях Рублева — значит, он потерял их в самом неж-

ном возрасте. Если ничего не говорится о его знатном происхождении — значит, он плебей. Если ничего не говорится о том, что его волосы были светлые, — значит, они были темные. И вот уже на двадцать третьей странице читаем: «Плебей. Сирота, воспитанный в чужой семье, на чужом хлебе». А там уже пятнадцатилетний Андрей идет по дороге и «встряхивает темными кудрями...».

Что же до главного в Рублеве — его искусства, — го В. Прибытков объясняет его примерно так, как он попутно объяснил произведения Микеланджело и Пушкина: «Гробница Медичи, изваянная Микеланджело... это осиновый кол, вбитый на глазах народа и притеснителей в могилу ничтожества... Сказки Пушкина — это смелый разговор поэта с эпохой, бестрепетное объяснение с Николаем, казненным декабристом».

Он солидно рассуждает о той «умозрительности, отвлеченности», какие «наблюдаются» в рельефах владимирских храмов — тех рельефах, которые восхищают как раз неустойчивой силой плотских, до предела земных фантазий безыменных авторов Белокаменного узора, покрывшего стены Дмитровского собора!

Он объявляет, что Феофан, расписывая стены церкви Спаса на Ильине, занимался антирелигиозными выпадами.

Он, торопя события, сообщает, что «объемность» была завоеванием живописи еще в XIII веке, утверждает, что «средневековые иной живописи, кроме церковной, не признает и живописцев, не имеющих сана, не знает», забыв о Дионисии, не бывшем монахом. Он даже описывает не существую-

щую в природе миниатюру, запечатлевшую портрет Рублева, а потом делает художника изобретателем иконостаса — иконостас никем не изобретен, он складывался веками — и объявляет композицию «Троицы» полным и демонстративным разрывом с прежними нормами.

И это написано всерьез, и это выпущено в свет тиражом в семьдесят пять тысяч экземпляров!

В конце книги приложен длинный и весьма солидный список работ, использованных автором. Но дело в том, что В. Прибытков использовал их на свой лад. «Иначе и проще!» — вот тот девиз, под который он подмял завоевания нашего искусствоведа.

Годы и годы серьезного труда потратили наши ученые на добывание познаний о древнерусском искусстве. Они это делали не для того, чтобы плоды их усилий стали предметом вот такой юбилейной спекуляции, стали подсобным материалом для человека, который с легкостью необыкновенной ухватится за высокую и сложнейшую тему.

Остается только пожалеть, что В. Прибытков не проявил должной последовательности: в гордом одиночестве он настаивает, что шестисотлетие со дня рождения Рублева должно наступить по крайней мере через четверть века. Вот бы и отложил свое предприятие. Вот бы и не писал книги, в которой дурной вкус, мнимая научность и историческая безответственность приняли — воспользуемся выражением самого автора — «окончательные формы гротеска».

В. ШИТОВА.

★

ЖИВОЕ ДЫХАНИЕ КНИГИ

М. Петровский. Корней Чуковский. Критико-биографический очерк. Редактор Н. Яснопольский. Дом детской книги. Детгиз. М. 1960. 110 стр.

В своей книге о Корнее Чуковский критик М. Петровский цитирует слова писателя: «В старости, как и в молодости, лучший мой отдых — общение с детьми от 2 до 12. Без этого общения жизнь для меня не красна; в нем я вижу источник душевного здоровья и счастья». Здесь же М. Петровский рассказывает о создании Корнеем Чуковским в Переделкине веселой, уютной детской библиотеки-клуба, о миллионных тиражах его книг для детей, о крепкой

взаимной любви, понимании и дружбе маленького читателя со своим писателем.

Кто знает Корнея Чуковского не только по его сказкам и книге «От двух до пяти», но немного и в жизни, не может не почувствовать, что книги для детей и общение с детьми у него неотделимы друг от друга, что в этом проявляется самое нежное и доброе во внутреннем облике этого удивительно многогранного, сложного и противоречивого человека.

В критико-биографическом очерке о Корнее Чуковском М. Петровский направляет свое внимание исследователя на Чуковского-сказочника и на его книгу «От двух до пяти».

Меньше всего удалась критику первые три главки («У истоков», «Нат Пинкертон и другие», «Крокодил в Петрограде»). Здесь идет разговор о борьбе Чуковского с «сыщицкой», детективной литературой для детей в предреволюционное десятилетие, а также «с квинтэссенцией самой пошлой и дешевой бульварщины» у Вербицкой, с ханжеством и патокой «Задуманного слова» и Чарской, где «все оттенки и переливы пошлячества». И хотя изложено все это живо и интересно, но положительные идеалы борцов с детективно-сыщицкой и всякой другой пошлостью раскрыты недостаточно глубоко. Здесь следовало, на наш взгляд, более подробно рассказать о сборнике «Жар-птица», о смысле произведений, там помещенных.

М. Петровский говорит, что до революции статьи Чуковского о детской литературе были сплошными «да сгинет», а в революционное время они все сплошь проникнуты пафосом: «Да живет!»

Это утверждение противоречит боевому, наступательному духу творчества писателя, да в сущности и тональности всего очерка М. Петровского. Ведь в главе «Борьба за сказку» критик справедливо пишет, что «развитие советской литературы для детей не было сплошным шествием под радужными триумфальными арками. В 20-е годы она только начиналась, причем начиналась трудно, в борьбе с безыдейностью старой литературы, с мещанскими настроениями нэпа, с загибами леваков-педологов и вульгарным социологизмом пролеткультовской, а потом и рапповской критики». В этой борьбе большая роль принадлежала К. И. Чуковскому. И вплоть до наших дней Чуковский продолжает сражаться с «литературными сухарями» и всякого рода «детским сахаринном», которые — увы! — еще дают себя знать. И до революции и после у Чуковского были свои «за» и свои «против». Все дело в том, что в наше время это «за» неизмеримо выросло, обогатилось, стало иным.

Что касается анализа «Крокодила», то он хорош лишь в той части, где раскрыты стилистические особенности сказки: «вихревая» композиция, стремительное чередование груст-

ного, страшного и смешного, бодрый, гибкий, с меняющимися ритмами, живыми интонациями, богатыми рифмами, звонкими аллитерациями стих.

Очень к месту цитирует критик слова Тынянова, сказанные о «Крокодиле» в 1939 году: «Сказка Чуковского начисто отменила предшествующую немощную и неподвижную сказку леденцов-сосулеч, ватного снега, цветов на слабых ножках».

В «Крокодиле» писатель ставит перед собой одну задачу — показать, как надо писать для детей, и эту задачу уже в 1916 году (время написания сказки) он выполняет блестяще. Но весьма неубедителен, поспешен вывод критика об «антивоенной идее» этой сказки. В этом утверждении не меньшая натяжка, чем в заявлении Л. Кон («Детская литература в годы гражданской войны», Детгиз, 1953), что Чуковский в «Крокодиле» якобы призывает к гражданскому миру, к примирению борющихся классов.

Поверхностен, однолинейен и экскурс в биографию Чуковского. Создается впечатление, что с первых литературно-жизненных шагов у писателя все шло легко и просто, а это, конечно, совсем не так.

В начале своего очерка молодой критик настолько находится в плену «объекта» своего исследования, что не видит, не хочет видеть никаких противоречий в сложном облике писателя и подражает ему даже в стиле. Но сам же Петровский пишет: «Ему нельзя подражать, не выдав себя с головой, как невозможно подражать любому яркому и оригинальному таланту...»

В дальнейшем это, однако, сглаживается, и анализ становится более свободным и глубоким.

Наиболее удачными и ценными являются те главы, где критик раскрывает социально-этическое значение сказок Чуковского, борьбу писателя за сказку, созвучную советской действительности, его достижения и неутомимые поиски новых и новых путей.

«Гигантская работа ребенка,— пишет Чуковский в книге «От двух до пяти»,— по овладению духовным наследием взрослых осуществляется только тогда, если он непоколебимо доволен всем окружающим миром. Отсюда — борьба за счастье (разрядка моя.— Б. Б.), которую ребенок ведет даже в самые тяжелые периоды своего бытия. Пойдите хотя бы в костнотубер-

кулезный санаторий, где малые дети, прпвя-
занные целыми годами к кровати, вырабаты-
вают в себе, наперекор своей томитель-
ной жизни, столько благодатной веселости,
что даже многолетние боли не причиняют
им травмы, какую причинили бы взрослым».

М. Петровский цитирует эти слова, пото-
му что они публицистически подтверждают
самое главное в книгах Чуковского для де-
тей. В сказках Чуковского — борьба за сча-
стье, действенная, интересная борьба, так
как ребенок верит (и эту веру в нем надо
укреплять, дабы психический рост его был
здоровым, нормальным), что жизнь создана
для радости. Детскому возрасту присуще
«самообслуживание оптимизмом», и прав
Петровский, что *ра д о с т ь* — любимое сло-
во Чуковского:

Рада, рада вся земля,
Рады рощи и поля,
Рады синие озера
И седые тополя...

Победа добра над злом необходима ре-
бенку, и маленький герой в сказках Чуков-
ского всегда осуществляет эту победу. Чу-
ковский учит оптимизму, бесстрашию, энер-
гии действия, человеческому достоинству,
воспитывает чувства справедливости и кол-
лективизма. Это и есть новая тональность
сказки, ее новое содержание, которые под-
сказала писателю советская действитель-
ность, революционно-коммунистическая идея
социальной справедливости, формирующая,
направляющая эту действительность.

Задача критика-исследователя, конечно,
не ограничивается раскрытием лишь соци-
ально-этической сущности произведения.
Да эту сущность нельзя и раскрыть без
глубокого и тонкого проникновения в
художественную ткань, в самую струк-
туру произведения. И здесь М. Петров-
ский обнаруживает и большую профес-
сиональную культуру и особую «наклон-
ность» своего таланта. Он глубоко чувству-
ет и понимает музыку, строй стиха и хоро-
шо знает историю, традиции жанра, о ко-
тором пишет.

Сопоставляя литературную сказку Чуков-
ского с фольклором, критик приходит к
справедливому выводу, что она вобрала
лучшие традиции народной сказки. «Неиз-
менно повторяющийся в сказках Чуковского
мотив победы слабого и доброго над силь-
ным и злым, — пишет Петровский, — своими
корнями уходит в фольклор: в сказке угне-

тенный народ торжествует над угнетате-
лями. Положение, при котором всеми пре-
зираемый, униженный герой становится ге-
роем в полном смысле слова, служит услов-
ным выражением идеи социальной справед-
ливости».

Критик выразительно и точно определяет
особенности сказок Чуковского (именно
Чуковского, а не кого-либо другого или спе-
цифику сказки вообще): условность — спе-
цифика его сказок, и чем строже выдер-
жана эта условность, тем правдивее сказоч-
ная действительность. Чуковский создал
особый сказочный мир, живущий особой
сказочной жизнью по собственным сказоч-
ным законам. Надо понимать эту специфи-
ку сказок Чуковского и не предъявлять к
ним прямолинейного требования отражать
жизнь, как она есть, — сказки Чуковского
отражают жизнь в условно-отвлеченной
форме.

И критик показывает на анализе «Одо-
леем Бармалея», что разрушение условности
неизбежно ведет у Чуковского к наруше-
нию жизненной правды, к пародии на дей-
ствительность. Но, оговаривается критик,
«эта закономерность распространяется на
ограниченную территорию сказочного ми-
ра — на сказки Чуковского, не противореча
другим законодательствам и не отрицая
существования других суверенных сказоч-
ных государств».

По каким же литературным «законам»
живет сказочный мир Чуковского? М. Пет-
ровский делает удачную попытку раскрыть
эти законы, или, как он говорит, «причуд-
ливые сказочные средства».

Много внимания уделяет критик компо-
зиции и приходит к выводу, что Чуковский
переносит в детскую сказку кинематогра-
фический принцип кадровки — неожиданные
ситуации, причудливые эпизоды, смешные
подробности в бурном темпе следуют друг
за другом.

Интересны наблюдения М. Петровского
и над особым характером метафор Чуков-
ского: возвращаясь к своему первоначаль-
ному «вещному» значению, метафора в то
же время не теряет своего переносного
смысла. «Действительно, там, где Мойдодыр
говорит о головнойке, есть не только
мытье головы, но и угроза. Там, где само-
вар бежит от неряхи, как от огня, есть не
только перекипание воды от слишком силь-
ного нагревания, но и отвращение» и т. д.

Своеобразно применяет Чуковский и прием пародии. Если в «Крокодиле» пародия лишь средство овладения мастерством, преодоления чужих влияний, то в дальнейшем писатель разносторонне и полно пользуется пародией как литературно-критическим жанром. Вот пример из «Бармалея»:

Милый, милый людоед,
Смилуйся над нами,
Мы дадим тебе конфет,
Чаю с сухарями.

Здесь, утверждает критик, не только копировка внешних приемов сюсюкающих стишков из старых хрестоматий («Ах, попалась, птичка, стой!»), но такое преувеличение этих приемов, что перед нами наглядная пародия на сахаринно-паточные мешанские стишки для детей.

Говоря о «причудливых сказочных средствах» Чуковского вообще, М. Петровский всегда видит индивидуальные особенности той или иной его сказки. Так, «Путаница» вся состоит из «перевертышей», по выражению Горького, из «веселых нелепостей», где мнимое отрицание реальности — игровая форма ее познания:

Рыбы по полю гуляют,
Жабы по небу летают,
Мышки кошку изловили,
В мышеловку посадили.

«Телефон» отличается от других тем, что это игра в чистом виде, хотя элементы детских игр всегда присутствуют в сказках Чуковского.

Таким образом, М. Петровский передает не только идейно-художественную специфику сказок Чуковского, но и раскрывает многообразие открытий писателя внутри этого жанра.

«Из чего складывается писательский облик Чуковского в сознании взрослого читателя?» — спрашивает М. Петровский. И тут же дает ответ: «Это разыскание некрасовских текстов, комментарии к ним и работы о Некрасове, переводы из Уолта Уитмена и статьи о нем, теория и практика художественного перевода, статьи и воспоминания о Маяковском и так далее. И вот оказывается, в книге «От двух до пяти» — перекресток многих интересов и увлечений Чуковского».

И действительно, в книге «От двух до пяти» мы узнаем, что пародийные мотивы его сказок ведут свое начало от Некрасова; в неологизмах раннего Маяковского («миллионить», «вихрить») Чуковский видит аналогию с детским словотворчеством:

— Козлик рогається,
— Елка обсвечкана,
— Бумага откнопилась,
— Замолоточь этот гвоздь.

«Свободный ритм» Уолта Уитмена, его «моментальные стихотворные эскизы» неожиданно обнаруживаются у пятилетнего стихотворца.

В книге «От двух до пяти» «автор совмещал в себе сразу и лингвиста, и педагога, и психолога, и литературоведа, и поэта или становился попеременно то тем, то другим и, главное, всегда оставался человеком, влюбленным в своего героя — малыша в возрасте от двух до пяти лет», — вот краткая, но точная характеристика книги.

В процессе анализа художественных произведений Чуковского критик неоднократно сопоставляет их с тем или иным материалом книги «От двух до пяти». Это сопоставление не только углубляло анализ, но и постепенно раскрывало особенности столь оригинальной, новаторской и по содержанию и по жанру книги.

Поэтому читатель подходит уже подготовленным к главе очерка, где речь идет непосредственно об этой книге, и воспринимает ее (главу) как закономерное завершение всей исследовательской работы критика.

Заключительная же глава очерка — своеобразный эпилог, еще раз, на новом жизненном материале, публицистически подтверждающий огромное значение Корнея Чуковского как оригинального мастера литературы для детей.

М. Петровский непринужденно, естественно переходит от анализа к публицистическо-критическим обобщениям.

Критик умеет передать образный и эмоциональный строй художественной книги так, что читатель ощущает ее живое дыхание.

А это ведь и есть одна из главнейших задач критики.

Б. БРАЙНИНА.

Политика и наука

ЛЕНИНСКИЕ СТРАНИЦЫ

Ленинские страницы. Документы. Воспоминания. Очерки. Составитель
Б. Яковлев. Редактор Ю. Филонович. Издательство «Известия». М. 1960. 300 стр.

Представление о характере этого сборника могут дать, например, такие содержащиеся в нем документы.

...В одну из летних ночей 1919 года Тихон Курков, тринадцатилетний мальчик из села Пролей Каши Тетюшского уезда Казанской губернии, послал письмо В. И. Ленину. Паренек так объяснял мотивы, побудившие его к этому: «...Воспитанный у религиозных и темных родителей и в настоящее время трудящийся около сохи и добывающий хлеб для себя и для социалистической России, вздумал написать Вам письмо, то есть выразить свое душевное согласие с великим вождем мировой социалистической революции товарищем Лениным».

Прошло сорок лет. Автор этого письма, коммунист Тихон Ильич Курков, ныне учитель семилетней школы в Тетюшах, рассказывает о том, что было после того, как он отправил тогда в Москву свое детское послание: комсомол, рабфак, университет в Москве; Отечественную войну закончил в Вене. «И снова партийная и педагогическая работа».

...«Счастливы зачислить Вас почетным слесарем 9-го разряда», — писали В. И. Ленину в марте 1923 года рабочие и служащие завода сельскохозяйственных машин в селе Кичкас Екатеринославской губернии, посылая «с величайшей торжественностью» свой трудовой подарок — крестьянский трактор первого выпуска.

...«Что больше всего меня поражает в Ленине... так это то, что он умел выступать как политик, как человек действия, руководитель масс, не забывающий, однако, и великих и тонких проблем культуры. Он не только знал, как основать профсоюз, какова была и есть правильная тактика и стратегия борьбы против империализма, но знал и то, какую роль играет Бальзак в буржуазной литературе XIX века, или что такое Девятая симфония Бетховена». Это слова кубинского поэта Николаса Гильена.

...«Тридцать лет назад я убедился, что шел по ложному пути. Полностью разделяя установки партии о народности и партийности советского искусства, я не знал, как рисовать, на чем строить свое мастерство...

Я стал читать Ленина... Мне стало ясно, что знать надо все, но, учась у мастеров прошлого, необходимо вырабатывать свою художническую точку зрения. С тех пор ленинские мысли сделали для меня программой жизни». Это из выступления художника Е. Кибрика.

Приведенные сейчас документы взяты из разных разделов книги. В известной мере они позволяют судить о диапазоне ее материалов. Действительно, пространство «от» и «до» в смысле состава авторов, географии, времени, наконец, тематики здесь весьма обширно.

Рождение самой книги несколько необычно: сборник воспроизводит, правда с некоторым превышением, «Ленинские страницы» газеты «Известия», публиковавшиеся в связи с девяностолетием со дня рождения В. И. Ленина.

Вначале это обстоятельство даже немногостораживает: газета — это все же газета, а у книги — свои законы. Может ли арифметическая сумма газетных полос дать то, чего ждешь от книги, — единство замысла, органичность композиции, или на читателя обрушится град раздробленных фактов? Ведь на призыв «Известий» присылать воспоминания, исторические документы, фотографии откликнулось около семисот человек. Такая пестрота материала, правомерная в газетных номерах, казалось бы, обязательно скажется на цельности восприятия, и в книге получится нечто вроде «обо всем понемногу».

Но вот перевернут последний лист сборника. От прочитанного остается прежде всего ощущение целого. Впечатление таково, будто к великому ленинскому образу, что уже давно носишь в сердце, прибавились новые штрихи, дополняющие то, что знал раньше, и помогающие утвердиться в своем представлении еще больше.

Читатель найдет здесь впервые публикуемые документы В. И. Ленина, новые фото- и кинодокументы, запечатлевшие ленинский облик, изданные впервые воспоминания, материалы, повествующие о ленинских местах в СССР и за его рубежами, рассказываю-

шие о всенародной любви к гениальному вождю и самому человечному Человеку.

В книге приведены факсимиле многих документов. Вот исправленная рукой Ленина телеграмма председателю Орловского исполкома, копия — председателю ЧК, о немедленной высылке в Совнарком рукописей писателя Ивана Вольного (в книге тут же рассказана и история всего этого дела). Записка Владимира Ильича работникам станции Москва Московско-Казанской железной дороги о перевозке вещей служащего Казанского губпродкома А. В. Иванова — багаж застрял на вокзале. (О том, как была написана эта записка, мы узнаем из воспоминаний самого А. В. Иванова.) Факсимиле части записки в Малый СНК, в которой Ленин пишет: «Есть директива Политбюро обязательно кончить Каширу в 1921 г. Надо проверять исполнение».

В книге помещена интересная подборка мудрых ленинских высказываний и заветов, относящихся к миролюбивой внешней политике Советского государства. В заголовок поставлены ленинские слова: «Разоружение есть идеал социализма».

Самый обширный раздел сборника, названный «Настоящий человек мира сего», — воспоминания о Владимире Ильиче.

Раздел открывают сонеты Г. М. Кржижановского, ранее не публиковавшиеся.

В твоих речах нет слов пустых,
Но сколько в них для тружеников силы!
Как высоко ценил ты тяжкий опыт их,
Как это их с тобой роднило.
Мир обездоленных — ему ты светоч был.
Вот почему тебя так этот мир любил.

читаем мы в одном из этих сонетов о Ленине.

Сонетам предпослана небольшая статья Льва Никулина.

Впервые опубликованы в «Ленинских страницах» и воспоминания о Владимире Ильиче, принадлежащие Н. К. Крупской, А. В. Луначарскому, А. Д. Цюрупе, Н. А. Семашко, А. М. Коллонтай и другим соратникам и современникам Ленина.

Здесь приведена часть стенограммы большой речи Надежды Константиновны, произнесенной 11 ноября 1934 года на собрании студентов и преподавателей Коммунистического университета трудящихся Востока. В Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС хранится правленная Н. К. Круп-

ской стенограмма этой речи, рисующей историческую обстановку кануна революции и Октябрьских дней. Этот документ восстанавливает ряд важных для исследователей деталей. Речь Н. К. Крупской — ценное дополнение к ее известным воспоминаниям «О Ленине».

По машинописным копиям с авторской правкой, хранящимся в фонде неизданных рукописей Института марксизма-ленинизма, публикуются воспоминания соратников Ленина. Они рассказывают о Ленине как главе Советского правительства, основоположнике нашего государства.

Характерные для В. И. Ленина черты приведены А. В. Луначарским в «Штрихах». Рассказывая о том, что Ленин «терпеть не мог культа личности, всячески его отрицал», автор воспоминаний описывает такой эпизод: «Недавно В. Д. Бонч-Бруевич сказал мне, что непосредственно после своего опасного ранения, в дни выздоровления, Владимир Ильич вызвал его и еще нескольких лиц и сказал им приблизительно следующее:

— С большим неудовольствием замечаю, что мою личность начинают возвеличивать. Это досадно и вредно. Все мы знаем, что не в личности дело. Мне самому было бы неудобно воспретить такого рода явление. В этом тоже было бы что-то смешное, претенциозное. Но вам следует исподволь наложить тормоз на всю эту историю».

Народный комиссар продовольствия А. Д. Цюрупа вспоминает, как он впервые услышал от Ленина о классовом пайке. «Он тогда сказал:

— Хлеба у нас нет, посадите буржуазию на восьмушку, а пролетариату дайте хлеб.

Благодаря этому мы продержались».

Интересны своими деталями воспоминания Н. А. Семашко «Ильич ведет заседание» и «По его заветам» — выдержка из стенограммы выступления А. М. Коллонтай.

Следующие страницы — своеобразная экскурсия по ленинским местам. Симбирск. Кокушкино. Лейпциг. Париж. Копенгаген. Стокгольм. Хельсинки. Троппау. Петроград. Москва. Горки... В качестве «гидов» выступают наши журналисты и писатели, французский журналист, вьетнамский студент, они делятся своими впечатлениями от посещения памятных ленинских мест. Здесь учился Ленин. Сюда, в маленький деревянный домик на берегу Ушны, приходят кокушкинские крестьяне, хорошо знавшие молодого Ленина, с любовью называв-

шие его своим односельчанином. Там, где вспыхнула «Искра». Маленькая парижская улочка Мари-Роз, где жил когда-то Ленин. Живые интервью с датчанами, шведами, финнами. Репортаж из Чехословакии... Все это читаешь с неослабным вниманием, по крупинкам добавляешь новое к тому, что уже хранится в памяти.

«В сердцах народов мира» — заключительный раздел сборника. Здесь с горячими словами любви и уважения к Ленину выступают представители различных стран — Китая, Польши, Болгарии, Венгрии, Индии, Кубы, Франции, Англии, Японии.

В книгу вкраплены литературно-художественные произведения — стихи и рассказы о Ленине. Эти «вставки» оживляют текст, как бы развивают тему.

Хотелось бы отметить и то, чего недостает сборнику.

Книгу, как уже говорилось, по существу создали многие авторы. Почему бы не поместить в ее приложение именной указатель, сообщить читателю краткие биографические сведения о них? Жаль, что это не сделано. Чувствуется нужда и в библиографических данных. Нет ссылок на источники публикаций, не выделены те материалы, которые вошли в сборник сверх того, что уже было опубликовано в «Известиях», а их не так уж мало.

Думается, что «Ленинские страницы» займут положенное им по праву место в лениниане и явятся ценным вкладом в народную летопись о Владимире Ильиче Ленине.

В. СПАССКИЙ.

★

РАБОТА ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

А. Н. Маслин. *Материализм и революционно-демократическая идеология в России в 60-х годах XIX века.* Редактор Н. И. Кондаков. Издательство ВПШ и АОН при ЦК КПСС. М. 1960. 311 стр.

Эпиграфом к книге А. Маслина могли бы служить строки В. И. Ленина из «Детской болезни «левизны» в коммунизме»:

«В течение около полувека, примерно с 40-х и до 90-х годов прошлого века, передовая мысль в России, под гнетом невиданно дикого и реакционного царизма, жадно искала правильной революционной теории, следя с удивительным усердием и тщательностью за всяким и каждым «последним словом» Европы и Америки в этой области. Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине выстрадала полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы».

Автор не идеализирует прошлого, не превращает славную плеяду революционных демократов — друзей и соратников Чернышевского — в марксистов. Он опирается на известное положение Ленина о революционных демократах как предшественниках русской социал-демократии, как общественных деятелях и мыслителях, в трудных условиях расчищавших путь для

распространения и победы в России марксистской теории.

А. Маслин подвергает резкой и справедливой критике современных зарубежных историков русской общественной мысли и в их числе представителей контрреволюционной русской эмиграции — Лосского, Зеньковского, Бердяева и прочих. Так, например, Лосский уверяет, что подавляющая часть русских мыслителей — фидеисты, сделавшие целью своей жизни разработку христианского мировоззрения. По мнению пресловутого Бердяева, русские мыслители продолжали развивать дух платонизма и классического немецкого идеализма. Недалеко от эмигрантов ушли зарубежные историки. Достаточно назвать профессора Оксфордского университета Р. Хезера, который в своей книге «Пионеры русской общественной мысли» вообще проходит мимо Белинского и Герцена, а Чернышевского объявляет ни более ни менее как учеником... Мальтуса. Исследование А. Маслина, построенное на большом фактическом материале, наносит чувствительный удар по новейшим буржуазным фальсификаторам наследия революционных демократов.

Среди буржуазных историков есть и такие, которые не отказываются от призна-

ния заслуг Чернышевского или Добролюбова, но пытаются представить их как одиночек, не связанных с общим ходом развития русской культуры, как людей, якобы не сумевших создать определенную школу. Таким образом, и здесь, лишь в более завуалированной форме, протаскивается та же мысль об отсутствии в России революционно-демократических и материалистических традиций.

Автор убедительно показывает, что Белинский и Герцен, Чернышевский и Добролюбов вовсе не были изолированными от общества мыслителями. У Чернышевского были многочисленные сторонники и продолжатели, из которых многие, например Писарев, Шелгунов и другие, были блестящими, талантливыми писателями и публицистами, посвятившими свою жизнь борьбе за благородные освободительные идеалы. Речь идет не об эпигонах Чернышевского, а о его продолжателях — в лучшем значении этого слова, — творчески развивавших взгляды своего учителя.

Обстоятельно излагает А. Маслин социальную природу школы Чернышевского, которая выражала интересы крестьянства, простолюдинов города и деревни, защищала программу крестьянской революции. Не все сторонники Чернышевского стали на путь непосредственной революционной борьбы; некоторые из них ограничились по преимуществу революционно-теоретической и пропагандистской деятельностью. Однако некоторые, подчеркивает А. Маслин, сделались профессиональными революционерами. Таким был И. Умнов, руководивший революционными студенческими кружками в Казанском университете; его исключили из университета, преследовали, отдали в солдаты. Ю. Мосолов организовал революционный студенческий кружок в Московском университете. Называя других революционеров, учеников Чернышевского, автор пишет: «Чернышевский вдохновлял и практически направлял деятельность революционного общества... Он стоял в центре нарастающего революционного движения молодежи, интеллигенции и поддерживал многочисленные связи с революционерами того времени».

Жаль, что об этих связях Чернышевского в книге говорится сравнительно немного. Однако разбираемая работа позволяет сделать вывод, что школа Чернышевского сумела преодолеть свойственный старому,

домарксовскому, материализму пассивно зерцательный подход к действительности.

Материалисты шестидесятых годов боролись за соединение теории с практикой, философии с политикой. В книге приведено заявление Писарева о бесцельности уморительной философии, которая в силу своей оторванности от жизни означает пустую трату умственных сил. Антонович говорил, что отвлеченное знание, противостоящее практике, сковывает мысль и мешает обновлению жизни, к которому стремятся народные массы. Еще более категорично утверждение Серно-Соловьевича о том, что отрыв теории от практики служит отживающим силам общества, враждебным прогрессивному движению.

А. Маслин не упрощает проблемы и не приписывает революционным демократам марксистского понимания взаимоотношения теории и практики. Но вместе с тем он очень убедительно раскрывает качественные особенности и достоинства русского материализма шестидесятых годов прошлого столетия. Автор стремится не ухудшать и не улучшать прошлого, а показывать его таким, каким оно было на самом деле.

Ставя своей целью воспроизвести подлинную суть мировоззрения последователей Чернышевского, А. Маслин останавливается на четырех узловых проблемах: отношение к либерализму; борьба с идеализмом и религией; взгляд на общество и его закономерности; отношение к искусству и литературе.

В книге показано, что Писарев, Антонович, Шелгунов, Серно-Соловьевич и Слепцов были непримиримыми противниками либеральной идеологии, и дается весьма аргументированная критика довольно распространенной попытки представить Писарева типичным либералом, предлагающим заменить революционную деятельность «мелкими» делами. Даже у некоторых советских исследователей существовало мнение, будто бы известная своей революционной направленностью статья Писарева «Русское правительство под покровительством Шедо-Ферроти» — лишь эпизод в литературной и политической деятельности мыслителя. Зато другим статьям Писарева, звучащим более умеренно, приписывается решающее значение.

А. Маслин — и это придает его работе особый интерес — на ряде примеров убе-

дительно показывает, что с 1862 года Писарев пришел к революционному демократизму и осуществлял его принципы в своей теоретической, литературно-критической и практической деятельности. В работах «Мыслящий пролетариат» (1865), «Борьба за жизнь» (1867), «Французский крестьянин в 1789 году» (1868) и других Писарев выступил как принципиальный враг либеральных методов воздействия на общественную жизнь и защищал передовые идеи революционной борьбы масс.

По поводу утверждения В. Полянского в его книге «Н. А. Добролюбов» (1935), будто бы Писарев отказывал русскому народу в каких-либо способностях к самостоятельному движению, А. Маслин пишет: «Такого рода заявления не соответствуют действительности... Как можно утверждать, что Писарев смотрел на народ, как на дикую массу, к которой не следует обращаться, если он считал, что задачи переустройства общественной жизни должны решать сами массы».

Характерно помещенное в исследовании А. Маслина высказывание соратника Писарева — Шелгунова, который видит в Писареве прямого выразителя политических идей Белинского и Добролюбова.

Приведя ряд других аргументов, подтверждающих революционный демократизм Писарева, автор напоминает, что Писарев, как и все другие представители школы Чернышевского, сочувствовал идеям утопического социализма. Это дало возможность Писареву понять не только ограниченность буржуазных реформ, но и ограниченность буржуазной революции.

По-новому ставит вопрос автор о борьбе материалистов-шестидесятников против идеализма и религии. Он показывает, что они были не просто атеистами, а воинствующими атеистами и с исключительной глубиной критиковали теологическое понимание природы. Опираясь на архивные материалы, А. Маслин приводит ряд выступлений высшего духовенства против русских материалистов и атеистов. Защитники царизма и религии увидели в лице русских революционных демократов злейших врагов обскурантизма, борющихся за освобождение народных масс и от помещичьего гнета и от духовного порабощения.

Излагая социологические взгляды шко-

лы Чернышевского, автор объясняет, почему ее представители, будучи материалистами в понимании природы, идеалистически подходили к истории развития общества. Вместе с тем у Писарева, Антоновича, Шелгунова и других можно найти немало рациональных мыслей по вопросу о закономерностях социальной жизни. Автор правильно оттеняет отрицательное отношение шестидесятников к позитивизму Конта. Даже тогда, когда Писарев и его друзья хвалили французского философа, они всячески открещивались от контовской апологии эксплуататорского строя, порицали его за мистицизм, за пропаганду религиозной морали. Не кто иной, как Писарев, сказал про Конта, что «социальная задача для него не разрешима». Конт был тогда властителем дум даже радикальных представителей буржуазной и мелкобуржуазной интеллигенции, и выступление Писарева явилось смелым вызовом буржуазной социологии.

Говоря о роли знания в борьбе за победу сил прогресса над силами реакции, Серно-Соловьевич придавал особое значение общественной науке, которая должна исследовать нужды и потребности общества и содействовать преобразованию жизни в интересах трудящихся. Серно-Соловьевич выдвинул лозунг превращения социологии в подлинную науку. Но ни он, ни его соратники, конечно, не могли этот лозунг реализовать, так как остались идеалистами в социологии. Новая общественная наука была впервые разработана Марксом и Энгельсом.

Удачной представляется нам разработка А. Маслиным вопроса об эстетических взглядах Писарева, Антоновича, Шелгунова, Серно-Соловьевича и Слепцова.

По существующей традиции в Писареве некоторые философы видят нигилиста базаровского типа, отрицавшего вопреки Белинскому и Чернышевскому великую роль искусства и художественной литературы в жизни общества. Действительно, отдельные мнения Писарева о творчестве Пушкина, Гейне, Тургенева, Щедрина и других выдающихся представителей русской и мировой литературы отличаются некоторым упрощенчеством. Но, несмотря на это, Писарев, несомненно, остается продолжателем Чернышевского в области эстетики и литературной критики. Писарев вслед за Чернышевским выступал против лозунга «ис-

кусство ради искусства». Он признавал только идейное и реалистическое искусство и требовал единства содержания и художественной формы. Вслед за Чернышевским Писарев утверждал, что искусство должно отражать жизнь и видел в передовом искусстве и литературе могучее средство воспитания новых людей, до конца преданных народу.

На аналогичной позиции стояли Антонович и Шелгунов. В ценной работе Антоновича «Современная эстетическая теория» разрабатываются основные положения материалистической эстетики. Статья Шелгунова «Искусство и его социальное назначение» — замечательный образец реалистического подхода к эстетическим проблемам.

«Высокое общественное назначение искусства — вот основной принцип эстетики русской революционной демократии в 60-х годах. Многие стороны их эстетических воззрений сохранили свое живое значение и для наших дней» — таков вывод, к которому приходит автор рецензируемой книги.

Мы не сомневаемся, что работа А. Маслина о революционно-демократических идеологах шестидесятых годов XIX века будет с интересом встречена читателями.

Остается выразить сожаление, что в книге отсутствуют именной и предметный указатели, а без них трудно работать над столь обширным материалом.

Профессор М. БАСКИН.

★

ЯВЛЕНИЕ НАУКИ — ДОСТОЯНИЕ КУЛЬТУРЫ

Е. М. Крепс. На «Витязе» и островах Тихого океана. Редактор Л. И. Гришина. Географгиз. М. 1959. 173 стр.

Как попадают ученые в экспедиции? По-разному. Чаще всего экспедиция служит закономерным продолжением научной работы в институте или лаборатории, к ней тщательно и долго готовятся.

Совершенно неожиданно для самого себя оказался на борту экспедиционного судна «Витязь» биолог Е. М. Крепс. «В перерыве заседания, — рассказывает он, — мы собрались вместе — старые друзья по совместной работе и путешествиям — Лев Александрович Зенкевич, Вениамин Григорьевич Богоров и я. Я посетовал, что теперешняя моя работа увела меня далеко от моря и морских исследований... В. Г. Богоров поймал меня на слове. «У тебя есть полная возможность исправить дело. Через десять дней «Витязь» уходит в далекое плавание по плану Международного геофизического года... Иди с нами в плавание. Предлагаю официально как начальник экспедиции».

С этого (завязка, как в романе!) все и началось. В ноябре 1957 года «Витязь» отошел от причалов Владивостока и взял курс на юг. На борту его находился человек, еще совсем недавно не помышлявший о путешествии и в глубине души примирившийся с мыслью, что никогда не осуществится его заветная мечта — увидеть кокосовые пальмы на коралловом острове... Четыре месяца продолжалось плавание, а когда оно закончилось, случилась еще одна, и вновь очень приятная, неожиданность — на этот раз для

читателей: Е. М. Крепс написал и опубликовал отличную книгу о рейсе к островам Тихого океана, которая и послужила поводом для этой заметки.

Есть книги, о которых трудно писать, — их просто нужно читать. В самом деле, как можно в рецензии передать всю романтическую прелесть, которая таится в одних только названиях посещенных «Витязем» мест: Сангарский пролив, район Гавайских островов, острова Феникс, коралловые атоллы Токелау, Самоа, Фиджи, Тонга, Новая Зеландия, Новая Каледония, острова Гильберта... Это прямо-таки сказки южных морей, которые до сих пор нам приходилось читать лишь в книгах иностранных авторов или русских путешественников прошлого столетия. Но в данном случае — потому, что пишет об островах Тихого океана советский ученый — «сказки» оборачиваются на страницах книги любопытнейшими подробностями нынешней жизни, быта полинезийцев и европейцев на островах, поучительными экскурсами в область истории, рассказами об исследованиях советских и зарубежных ученых, о трудностях и радостях работы биологов, гидрологов, морских геологов, наконец, просто рассказом о большой современной экспедиции, о жизни на экспедиционном судне «Витязь». Если добавить к этому, что книга написана живо, эмоционально, что автор наделен умением описывать и штормы, и лунные ночи, и красочные зака-

ты, если добавить к этому, что книга читается легко, с увлечением,— то рецензенту остается лишь еще раз посоветовать читателям не проходить мимо нее.

Но есть у книги Е. М. Крепса еще одна примечательная особенность: это первая книга о плаваниях «Витязя», хотя автор принимал участие в двадцать шестом рейсе флагмана советского экспедиционного флота. Первая и, добавлю, пока единственная, хотя ныне «Витязь» уже находится в тридцать третьем рейсе, завершает второе плавание по Индийскому океану.

Е. М. Крепс вспоминает в своей книге об истории «Витязя», называет имена людей, энергии и таланту которых обязана наша наука появлением этого корабля,— ныне покойного академика П. П. Ширшова, профессоров Л. А. Зенкевича и В. Г. Богорова, инженера-конструктора Н. Н. Сысоева.

В 1947 году в лаборатории океанологии Академии наук СССР, в кабинете П. П. Ширшова и В. Г. Богорова, я впервые увидел макет и большую настенную фотографию корабля, которому суждено было стать яркой страницей в истории советской, да и всей мировой науки. «Витязь» тогда был еще лишь мечтой — заманчивой, многообещающей, и как фантастика звучали догадки о его грядущих плаваниях.

С тех пор прошло почти полтора десятилетия. Маленькая лаборатория превратилась во всемирно известный Институт океанологии, а бывшее рефрижераторное судно — в лучший в мире, как свидетельствует Е. М. Крепс, морской исследовательский корабль, избороздивший два океана. «Витязь» — это долгие рейсы, порою в трудных зимних условиях, в Охотское, Берингово моря, в северную часть Тихого океана, это плавания на Гавайские острова и к берегам Северной Америки, рейсы в экваториальную полосу, к Филиппинским островам, Новой Гвинее, Цейлону, Индии, Мадагаскару. «Витязь» — это изучение почти всех глубоководных впадин Мирового океана, это новые подводные горные хребты на географической карте, это такие эпохальные достижения науки, как открытие жизни на максимальных глубинах (было предположение, что глубже шести километров она существовать не может), как изучение целого нового класса морских беспозвоночных животных погонофор, это открытие наибольшей глубины Мирового океана в Мариан-

ской впадине. И потому, что сам я ни разу не ступал на борт «Витязя», мне, видимо, позволительно сказать, что «Витязь» — это осуществленная мечта, это научный подвиг, большое и радостное явление нашей науки, ее победа.

Нелегко после такой высокой ноты переходить на минорные тона, и все-таки теперь необходимо сказать о серьезном, пожалуй непростительном, просчете, который был допущен в организации работ на «Витязе», — он заметен ничуть не меньше, чем достижения.

Я не случайно начал рецензию с рассказа о том, как автор книги Е. М. Крепс стал участником двадцать шестого рейса. Ну, а если бы разговор не состоялся или какие-то обстоятельства помешали бы Е. М. Крепсу принять приглашение? В этом случае советские читатели до сих пор не имели бы ни одной книги о плаваниях «Витязя». Это не голословное утверждение. Я знаю, как настойчиво работники Географгиза, выпускающие известную серию «Путешествия. Приключения. Фантастика», уговаривали участников плаваний на флагмане нашего экспедиционного флота написать о том, что они видели и пережили. Уговаривали — и не смогли уговорить. Согласие Е. М. Крепса явилось для них, после многочисленных отказов, приятным сюрпризом.

Но стоило ли сейчас вспоминать об этом? Как будто бы каждый человек волен писать книгу и волен не писать. Думается, однако, что это не совсем так.

В нашей стране и в наше время всякое крупное явление науки должно становиться достоянием культуры всего народа, и двух мнений тут просто не может быть. Я чуть было не написал, что сейчас не девятнадцатый век, но вспомнил о старой хорошей традиции — мореплаватели прошлого столетия почитали своим прямым долгом, вернувшись из путешествия, писать о нем книгу. Но сейчас не девятнадцатый век в том смысле, что постоянным интересом к науке охвачены ныне самые широкие слои народа, и пренебрегать этим интересом ученые не имеют права, как бы они ни были заняты.

Научные предприятия типа и масштаба «Витязя» в наши дни должны планироваться и организовываться так, чтобы, выходя за рамки чистой науки, постепенно становиться достоянием культуры, ее необходимым элементом. Путь в культуру идет через

печатать. До книги Е. М. Крепса читатели узнавали о «Витязе» лишь по скудным газетным сообщениям. Отдавая должное вышедшей книге, все-таки с горечью приходится признать, что «Витязь» не занял в культуре советского народа место, которое должно было по праву принадлежать ему. Не занял потому, что среди ста сорока участников каждого из тридцати трех рейсов не нашлось пяти-шести человек, желавших написать книги о путешествии. Не занял потому, что «Витязь», пожалуй, единственное крупное экспедиционное судно, в рейсах которого не принимали участия лю-

ди, профессионально владеющие пером. Наконец, и потому, что руководство Института океанологии Академии наук СССР просто упускало из виду большое общекультурное значение исследований «Витязя».

Книга Е. М. Крепса — именно потому, что она удачна и интересна, — заставляет сожалеть о ненаписанном. Но, право же, она вселяет и уверенность, что наша литература еще обогатится отличными книгами о «Витязе», в том числе о его двукратных плаваниях по Индийскому океану.

И. ЗАБЕЛИН,

кандидат географических наук.

★

ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ КНИГА

Дж. Бернал. Мир без войны. Перевод с английского И. З. Романова и В. М. Францовой. Редакторы И. И. Цыганков и В. Г. Виноградов. Издательство иностранной литературы. М. 1960. 500 стр.

Книга «Мир без войны» написана ученым. Но это не научная книга в узком смысле этого слова. Мысли автора дойдут до любого читателя, ибо Джон Десмонд Бернал не только выдающийся английский физик, но и видный общественный деятель, неутомимый борец за мир между народами. «Я никогда не был в состоянии отделить, — пишет он, — как это делали некоторые мои коллеги, мою ответственность как ученого от моей ответственности как гражданина. Наш долг во всех странах мира — организованно бороться против войны, являющейся безумством, и против нужды, являющейся преступлением». Эти благородные слова и легли в основу книги.

Профессор Бернал — гуманист и философ — глубоко обеспокоен судьбами не только Англии, переживающей тяжелый политический и экономический кризис, но и всего человечества. Как ученый-физик он яснее, чем кто-либо другой, предвидит страшные последствия ядерной войны. И все же его книга проникнута оптимизмом. Бернал твердо верит в то, что наука должна стать самым лучшим, самым верным другом людей, а не устрашающей силой в руках кучки империалистов.

В книге рассматриваются проблемы войны и мира, перспективы социального и духовного прогресса человечества. Автор опирается на огромный фактический материал: различные документы Организации Объединенных Наций, статистические сводки по разным отраслям народного хозяйства круп-

нейших стран мира, научные данные множества лабораторий и научно-исследовательских институтов, в том числе и на собственные изыскания, гипотезы и прогнозы.

В книге исследуются серьезнейшие экономические, политические и научные проблемы современности. Конечно, в краткой рецензии нет возможности даже бегло рассказать обо всем, что содержит в себе этот богатый мыслями труд. Отметим лишь, что основное внимание автор концентрирует на проблемах борьбы против «холодной» и «горячей» войны, на использовании научных открытий в мирных целях, на вопросах технической и социальной реконструкции мира. Дж. Бернал убедительно доказывает, что промышленность и сельское хозяйство, организованные на базе современной науки, в состоянии обеспечить уже в ближайшие годы для всех людей человеческие условия существования.

В мире, в котором мы живем, пишет автор, «есть только две альтернативы: либо использование науки для целей разрушения в обстановке войны, либо применение науки для целей созидания в обстановке мира». Миллионы и миллионы людей во всех концах нашей планеты все активнее, все решительнее выступают за мир. Никогда еще в истории человечества не создавались столь благоприятные условия для предотвращения мировой войны. Современная наука, не перестает напоминать Бернал, позволяет построить мир, где человеческая энергия перестала бы служить целям борьбы че-

ловека против человека и была бы целиком направлена на покорение сил природы.

Два великих научных открытия нашего времени определяют собой промышленную революцию, в которую мир уже вступил и которая неизмеримо более величественна, чем первая. Это — атомная энергетика и электронная автоматизация. Научная организация производства позволяет в современных условиях совершить, как автор ее называет, «Операцию Изобилия», которая «имеет гораздо больше шансов на успех, чем любая военная операция в любой войне». Задача эта нелегкая, на ее пути встают многие препятствия. Наука, говорит Бернал, не добрая крестная мать, осеняющая своими благодеяниями людей, которые не ударили палец о палец, чтобы их заслужить. Наука требует напряжения мысли и воли, а иногда лишений и жертв.

Бернал страстно негодует по поводу того, что в странах капитала, в том числе в Англии, наука и техника не получают должной поддержки государства. Наука играет жалкую роль в системе общего образования, количество специалистов по технике невелико. Особенно заметным это становится при сопоставлении с успехами подготовки технических кадров в СССР. В Советском Союзе, пишет Дж. Бернал, готовится специалистов в тридцать раз больше, чем в Англии.

Все отрасли промышленного и сельскохозяйственного производства все больше и больше зависят от науки. Но нельзя забывать, что автоматизация, освобождая человека от однообразной, утомительной работы, требует все больше людей инженерного труда. Недалеко то время, когда огромный процент людей будет занят в науке, а сама работа на производстве будет все больше приближаться по своему характеру к работе в лаборатории, в институте. «Принцип, которому мы отныне должны следовать, — пишет автор, — заключается в следующем: всегда, когда машина может что-либо сделать лучше человека, целесообразнее заменить его машиной не только ради самого производства или прибылей, как это имеет место сейчас, но для того, чтобы освободить человека для той работы, которую он может сделать лучше машины. А то, что человек способен делать лучше машины, является, безусловно, самым интересным и приятным. Машины могут копировать, а человек — творить».

В современном мире много нерешенных проблем и прежде всего хлеба, которые непосредственно касаются хлеба насущного и самых элементарных свобод. Половина человечества, населяющая значительную часть Азии, Африку и Латинскую Америку, живет в тяжелейших условиях. Нищета, голод и болезни преследуют миллионы людей. Средняя продолжительность жизни здесь не превышает тридцати — сорока лет.

Естественно, большое место в книге уделено экономически слабо развитым странам. Автор справедливо указывает, что важнейшие вопросы современности теснейшим образом взаимосвязаны и что ключом к реконструкции мира является разоружение. Решение этой проблемы позволило бы высвободить колоссальные средства, часть которых можно было бы направить на экономическое развитие слаборазвитых стран. Значительная доля пошла бы на дальнейшую реконструкцию промышленности и сельского хозяйства в промышленно развитых странах, на дальнейший подъем материального и культурного уровня народов. Что же касается науки, то, будучи освобожденной из плена военных лабораторий, она в пределах жизни одного поколения оказала бы человечеству такие услуги, каких не оказывала на протяжении всей истории.

Отдельные разделы книги посвящены применению достижений науки и техники для расширения сельскохозяйственного производства и для создания новых видов продуктов питания. Крупный специалист в области химии, Дж. Бернал обосновывает оригинальные проекты использования военной техники в мирных целях. Он предлагает, например, атомные подводные лодки превратить в своего рода фабрики, перерабатывающие морской планктон в продукты питания; современные пищевые продукты обогатить полезными для человека веществами. Бернал обосновывает возможность создания искусственного климата для целых городов при помощи изолирующих материалов.

Оригинальные проекты автора могут показаться спорными в некоторых своих частях. Однако нельзя не поражаться смелости мысли, обстоятельности аргументации Бернала и тому поистине беспредельному оптимизму, каким насыщена каждая строка книги.

В то же время автор остается на реали-

стических позициях. Он хорошо понимает и полностью учитывает всю сложность противоречий в современном мире. Старый мир, мир капитализма, пока располагает наибольшими богатствами. Однако новый мир, мир социализма, доказавший свое полное превосходство как в экономической, так и в духовной области, идет вперед такими шагами, открывает перед человечеством такие перспективы, что в его победе в мирном соревновании с капитализмом, кажется, уже никто не сомневается. Страны, ограбленные капитализмом, задержанные в своем экономическом и политическом развитии, ныне получают больше помощи от стран социализма, хотя старые капиталистические страны могли бы — не в ущерб себе, а, наоборот, с пользой для себя — оказать помощь этим возрождающимся народам.

Если бы только треть расходов, затрачиваемых на военные приготовления, направить на развитие экономически слабых стран, то они в течение примерно тридцати лет достигли бы современного уровня технического прогресса. Автор предлагает целый ряд мер, осуществление которых позволило бы уже сейчас облегчить положение народов этих стран. При этом он оговаривает, что кардинальное решение этой проблемы возможно лишь на путях социализма. И здесь автор приводит пример Китая, огромной страны, сумевшей в невиданно короткий срок — всего лишь за одно

десятилетие — проделать гигантскую работу по своему возрождению и обновлению.

Дж. Бернал четко рисует трудности построения мира без войны. Однако он полон уверенности в том, что, раскрывая перспективы счастливого будущего, можно не только воспламенить воображение людей, но и дать им представление о практических шагах, которые необходимы для претворения богатейших возможностей в действительность, то есть в самую жизнь. С великолепной прямотой Бернал пишет: «Тут я должен совершенно откровенно сказать: если действительно верно, что невозможно улучшить положение дел в обществе на основе устоявшихся форм капиталистической экономики, то настало время изменить эти формы».

Книга Бернала — знамение времени. Она выражает мысли и чаяния всех миролюбивых сил, стремящихся предотвратить мировую войну. А поскольку ее автор — крупный ученый, то вполне естественно, что книга содержит аргументы не только от политики и экономики, но и от науки.

Джон Бернал обращается к ученым, политическим деятелям, писателям, журналистам, деятелям культуры, ко всем людям доброй воли со страстным призывом — активизировать свою деятельность во имя мира без войны, во имя прогресса всего человечества!

М. СИДОРОВ,

кандидат философских наук.

★

РОМАН О НАУКЕ И НАУЧНАЯ РОМАНТИКА

К. Керам. Боги, гробницы, ученые. Роман археологии. Перевод с немецкого А. С. Варшавского. Редактор З. А. Намитокова. Издательство иностранной литературы. М. 1960. 399 стр.

Эту книгу не так-то легко раздобыть: тираж ее был распродан довольно быстро, да и в библиотеках она не залеживается на полке. Нужно сказать, что успех книги К. Керам у читателей вполне закономерен. Она написана увлекательно, и притом автору удалось передать ощущение великого напряжения, которое, несомненно, испытывали многие первооткрыватели, во всяком случае те, для кого открытие было не делом прозаического случая, а результатом глубокого, проникнутого романтическим интересом устремления.

Умение именно так рассказать о научных открытиях тем более ценно, что далеко не

всякий первооткрыватель может сам с достаточной полнотой и остротой выразить овладевшее им при совершении открытия чувство. А автор интересующей нас книги как раз весьма способен на это. Ощущение животрепетности и остроты он передает читателю иногда даже через какие-либо вторичные и малозначительные детали. Целеустремленность и археологический фанатизм Генриха Шлимана предстают перед читателем с особенной ясностью, например, в связи с историей о чаевых бразильского императора, данных греческому полицейскому Леонардосу..

Панегирик Шлиману — этому «дилетан-

ту» в науке — подымает К. Керама над общим уровнем авторов, писавших об этом удивительнейшем человеке, и помогает пониманию того, что восторженное, безотчетное любительство подчас ценнее и плодотворнее ограниченного профессионализма.

Книга повествует об известных вещах, о которых каждый кое-что помнит со школьной скамьи: открытия Генриха Шлимана в Трое и Микенах, Артура Эванса — в Кноссе, прочтение Шампольоном египетских иероглифов, Гротефендом и Раулинсоном — клинописи, раскопки Ниневии, Вавилона в Месопотамии и гробницы Тутанхамона в Египте, открытие цивилизации древних майя...

Не вдаваясь в историко-культурные подробности, автор (он не раз оговаривается, что это не входит в его задачу) дает представление о важности описываемых им открытий для науки и для всей человеческой культуры. Другими словами, ему удается то, что нередко оказывается не под силу разного рода специальным компендиумам, в которых из-за весьма тщательно пересчитанных деревьев в конце концов так и не видно леса...

И, как это ни парадоксально, книга, в сущности, не является археологической. То же самое и с таким же успехом могло быть достигнуто на материале любой другой научной области: геологии, биологии, математики. Но так как настоящие строки пишет именно историк и археолог, то в нем книга эта вызывает чувство некоторой досады при мысли о том, что лишь очень немногие из специалистов умеют излагать свой предмет с увлекательностью, присущей рассматриваемой книге. Очень мало на свете таких монументальных историко-литературных и археологических трудов, которые бы, подобно «Лекциям по русской истории» Ключевского, «Дуэли и смерти Пушкина» Щеголева, «Европе в эпоху империализма» Тарле, «Социалистической истории» Жореса и «Дворцу Миноса» Эванса, читались, как роман. Роман истории или археологии.

Автор, однако, назвал свою книгу «романом археологии», хотя в ней довольно много от романа или романтики, но сравнительно мало археологии. Вот и хорошо, скажет иной читатель. Хорошо, да не очень. Конечно, серьезное научное открытие, в данном случае открытие новых и замечательных археологических объектов, вещь очень увле-

кательная. Даже через книжное восприятие научного подвига люди приходят нередко в науку, получают первый толчок к более серьезному знакомству с предметом или по крайней мере к пониманию его общекультурного значения.

Но для специалиста романтика заключается не только и не столько в сенсационности научного открытия, сколько в самом открытии, в его важности для науки. И мне кажется, что всякий специалист должен испытывать чувство неудовлетворенности, связанное с сознанием собственной неумелости при попытке донести до своего читателя те радости познания, которые возникают при совершении им собственных, пусть небольших, но небезынтересных и не совсем бесполезных открытий. Совершая их, ученый надеется заинтересовать ими других людей, увлечь их своими мыслями, быть может, даже заставить их двигаться в том же направлении, в каком он движется сам. И его постигает неизбежное разочарование, когда он убеждается, что опубликование его труда не вызвало живых откликов, никого и ничего не сдвинуло с места. Все осталось таким же, каким было до завершения им своих работ и до их обнародования. Он не сумел выразить с необходимой логикой и яркостью свои мысли. То, что в нем кипело и бушевало с большой силой, то, что зажигало и подымало его, застряло, рассеялось где-то на пути облебления мысли в слово, потонуло в косноязычии «сухой научной материи», затерялось в цитатах, ссылках, повторениях и недомолвках.

Такие же точно огорчения имеют место не только в науке, но и в искусстве. Вероятно, они отчасти взаимно обусловлены. Состояние художественной литературы, стиль ее и язык не должны оставаться без влияния на язык научных произведений, как важнейшее выразительное средство.

Итак, историк и археолог должен мечтать о книге, которая преподнесла бы в увлекательной форме не только занимательные «околонаучные» подробности истории археологических открытий, но и самый предмет археологии — материалы и методы этой науки. Хотелось бы с одинаковым интересом читать не только о том, как открыли гробницу Тутанхамона, но и о всестороннем — историко-культурном и научном — значении этого открытия. Можно ведь без особенного труда представить себе, что не только познавательной ценности, но и ро-

мантического элемента в самых предметах древнеегипетского царского быта, найденных в гробнице Тутанхамона, заведомо больше, чем в сенсационных обстоятельствах, сопутствовавших их обнаружению.

Каждый человек в какой-то степени ощущает все это при взгляде на величественные памятники древности — храмы, статуи, изделия изощренного ремесла и искусства. Но одно дело видеть и постигать чутьем, другое — облечь испытываемые чувства в слова и не уничтожить при этом живости непосредственного восприятия может быть и необходимыми, но всегда такими рискованными определениями, сопоставлениями и обобщениями. Хотелось бы, чтобы археологические и искусствоведческие труды трактовали свой предмет с такой же выразительностью и определенностью, как это удается иногда поэтам, в характеристике ли ленинградского Адмиралтейства:

Сердито лепятся капризные медузы,
Как плуги брошены, ржавеют якоря —
И вот разорваны трех измерений узы
И открываются всемирные моря...

в оценке ли исторического значения древнеримского акведука:

Мой стих
 трудом
 громаду лет прорвет
и явится
 весомо,
 грубо,
 зримо,
как в наши дни
 вошел водопровод,
сработанный
 еще рабами Рима.

Каждому полезному археологу знаком трепет, вызываемый появлением из земли древних вещей во время раскопок. Самый процесс раскопок можно сравнить с чтением книги, замечательной не только своей занимательностью, но и неповторимостью полученных от ее чтения впечатлений — неповторимостью, необычайно обостряющей «раскопочные» впечатления. Археолог понимает всем своим существом, что он как бы второй раз, но на ничтожно короткий срок, как некий колдун, вызывает к жизни время, пережитое раскапываемым объектом. И вся его задача заключается в том, чтобы как можно точнее и выразительнее зафиксировать это второе рождение умершего мира, собрав и сохранив для музея его материальные остатки.

Но до чего же по большей части сухи и невыразительны археологические отчеты! Как они убивают археологическую романтику и ту самую древнюю жизнь, со всем ее своеобразием, экзотикой и эстетикой, которую они при этом все-таки возрождают!

И все же, несмотря на протокольный прозаизм археологической литературы, несмотря на то, что немало людей заведомо убеждено в скуке и ограниченности археологии как науки, интерес к археологическим открытиям велик и неослабеваем. Вполне понятно почему. Почти каждая древняя вещь, будь то памятник искусства или быта, предмет древнего вооружения или орудие труда, обладает такой всеубеждающей документальностью, таким удивительным бытием, какие не укладываются в наши представления, не поддаются сколько-нибудь адекватной интерпретации и полноценному воспроизведению изобразительными средствами. Сколько бы мы ни читали о древних орудиях труда, сколько бы ни глядели на их фотографии, все это никогда не заменит нам ощущения необычайной конкретности, весомости и какой-то удивительной жизненной полноценности, которые приносит непосредственное знакомство с предметами древности.

Когда вы читаете пусть даже очень хорошие, написанные с большим знанием материала книги по истории культуры, у вас невольно создается впечатление сравнительной бедности, примитивности и неполноценности древней жизни. Это впечатление вполне отвечает и вашим собственным — если вы не специалист — предвзятым представлениям о древней культуре. Чувство превосходства, естественно возникающее при этом, порождает в вас известное равнодушие и безразличие к прошлому: древняя жизнь куда беднее и плоше нынешней.

Но когда перед вашими глазами возникает каменный топор во всей его своеобразной цельности и материальности, вы начинаете отдавать себе отчет в том, что дело обстоит далеко не так просто.

Конечно, технический и социальный прогресс — нечто совершенно бесспорное, но древний человек, несмотря на примитивность условий его существования, и тогда уже был существом, отмеченным удивительным гением и способностью к мастерству, был «животным, делающим орудия». Жизнь его и в тех, резко отличных от нашего существования условиях не теряла определенной

полноценности и весьма высокой степени интенсивности. Технический и общественный прогресс принес человечеству колоссально много, но он же немало и отнял такого, на что мы теперь взираем с сожалением и удивлением. Глядя на памятники древнего ремесла и искусства, мы воспринимаем удивительные и, может быть, навсегда утраченные нами соответствия древней архитектуры, скульптуры и других чудес и прелестей эпохи человеческого «детства».

Нас не может не поражать и не восхищать монументальность и полнокровность многих остатков древнего быта. Древнее не похоже на современное, но оно внутренне убедительно, и, приглядевшись, мы узнаем в нем себя же, как на старой, странной и выцветшей фотографии. Древний человек, как и современный ребенок, не был примитивен в элементарном значении этого слова. Детский мир не менее многообразен, чем мир взрослого. Освобождаясь от примитивизма нашего детства, мы теряем прелесть фантазии, экспансивность, экспрессивность и легкость движений, неповторимую непосредственность восприятий.

Нечто в этом же роде отмечаем мы и в истории человеческого рода. Держа в руках кремневый полированный топор эпохи расцвета каменной техники, мы не можем не сознавать, что перед нами некое весьма полноценное и совершенное изделие человеческих рук, по своей законченности и красоте отнюдь не уступающее соответствующим современным изделиям из металла. Лицемерие подобных предметов наполняет нас ощущением великой общности и неразрывности всей человеческой культуры, пониманием некоего универсального во времени и пространстве языка человеческой сновки и мысли, который пронизывает и объединяет все содеянное человеческими рука-

ми. С удивлением и гордостью познаем мы тот факт, что прошлое наше не просто пройденный этап, а такое полностью пережитое нами состояние нашего существа, которое продолжает сохранять для нас огромную притягательную силу. При обращении к нему, при неожиданном с ним столкновении в результате находок его остатков мы вновь обретаем себя же, но в другой уже совершенно сути, и ощущаем свое существование во времени не как бледное отражение чего-то навеки утраченного, а как нечто живое и полнокровное, очень важное для сегодняшнего дня, для осознания его масштабов и перспектив.

В. Турок в статье, опубликованной в «Литературной газете» (4 февраля 1961 года), говоря об историках и читателях, справедливо сетует на неполноценность многих исторических сочинений, своей сухостью и стереотипностью концепций отвращающих читателей от науки. «Нужны слова, которые идут от сердца, нужны мысли... История это вовсе не политика, опрокинутая в прошлое, как думали некоторые. Это скорее прошлое, опрокинутое в будущее, это концентрированный опыт многих поколений, мечтавших о счастливой жизни для своих внуков и правнуков».

Эти мечты становятся особенно рельефными и проникновенными, особенно красноречивыми, когда мы их воспринимаем через древние орудия труда, форма которых шлифовалась тысячелетиями, и через памятники искусства, пропорции которых основаны на столь же величественном опыте...

Может быть, книги, подобные книге К. Керама, послужат примером и для историков, вдохновляя их на такие слова, которые открывали бы перед читателем всю романтику древности.

Л. ЕЛЬНИЦКИЙ.



МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

СТАТЬЯ «СОВРЕМЕННОКА» ОБ АЛЖИРЕ СТО ЛЕТ НАЗАД

Русская демократическая общественность в середине XIX века пристально следила за «подвигами» колонизаторов в Азии, Африке, Южной Америке.

«Современник», лучший журнал русской революционной демократии, в пятидесятые годы XIX века, когда самым животрепещущим вопросом современности было освобождение крестьян от крепостнического гнета, всеми доступными средствами разоблачал рабство, национальный гнет и колониализм. Руководители «Современника» Н. А. Некрасов, Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов тем самым высказывались и «относительно наших домашних негров»¹.

Злой иронией проникнуты слова журнала, клеймившего колонизаторов, прикрывающихся маской «цивилизаторов», якобы призванных «просветить» «дикие» народы Азии и Африки. «Теперь совестно,— читаем мы в одном из обзоров зарубежной жизни «Современника», напечатанном сто лет назад, в 1859 году,— когда говорят «всеобщая история», а рассказывают события какого-то уголка на божьем свете, называемого Европой, толкуют о всеобщем развитии, уверяют, что человечество составляет одну семью, а между тем огромное большинство этого человечества (почти вся Азия, не говоря об Африке) и не догадывается, что об нем идет речь»².

«Современник», где в 1857 году была напечатана статья Добролюбова об Индийском национальном восстании, затем ряд статей о событиях в Китае, а на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов — статьи Чернышевского и Добролюбова о национально-освободительном движении в Италии, считал справедливой вооруженную борьбу пораженных народов против ино-

земных захватчиков. Во всех странах, захваченных силой, всегда существует «возможность волнений. Да и где же их не может быть? В Индии, в Алжире, в Ломбардии... везде начинаются волнения»¹.

Пристальное внимание и искреннее сочувствие к народам Азии и Африки, попавшим в колониальную кабалу, заставили руководителей «Современника» обратиться к русскому военному деятелю, профессору Академии Генерального штаба В. М. Аничкову, который только что вернулся из заграничного путешествия и побывал в Алжире, с просьбой написать статью для журнала. Это был прогрессивно настроенный, образованный офицер, близкий к кружку «Современника», соредaktor Чернышевского по «Военному сборнику».

Статья Аничкова «Очерки Алжирии» появилась в двух последних номерах «Современника» за 1857 год. От внимательного взгляда русского путешественника не укрылись бедствия страны, которая почти два десятилетия находилась под сапогом французских колонизаторов. «До сих пор французская цивилизация коснулась арабов только дурною стороною своею, познакомив их со всеми современными недостатками европейского общества». Восхищаясь богатствами страны, Аничков отмечает бедность народа, критикует систему колониального управления. Желая видеть страну не с показной стороны европейских кварталов Алжира, русский путешественник отправляется по дорогам французской колонии, и это помогает Аничкову увидеть ее истинное лицо.

Наблюдая безжалостную расправу французского полицейского с алжирскими ребятишками, окружившими путешественника, Аничков восклицает: «О, цивилизация!.. В Марселе этот же полицейский обращается совершенно иначе, а ведь по закону арабы те же французские подданные, и законы одни для тех и других. В Алжире только ленивый не бьет араба». Узаконенный полицейский произвол царил во всей стране. Не раз отмечает Аничков картины расправ без суда и следствия, расправ, которые совершаются по воле любого офицера, начальника «bureaux arabes» (арабского ок-

¹ Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, М. 1952, т. 10, стр. 375.

² «Современник», 1857, № 3. «Заграничные известия», стр. 160.

¹ «Современник», 1859, № 11. «Современное обозрение», стр. 41.

ружного управления). Суровое наказание ждет алжирца, если на него пожаловался француз, — «начальник этого «bigeau», конечно, уж всегда держит сторону последнего», — пишет Аничков и далее замечает: — «Колония не может процветать и развиваться при их управлении».

Этот решительный вывод русского путешественника сложился в результате наблюдений и размышлений о судьбе алжирского народа, попавшего в колониальное рабство. Но народ Алжира не покорился колонизаторам, отмечает Аничков, в стране постоянно тлеет огонь ненависти, готовый разгореться в яркое пламя антиколониальной войны. «На лице каждого встречного кабила¹ можно было прочесть затаенное, подавленное силою, чувство мести». Мечта о свободе не умирает в народе, ее нельзя подавить ни оружием, ни лживыми словами о равноправии. Война в Африке за свободу «будет длиться, пока колонию будут управлять генералы и маршалы». Русский офицер, знающий, что такое война, восклицает: «На сколько миллионов увеличивает ежегодно бюджет эта бесконечная война, сколько тысяч храбрых, даровитых людей лежит уже в дебрях Кабилии и сколько еще ляжет!»

¹ Кабилы (берберы) — население Кабилии, горной области в северо-восточной части Алжира.

Независимость, свобода, равноправие — вот тот идеал, осуществления которого хотели русские демократы и публицисты «Современника». Они надеялись, что народы Африки извлекут хотя и горький, но необходимый урок и сопротивление колониализму «разбудит от векового сна обитателей Африки и толкнет эту страну по пути цивилизации...»

Статья В. М. Анпчкова «Очерки Алжирии» — один из памятников антиколониальной публицистики русской демократической журналистики середины XIX века. Журнал «Современник» и в этой статье и в целом ряде других с надеждой и сочувствием откликался на попытки народов, попавших в колониальное рабство, «изменить существующий порядок и заменить его чем-то другим, отыскивая желанного блага в среде своей, а не принимая его из вооруженных рук чужеземцев»¹. С волнением следя за самоотверженной борьбой народов Азии и Африки против колониализма, нельзя не вспомнить, не перелистать страниц передовых журналов прошлого, которые рассказывали русскому обществу о первых шагах освободительного движения в мире колониализма.

Е. ПРОХОРОВ.

¹ «Современник», 1857, № 10, стр. 93.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

Д. И. МАСЛАКОВ. **Топливный баланс СССР.** Госпланиздат. М. 1960. 196 стр. Цена 62 к.

Топливу принадлежит важная роль в создании материально-технической базы коммунизма. Партия и правительство всегда уделяли большое внимание развитию топливной промышленности. За годы Советской власти добыча топлива увеличилась в нашей стране почти в четырнадцать раз. Наряду со значительным ростом добычи угля, нефти и торфа в послевоенные годы усилилось использование газа и сланцев.

Всем этим видам минерального топлива в общесоюзном балансе первичных энергоресурсов принадлежит основная доля — около девяноста семи процентов. Разведанные запасы настолько велики, что даже при все возрастающих масштабах добычи их хватит на многие десятилетия.

Повышению производительности общественного труда по добыче топлива способствовало новое географическое размещение топливной промышленности в СССР. Это позволило значительно разгрузить железнодорожный транспорт. Несмотря на достигнутые успехи, продолжается освоение новых местных топливных баз, особенно в районах, зависящих от дальнепривозного топлива.

Последняя глава книги рассказывает о координации топливных балансов европейских стран народной демократии и Советского Союза, описывает формы и методы экономического и научно-технического сотрудничества между социалистическими странами.

ЖАК БУАЙОН. **Гана. Рождение африканского государства.** Перевод с французского. Издательство иностранной литературы. М. 1960. 354 стр. Цена 1 р. 42 к.

Четыре года назад Гана освободилась от колониального господства и стала на путь самостоятельного развития. Советские люди с большой симпатией следят за успехами молодой республики. Покидая 19 февраля этого года гостеприимную Гану, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев сказал: «Советский и ганский народы будут продолжать жить в дружбе и идти рука об руку в борьбе за мир и дружбу между народами, против темных сил реакции и колониализма».

О различных сложных, жизненно важных вопросах, стоящих перед Ганой, рассказывает французский ученый Жак Буайон, собравший обширный материал о стране и совершивший не одно путешествие по ее районам. В книге показано однобокое развитие экономики и социально-политическая отсталость Ганы, явившаяся следствием более чем двухвекового господства английских колонизаторов.

В начале книги помещены географический и исторический очерки Золотого Берега, начиная с 1471 года, когда здесь появились первые колонизаторы — португальцы. Затем подробно разобраны экономические условия и социально-политические проблемы, существовавшие в закабаленной Гане. Третья, и последняя, часть работы посвящена современным проблемам, возникшим после провозглашения независимости Ганы в марте 1957 года. Автор сообщает также немало интересных сведений страноведческого характера, рисующих как природные, так и экономические особенности Ганы.

В редакционном предисловии освещены сильные и слабые стороны работы Жака Буайона.

ФЕРНАН ГРЕНЬЕ. **Вот как это было. Воспоминания.** Перевод с французского. Издательство иностранной литературы. М. 1960. 208 стр. Цена 36 к.

Воспоминания Ф. Гренье, члена ЦК Французской компартии, депутата Национального собрания, посвящены героической борьбе коммунистов — участников движения Сопротивления.

Летом 1940 года, вскоре после капитуляции правительства Петэна, только что демобилизованный Гренье по заданию партии приехал в оккупированный Париж. Началось, пишет автор, «обучение в школе сопротивления оккупантам и их сообщникам» — установление контактов, нелегальные встречи, полная самоотверженности подпольная работа. Потом арест, тюрьмы, концентрационный лагерь. И — побег, ошеломляюще дерзкий, но точно разработанный.

В начале 1943 года — новое важное поручение: отправиться в Лондон для координации действий созданной там организации «Сражающаяся Франция», возглавляемой де Голлем, и других групп Сопротивления. Первая же беда с де Голлем вы-

звала недоумение Гренье. «Я спрашивал себя: чем объяснить, что генерал де Голль так мало обеспокоен происходящим во Франции сегодня и так озабочен тем, что будет после ее освобождения?»

В книге подробно рассказано о препятствиях, которые воздвигало перед Гренье как представителем компартии руководство «Сражающейся Франции», живо описаны перипетии, сопровождавшие включение в состав вновь созданного Французского комитета национального освобождения двух коммунистов — Ф. Бийу в качестве государственного комиссара и Ф. Гренье в качестве комиссара по делам авиации.

И. Е. ЕМЕЛЬЯНОВ. Ферма Росуэлла Гарста. Сельхозгиз. М. 1960. 96 стр. Цена 13 к.

Росуэлл Гарст — большой знаток и умелый организатор сельскохозяйственного производства, расчетливый предприниматель. Он один из зачинателей производства гибридных семян кукурузы, сыгравших громадную роль в повышении урожайности этой культуры и общем развитии американского кукурузоводства. Одним из первых в США Гарст начал с успехом использовать при откорме скота синтетический белок (мочевину). На ферме Гарста широко применяются минеральные удобрения, химические средства борьбы с сорняками и вредителями.

В 1959 году, в дни своего визита в Соединенные Штаты Америки, Н. С. Хрущев посетил в штате Айова ферму Росуэлла Гарста. «Замечательный хозяин, — сказал о нем Н. С. Хрущев. — Хотя и капиталист, но умный человек. Все использует...»

Ферма получает высокие урожаи. На отходах семеноводства, на дешевых кормах собственного производства с минеральными и белковыми добавками ежегодно откармливается на мясо около двух тысяч голов крупного рогатого скота и две с половиной тысячи свиней. Работы на полях и в животноводстве высоко механизированы. И. Емельянов в своей книге знакомит и с другими прогрессивными методами, практикуемыми Гарстом.

Не все, что практикуется на ферме Гарста, приемлемо в условиях нашей страны, не все совместимо с социально-политическими, экономическими, природными и иными особенностями наших хозяйств. Тем не менее многое из его ценного опыта может и должно найти себе применение и у нас.

ДЖОРДЖ МОРРИС. Глазами американца. Сокращенный перевод с английского. Профиздат. М. 1960. 88 стр. Цена 14 к.

Автор этой интересной и своеобразной книжки, вышедшей в серии «Массовая библиотека рабочего», — американский журналист. Моррису приходилось слышать столько клеветы о Советском Союзе, усердно распространяемой лидерами американского профцентра АФТ—КПП — небезызвестными Джорджем Мнихи и Уолтером Рейтером, что он решил приехать в СССР, чтобы увидеть,

как рабочие и крестьяне живут при социализме. Особенно интересовала автора роль профсоюзов в социалистическом обществе.

Распространяя злостные выдумки о СССР, пишет автор, профсоюзные лидеры Соединенных Штатов «ввели строгий запрет на любые контакты с советскими профсоюзами, объединяющими 53 миллиона членов, и отклоняли неоднократные приглашения посетить СССР... Они цепляются за эту политику «занавеса неведения» в то время, когда даже государственный департамент согласился на расширение контактов с СССР в области культуры, спорта, науки, музыки, а также в различных областях экономики».

Для наших читателей наибольший интерес в книжке представляют сведения о положении трудящихся в США, а также мысли автора о необходимости расширения связей между американскими и советскими рабочими. Любопытны главы «Жизненный уровень при капитализме и социализме», «Образование в СССР и детский труд в США», «Проблемы молодежи в США и в СССР».

ТЕД БЕНК II. Колыбель ветров. Перевод с английского. Географгиз. М. 1960. 198 стр. Цена 38 к.

Колыбелью ветров называют свою родину алеуты, маленький северный народ, живущий на Алеутских островах в США и на Командорских островах в Советском Союзе. Тед Бенк, молодой американский ученый-ботаник, рассказывает об экспедиции на Алеутские острова, предпринятой в 1948—1949 годах. Живописны его зарисовки своеобразной природы архипелага. Автора глубоко интересовала также жизнь коренных жителей, их культура, нравы, обычаи. Бенку удалось обнаружить в пещерах хорошо сохранившиеся мумии.

Ученый правдиво повествует о бедственном положении американских алеутов. «Численность алеутов, — пишет он, — угрожающе сокращается, а их древняя культура подвержена почти полному разрушению... В 1741 году алеутов насчитывалось около двадцати тысяч, в настоящее же время их число составляет менее тысячи человек, и этот процесс вымирания не приостановлен».

Книгу Бенка дополняет предисловие А. Першица. Мы узнаем об алеутах, живущих в Советском Союзе. На Командорских островах создан звероводческий совхоз, развиваются рыболовство и скотоводство. Алеуты живут в новых электрифицированных домах. Алеутская молодежь учится в школах. У алеутов есть своя интеллигенция — учителя, медицинские работники. В последнее время заметно увеличился прирост алеутского населения. Вместе со всеми народами северной Сибири алеуты возродились к новой, социалистической жизни.

П. А. ПЕТРИЦЕВА. Разгаданная опасность. Медгиз. М. 1960. 180 стр. Цена 27 к.

Паразитолог по специальности, П. А. Петрицева тридцать лет назад уехала в отдаленный район Туркмении — Кара-Калин-

ский — и до последнего времени продолжает участвовать в научных экспедициях. Цель ее работы — разгадать причины очаговых инфекционных болезней и указать пути их ликвидации. Из автобиографических очерков, составивших книгу, читатель узнает много интересного о людях и природе окраин нашей Родины, о героизме ученых и их помощников из местного населения.

П. А. Петрищева побывала в пещерах, где обитал первобытный человек. Но до сих пор, пишет она, никто не проявил к ним внимания как к возможным источникам болезней. Вскоре после обследования Джулангарской пещеры автор и его сотрудники заболели клещевым возвратным тифом. В давно обезлюдивших городах, в древних погребениях были найдены очаги болезней человека, которые поддерживаются грызунами, черепаками, ежами и другими животными. В безводной пустыне Каракумы удивительно приспособленные к жизни песчанки оказались носителями кожного лейшманиоза (пендинской язвы) — болезни, передаваемой человеку через москитов.

И в пустыне, и в дальневосточной тайге, и на участках суши, которые недавно были дном Каспийского моря, и на островах Японского и Желтого морей — всюду советские ученые вели и ведут тяжелую борьбу с возбудителями болезней. Они помогли ликвидировать, в частности, эпидемию японского энцефалита.

Книга содержит много сведений научного характера, а также практические советы по профилактике.

Л. ЛОЗИНСКАЯ. Фридрих Шиллер. «Молодая гвардия». М. 1960. 335 стр. Цена 70 к.

«За человечество, за мир, за счастье всех грядущих поколений то сердце билось» — эти слова об одном из героев Шиллера могут быть отнесены и к самому писателю.

О жизни человека большого и щедрого сердца рассказывает Л. Лозинская в своей книге о Шиллере, вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей».

Родившись в печальную эпоху, когда Германия была раздроблена на множество мелких княжеств, а народ страдал под непосильным гнетом феодалов, Шиллер, как показывает автор книги, всегда боролся против деспотизма, против «гнетущей узости» немецких условий жизни конца XVIII — начала XIX века. Его драмы, начиная с юношеских «Разбойников» и кончая «Вильгельмом Теллем», его стихи и статьи по искусству проникнуты глубокой верой в силы народа, в его светлое будущее.

Отмечая, что вся жизнь поэта — в его творчестве, Л. Лозинская каждую главу своей книги посвящает рассказу о наиболее примечательных произведениях великого поэта, истории их создания и т. д. В эпилоге автор говорит о влиянии творчества Шиллера на последующие поколения и о его всемирной славе.

Книга Л. Лозинской написана ясно, живо и увлеченно.

МАРГАРЕТ ГАРКНЕСС. Городская девушка. (Реалистическая повесть). Перевод с английского. Гослитиздат. М. 1960. 151 стр. Цена 15 к.

Лет тридцать назад в архиве Фридриха Энгельса нашли рукопись, которая сразу же привлекла всеобщее внимание. Это было письмо, адресованное М. Гаркнесс, — вернее, черновик письма, где Энгельс излагал свои взгляды по основным литературным вопросам. Это письмо сейчас общеизвестно.

Кто же такая М. Гаркнесс? Что это за повесть «Городская девушка», о которой Энгельс, наряду с критическими замечаниями, говорит: «...прочел эту вещь с величайшим удовольствием, прямо с жадностью. Это действительно, как говорит Ваш переводчик, мой друг Эйхгоф, маленький шедевр».

Сейчас советские читатели могут познакомиться с этим произведением в переводе с английского Н. Волжиной.

Рассказывая историю простой девушки Нелли Амброс из рабочего квартала Лондона, писательница сумела показать жизнь английских пролетариев и ханжескую мораль буржуа, доказать нравственное превосходство девушки-пролетарки над «добропорядочным» буржуазным интеллигентом Артуром Грантом.

Интересные данные о жизни и творчестве Маргарет Гаркнесс приводит в послесловии Л. Аринштейн.

ДЖЕК КОУП. Прекрасный дом. Роман. Перевод с английского. Издательство иностранной литературы. М. 1960. 388 стр. Цена 1 р. 17 к.

Похождения белого человека на «черном континенте» не раз служили сюжетной канвой для многих зарубежных романов — исторических, приключенческих. Белый пришелец часто изображался носителем цивилизации, героем. На его стороне были авторские симпатии. Африканец выступал как дикое, бесчеловечное существо, каннибал.

«Прекрасный дом» написан европейцем, родившимся в Южной Африке, и рассказывает об одной из драматических страниц истории африканских народов — о зулусском восстании 1906 года. В романе, написанном с глубоким знанием исторических фактов, читатель увидит истинное лицо и африканцев и белых «цивилизаторов», увидит, кто на самом деле по-варварски вел себя на африканской земле.

Перед ним предстанут чудовищные зверства колониальных властей, им противопоставит гуманность зулусов, стойких, отважных борцов за свою свободу.

Печальна и трагична судьба героев романа. Не только физически уничтожал, но и духовно калечил людей колониализм, отравляя сознание ядом расизма, порождая предрассудки, неприязнь, а то и ненависть африканцев к белым и белых к ним. Но автор горячо убежден, что эти искусственно созданные предрассудки будут сломлены. К этому подводит та эволюция, которая происходит в сознании героев романа — Тома Эрскина, Маргарет О'Нейл и других.

ХИРОСИ НОМА. Зона пустоты. Роман. Перевод с японского. Гослитиздат. М. 1960. 375 стр. Цена 60 к.

Безжалостную правду о японско-фашистской армии времен второй мировой войны рассказывает эта книга. «Армия — это зона пустоты», — думает один из персонажей романа, солдат Сода. Она «безжалостно выворачивает людей наизнанку». Но «зоне пустоты» уподобляется и душа японского солдата. Такой ее делает жестокая муштра, унижения, бесчеловечные издевательства и побои. Хироси Нома, известный японский писатель, рассказывает историю горькой жизни солдата, а затем ефрейтора Китани, который отважился на протест. Китани стал жертвой офицера-казнокрада Хаяси. Он пытается защитить себя и, когда убеждается в тщетности этого, начинает задумываться. Он ищет виновников своих страданий и бед, но находит пока только одного — поручика Хаяси, с которым и расправляется.

Роман Нома полон горячей ненависти к войне, к милитаризму.

Э. ЦЮРУПА. Ты слышишь меня? Повесть. «Советский писатель». М. 1960. 319 стр. Цена 57 к.

Это книга о женщине, жизнь которой сложилась нелегко. Повествование ведется от лица героини — Марии Гречи.

Мария проводила на фронт горячо любимого мужа и осталась одна с маленьким ребенком на руках. Она работает корреспондентом в тыловом сибирском городе. Жизнь в этом городе сурова, полна напряженного труда. Мария неопытна, не умеет по-настоящему приняться за дело, а трудный характер — угловатый, колючий — еще более усложняет ей жизнь.

Все дальнейшее является рассказом о том, как работа в печати, встреча с Коржем — талантливым, умным газетчиком-коммунистом — оказывается для Марии не только школой журналистики, но подлинной школой жизни. Читатель с интересом следит, как меняется характер Марии, как трудно, медленно, но верно перебарывает она свою замкнутость, свое отчужденное отношение к людям, становясь подлинно советским газетчиком, умеющим смело вторгаться в гущу дел, приходите на помощь людям в их работе и борьбе.

Н. ЗАДОНСКИЙ. По старой дороге. Воронежское книжное издательство. 1960. 140 стр. Цена 17 к.

Однажды, возвращаясь в Воронеж из родных мест в автобусе, заполненном студентами, автор этой книги спросил у своих спутников, знают ли они историю дороги, по которой едут. Оказалось — нет, не знают.

«Но впрямь ли это прошлое не представляет ничего интересного?.. Приехав домой,

я принялся перелистывать старинные книги и пожелтевшие листы местных архивных документов...» Так родился замысел этой книги. В ней несколько рассказов. Все они связаны с прошлым и настоящим старинной Задонской дороги, с людьми, которые жили когда-то в верховьях Дона или живут сейчас.

Проложили дорогу еще в четырнадцатом веке русские войны, которые пробирались по приказу московского князя Дмитрия через дремучие леса из Москвы к Дону, на встречу хану Мамаю. Много позже не раз ездил в Воронеж по Задонской дороге царь Петр I, заезжал он и в городок Тешев и в деревню Уткино, где была обнаружена руда. В трактирах на Задонской дороге останавливались Пушкин и Грибоедов. О Ново-Животинном земский врач Шингарев написал когда-то книгу «Вымирающая деревня». Страшная нищета и голод были уделом новоживотинцев, бывших крепостных помещиков Веневитиновых.

Картины прошлого автор перемежает с рассказом о нынешней жизни советских людей в районе Задонской дороги. Так, он приводит интересные факты о колхозе-миллионере «Россия», расположенном в Ново-Животинном, пишет о благоустройстве села Хлевное, где есть превосходная больница, электростанция, политехническая школа, Дом культуры, типография, водопровод, магазин и прочие учреждения, о которых даже мечтать не смели в старые времена.

Ю. ФЕДОСЮК. Чайковский в родном городе. «Московский рабочий». 1960. 204 стр. Цена 30 к.

«...Будучи музыкантом, я в то же время гражданин города Москвы...» — эти слова великого композитора Ю. Федосюк поставил эпиграфом к своей книге.

Чайковский всем сердцем был привязан к этому городу, к Московской консерватории, к Московскому музыкальному обществу. Книга делится на три части: «В Москве», «Годы скитаний», «Вблизи Москвы».

На материале многочисленных архивных данных, писем, дневников, воспоминаний друзей композитора, газетных и журнальных публикаций автор воссоздал довольно полную картину московского и клинского периодов жизни композитора, увлекательно рассказал о работе над Первой, Четвертой, Шестой симфониями, над увертюрами «Ромео и Джульетта», «Франческа да Римини», «1812 год», над балетами «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» и над многими другими замечательными произведениями, которые были созданы в Москве или в клинской тиши.

Большое внимание автор уделит обрисовке творческих связей Чайковского с Н. Рубинштейном, А. Островским, С. Танеевым и, наконец, с Львом Толстым и А. Чеховым.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. О программе партии, принятой на VIII съезде РКП(б). Документы, статьи, речи. 224 стр. Цена 25 к.

М. Борисов. Подготовка партией наступления социализма по всему фронту (1926—1929 гг.). 160 стр. Цена 20 к.

Луиза Дорнеман. Женни Маркс. 168 стр. Цена 21 к.

Дорогой борьбы и славы. 544 стр. Цена 90 к.

Избирательные системы стран мира. Справочник. 336 стр. Цена 50 к.

Коммунистическая партия — организатор победы социалистической революции (март — октябрь 1917 года). Документы и материалы. 504 стр. Цена 82 к.

В. А. Матвеев. Империя Флит-стрит (Современная пресса Англии). 304 стр. Цена 1 р. 3 к.

Партия большевиков в период реакции (1907—1910 гг.). Документы и материалы. 416 стр. Цена 68 к.

Сорок лет Монгольской народно-революционной партии (1921—1961). 24 стр. Цена 3 к.

Стефан Шаренков. Строительство социалистической экономики в Народной Республике Болгарии. 160 стр. Цена 19 к.

СОЦЭГГИЗ

А. С. Ахманов. Логическое учение Аристотеля. 316 стр. Цена 78 к.

О. Б. Воробьева, И. М. Синельникова. Дочери Маркса. 144 стр. Цена 15 к.

М. Драгилев, Г. Руденко. Монополистический капитализм (Очерки основных черт империализма). 480 стр. Цена 1 р. 12 к.

А. И. Игнатов. Атомная проблема и политика США. 258 стр. Цена 80 к.

А. И. Иойрыш. Труд и коммунизм. 168 стр. Цена 19 к.

Д. Кондрашев. Цена и хозяйственный расчет. 112 стр. Цена 13 к.

К. П. Павлов. Роль государственной монополии внешней торговли в построении социализма в СССР. 1918—1937. 184 стр. Цена 67 к.

Д. И. Розенберг. Комментарии к первому тому «Капитала» К. Маркса. 420 стр. Цена 1 р.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Адмони, Т. Сильман. Томас Манн. Очерк творчества. 352 стр. Цена 91 к.

С. Аладжадян. Плоские кровли. Роман. Перевод с армянского. 448 стр. Цена 76 к.

А. Андреев. Солнце Ленинграда. Стихи. 164 стр. Цена 19 к.

В. Безорудно. Феномен. Юмористические рассказы. Перевод с украинского. 216 стр. Цена 33 к.

А. Бестужев-Марлинский. Полное собрание стихотворений. 311 стр. Цена 60 к.

П. Громов. Герой и время. Статьи о литературе и театре. 580 стр. Цена 1 р. 33 к.

А. Ерикеев. Жемчужина. Стихи, песни, поэма. Перевод с татарского. 124 стр. Цена 18 к.

Б. Завадский. Пять лет за океаном. Канадские записи. 352 стр. Цена 61 к.

Ю. Збанацкий. Единственная. Повесть. Перевод с украинского. 296 стр. Цена 53 к.

В. Ковалевский. Не бойся смерти. Повесть. 215 стр. Цена 41 к.

И. Козлов. Полное собрание стихотворений. 508 стр. Цена 95 к.

Я. Козловский. Офицер связи. Стихи. 88 стр. Цена 9 к.

А. Ладинский. В дни Каракаллы. Роман. 460 стр. Цена 78 к.

Л. Ленч. Комедии. Сценки. Шутки. 280 стр. Цена 54 к.

О. Маркова. Облако над степью. Повести и рассказы. 284 стр. Цена 55 к.

Н. Москвин. Два долгих дня. Повести и рассказы. 204 стр. Цена 38 к.

Ф. Поваго. В одном отделении. Повесть. 216 стр. Цена 32 к.

А. Рутко. Пленительная звезда. Повесть. 168 стр. Цена 34 к.

Ю. Семенов. Уходят, чтобы вернуться. Рассказы и повесть. 260 стр. Цена 34 к.

Г. Серебрякова. Похищение огня. Роман. Книга первая. 504 стр. Цена 87 к.

А. Твардовский. Статьи и заметки о литературе. 224 стр. Цена 37 к.

С. Тхоржевский. Четверо на Нижней Тунгуске. Повесть и рассказы. 172 стр. Цена 22 к.

А. Хованская. Рассвет. Роман. 344 стр. Цена 60 к.

Л. Якименко. О «Поднятой целине» М. Шолохова. 136 стр. Цена 26 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Ю. Анимов. Статьи о русских писателях. 191 стр. Цена 42 к.

Агния Барто. Стихи. 279 стр. Цена 45 к.

М. А. Воронов. Повести и рассказы. 271 стр. Цена 50 к.

Александр Ильченко. Петербургская осень. Повесть. Перевод с украинского. 331 стр. Цена 73 к.

Василий Каменский. Поэмы. 215 стр. Цена 57 к.

Якуб Колас. Стихотворения. Перевод с белорусского. 263 стр. Цена 44 к.

Михаил Кольцов. Фельетоны и очерки. 406 стр. Цена 74 к.

Михась Лыньков. Рассказы. Перевод с белорусского. 375 стр. Цена 78 к.

Мурацан. Ноев ворон. Повести и рассказы. Перевод с армянского. 367 стр. Цена 66 к.

Нгуен Хенг. Воровка. Роман. Перевод с вьетнамского. 176 стр. Цена 45 к.

Лев Ошанин. Стихи и песни. 211 стр. Цена 39 к.

Оуян Шань. Гао Гань-да. Светлый путь. Повести. Перевод с китайского. 279 стр. Цена 60 к.

Поздняя греческая проза. Перевод с древнегреческого. 695 стр. Цена 1 р. 75 к.

Пу Сун-лин. Новеллы. Перевод с китайского. 383 стр. Цена 44 к.

Жан-Жак Руссо. Избранные сочинения. В трех томах. Перевод с французского. Том I. 851 стр. Цена 1 р. 43 к.

Сказки народов Китая. Перевод с китайского. 495 стр. Цена 77 к.

Ирвинг Стоун. Жизнь жизни. Повесть о Винсенте Ван-Гоге. Перевод с английского. 519 стр. Цена 97 к.

Сюй Ди-шань. Чудесный светильник. Рассказы. Перевод с китайского. 239 стр. Цена 43 к.

То Хну. Стихи. Перевод с вьетнамского. 175 стр. Цена 35 к.

Яков Ухсай. Стихи. Перевод с чувашского. 158 стр. Цена 35 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Василь Большак. Слово о подольке. Документальная повесть. Перевод с украинского. 176 стр. Цена 22 к.

В. Головинский. Лесная песня. Рассказы и дневники. 272 стр. Цена 53 к.

Г. Джагаров. На колени не падать! Сборник стихов. Перевод с болгарского. 64 стр. Цена 10 к.

П. Загребельный. Европа «45». Роман. Перевод с украинского. 447 стр. Цена 82 к.

Орхан Кемаль. Преступник. Роман. Перевод с турецкого. 328 стр. Цена 50 к.

Виллис Лацис. Земля и море. Роман. Перевод с латышского. 224 стр. Цена 48 к.

Владимир Монастырев. Тетрадь с девизом. Повести. 318 стр. Цена 61 к.

Александр Соколов. Встреча с юностью. Стихи и поэма. 64 стр. Цена 25 к.

Ирвинг Стоун. Джек Лондон (Моряк в седле). Роман-биография. Перевод с английского. 396 стр. Цена 78 к.

И. Шесталов. Огонь на льду. Стихи. Перевод с манси. 95 стр. Цена 27 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

С. И. Вавилов. Исаак Ньютон. Научная биография и статьи. 295 стр. Цена 1 р. 30 к.

Вопросы разработки месторождений Курской магнитной аномалии. 308 стр. Цена 1 р. 71 к.

Г. А. Гурев. Учение Коперника и религия. Из истории борьбы за научную истину в астрономии. 190 стр. Цена 28 к.

А. М. Гусев. В снегах Антарктиды. 192 стр. Цена 66 к.

К. М. Джемухадзе. Культура и производство в Китайской Народной Республике. 160 стр. Цена 77 к.

Н. П. Ждановский. Реализм Помяловского (вопросы стиля). 183 стр. Цена 50 к.

История русской диалектологии. 128 стр. Цена 38 к.

Почетный академик Н. А. Морозов. Повести моей жизни. Мемуары. Том I. 408 стр. Цена 1 р. 75 к.

От социалистической государственности к коммунистическому общественному самоуправлению. 347 стр. Цена 1 р. 44 к.

И. И. Презент. И. В. Мичурин и его учение. 199 стр. Цена 1 р.

Проблема причинности в современной физике. 430 стр. Цена 1 р. 50 к.

Проблемы механики сплошной среды. К 70-летию академика Н. И. Мушхелишвили. 579 стр. Цена 2 р. 53 к.

Революция 1905—1907 гг. в России. Документы и материалы. 704 стр. Цена 2 р. 54 к.

Я. С. Розенфельд, К. И. Клименко. История машиностроения СССР (с первой половины XIX в. до наших дней). 503 стр. Цена 1 р. 90 к.

Французский ежегодник. 1959 г. Статьи и материалы по истории Франции. 596 стр. Цена 3 р. 24 к.

Е. А. Чуданов. Избранные труды. Том I. Теория автомобиля. 464 стр. Цена 2 р. 75 к.

ПРОФИЗДАТ

В. Барац. Дела и люди одного совхоза. 112 стр. Цена 18 к.

К. Гусейнов. Обучение и воспитание профрактив на предприятии. 80 стр. Цена 10 к.

И. Логинов. Степь бороздят автоматы. 168 стр. Цена 22 к.

Профсоюзная работа на селе. Сборник. 200 стр. Цена 28 к.

СЕЛЬХОЗГИЗ

Н. И. Анисимов. Семилетка целинного совхоза. 102 стр. Цена 14 к.

В. В. Дацынов и другие. Обводнение пустынных пастбищ. 183 стр. Цена 24 к.

С. А. Иофинов и другие. Механизация и электрификация сельского хозяйства. 383 стр. Цена 74 к.

Коллектив авторов. Кормление сельскохозяйственных животных. Сборник научных работ. 371 стр. Цена 86 к.

Коллектив авторов. Кукуруза в новых районах. 136 стр. Цена 18 к.

Коллектив авторов. Местные удобрения. 206 стр. Цена 43 к.

Коллектив авторов. Сорты овощных культур СССР. 533 стр. Цена 2 р. 54 к.

Коллектив авторов. Экономика и организация свиноводства. 288 стр. Цена 54 к.

П. А. Полинский. Евгения Долинюк. 111 стр. Цена 18 к.

Х. Е. Потапов, П. С. Закусило. Пути снижения себестоимости продукции в колхозах. 142 стр. Цена 21 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Зак** (ответственный секретарь), **А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом от одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 2/III 1961 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 24/III 1961 г.
Формат бумаги 70×108/16. 9 бум. л.— 24,66 печ. л. Тираж 88 600.
А 04819 Зак. 444.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени **И. И. Скворцова-Степанова.** Москва, Пушкинская пл., 5.

ГОССТРАХ

**заключает договоры личного страхования
на разные сроки и разные страховые суммы.**

Договоры на смешанное страхование жизни заключаются с лицами в возрасте от 16 до 60 лет на срок 5, 10, 15 и 20 лет, а на страхование от несчастных случаев — с лицами в возрасте от 16 до 70 лет на сроки от 1 до 5 лет.

По договорам личного страхования Госстрах выплачивает страховую сумму застрахованному или его семье.



Госстрах заключает также договоры добровольного страхования принадлежащих гражданам строений, домашнего имущества и средств транспорта.

Страховое возмещение выплачивается: по страхованию строений и домашнего имущества в случае гибели или повреждения от пожара и других стихийных бедствий, а по страхованию средств транспорта — также и от аварий.



Для получения более подробных справок и заключения договоров необходимо обратиться в инспекцию или к агенту Госстраха.

Инспекция Госстраха имеется в каждом районе. Агента Госстраха можно вызвать на дом.

Страхование выгодно и вполне доступно трудящимся.

Граждане! Заключайте и своевременно возобновляйте договоры добровольного личного страхования и принадлежащего вам имущества.

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ РСФСР**